

12

НОВАЯ
МИРА

НОВАЯ
МИРА

12



1962

1962

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVIII

№ 12

Декабрь, 1962 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АЛЕКСАНДР ЯШИН — Вологодская свадьба	3
НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА — Первый шаг, Древесина, Портрет, Пастух по стаду выстрелил кнутом... Стихи	27
ДНЕВНИК НИНЫ КОСТЕРИНОЙ	31
АТТИЛА ЙОЖЕФ — Из лирики. Перевели с венгерского Д. Самойлов, В. Корнилов, Л. Мартынов, М. Алигер	106
ВИКТОР НЕКРАСОВ — По обе стороны океана. Окончание	110
АННА ЗЕГЕРС — Свет на виселице. Карибская история из времен французской революции. Перевел с немецкого В. Стеженский	153
В МИРЕ НАУКИ	
Д. ЦУКЕРНИК — Как была открыта Америка	217
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
М. ТУРОВСКАЯ — Мифология технической эры	242
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Б. Руинн. Исповедь молодого современника.— А. Леонтьев. Черты поколения.— Н. Кузьмин. Книга о русском лубке.— А. Образцова. Что такое кинодраматургия? — И. Верцман. Гомер сегодня.	252
<i>Политика и наука</i>	
В. Левачев. Увлекательное путешествие.— С. Смуглый. Открытие Земли продолжается...— С. Эпштейн. Социология в народной Польше.	265
КОРОТКО О КНИГАХ	273
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	278
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» за 1962 год	281

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

АЛЕКСАНДР ЯШИН

★

ВОЛОГОДСКАЯ СВАДЬБА

Из самолетов АН-2 выходят жители вологодских и костромских деревень, хлеборобы, служащие. У старушки, одетой в дубленый полушубок, в руках фанерный чемоданчик и туесок, наверное с рыжиками: видно, отправилась старая «на города», на побывку к сынку или к дочери. Старик, кроме такого же фанерного баула и привязанной к нему пары новеньких лаптей с липовыми обороми, тащит берестяной заплечный пестерь, на котором сбоку торчат две веревочные петли. С пестерями такими ходят на сенокосы, на дальнюю охоту, на лесные промысла, в петли вдевается топор,— мне это знакомо.

На старика ворчит пилот:

— Весь самолет мне закровянил. Что у тебя течет из пестеря, отец? Мясо, что ли?

— Журавлиха, не мясо. Растаяла окаянная!

Журавлиха — клюква: старик везет ее кому-то в подарок.

— А лапти зачем? — спрашивает пилот.

— Сын просил сплести для баловства. В Ленинград еду.

Все очень буднично. Но именно эта будничность и волнует: авиация вошла в быт.

Пассажиры устраиваются на грузовик-такси и отправляются на железнодорожную станцию. А оттуда на аэродром подъезжают новые пассажиры, уже побывавшие в гостях: в руках у них не баулы, а чемоданы, и сами приоделись — вместо ватников и затасканных полушубков на многих городские пальто, на головах добротные шерстяные шали, меховые шапки.

Мне, грешному, кажется, что, отправляясь «на города», мои земляки сознательно одеваются похуже, приbedняются, чтобы вернее разжалобить своих «выбившихся в люди» родственников.

Покупают билеты, выстраиваются в очередь к самолету. Я слежу: не охнет ли хоть одна старушка, не перекрестится ли? Нет, ни одна не перекрестилась, ко всему привыкли.

А я лечу в деревню на свадьбу.

Я уже не очень верил, что сохранилось что-нибудь от старинных свадебных обрядов, и потому не особенно рвался за тысячу верст киселя хлебать, когда получал время от времени приглашения на свадьбы. К тому же приглашения эти приходили из родных мест обычно с запозданием на два-три дня и не обещали ничего интересного.

«Шура, приезжай, Тонька с Венькой безруким уписываются».

Или:

«Дуньку Волкову пропивать будем, приезжай, погуляем!»

А тут пришло письмо, написанное какими-то иными, душевными словами и, главное, вовремя:

«Дядя Шура, наша Галя выходит замуж. Жених работает на льнозаводе. Пиво мама спроворила, и все будет по-честному, как следно быть. Приезжайте, дядя, обязательно, не откажите в нашей просьбе. Едьте, пожалуйста!»

Письмо писала сама невеста, хотя от третьего лица и без подписи. Казалось, от того, буду я на свадьбе или не буду, зависит ее дальнейшая судьба. Я отбросил все дела, наспех «спроворил» кое-какие подарки для невесты и для родных и выехал.

Поездом до станции Шарья двенадцать часов да самолетом над лесами минут сорок пять, если, конечно, самолеты ходят, это не очень уж страшно. Правда, в Шарьинском аэропорту из-за плохой погоды можно проторчать и несколько суток. Но другой возможности благополучно добраться до моего района по существу нет. Грузовики ходят нерегулярно, и никогда нельзя надеяться, что вы на грузовике доберетесь быстрее, чем пешком.

Раньше, на конных подводах, можно было рассчитывать время довольно уверенно, теперь же дороги разбиты настолько, что в весенне-осенние распутицы, а зимой в метели и снегопады движение по тракту надолго прекращается вовсе. «Золотая дорожка!» — с горькой иронией говорят героические вологодские шоферы. Три-четыре рейса — и новая мощная машина сдается в капитальный ремонт.

Мне повезло. На третий день после выезда из Москвы я был уже у невесты в гостях. Последние километры пути шел на лыжах по заячьим тропкам среди сказочных березовых рощ с тетеревиными стаями на вершинах.

— Ой, приехал! А я ведь и думать не думала, — удивленно вскрикнула Галя.

Круглолицая, розовощекая, очень подвижная, она взволнована предстоящим — и радуется и тревожится. Но работы столько, что на переживания ни сил, ни времени не остается.

Галю почти невозможно разглядеть, она носится по дому, не ходит, не бегаёт, а носится. Но я-то ее знаю давно, и что мне ее разглядывать? С тех пор, как я ее не видал, Галя не стала выше ростом, не стала пригляднее, осанистей или, как здесь говорят, становитей. А между тем в деревне своей она считалась одной из лучших невест. Почему? Потому ли, что единственная дочка у матери и наследница всего дома? Отчасти, может быть, и поэтому. Но такие невесты в деревне есть и кроме нее. Все они не дорожат своим наследством, стараются бежать из дому, устроиться на какую-либо неколхозную работу, как это сделала и Галя, перебравшись на льнозавод.

Нет, достоинства Гали — недородной, нерослой, несильной — в другом. Она из очень работающего рода, а уважение к такому наследству живет в крестьянах и поныне. Большое и хорошо налаженное хозяйство ее бабушки по материнской линии было в горячее время коллективизации развалено твердыми заданиями. Кажется, то же случилось с бабушкиным домом и по отцовской линии. Но так как ни в том, ни в другом хозяйстве никогда не пользовались наемным трудом, то в народе осталось лишь сожаление о случившемся и доброе сочувствие к напрасно пострадавшим людям.

А извечное трудолюбие и непоседливость перешли от бабушек и бабушек к нынешней невесте и стали ее главным приданым, которое скрашивало в глазах женихов ее низкорослость и неприглядность. Повидимому, страсть к работе она успела показать уже и на льнозаводе.

Мать Гали, Мария Герасимовна, вдова, много рожавшая и много страдавшая на своем веку, и сейчас, после гибели мужа на войне, расстающаяся с последней своей опорой, даже спать перестала. Лицо ее

осунулось, глаза испуганно мечутся по избе: все кажется, чего-то еще не сделано, что-то она просмотрела, упустила. Пол выскреблен и вымыт до блеска, посредине избы постланы лучшие половики своего тканья, рамки с открытками и фотографиями висят как будто не косо, на окнах тюлевые занавески, на гвоздиках расшитые вафельные рукотерники и платы старинной работы, сохранившиеся еще из девок, от того времени, когда она сама замуж выходила. Платы и рукотерники висят и на божнице, и на рамках с фотографиями. А в рамках вместе с изображениями родных и знакомых и совершенно случайных, никому не известных людей красуются цветастые открытки, посвященные Дню Парижской коммуны, Восьмому марта, Первому мая, Новому году и первым космическим полетам. Тут же открытки с корзинками аляповатых цветов и со смазливими нарумяненными личиками в сердечках, с надписями: «Люби меня, как я тебя», «Поздравляю с днем рождения», «Помню о тебе», и с неграмотными стихиками:

Быть может, волны света
Умчат меня куда-нибудь,
Пускай тогда открытка эта
На помнит вам чтонибудь!

Я переписал их с сохранением орфографии.

Все издано в наше время. Среди этих произведений прикладного искусства вложены, видимо для заполнения пустых мест, листки из отрывных календарей разных лет: на одном — портрет Луи Арагона, на другом — маршала Тимошенко, на третьем — диаграмма неуклонного роста надоя молока по годам в процентах.

В отдельной рамке цвета пасхальных яиц вставлена почетная грамота невесты, подписанная директором льнозавода и председателем фабрично-заводского комитета: «За отличные показатели в выполнении производственного плана, в честь сорок третьей годовщины Великой Октябрьской социалистической революции».

Мария Герасимовна заправляет керосином и развешивает под потолком в разных местах пять ламп — две свои и три взятые у соседней. Затем придирчиво осматривает все снова, поправляет несколько покосившихся фотоснимков, встряхивает полотенца, чтобы получше видна была вышивка на них, еще раз протирает зеркало...

— Кажется, все как следно быть?

Ей особенно нравится картина, написанная молодым местным зоотехником. На огромном и страшном звере, должно быть волке, хотя морда у зверя явно лисья, Иван-царевич увозит куда-то свою ненаглядную Елену Прекрасную. Полотно во всю стену, золота много, деревья и цветы небывалых размеров. Уж она ли, Мария Герасимовна, не знает лесов темных, дремучих — сама всю жизнь в лесу прожила, — но таких диковинных стволов даже во сне не видывала. И этакую красоту зоотехник отдал всего за два килограмма сливочного масла, подумать только! Не порядился даже добрый человек! Из всех его картин, какие висят теперь в окрестных деревнях, ей досталась самая большая, самая баская, самая яркая. Даже три толстых мужика на богатырских кобылах ей меньше приглянулись, чем дикий лес и этот волк — страшилище мохнатое.

Верит Мария Герасимовна, что, если бы не малевание зоотехника, не так нарядно было бы в ее избе.

А все-таки увозит Иван-царевич свою сугревушку из ее родного дома, от бабки с маткой! Увозит! Вот и у нее, у Марии Герасимовны, увезут на днях дочку Галю за сорок километров. Приедут на грузовике вместе

с директором льнозавода, выпьют все пиво и заберут девушку. Хорошо, конечно, а все-таки жалко и жутко: одна теперь, старая, останется.

Мария Герасимовна напоследок перевела стрелки ходиков — отстают шибко, — перевела на глазок, наугад. А другие ходики, что давно висят без гири и без стрелок, украсила вафельным свежим рукотерником: зачем их снимать со стены? Пусть не ходят, а все-таки еще одна картинка в доме — цветочки, и лесок, и поле.

Теперь совсем хорошо стало!

— Что так далеко замуж отдаешь дочку? — спрашиваю я.

— Шибко далеко! — горестно подтверждает Мария Герасимовна. — Захочется повидать — не добежишь до нее. Заплачешь — слезы утереть некому. Сорок километров — шутка ли!

— Где же они встретились?

— Там и встретились, на льнозаводе. Галя там работает третий год, тресту в машину подает, а он, жених, на прессе лен в кипу укладывает. Года два они гуляли: как из армии пришел, так и заприметил ее, углядел и уж больше ни на одной гулянке от нее не отходил — люди рассказывают. Все по-хорошему!

Для Марии Герасимовны главное, чтобы все было по-хорошему. А маленькая Галя краснеет, даже разговоров о своей свадьбе стесняется.

— Как будете свадьбу справлять — по-старинному или по-новому?

— Какое уж по-старинному, ничего, поди-ко, не выйдет, — отвечает Мария Герасимовна, — да и по-новому тоже не свадьба. По-старинному бы надо! — заключает она и затем начинает рассказывать, как все должно быть, чтобы все по-хорошему: — Вот приедут они завтра, жених с дружкой, да сваха, да тысячкой, ну и все жениховы гости, и начнет дружка невесту у девок выкупать. Он им конфетки дает, а они требуют денег, он им вина, а они не уступают за вино, продешевить боятся, невесту осрамить. Ну, конечно, шум, шутки-прибаутки, весело. Ежели хороший дружка, разговористой, так и невесте не до слез, все помирают со смеху.

— А невеста плакать должна?

— В голос реветь должна, как же! Еще до приезда жениха соберутся подружки и начнут ее отпевать под гармошку, все-таки на чужую сторону уходит.

— Она же там работает три года?

— Мало ли что работает, а все чужая сторона. Да и заведено так: родной дом покидает.

— Не умею я реветь, — испуганно говорит Галя, — да и Петя не велел.

— Мало ли что не велел, а пореветь надо хоть немного. По-твоему, расписались в сельсовете — и все тут? Какая же это свадьба!

— Не умею я реветь! — повторяет невеста.

— Ничего, девушки помогут. А то молодичу нашу позовем, у нее слезы сами текут и голос подходящий. Ей реветь не привыкать.

— В заёсе были?

— В сельсовете были, как же. Сразу после сватовства съездили. Все по-хорошему. Только ведь что в сельсовете? Расписались — и дело с концом. Никакой красоты.

— Жених приезжал сюда?

— Два раза приезжал. Сначала со свахой, с теткой своей, а потом с суслон, один. Когда суслон поспевает, жених берет бутылку суслон от своего пива и привозит к невесте. А у невесты наливают ему в ту же бутылку своего суслон и договариваются, в какой день ему за невестой приезжать. Наш Петрован даже пиво складывать нам помог.

— Каков жених-то? — спрашиваю.

— Ничего парень, парень как парень. Худощавой! Брови белые. В армии уже побывал — и ладно. Какие нынче в деревне женихи пошли? Все норовят уехать да жениться где-нибудь на стороне, на городах.— Мария Герасимовна задумывается и добавляет: — Ничего парень! Высокой!

Когда Галю просватали, она сняла мерку со своего жениха и две недели сама, и ее мать, и тетя, старушка из соседней деревни, до самого дня свадьбы шили так называемое приданое. Кое-какая мануфактура была заготовлена заранее, недостающее закупали в последнее время. Дирекция льнозавода дала девушке отпуск и месячную зарплату в пятьдесят рублей: все-таки передовая работница. Мать выложила свои многолетние сбережения. Приданое — это и новая одежда невесты, и белье для жениха, и подарки всей жениховой родне: рубашки, фартуки, носовые и головные платки, табачные кisetы.

Кофточку и новое платье на невесте после сватовства порвали ее подружки. Так заведено! Раньше жгли куделю на пряснице, ныне девушки не прядут, а обычай соблюсти надо. Кофточку порвали на заводе, а платье в родной деревне, куда она пришла уже просватанная. Не поврешь одежду на невесте — не бывать замужем подружкам ее. Бьют же стеклянную посуду на счастье!

Для приданого последней дочери мать отдала свой девический кованный сундук, который когда-то был доверху набит ее собственным приданным. Нынче, сколько ни старались, сундук оставался наполовину пустым, пока не догадались сложить в него и домотканые половики, и пару валежок, и даже ватник.

В день свадьбы задолго до приезда жениха собрались к невесте на кухню, в куть, как здесь говорят, ее сверстницы. Никакого намека на слезы пока не было. Разноцветные сарафаны с широкими сборками по подолу, кофты с кружевными воланами, сатиновые фартуки, шелковые и шерстяные полушалки шуршали, шелестели, и рябило в глазах. Только невеста была в простом ситцевом платьице: ее нарядят, когда поведут к жениху за стол.

Молодость шумно справляла свой праздник.

— Девочки, дешевле десяти рублей не брать!

— За такую невесту можно и больше вырядить.

— Жених-то ведь не колхозник, раскошелится.

— За тридевять земель увозят, да чтобы за так!

— Только уступать не надо!

— Это какой дружка попадетсЯ. Ежели вроде нашего Генки, так с него голову снимешь, а он все равно зубы заговорит.

Пришел гармонист — паренек лет восемнадцати. Ему подали стакан пива, он немедля уселся на скамью и деловито заиграл. Так же деловито девушки запели первые частушки, которые должны были разжалобить невесту, помочь ей плакать. Начинаясь так называемая в е ч е р и н к а.

Я последний вечерочек
У родителей в гостях,
Тятя с маменькой заплачут
На моих на радостях.

Я у тяти на покосе
Заломила веточку,
Придет тятенька на поженьку —
Вспомянет девочку.

В самом углу, за спинами девушек, за разноцветными кофтами и сарафанами, укрылась невеста, счастливая, розовощекая, круглолицая, — ей пора плакать, а она никак не может начать. Рядом с ней сидит ее двоюродная сестра Вера, приготовившая платок и фартук свой, чтобы утирать слезы невесте, расставившая даже колени, на которые Галя должна падать лицом вниз. А невеста все не плачет.

— Плачь, плачь! — уговаривает ее Вера.

Признаюсь, я подумал, что Галя стесняется меня, и уже собирался выйти из кухни. Но вот наконец она решилась, всхлипнула, подала голос. Гармонист, склонив голову, поднажал на басы, девушки запели громче:

Запросватали меня
И богу помолилися.
У меня на белый фартук
Слезы повалилися.

Сидит тятенька на стуле,
Разливает чай с вином,
Пропивает мою голову
Навеки в чужой дом.

Галя плакала плохо, вскрикивала фальшиво, и тогда на выручку ей пришла молодлица, жена брата. Она пробилась в угол и с ходу взяла такую высокую ноту, так взвизгнула, прижав голову золовки-невесты к своей груди, что все вздрогнули. А девушки подхватили ее крик и запели частушки, более подходившие к судьбе этой молодки:

Не ходи, товарка, замуж
За немилого дружка,
Лучше в реченьку скатиться
Со крутого бережка.

Не ходи, товарка, замуж,
Замужем неловко жить:
С половицы на другую
Не дают переступить.

Дела сразу пошли лучше: по-серьезному разжалобилась и завыла невеста, хотя лицо ее от слез только больше разгорелось, начали прикрывать глаза платками ее товарки, в голос заревели вдовы. Даже ее едва сдерживал слезы: так получалось все естественно и горестно.

Но для матери, Марии Герасимовны, все было мало. Она привела причитальницу-плакальщицу соседку Наталью Семеновну. Гармонист перестал играть, девушки затихли, когда вошла в куть эта черноглазая, с тонкими чертами лица, старая, но и сейчас еще красивая, не согнувшаяся женщина.

— Давай-ко, Наташа, помоги! — попросила ее Мария Герасимовна.

— А чего это вы коротышки поете? — с упреком обратилась ко всем Наталья Семеновна. — Надо волокнистые песни петь, нельзя без волокнистых. Поди-ко и красоту не справляли, что за свадьба такая? Позвали бы меня вчера, я ведь и красоту всю помню. Раньше мне Митиха Лискина — вот уж причитальница-то была! — скажет, бывало: «Садись-ко, Наташка, возле, у тебя голос вольной, учись!» И я с ее голоса, еще девчонкой, все волокнистые, протяжные песни запомнила. Памятью меня бог не обидел. Сколько своих девок после замуж отдавала, ни много ни мало шесть дочерей в люди вывела — как причеты не запомнить. А грамоты не знаю: азбуку прошла и оспой заболела. Потом уж

дотягивала, когда взрослых учили, да самоуком. Могу, конечно, приба-
уточки прочитать, и варакать умею, расписываюсь, а все неграмотная.
Была ли красота-то у вас?

Никакой красоты в доме Марии Герасимовны не было: мать и
дочь бегали как угорелые, чтобы все приготовить к приезду жениха и но-
вых гостей как следно быть. Не до волокнистых песен было, не до сва-
дебных обрядов.

— Тогда уж давайте и красоты немного прихватим,— решила На-
талья Семеновна.— Может, кто подтянет? Или нет?

— Подтянем! — неуверенно отвечали ей.— Ты только запой.

Мария Герасимовна поднесла старушке стакан пива:

— Прочисти горлышко-то, Наташа, легче запоется.

Наталья Семеновна выпила пиво, вытерла губы тыльной стороной ла-
дони и запела печально, волокнисто:

Солнышко закатается, дивьей век коротается.
Дивьей век коротается, да пошел день на вечер.
И пошел день на вечер, да прошел век девичьей.
И да прошел век девичьей, да прошло девичье житье.
И прошло девичье житье, все хоженье, да гулянье.
Отходила я да отгуляла летом по шелковой траве
И летом по шелковой траве, зимой по белому снегу...

Казалось, изба стала просторнее, потолок поднялся, а сарафаны да
кофты запестрели еще ярче.

Голос у Натальи Семеновны высокий, чистый, не старушечий, пела
она неторопливо, старательно, без робости: просто делала нужное людям
дело, из-за чего же тут робеть?

Девушки начали подтягивать ей, но вряд ли хоть одна из девушек
знала эти старинные свадебные причеты. Подтягивать было легко, по-
тому что каждый стих (строка) причета исполнялся дважды, вернее
окончание каждого стиха переходило в начало стиха следующего, и так
без конца.

По этой же причине и записывать причеты с голоса было нетрудно,
что я и сделал.

— Приставайте, приставайте, девки! — говорила время от времени
Наталья Семеновна.— Подхватывайте! — И сама продолжала петь.

Невеста перестала плакать, она, должно быть, просто забыла о себе,
растерялась, настолько необычными показались Натальины плачи после
немудрых жалостливых коротышек под гармошку.

Колокольчики сбрыкали, да сердечико дрогнуло.
И да сердечико дрогнуло, ретивое придрогнуло.
И ретивое придрогнуло, да не вё-ошная вода,
И да не вешная вода под гору разливалась,
И да под гору разливалась, подворотни вымывала...

— За невестой приехали, вот о чем поется! — пояснила Наталья Се-
меновна и попросила: — Налей-ко мне, сватья, белушечку, что ты один
стаканчик подала, в горле першит. Ведь говорят: сколько пива, столько
и песен.

Мария Герасимовна поднесла ей полную белую чашку пива, считав-
шуюся почетной, как в старину братыня. Старушка встала со скамейки,
приняла белушку с поклоном, обеими руками, но выпила не всю: важна
была честь! Затем тщательно вытерла губы и снова запела:

И да не ком снегу бросило, да не искры рассыпались,
 И да не искры рассыпались, да во весь высок терём,
 И да во весь высок терём ко родимому батюшке,
 И ко родимому батюшке, да ко мне молодёхоньке,
 Да ко мне молодёхоньке, да во куть да во кутеньку.
 Еще дружка-то княжая под окошком колотится.
 Под окошком колотится, да в избу дружка просится,
 И в избу дружка просится — я сама дружке откажу...
 Я сама дружке откажу: дружка, прочь от терёма!
 Дружка, прочь от высока — не одна сижу в тереме,
 И не одна сижу в тереме — со своими подружками...

Кроме теремов высоки-их и столбов белодубы-их, были в песне и князья и бояры и дивьей монастырь со монашками, были и Дунай — быстра река и Великий Устюг, Осмоловский сельсовет и колхозное правление. Рассказывалось в последовательном порядке, как приезжают сваха, и дружка, жених, и свекор-батюшко, и свекровь-матушка, как они входят на мост — в сени, затем ступают за порог в избу, садятся за стол, требуют к себе невесту и как невеста дары раздает и просит благословения у отца с матерью, которое «из синя моря вынесет, из темна лесу выведет, и от ветру — застиньце, и от дождя — притульце, от людей — оборонушка». Ведется песня от лица невесты, умоляющей защитить ее от чуж-чуженина — жениха, от князьев и бояров, ступивших в сени: «И подруби-ко ты, батюшко, да мосты калиновы, да переводы малиновы», либо от лица девушек, высмеивающих сваху: «У нас сваха-то княжая, она три года не пряла, она три года не ткала, все на дары надеялась», а еще высмеивающих скупого дружку: «Что у дружки у нашего еще ноги лучинные, еще ноги лучинные да глаза заячинные...»

Наталья Семеновна увлеклась, распелась, а все нет-нет да пояснит что-нибудь: так мало, должно быть, верила она, что содержание старинного причета понятно всем нынешним, трясоголовым; нет-нет да и вставит какую-нибудь прозаическую фразу между строк. Кажется, свадьба эта воспринималась ею не всерьез, а лишь как игра, в которой ей, старой причитальнице и рассказчице, отведена главная роль.

— Это ничего, что про монастырь пою? — спрашивает она вдруг. — Нынче ведь нет монастырей-то.

Или вдруг:

— Может, надоело кому? Укоротить, поди, надо? Раньше ведь подолгу пели да ревели, а нынче живо дело отвертят...

Спросит и, не дожидаясь ответа, продолжает петь. А однажды она приказала девушкам:

— Теперь переходите на другой голос, чтобы невесте еще тоскливее стало! — И сама изменила мотив.

Услышав эти слова, Галя, давно молчавшая в своем углу, заревела снова громко, надрывно, всерьез. Совсем свободно заплакалось ей, когда Наталья Семеновна помянула в песне родимого батюшку: Галя осиротела рано и поныне тоскует по своему отце-солдате.

Жених, сваха, тысяцкий, дружка и все гости со стороны жениха приехали за невестой на самосвале: другой свободной машины на льнозаводе не оказалось. В кузове самосвала толстым слоем лежало свалывшееся за сорок километров желтое сено.

Ничего похожего на серого волка!

Раньше забирали невесту и справляли свадьбу сначала в родном дому жениха, затем возвращались пировать к родителям невесты. От заведенного порядка пришлось отступить и сделать все наоборот: отпировать у невесты и лишь после этого везти ее «на чужую сторону». Такая пере-

мена диктовалась отсутствием транспорта и слишком большими перегонами взад-вперед.

Как приложение к даровому самосвалу пировать к невесте прибыли несколько конторских работников с льнозавода во главе с директором. Эти гости считались почетными.

Перед въездом в деревню гостей встретила бревенчатая баррикада — ее соорудили местные молодые ребята. По обычаю, свадебный поезд следовало задерживать в пути и брать за невесту выкуп, а грузовик не тройка с колокольчиками, его живой людской цепочкой не остановишь.

Стоял большой мороз, не меньше тридцати градусов, и, конечно, парни работали и топтались на холоду не из-за корысти, не из-за бутылки водки. Для них свадьба была чем-то вроде самодеятельного спектакля. В огромной деревне Сушинове до сих пор нет ни электричества, ни радио, ни библиотеки, ни клуба. За два последних года сюда не заглянула ни одна кинопередвижка. А молодости праздники необходимы! Пожилые колхозники по вечерам дуются в карты, собираясь из года в год в избе Нестора Сергеевича, оплачивая этому добровольному мученику за помещение, за грязь, за керосин с кона. А куда деться молодым? К тому же почти все они обременены семилетним и восьмилетним образованием. Раньше девушки пряли лен, собирались на беседки к одной, к другой поочередно, туда же тянулись и парни. Теперь лен трестой сдают на завод. И вот каждая свадьба в деревне становится всеобщим праздником, всеобщей радостью. Не потому ли и сохраняются здесь почти в неприкосновенности все былые обычаи и обряды с волокнистыми песнями про князей и бояр?

Перекрытые полевые ворота зимой не объедешь и даже не обойдешь: снежные сугробы достигают здесь двухметровой глубины. Счастливые озорные парни торжествовали: гости, заочнев в самосвале, не торговались и долго расхваливать невесту не пришлось. А главное, было весело.

Весело стало и в избе невесты, как только ворвался туда дружка Григорий Кириллович. Бывалый человек, с неумным озорным характером, прошедший во время войны многие страны Западной Европы как освободитель и победитель, он сохранил в памяти бесчисленное количество присловий и прибауток из старинного дружкиного багажа и не пренебрегал ими.

Сват да сватья,
Наехала сварьба,
Мне не веритё —
Сами увидите! —

закричал он, стуча кнутовищем по крашеной лазоревой заборке, отделяющей горницу от кухни.

Невеста еще плакала, причитальница пела, девушки подпевали как умели, но всем было уже не до того и невесте не до слез. Гриша завладел общим вниманием, властно подчинил все звуки своему немного охрипшему на морозе голосу.

Ворвался на кухню и жених. Он оказался и впрямь несообразно высоким и худосочным. Вспомнились слова Марии Герасимовны: «Какие кынче женихи пошли, в армии побывал — и ладно. Ничего парень! Брови белые!...»

Звали его Петром Петровичем.

Чтобы довести жениха до невесты живым, не заморозить, ему разрешено было по дороге пить со всеми наравне, и Петр Петрович ввалился на кухню пьяным и гордым собою не в меру.

Галя сразу притихла, начала поспешно вытирать слезы. Стало понятно, почему она так долго отказывалась выполнять старые обычаи на своей вечерине.

— Я тебе что сказал? — с ходу властно заорал Петр Петрович. — Я тебе сказал не реветь! А ты что? Что, я тебя спрашиваю?

— О, господи! — ужаснулась испуганная Наталья Семеновна. — Еще не мужик, а уж форс задает. Что потом-то будет?

— Что ты, Натаха, неладно-то говоришь? — с упреком кинулась на нее Мария Герасимовна. — Что он такое сделал? — И начала уговаривать, успокаивать своего будущего зятя: — Петя, Петенька! Ничего, Петенька! Ну поревела маленько, так ведь ничего это, Петенька! Так заведено, Петенька!

А невеста от страха вдруг заревела пуще прежнего. Ее прикрыли собою девушки.

— Кому венчаться, а мне разоряться, — продолжал балагурить Гриша. — Сколько с меня, девки?

У каждого дружки своя манера балагурить. Кроме расхожего, известного повсюду набора острот и поговорок, у него должны быть и свои шутки-прибаутки. Чувство юмора и находчивость для него обязательны. Это уже область творчества. Не всякого приглашают в дружки.

Григорий Кириллович сначала кинул в сарафанные подолаы девушек несколько горстей конфет, а затем стал с силой забрасывать их серебряными монетами. Делал он это с ожесточением — не то от злости, не то от великой щедрости. Деньги покатались по полу, под стол, под скамейки. Зазвенели окна, лопнуло стекло у иконы, казалось, вот-вот разлетится вдребезги и ламповое стекло; кто-то завизжал от страха, Наталья Семеновна прикрыла фартуком лицо.

Но все монеты оказались устаревшими, дореформенными. Смех и грех! Собственно, греха не было, был только смех и новый повод для взаимных острот и насмешек.

Девушки все же настояли на своем: жениху и дружке пришлось дать приличный выкуп за невесту вином и настоящими деньгами.

После этого к Гале была допущена сваха. Пожилая женщина проделала истово и торжественно все, что полагается согласно старым обрядам. Она помогла невесте одеться тепло, по-зимнему, как бы в дальнюю дорогу, хотя уже все знали, что сегодня никакой дороги не будет, и так, в зимнем пальто, вывела ее из кухни, маленькую, толстенькую, и посадила за стол в красный угол рядом с женихом, который также был одет по-зимнему, в чем приехал. Под сиденье жениху и невесте постелили кошули — полушубки, поддетые материей, чтобы молодые возвышались, «как на троне». Невесте под сиденье положили кошулю потолще. Долговязый жених, взгромоздившись на трон, едва не достал головой до потолка.

Начался пир, по кругу пошла белушка, родственники первыми поздравляли молодых, кричали им «горько», требовали «посластить». Молодым разрешалось пить только из одного стакана — за этим следили строго, чтобы жених не переложил еще больше. Как видно, слабость эта за ним водилась.

Начали собираться гости и со стороны невесты. Каждого входящего встречали еще у порога стаканом пива либо белушкой.

Понесли «сладкие пироги».

Сладкие пироги на северных сельских свадьбах и других праздничных пирах обязательны. Традиция эта давняя, может многовековая.

Сладкий пирог — белый, сдобный, круглый, величиной с решето, а то и больше. Сверху на нем всякие завитушки, плетеные узоры из теста и разноцветное монпансье («лампасея») да еще изюм. Нынешние свадебные пироги из-за отсутствия в районе изюма и ландрина украшены были бледными конфетами-подушечками с повидловой начинкой.

Вот когда я пожалел, что не вспомнил в Москве об этих сладких пирогах. Каких бы разноцветных атласных и прочих подушечек мог набрать я в гастрономическом магазине «Ударник»! Леденцы там по свое-

му разнообразию и многоцветности не уступают коктейбельским камушкам. Все это дешевое богатство я мог привезти с собой, и оно успело бы попасть на свадебные столы!

Вспоминаю свое детство: после праздников мы, малые ребята, допускались к сладким пирогам и с вожделием выковыривали «глазки» — ландринки, запеченные в тесто.

Сладкие пироги на Севере — такое же народное творчество, как резные наличники на окнах, петухи и коньки на крышах, фигурные расписные пряники и кустарные ткацкие станы, как колокольчики «дар Валдая» под дугой и бубенчики (воркунцы, ширкунцы) на ошейниках у лошадей.

Каждая семья, приглашенная в гости, на свадьбу, идет со своим сладким пирогом. Большачиха, она же стряпуха, несет пирог в широкой круглой лубяной «хлебнице», либо на «веке» — крышке от хлебницы, и прикрыт пирог красной вырывной салфеткой с кисточками. Кроме этого главного гостинца, в корзине или в хлебнице могут быть и простые белые пироги, колобаны.

— Горько! — все чаще раздается то в одном углу избы, то в другом, и жених с невестой встают и троекратно неумело целуются. Петр Петрович при этом сгибается, а Галя плотно сжимает губы и от смущения закрывает глаза.

— Горько! — требовательно кричат снова.

Счастливая Галя отпивает несколько глотков из общего стакана и передает остаток пива жениху. Тот, не разгибаясь, опрокидывает стакан в рот и шутит:

— Если б знал, не женился бы, даже выпить как следует не дают.

Сваха с тревогой посматривает на него, что он такое еще сделает и не наговорил бы чего-нибудь лишнего.

— Горько!

Любой пир — прежде всего люди. Человеческие характеры легко и свободно раскрываются на пиру. На всяком сельском празднике обязательно пляшут и плачут, спорят и вздорят, смеются и дерутся; одни молчат, другие кричат; молодежи поют, вдовы слезы льют.

Среди мужчин на пиру очень скоро объявляются типично русские правдоискатели, ратующие за справедливость, за счастье для всех. Доносится от них и немцам, и американцам, и туркам, но больше всего, пожалуй, достается самим себе, своим соотечественникам. Таким людям не до веселья, не до песен, не до плясок. Они обличают, разоблачают, требуют возмездия, протестуют и все время спрашивают: что делать? как быть? кто виноват? и знают ли о наших бедах наши главные? видят ли они в се? В этой неумности проявляются, должно быть, черты национального характера. Но не дай бог попасться на целый вечер в руки такому самосожженцу: ни пира, ни мира не будет, ничего не увидишь, ничего не услышишь.

Объявляются также и заурядные хвастуны — люди самодовольные, недалекие, кичащиеся своим служебным положением, своим заработком, даже неправедным, нечистым; хвастающие своим домом, домашней утварью, домашним скотом и наконец женой и тещей.

В древних русских былинах говорится о том, как добрые молодцы садятся за стол и — «один хвастает родным батюшкой, другой хвастает родной матушкой, умный хвастает золотой казной, глупый хвастает молодой женой». Современные хвастуны скромнее. Весь первый вечер ходил от стола к столу пожилой колхозник и, не переставая сам удивляться и радоваться, хвалился своими пластмассовыми недавно вставленными зубами. Почокается со всеми, выпьет стакан пива, вынет челюсть, всем покажет ее и опять вставит.

— А теперь смотрите, как я жевать буду. Кости грызть могу — чудо! В нашем районе сделали!

Редко, но встречаются хвастуны и незаурядные, необыкновенные. Слушать таких — одно удовольствие. Это счастливы, жизнелюбцы и своего рода художники слова, своеобразные сельские лакировщики действительности.

Хвастаются, например, изобретательностью. В прошлом году, чтобы обеспечить кормом своих коров, колхозники ухитрились выкосить на озерах всю осоку уже после ледостава.

— Никогда бы раньше мужику до такого не додуматься, головы не те были. Ледок тоненький, похрустывает, а ты идешь с косой и в полную силушку поперек льда — вжик, вжик! Вот пишут: на заводах то, сё, смекалка, а мы разве без смекалки живем?..

Другие вторят:

— До многого раньше умом не доходили. Вот, скажем, коза. Раньше у нас считали козу поганой животиной, от молока ее с души воротило, хармовали. А коза чем хороша? Ей корму меньше надо. Дашь осинового листу либо коры сосновой — она и сыта. Афиши и газеты жрет — все ей на пользу. В деревнях теперь козы в ход пошли!

— У меня коза Манька восемь литров за сутки дает!

— Ну, знаешь!..

Хвастаются тем, что хлеб растет иной год даже на неудобренных и необработанных землях...

А многие просто сидят молча и пьют, ни о чем не думают, ни о чем не спрашивают — отдыхают. Конечно, кто-то и перепивается. На всякой пирушке хоть один да сваливается под стол либо начинает шуметь, требовать к себе особого внимания, задирается, скандалит.

На разных людей хмель действует по-разному: одним ударяет в голову, другим в ноги, третьим в руки. Одни становятся ласковыми, влюбчивыми, со всеми готовы перецеловаться, другие — злобными.

Слез и жалоб больше всего среди женщин. Неудачно вышедшие замуж плачут на любом пиру, и так всю жизнь. Старые матери плачут о потерянных детях, о непутевых дочерях, сходящихся с мужиками не по-людски, без закона и теперь мающихся из-за этой уступчивости; вдовы — об убитых на войне мужьях («даже похоронной не было!»).

А встречаются вдовы и довольные своей судьбой: озорные, разбитные, первые певички и плясуньи. Замужем они были, как на каторге: «Ни одного доброго слова, только зуботычины да: «Пошла ты на три буквы», — а сейчас освободились, расправились и в колхозе всем равны, и дома сами себе хозяйки, они и погулять и поозоровать не прочь.

Сразу напился и пошел кренделя вертеть дядя жениха. Он еще до женитьбы судился дважды за хулиганство. Жена его, Груня, бухгалтер на льнозаводе, настоящая великомученица: то возится с ним, как с малым ребенком, то прячется от него на кухне, на полатах, в сенях: все зависит от настроения загулявшего его величества («А тверезый-то он — человек как человек!»). В первый же вечер этого дядю родственники вынуждены были связать, а на другой вечер прибегли к более современному и гуманному средству: дали ему в стакане пива лошадиную дозу снотворного.

Груня нашла себе подругу по несчастью, и вот две женщины — у одной владыка спал, у другой, у Тони, смазливенький, с лисьим тонким личиком, ненасытный женолоб, увивался около дородных вдовиц — сидели две женщины на кухне, в уголке, целый вечер вдвоем и одна перед другой изливали свои души.

— Мой тоже побывал в милиции, — рассказывала Тоня. — Взяли с него подписку, что больше фулиганить не будет, он расписался — и все.

Я говорю им. «Он же меня убить грозит, ребяташки ведь без матери останутся. Свою избу однажды поджигать стал». А они говорят: «Вот когда допустит чего-нибудь этакое, тогда мы и заберем его и приструним!»

— Твоего только в милицию возили, а мой уже в тюрьме сидел не раз,— завидовала подружке Груня.

— Думаешь, мой не сидел? — машет рукой Тоня.— Только я об этом не рассказываю. Сидел и принудиловку отбывал. Первый раз сидел, когда еще холостой был. Подрались, и он на пару со своим отцом человека убил. Обоих по амнистии освободили. Другой раз, уже при мне, был десятником стройконторы, работал на ремонте дороги, сговорился с кем-то и украл камни: камни эти никто для дороги не собирал, никто в глаза их не видывал, а он выписал наряд на них, будто собраны, и деньги пропили. Дали ему за эти камни два года. Просидел только один год и два месяца. Вернулся, поставили его завхозом на льнозаводе, второй раз завхозом. Чего только не тащили тогда с завода, чтобы пропить! Водка все смывала с рук.

— Вот-вот, все водка,— вставляет свое слово Груня.— И мой такой же!

Тоня продолжает:

— Поехал мой в командировку, в Карныш, и там, опять с кем-то в сговоре, украл чужое сено: продали его в стогах, пропили. Дали принудиловки шесть месяцев. Работал пожарником, работал на пилораме — весь лес в его руках. Лес воровал. И все для водки, все для зеленого змия. Хоть бы домой нес, так уж ладно бы... А то приходит домой пьяный. «Клади, говорит, голову на плаху!» — «Не положу, говорю, ребяташек жалко, что с ними с тремя будешь делать?» — «Полезай, говорит, в петлю сама, чтобы на меня подозренья не было!» — «Не полезу», говорю. «Тогда лезь в подполье и не показывайся мне на глаза весь день». — «В подполье, говорю, полезу». Запрет он меня в подполье и держит там, сидит надо мной. А ребяташки ревут, дрожат, боятся его. Надоест ему этот рев, он и откроет подполье: «Вылезай, говорит, утешай их, корми!» А сам опять уйдет к дружкам да к приятелям водку пить. Кабы не водка, может, мы и по-людски бы жили. Тверезый он у меня тоже ничего, обходительный: человек как человек. Шибко много водки стали пить после войны.

Груня слушала, сочувствовала, но казалось ей, что у Тони положение все-таки лучше, чем у нее.

— У тебя, может, хоть дерется не так грозно, все-таки ведь безрукий, ударить сильно, поди, не может... Мой-то — зверь настоящий, кулаки у него железные. Стукнет по столу, так от косточек ямочки на досках остаются.

— Ой, что ты! — обижается Тоня.— Безрукий, а хуже троерукого. Силища у него, у окаянного, как у дракона. Если не помогут, все равно повешусь либо сам топором меня зарубит. Он ничего не боится. «Я, говорю, всю войну прошел!» Недавно у нас баба удавилась, тоже из-за мужика, из-за пьянства. И мне со своим не совладать, он и вправду всю войну прошел, руку свою отдал, все ходы и выходы знает. Что я для него?..

Сидят две свободные, раскрепощенные, чуть подвыпившие женщины на кухоньке, укрывшись от общего шума и песен, и разговаривают, и плачут, и тоже шумят иногда, и уж не поймешь: жалуются они на своих мужей друг другу или хвалятся ими — до того оба они сильные да бесстрашные.

Брат невесты, тоже маленького роста, Николай Иванович — помощник колхозного бригадира, человек небожий, малозаметный, но безотказный, работяга, из тех работяг, на которых везде воду возят,— нето-

ропливо ходил из кухни в горницу, из горницы в кухню то с белушкой, то с пивным стаканом, то с графинчиком и стограммовой стопкой, продирался за столы, за скамейки, появлялся у порога перед новыми гостями, не забывая ни молчаливых, ни спорящих. Он был, так сказать, главным подающим на пиру, что-то вроде тамады. Но тостов он не произносил, красноречием не отличался, только настойчиво предлагал каждому выпить — и все тут. Отбиться от его угощения было невозможно, он прилипал к человеку, изнурял его своим терпением, не отходил до тех пор, пока тот, в безнадежном отчаянье махнув рукой, не выпивал все, что бы ему ни предлагалось. Считается, что, если на свадьбе нет пьяных, счастья молодым не будет, и Николай Иванович понимал всю глубину ответственности, возложенной на него.

Время от времени он тащил то одного, то другого дорогого гостенька на кухню, за печушку, к матери своей, и Мария Герасимовна угощала их чем-то из суденки, по секрету. Появился там и директор льнозавода.

— Откушай-ко! Горит! — шепнула ему Мария Герасимовна.

— Ну? Горит? — обрадовался директор. — Тогда давай, за дальнейший рост!

— Кушай на здоровье!

Выпил директор секретную стопку, повеселел, подобрел к Марии Герасимовне и поговорил с ней.

— Дочка у тебя хорошая — Галя, все планы выполняет и перевыполняет. Сейчас и на сына посмотрел: тоже хороший мужик. Лишнего не болтает, ходит, угощает всех. Все люди у нас хорошие! У тебя двое?

— Двое осталось, девять было. Все умирали до году, — пожаловилась Мария Герасимовна.

— Отчего такое, жилось худо?

— Да нельзя сказать, что худо жилось. Только работала, себя не жалела. Ни одного ребенка до дому не донесла, то на поле родишь, то на поже, а бывало, что и на дорогу вываливались.

— И оба у тебя мелкие ростом, и Галя и сын этот, Николай. Отчего такое?

— Поди, оттого и мелкие, — не обидевшись, ответила Мария Герасимовна, — что ни себя, ни их не жалела. Дом большой, скота было много, а мужик еще охотой занимался. Потом овдовела, муж-то на войне остался, смертью храбрых. Да меня еще в депутатки не по один год посылали, тоже угомону не было.

— Куда в депутатки?

— Да в этот, — как его? — в сельсовет.

— Значит, ты и общественную нагрузку несла?

— Несла, как же. На все заседания таскали.

Директор удовлетворенно заключил:

— Оттого у тебя и дети в люди вышли. Николай-то бригадиром?

— Помощником. Не знает уж, как избавиться от этой бедолаги, за таскали совсем. Раз в члены вступил, так терпи.

Выбравшись из кухни, подобревший директор попал в руки правдоискателей.

Три невестиних братана — так зовут здесь двоюродных братьев — работают вместе на дальнем лесозаготовительном участке: один шофером, другой пильщиком-мотористом, третий заведует школьными производственными мастерскими и одновременно преподает физкультуру в восьмилетке. Три человека — три разных характера, а друг с другом не расстаются.

Шофер Василий Прокопьевич — бунтарь по натуре. Он забывает про еду и пиво, как только начинает рассказывать о непорядках в лесу, при этом лицо его бледнеет, глаза блестят и требуют ответа сразу на все

вопросы, какие ставит перед ним жизнь. А ездит он широко и знает много.

Другой братан — Ленька, человек веселый до легкомыслия, знает печальных историй не меньше, но непреодолимая жизнерадостность не дает ему надолго впадать в тоску и негодовать из-за каких-то несуразностей жизни. Он любит пошутить, посмеяться и вовремя рассказанным анекдотом смягчает острые разговоры и тяжелое настроение Василия Прокопьевича. Может быть, в этом больше мудрости, чем легкомыслия?

Третий — преподаватель физкультуры — вторит то одному, то другому из братанов. Он легко воспринимает чужие настроения, легко поддается им и в спорах и разговорах может становиться на любую из сторон. Где перевес — там и Михаил Кузьмич. Разгорячится Василий Прокопьевич — горячится и он и еще больше добавляет огня в костер самосожженца; развеселит всех Ленька — и он расскажет подходящий к случаю анекдот.

Я узнал, что жена Михаила Кузьмича называет своего благоверного бескостной миногой. Ей больше нравится шофер Василий Прокопьевич.

Директор льнозавода сам подошел к братанам, сидящим за столом. Они смеялись.

— Ну что, войны, как живется?

— Живем помаленьку! — ответил Михаил Кузьмич.

— Помаленьку нельзя. Вы молодые, вам надо хорошо жить. Время у нас такое. А пьется как?

— Пьем по маленькой, — отрапортовал Ленька.

— Маленькую и я сейчас выпил — хорошо прошла. А смеетесь над чем?

— Над директорами.

— Что такое? — встревожился директор.

— Да вот понимаете, — Михаил Кузьмич повторил анекдот, только что рассказанный Ленькой: — Угробил у нас один шофер новую машину и вместе с ней директора, стоит, в затылке чешет: «Ладно, говорит, директора дадут нового, а вот где я теперь запчасти достану?»

Рассказал и с удовольствия расхохотался снова. Засмеялся и Василий Прокопьевич. А Ленька, моторист, смотрит в глаза директору и ждет, как тот примет шутку. Но директор только нахмурился и задумался. Тогда Ленька рассказал еще один анекдот:

— Расхвастался иностранец своей чудо-техникой. «Смотрите, дескать, что у нас могут делать. Вот, скажем, курица. — Ленька развернул ладошку перед носом директора льнозавода и дунул на нее. — Фу — и вместо курицы — яйцо. Фу — опять курица». Тогда наш инженер обиделся и сказал: «Подумаешь, чудо! У нас и не такое могут делать. Вот, скажем, — Ленька опять развернул ладошку, — директор!.. Фу — дерьмо. Фу — опять директор».

Братаны, все трое, дружно расхохотались, а подвыпивший директор льнозавода нахмурился и задумался еще больше и наконец сурово спросил:

— Вы где работаете?

Василий Прокопьевич сразу посерьезнел и пошел в атаку:

— А вам, собственно, для чего нужны наши сведения? Анкетку хотите заполнить?

По недоразумению или по злобе многие считают всех шоферов без исключения «леваками» и «калымщиками», бесстыже подрабатывающими на случайных пассажирах, и «малопьющими» в том смысле, что, сколько ни пьют, им все мало. Василия Прокопьевича ни в каком левачестве не заподозришь: не таков он человек, не тем живет, не о длинных

рублях думает. К тому же и возит он не людей, а лес, ему не с кого собирать подорожные.

— Мы работаем в лесу, у нас свои порядки, и мы про них знаем, — запальчиво продолжал он. — А вот вы — директор. Знаете ли вы, что у вас на льнозаводе делается? Знаете? Ваши приемщики колхозы грабят, номера тресты занижают. Вы калымщик, вот вы кто! А ведь в партии, наверно, состоите?

Директор поначалу опешил, но, услышав слова о партии, воспрянул духом:

— Ты вот что, парень, меня критикуй, а партию не трожь!

— Партию я не трожу! — сказал Василий Прокопьевич. — А вы зачем колхозы обсчитываете? Партия с вас все равно спросит. Не прикроетесь!

Весельчак Ленька и Михаил Кузьмич дружно поддержали своего брата.

В разговор о льнотресте немедленно включились соседи по столу, и давний конфликт вышел наружу. Суть его в следующем.

На заводе старое, почти допотопное оборудование, из-за чего при первичной обработке льна получается очень большой, недопустимый по нормам процент отходов. Чтобы не прогореть даже при этом древнем оборудовании и выполнить и перевыполнить производственный план (обязательно перевыполнить — для отчетности, для премиальных!), работники льнозавода приноровились умышленно занижать сортность поступающей тресты. А лен — основной источник колхозных доходов. Треста оплачивается государством щедро, и разница в цене за лучший номер, даже за половину номера очень велика. Райком партии установил свой контроль за приемкой льнотресты, первый секретарь сам досконально изучил правила определения сортности льна, но этого контроля оказалось недостаточно. Колхозы и колхозники продолжают терпеть убытки и очень обижаются.

Пиво развязало языки, гости наговорили служащим льнозавода немало резкостей.

— Критиканы вы все, вот что, очернители! — огрызнулся директор.

А с кухни снова зазвенел высокий нестарушечий голос Натальи Семеновны — и полилась песня про князьев да бóяров.

— Ладно, треста трестой, а вы скажите, долго ли у нас в лесу шепки будут лететь? — переключился на новые разоблачения Василий Прокопьевич. Он кричал, чтобы заглушить песню: — Почему везде человек человеку друг, а у нас в делянке один закон: совесть на совесть, кто кого обставит да обсчитает?

В наступление были пущены смазочные масла и горючее, нормы выработки в кубометрах, и километраж, и запчасти, запчасти для машин и трелевочных тракторов — главное, запчасти.

— Почему для одних шоферов запчасти есть, а для других нет? И почему все надо доставать, а не получать, не покупать?

Василию Прокопьевичу подают белушку пива, он принимает ее, не глядя, обеими руками, выпивает всю, до дна, не заметив даже, что пьет и сколько пьет, и, вытирая губы рукавом, продолжает говорить, говорить и спрашивать. В душе его горит страстный огонь правдолюбца, он в запале и уже не видит и не воспринимает ничего, что не касается прямо и непосредственно его производственных бед и обид...

Михаил Кузьмич, заведующий школьными мастерскими, впадая в тот же тон, рассказывает в свою очередь, что ребят приходится знакомить не с современной техникой, не с трактором, не с бензопилой «дружба», потому что их в школе нет, а с утилем, собранным на кладбищах машин, а то и просто использовать школьников как чернорабочих, только бы

заполнить часы, отведенные для производственного обучения; что зарплата для учителей все еще не упорядочена и многие уходят на лесозаготовки, становятся механиками, шоферами.

Наступило время для Леньки. Чтобы разрядить атмосферу, он вдруг начинает неистово кричать:

— Горько! Горько!

Его крик подхватывают гости из-за других столов:

— Горько!

Молодые послушно встают и чинно-благородно целуются.

— Ну как теперь? — спрашивает Петр Петрович.

— Горько! — не уступает Ленька.

Молодые целуются снова и уже не садятся.

— Теперь сладко? — спрашивает жених.

— Теперь ничего, жить можно!

Все пьют. Петр Петрович тоже поднимает стакан, но бдительная сваха останавливает его, и жених в который уже раз шутит:

— Даже выпить не дают как следует. Если б знал, не женился бы.

Гости с готовностью смеются. Смеется и счастливая невеста. Но разошедшийся Василий Прокопьевич все еще не смеется. Он услышал вдруг сладкоголосую Наталью Семеновну и обрушил на нее остатки своего гражданского гнева:

— Бóяры-бóяры, а сама тянет из колхоза все, что плохо лежит — то лен, то сено охапками, то ржаные снопы. Прижмут ее — она в слезы: плакальщица ведь, артистка! А когда муж стоял в председателях, от нее никому житья не было. Однажды Ванька Вихтерков подкараулил ее в поле да забрался под суслон, будто от дождя, ждет, что будет. Причитальница добралась и до этого суслона, снимает хлобук, а он ей: «Хлобук-то оставь, Натаха, а то меня дождь смочит!»

— Брось обижать старуху! — вступился за Наталью Семеновну Ленька. — Наговоры одни, да еще заглазно.

— Я и при ней скажу.

— Чего скажешь, коли сам не видел.

— Я не видел, другие видели.

— Никто ничего не видал.

— Конечно, одни наговоры, — поддержали Леньку сидевшие рядом женщины. — Худославие одно. Ее, Наталью, тоже понять надо.

— Ладно! — начал сдаваться Василий Прокопьевич. — Только ведь сожгла же она недавно соседский стожок на лесной дербе. Все об этом знают...

— Опять все!

— А вы дайте ему договорить! — вмешался в спор Михаил Кузьмич.

И Василий Прокопьевич договорил:

— Деревку эту она скашивала сама не по один год, а тут приходит — сено сметано. Подумала, что это колхоз выкосил и сгреб, ну и подожгла. Срамили ее!.. Вот тебе и бóяры и монастыри с монашками!

Молчун Николай Иванович, главный подающий, слушал, слушал эти слишком серьезные для него разговоры да как грохнет пустым стаканом об пол. Гости от неожиданности вздрогнули: что это с ним, с тихоней? А с ним ничего! Он просто хочет, чтобы молодые жили счастливо. Добиться же этого нетрудно, надо бить стеклянную посуду.

И еще: Николаю Ивановичу тоже поговорить захотелось.

— Вон какую свадьбу отгрохали! — хвастливо показывает он на столы.

А на столах полно сладких пирогов, которых никто не решается трогать, они лежат для украшения. Едят мясо, жареную треску, яичницу на

широких сковородках, называемую селянкой, рассыпчатую кашу из овсяной крупы — заспы, все соленое-пересоленное.

— Пей горько да ешь солоню — никогда не закиснешь! — сказал дружка Григорий Кириллович.

— Горько!

— Сколько у вас присчиталось в этом году? — спрашивают Николая Ивановича. Вероятно, кто-то почувствовал его неутоленное желание вступить в общий разговор.

— На трудодень-то?

— Да.

— А ничего не присчиталось. Только добавочные платим.

— Совсем на трудодни не выдавали?

— Нет, выдавали, как же.

— Сколько выдали?

— Да ничего не выдали.

— И ты ничего не получил?

— Получил, как же. Не я один.

— Сколько же ты получил?

— Один раз пять рублей под расписку, а другой раз — так.

— А так — это сколько?

— Да рублей двадцать, не больше.

Все идет «как следно быть, все по-хорошему», как и хотелось Марии Герасимовне. Ей самой ни поесть, ни выпить некогда.

Женщины усадили гармониста на высокую лежанку и плясали до упаду, то и дело обтирая потные лица платками и фартуками. Гармонисту обтирать свое лицо было некогда, и за него это делала какая-то услужливая молодая девушка — дроля, наверно.

Дробили с припевками, с выкриками. Особенно отличался кокетливый, не по-деревенски смазливый паренек — почтальон из сельсовета, до того смазливый, что казался подкрашенным, напомаженным. Он знал много современных частушек, которые называл частухами.

Сидит милка на скамейке,
Не достанет до земли.
В кассу я отнес копейки,
Через год возьму рубли.

Наверно, он сам сочиняет эти частухи.

Плясали, пока у гармониста не вывалилась гармонь из рук.

Седой бородатый мужик продолжал хвастать своей пластмассовой челюстью, вынимал ее, нечистую, розоватую, с белым рядом зубов, протягивал через стол, но чужую челюсть никто в руки брать не хотел, и он, широко раскрыв рот, водворял ее на место.

Нашлись хвастуны и похлеще.

— В этом году наш колхозный план все-таки утвердили. Пять раз пересматривали в райисполкоме, заставляли переделывать, а на шестой раз утвердили. Правда, от наших первых наметок ничего не осталось. Так ведь что поделаешь: у нас свои расчеты, у них свои — им цифры сверху спущены.

— Мы тоже своего добились — закрыли птицеферму. По пятку яиц в год на несушку выходило. Золотые яички, одно разорение! Разрешили прикрыть.

— Как же план по яйцу?

— Выполним! Пашем на колхозных лошадях приусадебные участки: тридцать яиц с участка подай — и никаких хлопот!

Не обошлось и без охотничьих бухтин.

— Иду это я раз вдоль осёков¹, гляжу — что-то шевеличча. Вдруг, дуваю, заяч? Дай, думаю, стрелю! Стрелил, прихожу — и, верно, заяч. Добычливого охотника тут же поднимают на смех:

— Бежала овча мимо нашего крыльча да как стукнечча да перевернечча. «Овча, овча, возьми сенча!» А овча не шевеличча. С той поры овча и не ягнечча.

— Самая доходная охота, ребята, все-таки на медведёй. Ежели год выпадет ягодной, то в лесах на каждом горелом месте от малинников проходу нет. Кукуруза, и только! И набирается в эти малинники медведей видимо-невидимо: сладкое любят. Нажрутса они малины и дрыхнут вповалку. А спящих медведей, ребята, можно голыми руками брать. Иду это я раз по малиннику с топором: одному медведю напрочь голову отрубаю, другого глушу обухом по лбу. А ежели какой проснется, так все равно от медвежьей болезни сразу силы теряет, с таким тоже долго чикаться нечего. Прямо на тракторе вывозили — столько их вокруг меня положено было.

В минуту, когда разговор шел еще о птицеферме, дружка Григорий Кириллович, вдруг словно бы спохватившись, вышел из избы. Сейчас он вернулся с живой курицей в руках. Соблюдая какой-то древний языческий обряд, он остановился посреди избы, взял курицу за голову, с силой встряхнул ее — и обезглавленная тушка запрыгала по полу, брызгая кровью, теряя перья.

Курицу зажарили и со свежей курятиной и пивом обходили гостей.

В деревне Сушинове этот обряд до сих пор никому не был известен, и в чем его смысл — никто растолковать не смог, но свежая курятинка всем понравилась.

Вездесущий дружка балагурил и колобродил в течение всего вечера, и пил он не меньше других. Дружке все позволено, все прощается. Совершенно по-другому — строго, сдержанно, с достоинством — ведут себя сваха и тысяцкий. Особенно тысяцкий, дядя жениха — здоровенный, высоченный, он словно бы стесняется своего роста и своей могучности. Но дело, оказывается, не в этом. Несколько лет тому назад тысяцкий был в Сушинове председателем колхоза, а такое не забывается. Каждое его слово здесь и поныне должно быть, конечно, дороже золота.

Но ни сваха, ни тысяцкий не уследили за своим подопечным. Под конец напился-таки Петр Петрович. Вероятнее всего, заташил его Николай Иванович по секрету в куть, к матери своей, и та не пожалела самодельного зелья дорогому зятюку.

Напился молодой князь и начал куражиться. Нашел где-то каракулевую шапку, нацепил ее на ухо и кричит:

— Я Чапай! Кто на моем пути? Всем приказываю: долой!

Испуганно заметались по избе женщины, будто овцы в хлеву, мужики смотрят на нового своего родственника с недоумением, думают: не связать ли и этого, а Мария Герасимовна так и стелется перед ним, заласкивает, улещивает:

— Петенька, Петенька, Петенька!

Расстилает перед ним ковры и молодая княгиня Галя, хватает его за длинные, произвольно болтающиеся руки, поддерживает его, чтобы ходули не подогнулись. А князь чванится, хорохорится, рубаху на себе рвет, ваньку валяет.

— Ты кто? — спрашивает он Галю, подбираясь худосочным кулачишком к ее заплаканному розовошекому лицу. — Жена ты мне или нет? Я Чапай! Понимаешь ты это: я — Чапай!

¹ Изгороди из жердей вокруг полей и сенокосов.

— Ты, Галья, уйди с глаз, не мельтеши, не дразни его! — шепчет дочери Мария Герасимовна и вытирает Петру Петровичу рот.

— Э, куда я теперь уйду? — вскидывает Галя голову и вдруг ожесточается. В первый раз. — Ну ладно, ты Чапай, — говорит она мужу. — А только я больше тебя зарабатываю. Понял? Чего ломаешься-то? — И, резко повернувшись, скрывается с глаз.

«Что ж, для начала, пожалуй, неплохо!» — подумал я.

Совет да любовь вам, дорогие мои земляки!

Тысяцкий выкручивает руки молодому князю, своему племяннику, и уводит его куда-то спать.

Под гармошку девушки прокричали несколько частушек-коротышек, возвещающих о том, что время уже позднее:

Пойдемте, девочки, домой,
Будет, насиделся:
Моего милого нет,
На ваших наглядился!

И на этом первый день свадьбы закончился.

Правда, по деревне под ясным звездным небом долго еще ходили молодые мужики и ребята, но мороз стоял градусов за тридцать и гармонь, вынесенная из жаркой избы, не пела. Гармонист разводит ее «от плеча и до плеча», парни со страшной силой изрыгают частушки, а гармонь не издает ни звука, даже не хрипит.

Вспомнилось: как-то в Москве, на перекрестке у Ленинской библиотеки, вот на таком же морозе милиционер приложил свисток к губам, а он не засвистел — застыл, должно быть. Дует в него регулировщик и сам смеется. Тем дело и кончилось: повезло шоферу-нарушителю.

* * *

Ночевали гости в разных избах, в одной места для всех не хватило бы. Я провел ночь у соседки Дуни, вдовы, два сына которой находились в армии. Одна в своей избе она никогда не ночует, боится нечистой силы, ей «блазнит».

Не могу сказать наверное, чтобы я эту ночь спал спокойно, хотя с нечистой силой дела иметь не пришлось. Но с вечера в избе непрерывно визжал месячный поросенок — в хлеву Дуня его не держит, опасаясь, как бы не замерз. А в полночь неожиданно у самого изголовья дико заорал петух — оказалось, что в заднем углу избы под лавкой-скамейкой сосредоточилась вся личная птицеферма Дуни. За всю ночь ни одна курица не подала голоса, петух же принимался кричать неоднократно и с каждым разом, как мне казалось, пел все громче, все высокомерней. За один прием он кричал свое ку-ку-ре-ку раз пятнадцать, если не больше.

Принято считать, что песня петуха музыкальна. Я тоже так считал и даже стихи об этом сочинял не единожды. Теперь же мне его песня музыкальной не показалась, да и песней я ее не назвал бы. Поневоле думалось только о нечистой силе.

Когда все пиво в доме невесты было выпито, шофер при помощи палящей лампы завел самосвал — и свадьба отправилась за сорок километров, на родину жениха, в деревню Грибаево. Из невестинной родни в самосвал уселся брат Николай Иванович и еще кто-то. Братаны не поехали.

Товарищи из райкома партии сделали мне одолжение, послали легкового, и мы с Виктором Семеновичем Сладковым, водителем вездехо-

ходящего гаизика, решили посадить к себе молодых. Молодые сели в машину, а сваха с иконой в руках недоуменно топталась у дверцы: ей не положено оставлять жениха с невестой ни на минуту, пока не доставит их в дом к родителям.

— Ну садись, сваха, ничего не поделаешь! — с некоторой растерянностью согласился водитель. — Кого только я не возил на своем веку, чего только не возил, но икону на райкомовской машине возить не приходилось.

Получился настоящий свадебный поезд. Жалко только, снег не шел: когда свадьба выезжает в снег или в дождь — к счастью.

И никаких черепков девушки вслед не бросали. А раньше полагалось. Перед выездом невеста умывалась, девушки разбивали глиняный рукомоильник и этими черепками забрасывали отъезжающих, чтобы невеста не вернулась домой, чтобы жилось ей счастливо и в новой семье.

На улице на морозе долго фотографировались. Увидев в моих руках фотоаппарат, женщины поснямали с себя полушубки и ватники, они хотели «сняться на карточку» обязательно в праздничных сарафанах. В деревнях очень любят фотографироваться. Но сделать живой снимок трудно: все лица перед объективом мгновенно напрягаются, деревенеют.

Мария Герасимовна с нами не поехала. Со слезами на глазах она наказывала дочери:

— Не забывай, бегай в гости почаще, ничего что далеко — ноги молодые. И не приходи без гостинца: без гостинца придешь — уревусь, подумаю, что от мужика сбежала.

Самосвал облепили мальчишки, чтобы прокатиться до конца деревни.

Все-таки раньше мальчишкам жилось, наверно, легче и, пожалуй, веселей, когда свадьбы справлялись не на грузовиках, а на тройках. В свое время я пронесся на задке свадебной кошевки целых двадцать километров — от районного городка, где учился в четвертом или в пятом классе, до своей деревни. Мой дядя, только что вернувшийся из Красной Армии и еще не расставшийся со своей остроконечной буденовкой, вез невесту из далекого Шалашнева мимо нашей школы. Мне с утра не сиделось за партой, ждал свадьбу и, когда завидел ее, опрометью вырвался из класса, успел на ходу схватить полушубок и вскочил на концы полозьев последней раскрашенной кошевки. Пели колокольцы, развевались цветные ленты, вплетенные в гривы и хвосты лошадей, сердце замирало от восторга и страха.

Из-за того, что у дяди на голове была прославленная буденовка, свадьба представлялась мне каким-то военным походом. Конечно, я обмерз, но вспоминаю об этом своем путешествии, как о самой лучшей из бабушкиных сказок.

Дядя погиб в прошедшую войну. Анна Григорьевна, бывшая тогда невестой, живет теперь на Бобровской запани под Архангельском в окружении сыновей и внуков. Недавно она сказала мне:

— Верно, какой-то парнишка висел тогда на запятках. Если бы знатьё, я бы тебя с собой рядом в кошевку посадила.

На машинах мы ехали ночью — полями, перелесками. Дорога оказалась расчищенной от снега, приглаженной: на днях из города в колхоз прошли шесть гусеничных тракторов с волокушами для вывозки торфа на поля. Волокушу — широченный громоздкий металлический лист — почему-то называют «пеней». Торф загружается на такую волокушу бульдозером, пёхом, и сгружается так же. Не потому ли «пена», что в поля на ней тянут больше снега, чем торфа?

Виктор Сладков не просто вел машину, а, как экскурсовод, показывал нам свои памятные места: здесь вот зайцы обычно дорогу перебегают; с тех высоких берез совсем недавно он снял из малокалиберки

трех косачей; а на этой вот пашенке еще сегодня видел, как лисица мышковала.

Сладков — главный райкомовский водитель, и для всех шоферов района он царь и добрый бог. Это авторитет не только власти, но и опыта. Его машина больше других носится по непроходимым районным дорогам. Многих своих коллег Сладков вытаскивал из канав, из грязи, многим молодым устранял в пути неполадки в моторе, а главное — он всем помогает доставать запчасти. Хорошо знают райкомовского шофера и пешеходы: если свободен, остановится, посадит — и все за спасибо, не то, что некоторые. Справедливый человек!

Ехать ночью по зимней проселочной дороге то с дальним, то с ближним светом автомобильных прожекторов сказочно хорошо. Дорога извиляется, и никогда не знаешь, что откроется за следующим поворотом. Из тьмы вылетают навстречу какие-то призраки: причудливые пестрые кусты, кривые деревья, пни под снежными шапками, будто отпрыгнувшие в сторону прохожие, огромные полузаметенные снегом выворотни с зияющими черными дырами, в каждой из которых чудится медвежья берлога. Перелесок и поле, лес и опять поле. Снег то синий, то рыжий, а все время ждешь, что за сплошным зеленым ельником и поле будет зеленое.

Сладков рассказывает о зайцах и лисицах, и я вижу их следы: в кустах они глубокие, четкие, резко оттененные светом фар, а на открытых местах выпуклые — ветер выдул сухой сыпучий снежок, уплотнения же остались и поднялись над белой равниной, как маленькие побеленные столбики на обочинах шоссе.

Через все поле прошла лисица, столбики ее следа протянулись цепочкой от леса до леса.

Взбугрившаяся лыжня напоминает узкоколейку.

В полях было по-ночному тихо, а когда наши машины врывались в лесную чашу, вся она начинала шуметь и гудеть, наполняясь свистом шин и завыванием моторов. Казалось, что звуки по стволам уходят в звездное небо.

А я ехал и твердил про себя пушкинские строки: «Колокольчик однозвучный утомительно гремит».

До чего же все-таки не хватает колокольчиков!

* * *

В доме жениха сваха и тысяцкий остановили молодых в темных сенях и ждали, пока вынесут лампу и выйдут навстречу им родители.

Жениху и невесте положили на головы по караваю ржаного хлеба, отец и мать благословили их, поцеловали — опять в ход пошла икона. Петр Петрович очень стеснялся этого обряда, подшучивал, но обижать стариков не хотел, все сносил.

Отец ростом был еще выше сына и настолько здоровей, становитей, что длинноногий сухопарый жених при нем выглядел совершенным мальчишкой. Отца хотелось называть торжественно: родитель. Он, так же как его брат, тысяцкий, был скуп на слова, держался с привычным достоинством. Может быть, и он в свое время служил где-нибудь председателем колхоза?

А мать крутилась, вертелась, как юла, и звали ее Лия.

Деревня Грибаево уже была радиофицирована, в избе около божницы висела коробка громкоговорителя, и под потолком горело электричество. Во всем сказывалась близость промышленного объекта. Правда, чтобы свет воссиял с достаточной силой, потребовалось вернуть лампочки в сто пятьдесят свечей и меньшего вольтажа.

И красочных плакатов и лозунгов в избе было больше, чем у Марии

Герасимовны. В том простенке, где у Марии Герасимовны громоздилось чудотворное произведение зоотехника «Иван-царевич на сером волке», здесь висел плакат: «Всегда с партией!» Рядом — красношекая колхозница среди корзин с фруктами и овощами держит в руках огромный, как джазовый барабан, капустный кочан, и — надпись:

За груд, мастера огородов, садов,
Теперь за вами слово.
Вдосталь дадим овощей и плодов
Сочных, вкусных, дешевых!

Неужели такое сочиняют вологодские поэты, мои друзья?
И еще плакаты: «Разводите водоплавающую птицу! Это большой резерв увеличения производства питательного дешевого мяса!»
Язык то какой!

Мы за мир, чтоб на планете
Были счастливы все дети!

И еще и еще...

В деревне находится восьмилетняя школа, и среди гостей на свадьбе много учителей. Еще больше служащих и рабочих с льнозавода.

Снова жениха и невесту посадили за стол и опять в верхней одежде; так они сидели долго, пока от них пар не пошел.

Опять было пиво, тосты в одно слово: «Горько!», «Горько!» — и пляска. Опять картинно целовались молодые, но Петр Петрович пил уже из белушки — добился-таки своего! А невеста то и дело кланялась, как заведенная, — таков был наказ матери.

— Теперь сладко! Пейте! — шутил жених и опрокидывал очередную белушку.

Каждого нового гостя и здесь встречали у порога стаканом пива. Хозяйка Лия раздевала гостей сама и с таким радушием, что пуговицы летели на пол. В этом, конечно, сказывался неукротимый ее темперамент, но главное — так было принято, и это считалось высшим шиком гостеприимства.

Опять завязался спор и с еще большим ожесточением между работниками льнозавода и колхозниками относительно сортности сдаваемой льнотресты.

Все было, как в доме невесты, все повторялось. Только Николай Иванович здесь никого не угощал, и ему совсем нечего было делать и не о чем говорить, он просто пил и молчал.

Бросилось в глаза кое-что и новое.

Гостей поначалу угощали пивом — хлебным, густым, бархатистым, а как только они начинали веселеть, им в ту же посуду подливали жидкую мутную брагу. Брага тоже пьянит, но после нее дико болит голова, из-за чего и прозвали брагу «головоломкой». Зато обходится она гораздо дешевле пива. Пивом поят, брагой с ног сбивают.

Кто-то из родственников невесты захотел повторить понравившийся обряд со свежей курятиной. Хозяйка Лия пришла в неистовство:

— Совести у вас нет — живой курице голову отрывать!

Табакуры попросили спичек. Лия подала коробку и предупредила:

— Останется что — верните!

Сначала подумали: примета на счастье. Вроде битья стеклянной посуды. Нет, оказывается, дело вовсе не в приметах.

— Вы чего скупитесь, свадьба ведь! — сказали ей не без опасения обидеть. — Где пьют, там и льют, где едят, там и бьют.

Лия не обиделась:

— А вы сразу разорить нас хотите. И без того расходы велики.

— Какая же свадьба без расходов? Этак ваш сынок захочет жениться по другому разу. Разорить надо, чтобы он о разводе не помышлял.

— Ладно, пейте, коли подают!

Утром невеста в присутствии гостей подметала пол в избе, а ей то и дело бросали под ноги разный мусор: проверялось, умеет ли она хозяйствовать. Обряд этот продолжался долго и был, пожалуй, самым развеселым. Родственники и гости изощрялись, приносили в избу сенную труху, изношенные лапти-ошметки, с грохотом кидали в углы битые горшки, всевозможный хлам и лом. Один разыскал где-то остатки кавалерийского седла и бухнул их на середину пола. Невеста только радовалась: с мусором на пол кидали деньги, чаще медные монеты, иногда бумажки. Правда, в старом седле она ничего не нашла, хотя содрала с него всю кожу и войлок.

— Ищи, ищи! Плохо метешь, нечисто метешь! — кричали ей.

Галя старалась: у нее действительно все поглотила свадьба, все, что было ею заработано, скоплено за несколько лет. Но стоило ей зазеваться, как озорники хватили веник, и его приходилось выкупать.

Затем невеста — ее уже стали называть молодой — обходила всех присутствующих с блюдом свежих блинов в масле. Гость выпивал почетный стакан, закусывал блином и выкладывал на блюдо свою мелочишку.

Еще позднее молодлица в присутствии гостей раздавала подарки новой родне: свекру — голубую штапельную рубаху, свекрови — отрезы на сарафан и нижнее белье — подстав, свахе — ситец на кофту, золовке, сестре жениха, красивой статкой девушке, недавно окончившей десятилетку и работающей в колхозе, — платье и алую ленту в косу, тысячку — отрез на рубаху, бабушке — головной платок, остальным — кому носовой платок, кому кисет для махорки. Все, что шилось и вышивалось в течение многих недель самою невестой и ее матерью и подругами, было роздано за несколько минут. Кажется, никто не обижался.

Я, приезжий человек, тоже не был обойден. В дни свадьбы наградили меня бесценными подарками дружка Григорий Кириллович и колхозный шофер Иван Иванович Поповский. Они облазили немало чердаков и поветей и нашли для меня набор литых поддужных колокольчиков да воркуны-бубенцы на кожаном конском ошейнике. Скоро таких не будет и на Севере: не на грузовики же, не на самосвалы же свадебные их навешивать!

Подарили мне также резную раскрашенную прясницу столетней по крайней мере давности. Такие тоже, наверно, скоро исчезнут с лица земли. А к пряснице — плетеную веретенницу с веретенами. Еще молотило березовое — цеп, валявшийся без надобности почти с начала коллективизации. Удалось мне также достать два заплочных пестеря из березового лыка.

С этими свадебными подарками я и вернулся в Москву. Один пестерь подарил Константину Георгиевичу Паустовскому к его семидесятилетию, другой — поэту Виктору Бокову в день его свадьбы и в придачу лапти собственного плетения.

Все раздарил. Себе оставил только берестяную солоницу, колокольцы да воркуны на кожаном ошейнике.

Сажу за столом, пишу да позваниваю иногда, слушаю: хорошо поют!



НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА

★

ПЕРВЫЙ ШАГ

Не слишком самолет и не совсем корабль,
А самолет с уступкой кораблю,
Свинцово серебрясь, проходит дирижабль.
Я взглядом провожать его люблю.

Как семя кабачка, овальный и живой,
В пласты небес когда-то он запал:
Как семя кабачка,— под сорною травой
Несбыточного —
 он не запропал.

Была ли так тепла небесная весна
Иль сеятеля добрая рука
Хозяйски, перед тем как бросить семена,
Плавучие вспахала облака,—

Но только он пророс чудесной парой крыл —
Ревучих, перламутрово-седых
(Причем, боясь лететь без крыльев, так спешил,
Что на лету себе придумал их),

И дальше полетел, закончив контур свой
В крылатом ТУ, предвестнике ракет.
(Ведь наш веселый ТУ и есть не кто иной,
Как дирижабль в расцвете лучших лет.)

Но как же он взлетел — бескрылый — в первый раз?
Чем поднял сфер спрессованных плиту?
За что держался там? За допотопный газ?
За собственную легкость? За мечту?

...Вовеки славен тот, кто сделал первый шаг,
Самой своей бескрылостью крылат:
Хотя бы вату он теперь держал в ушах,
Хотя бы в теплый кутался халат.

Хотя бы умер он... И выронил перо
Безвестное... О! Выйду, поутру
И — знаю, что найду на облаке тавро,
След на воде, зарубку на ветру...

...С тех пор, как плавно лег — серебряным яйцом —
 На облачные перья дирижабль,
 Чтоб нынче из него — синдбадовым птенцом —
 Проклюнулся космический корабль;

С тех пор, как дымчатой, невидимой рукой
 За воздух ухватился монгольфьер,—
 Прекрасен первый шаг! О, все равно какой,
 Но только за черту, за тот барьер,

Где неизвестности лежит провальный мрак,
 Где не обронишь: «Я сейчас приду»...
 Клянусь бессмертием! — прекрасен первый шаг,
 Хоть многие шагнули в пустоту,

Древесина

Кольца на пне,
 как на воде круги,
 Словно кто нырнул и в волны завернулся,
 Кольца на пне,
 как на воде круги,
 Словно кто нырнул
 и больше не вернулся.
 «Кто бы ты ни был,
 вынырни, вернись! —
 Руки ломая, вокруг дерева гнутся.—
 Если круги
 над тобою разошлись —
 Значит, опять
 они должны сомкнуться.
 А если круги
 сомкнуться не должны —
 Значит, не все
 запропало под водою:
 Значит, вернется,
 встанет из волны
 Что-то волшебное, вечно молодое».
 ...Каюсь! — боюсь
 полированных столов,
 Кресел...
 В красивой кончине древесины
 Вижу абсурд:
 полированных стволов,
 Бритой долины, лошеной лошины...
 Смотрит сквозь лак
 сучок, который врос
 В крышку стола — лакированную лужу:
 Так мальчуган,
 о стекло расплющив нос,
 Смотрит из запертой комнаты наружу.
 Нити древесные
 вьются, словно флаг,

Реют, как дым,
 летят, как тучи пыли,
 Гибко плывут... Но, когда бы этот лак
 Их не прикрыл,— они бы дальшеплыли.
 Так на бегу
 спотыкается бегун,
 Так прерывается
 бьющаяся жила,
 Так с корабля выливают на бурун
 Жир из бочонка, чтоб судно проскочило;
 Так над стремниной извилин мозговых
 Кто-то встает и, промолвив «успокойся!»,
 Жестом руки останавливает их.
 ...Лак! Ты мой враг! Уж лучше эти кольца!
 Кольца на пне,
 как на воде круги,—
 Кто-то нырнул — и надеждой сердце бьется:
 Где-нибудь вынырнут
 свежие ростки:
 Кто-то — обходом, не сразу, но вернется.

Портрет

Живет, разнообразная, как почта,
 Где злое с добрым вечно сплетено;
 В ней бездна всяких «несмотря на то, что»,
 «хотя» и «впрочем», «все-таки» и «но»...

Веселая. Испорченная — в меру.
 Не все, но кое-что ей нипочем.
 Имеет ум, свой взгляд, свою манеру,
 Пожалуй, справедлива. Кое в чем.

Довольно остроумна. Норовиста.
 И горе ей почти что не беда,
 И сердце в ней — хотя не слишком чисто —
 Отзывчивым бывает. Иногда.

Но вот она, соседке глядя в спину,
 О ней судачит с темным озорством.

Как страшно там, где все наполовину:
 Не в с е й душой. Не ц е л ы м существом.

* * *

Пастух по стаду выстрелил кнутом.
 Дорога в лес тепла и лиловата.
 Узоры листьев черным решетом
 Просеивают золото заката.

Темнеет... Кольца плавятся на пне...
 Шум сосен сух, как теплый шорох шлака...
 Между стволами в розовом огне
 Танцуют мошки, словно крошки мрака.

А я еще живу минувшим днем:
Танцую про себя, отстав от танца,
Бегу за убегающим огнем:
Ну, солнце, ну, прошу тебя, останься!

Но вот и ночь, горячая, как весть,
Что завтра снова будет день погожий.
И чувствую, что солнце где-то здесь —
Под тонкой тьмою, точно кровь под кожей.



ДНЕВНИК НИНЫ КОСТЕРИНОЙ

Нина Костерина, автор публикуемого ниже дневника, — московская комсомолка, героически погибшая в годы Великой Отечественной войны при выполнении боевого задания в тылу врага.

Свой дневник Нина Костерина начала пятнадцатилетней школьницей в июне 1936 года. Последнюю запись она сделала 14 ноября 1941 года, накануне ухода из Москвы в партизанский отряд.

Подвиг Нины остался безвестен, но тот путь, которым она шла к нему, ярко запечатлен в ее дневниковых тетрадах.

Рукопись дневника мы печатаем с небольшими сокращениями.

Тетрадь первая

1936 год

20 июня.

Экзамены кончены. Я — восьмиклассница. И вот вдруг — откуда-то наплыло — буду писать дневник. Сказано, решено и подписано. И встала первая задача — как его назвать? Долго думала. Начала думать сначала о том, кто я и какая я? Талантов у меня нет никаких... Думая о своей бесталанности, я решила, что мой дневник так и должен называться: «Дневник обыкновенной девушки». Ну, самая обыкновенная. У меня даже в мечтах нет ничего особенного. Я слышала от некоторых девочек, как они мечтают: кто хочет быть врачом, кто инженером. А у меня о будущем — один туман...

Хочется начать дневник с даты, которая почему-то врезалась в память.

Это было 8 апреля. Мне исполнилось пятнадцать лет, и я праздновала свой день рождения. На вечере у меня были Алик, Борис, Володя, Воля, Люся, Тоня и Витя. Я волновалась перед вечером и боялась, что будет скучно. Однако вечер прошел хорошо — ни один день моего рождения не проходил так весело. И в этот вечер я первый раз «рискнула» танцевать с мальчиками — с Аликом и Витей. Когда Алик обнял меня за талию, а я положила руку ему на плечо, то невольно вздрогнула — такое было волнующее и радостное чувство. Танцую я давно и люблю танцевать, но с таким удовольствием еще никогда. Шутя, Алик поднял меня на воздух: сердце замерло, дыханье перехватило, и жаром запылали щеки...

После мы играли в фанты, и я целовалась с Аликом. Один раз он меня, другой раз я его, когда он уже уходил. Играли и во «флирт цветов». Володя с Люсей «флирт цветов» превратили во флирт между собой. Мне игра не понравилась, и я скоро бросила ее. Были и другие игры, и домой пошли часов в 11.

Хороший был вечер. Он скрепил мою дружбу с мальчишками, но рассорил с девочками. Особенно злилась Оглоблина и потом как-то обозвала меня «подлизой». По поводу «подлизы» пошла долгая канитель, и в конце концов Оглоблину перевели в другой класс.

Очень весело прошли майские праздники. Ходили в демонстрации через Красную площадь, видела всех вождей. Пели, плясали, кричали... А вечером билеты в оперетту. «Продавец птиц». Очень понравилось.

Надо отметить посещение Музея изящных искусств. Пошли всей семьей. Но в музее я отделилась и пошла одиночкой: хотела смотреть так и столько, сколько душе угодно. Много понравилось, но особенно одна французская картина: берег моря, вдали корабли, на берегу прекрасные развесистые деревья и толпа людей, в панике, с отчаянием протягивающих руки к морю. И еще одна английская картина — женщина в сером платье стоит с хлыстом на веранде...

А вывод из посещения такой: надо сходить еще раз, но обязательно с путеводителем.

Надо, конечно, на память отметить крупные события, происшедшие за это время: умер Горький и опубликован проект новой Конституции. О Конституции я что-то мало и плохо понимаю, хотя чувствую, что это в жизни нашей страны большое событие. Но вот смерть Максима Горького я переживала как личное горе. У нас есть полное его собрание. Много я уже прочтала, некоторые произведения доводили меня до бессонницы. И вот — Горького нет...

Много волнений было и при приеме меня в комсомол. Я вообще газеты читала, но пришлось все же пойти к отцу за помощью. Толковал он со мной часа два. Много напомнил, многое разъяснил, особенно по Конституции. После разговора с ним в райком комсомола пошла спокойно. Молодец у меня папка! В райкоме нас было десять человек. Все очень волновались. Мне в райкоме не понравилось: грязно, стены зашарпанные, сидеть негде. Мне казалось, что я была спокойной, а другие говорят, что из кабинета я вышла бледная-бледная. Дали билет — маленький-маленький, беленький.

Дома показала папе. Он подхватил меня, подбросил вверх и крепко поцеловал. «Молодец, Нинок!» — сказал он так, что мне стало очень весело и радостно.

Да, чуть было не забыла о наших женских делах: издан проект закона о запрещении абортов. Читала вечером заметки трех полек о жизни женщин в Польше, где женщины рожают прямо у станка, на рынке, в канавах... Меня это так взволновало, что когда легла спать, то ткнулась носом в подушку и давай реветь.

Надо отметить книги, прочитанные мною за это время. Читала «Девки» Кочина. Книга очень понравилась. «Человек, который смеется» Гюго чуть не сорвал мне экзамен по физике — зачиталась и забыла о том, что надо готовиться.

За время же экзаменов два раза была в Камерном театре и три раза смотрела кино «Цирк». Орлова изумительна!

Когда шли экзамены, папа пообещал: после «удачных» экзаменов поедем в Хвалынский. И вот вчера был последний экзамен — география. Сдала. Кончила семилетку. Ура, едем в Хвалынский!

22 июня.

Я уже в поезде. Еду с дядей Илюшей. Мама с Лелей выехали раньше. В купе у нас окна не открываются, страшная духота. Еду на верхней полке — здесь удобней читать и... мечтать! Читаю письма Насти —

своей хвалынской подруги. Все ничего, но сколько ошибок! Наверное, и в моих письмах немало этой «прелести».

26 июня. Хвалыnsk.

Чернил у нас нет, ручки тоже, поэтому пишу карандашом...

Приехали 24-го утром. Всю ночь не спала — стояла на носу **парохода** и смотрела на Волгу. Тьма, ветер. По небу бежали тучки. Между ними загорались и гасли звезды, и было в этом что-то тревожное и таинственное. А внизу, во тьме, грозно шумит и плещется Волга... Только огоньки впереди — белый и красный, и меж ними наш стремительный бег сквозь бурную, шумную ночь...

Как только приехала, переделалась — и к Насте. Весь день просидела у нее, а потом решила остаться и на ночь. Забрались с Настей на сеновал и говорили, говорили — до **рассвета**...

7 июля.

Мало внимания дневнику! Делаю себе замечание!

С Настей мы почти неразлучны. Говорим обо всем: вспоминаем прошлое лето, обсуждаем газетные новости, которые я ей ежедневно рассказываю, говорим о нашем будущем.

Дни стоят жаркие. Папа ходит со спиннингом по берегам Волги. Часто и нас тащит за собой. Один раз с ночевкой ездили на остров, жгли большой костер. На ночь папа из простынок соорудил палатку, но перед рассветом поднялся такой ветер, что палатку сорвало... Было много смеха и шума. Мама злилась: «Какая, говорит, это прогулка...» А мы опять искали в темноте дрова и жгли костер. И папа пел песни.

Ходили в горы. Там в глухой чаще смотрели старую, полуразвалившуюся часовенку. Какие там изумительные горно-лесные виды и какая вода в родниках!

2 августа.

Вот опять разрыв в дневнике. Но здесь совершенно не тянет к дневнику, тем более что стоит такая жара — прямо ручка валится из рук.

Основное наше развлечение — купанье. Бултыхаемся в Волге часа по три, пока зубы не начнут стучать. Сегодня я, Настя и Ядя были на острове. Когда стали купаться, попали в яму и сразу захлебнулись. Выскочили из-под воды, а Ядя стала кричать. Я так на нее гаркнула, что она перестала кричать, но глаза ее были все так же вытаращены и наполнены ужасом. Еле выплыли. Ядя назвала меня своей спасительницей.

3 августа.

Вчера, когда легла спать, вспомнила, как тонули, даже дрожь пробрала. Особенно эти Ядькины глаза — прямо ужас, какие они были огромные.

Опять папа утащил нас рыбачить на лодке. Заплыли далеко вверх. Папа поймал двух жерехов и судака. В лодке у нас было ведро с огоньком. Мама сварила уху — и какая же это была уха! Лучшей в жизни не помню.

А потом нас прихватил дождь, и мы промокли до нитки. Спасли только Лелю — папа накрыл ее своим пиджаком. Вернулись мокрые, но настроение чудесное.

Папа сказал, что до Саратова поедет на лодке. Ехать не хочется, но папа неумолим. Хоть реви — все равно не поможет!

6 августа.

Сейчас мы уже плывем по Волге. Часа полтора назад я простилась с Настей и Хвалынском. Последний вечер и последнее утро мы не знали, о чем говорить. Какое-то странное опустошенное чувство. Настя проводила меня до лодки... Когда мы поплыли, долго было видно, как Настя и Ядя стояли на берегу и махали нам платками... Потом они отвернулись и пошли в гору... Мне было очень грустно: казалось, кончилась какая-то хорошая, очень светлая пора, а впереди «лишь страдания и слезы...»

16 августа.

Письмо Насте

Дорогая подруга Настя! Только вчера мы приехали в Москву. Вот уже десять дней прошло, как мы расстались с тобой. Расскажу по порядку о нашем путешествии.

Когда лодка отошла от берега, такая тоска меня забрала, что я места себе не находила. И удивлялась: как случилось, что мы даже на прощанье не поцеловались? И почему у меня ощущение, что мы больше не встретимся?..

Неслышно скользит лодка, уходит вдаль твоя, дорогая для меня, фигурка... Я машу и машу платком, и слезы просятся наружу. Когда ты скрылась, я не могла оторвать глаз от прекрасных Хвалынских гор. Эти горы и этот город стали для меня родными. Но вот и пристань, где я высадилась полтора месяца назад. Папа взял здесь бидон пива, и мы поплыли дальше. Здесь и порвалась последняя связь с Хвалынском..

Новые впечатления охватили меня. С нашей маленькой лодки как-то по-особому ощущается могучий простор и необъятная красота Волги. Справа — лесистые горы. Папа рассказывает о них древние легенды. Но больше о гражданской войне — тут шли особенно сильные бои, в районе Вольска и Хвалынска. Люблю я слушать папу об этих днях — вот было время! Наши дни тоже интересные, но какие-то они уж очень «приличные»...

На ночь мы остановились на пустынном песчаном берегу. Разожгли костер, а утром пошли дальше. Днем поднялся ветер, Волга разбушевалась. Я тоже села на весла, и мы с папой с трудом удерживали лодку против ветра. А Леля тряслась от страха, и глазенки ее были такие же, как у Яди, когда она тонула у острова.

Из-за ветра нам все же пришлось встать у берега и спрятаться в кустах. К вечеру затихло, и мы поплыли дальше. Ночь пришла черная-черная. Только на реке какие-то огни. Папа в них разбирается и спокойно плывет. Вдруг нам навстречу — пароход, а сзади нас догоняет другой.

И мне и маме казалось, что оба парохода плывут прямо на нас. А Леля зарылась на дно лодки и захныкала: «Я боюсь». А папа спокойно и неторопливо загребает веслами и посмеивается. Мама стала требовать, чтобы подойти к берегу. «И тебе, Нина, страшно?» — спросил меня папа. И я призналась, что мне тоже страшно. Только после этого он повернул к берегу. Но в темноте дров мы не нашли, и мириады комаров напали на нас. Кое-как улеглись на дне лодки, спрятались под простыни.

А днем опять боролись с низовым ветром, который поднимал такие волны, что наша лодка совершенно скрывалась среди них. Но папа так умело вел лодку, что ни одной капли к нам не плеснулось... До Вольска все же не доплыли. Пришлось опять ночевать в лесу. Приютились в каком-то шалаше, и ночь была замечательной. Сидели у костра, и папа опять рассказывал о гражданской войне на Волге и Кавказе.

Утром мы подошли к Вольску, но снова поднялся ветер. Я тоже сидела на веслах и сделала что-то неправильное. Лодка развернулась бортом к волне, и нас захлестнуло. Папа разозлился, крепко обругал меня. Пришлось возвращаться к берегу и сушиться.

Только днем, когда шторм затих, мы подошли к Вольску. Город мне понравился, он шумней, оживленней Хвалынска. Мы купили здесь продуктов, папа взял для себя водки и пива, а для нас с Лелей печенья и конфет. Здесь же на берегу мы купались. Берег здесь хороший, сразу глубоко. Но я не боялась; на лодке посмеивался (после стопочки водки!) папка и дразнил меня тем, что я боюсь глубины.

Ночевали мы недалеко от Вольска. Ночью поднялся ветер, сорвал наши балаганчики. До утра сидели у костра. Утром обнаружили, что наши конфеты перемешались с песком. Однако мы с Лелей, кое-как обчистив их, съели, не смущаясь, что скрежет на зубах. Папа и мама, узнав об этом, обхохотались.

Днем подошли к Воскресенску. Здесь опять приключение: проходящие пароходы накатили на берег такие волны, что нашу лодку захлестнуло и перемочило все вещи. Пришлось опять сушиться, а папе еще добавлять пива.

В этот день мы подъехали к Маркштадту, немецкому городу. На ночлег спустились ниже и спокойно у костра ночевали. Папа сварил замечательную кашу. Потом долго пили чай и пели песни.

На другой день подъехали к Саратову. Когда мы подходили к берегу, около нас проскочила моторная лодка и резанула мальчика. Как он, Настя, кричал! Но не утонул, спасли. Говорили потом, что у мальчика оторвало руку вместе с плечом.

Два дня мы жили в Саратове, смотрели город. Хороший город — большой, красивый. Особенно мне понравился городской сад. Его здесь зовут «Липки». Много цветов, зелени, тени, фонтанов.

Из Саратова выехали в четыре часа дня, а утром — Москва!

Так прошло наше путешествие. Хорошее путешествие, но мне не хватало тебя. Особенно вечерами у костра или когда лодка тихо шла по стрежню Волги, а мимо плыли лесистые горы, — и мысли о тебе. Что сейчас делаешь?

В Москве никого нет и делать нечего. Хочется увидеть тебя и... поцеловать! Зря мы с тобой не поцеловались.

Настюша, пиши дневник. Тогда все воспоминания будут яркими. А из дневника присылай выдержки.

Какой длинный год впереди! И учиться нет охоты.

Пиши скорее, Настя, скучаю по тебе. Проклятая бумага — на ней и сотой доли не передаешь того, о чем тоскует сердце... Жить бы нам вместе, вот было бы счастье!..

Твоя до гроба Нина.

19 августа.

Вчера неожиданно позвонил Володька. Болтали целых полчаса. А вечером в кино — «Новые времена» Чарли Чаплина. «Цирк» мне больше нравится.

31 августа.

На днях зашел ко мне Володька. Эх, и не люблю, когда ко мне приходят мальчишки. В квартире потом все на меня так глядят, что... Да ну их!

Ходила сегодня в школу. Видела много наших. Нашу группу разбирают на две. Учителя все новые. Даже номер школы переменили.

5 сентября.

Первого сентября была демонстрация. Бузили мы ужасно. Танцевали на улицах под дождем. Устали, вымокли. Но было весело..

В классе меня выбрали старостой. Боюсь, что не справлюсь. Даже в постели думаю о классе и всяких делах.

6 сентября.

Получила письмо от Насти..

Вчера была на вечере в Институте права. Увидела там Женечку, нашу бывшую вожатую. По-моему, Женя похорошела. Девчата в претензии, что она красит губы и брови. И перманент. А по-моему, ничего особенного. Женя уже целый год замужем. Она учится и будет юристом.

На вечере выступал наркомюст. Был концерт, потом танцы. Нас было пять человек, поэтому один из нас оставался без партнера. Но я танцевала все время. Под конец так устала, что чуть не упала среди зала.

Домой пошли в два часа. Я была в таком восторге от вечера, что один милиционер спросил: «Что ты так смеешься?» Я ответила со смехом: «Весело — вот и смеюсь!» А на Никитской встретила группу студентов. Один из них заглянул мне в лицо и воскликнул: «Вот с этой девочкой я пойду домой!» Я смеюсь, студенты кричат: «Возьми, возьми с собой!»

Поздно пришла. Хорошо, что папы не было, а то мне бы крепко попало. Дома заглянула в зеркало и сама себе понравилась (что редко бывает) — румяная, глаза горят, веселая..

9 сентября.

Письмо Насте

Здравствуй, любимая Настюша!

Я долго не писала, потому что совсем замоталась — меня выбрали старостой. Выбрали в первый же день, хотя я не хотела. Но я комсомолка и отказываться от общественной работы не должна.

Милая Настя, первое, что бросилось в глаза, — это цветы. Спасибо! Глядя на цветочки с Волги, буду вспоминать тебя. И передо мною твоя карточка. Смотрю на нее, смотрю и не насмотрюсь. И вспомнила, что моей у тебя нет. Я постараюсь в скором времени сняться и тогда пошлю тебе.

Не обижайся, Настя, но я твоим письмом недовольна. Не потому, что оно маленькое. Видно, что ты спешила и поэтому наделала много ошибок. Ты плохо описала свою поездку в Куйбышев. Мне очень интересно знать, какой это город. Вот твои недостатки. Ты мне тоже пиши о моих недостатках. Хорошо?

Работать старостой неприятно. Всегда попадает от учителей за плохую дисциплину, а от учеников за то, что дисциплину подтягиваешь. Хорошо, что за меня все «старички», то есть ученики прежней группы. Новички же воображают ужасно. Когда будет собрание, откажусь от этой работы. Хватит для меня старостата.

Теперь самое главное: папа едет на Дальний Восток. Едет на два года. Ехать туда целый месяц. Ехать на поезде, потом на пароходе. Еще не решено, но, может быть, поедет всей семьей. И хочется ехать, и боюсь: отстану в ученье. И два года не увижу тебя.

Жду твоего письма. Целую триста раз.

Нина.

21 сентября.

Здравствуй, дорогой дневник! Совсем тебя забросила. Замоталась. Я теперь не только староста, но и председатель отряда. Комсоргом у нас Мулька — хороший парень. Членов у нас пять человек, кандидатов трое. Из них три девочки. Одна из них финтифлюшка!

Дали вожатую Люсю из Института права. Толстенькая по форме, а каково содержание — посмотрим.

На Дальний Восток не едем. Будем жить в Москве. Едет только папа.

23 сентября.

Сегодня были в Третьяковской галерее. Мы сейчас проходим «Слово о полку Игореве». Кстати, посмотрели выставку Репина. Очень понравилась картина «Бурлаки». Вспомнились рассказы папы, что мои прадеды тоже ходили в этих лямках. Надо будет еще сходить в Третьяковку.

30 сентября.

В нашей семье прибавился еще один человек — появилась вторая сестренка. Мама родила ночью в больнице. Все ждали мальчика. Бабушка разочарована.

Появился у нас и котенок. Все очень любят его.

7 октября.

Долго спорили, как назвать новую сестренку. Я хотела, чтобы назвали Наташей, бабушка — Олей. Победила мама и назвала ее Верой. Эх, и крикливая Вера — привыкла к рукам и орет.

По комсомольской линии дали мне работу с октябрятами. Я еще не занималась с ними.

Сегодня вечером купали Веру. Надо было видеть, с каким удовольствием она лежала в воде. А когда вытирали, не пикнула. Мы с Лелей очень любим сестренку и целуем ее так, что она даже кричит.

20 октября.

Проводили папу в далекий путь. Он даже всплакнул на прощанье, да и все пустили слезу.

Вчера папа купил мне гитару. Я очень обрадовалась подарку. Бросилась ему на шею, расцеловала. Жалко, что он уехал. Два года у нас не будет спутника многих наших неожиданных вылазок за город, на какие богат наш отец. Огонек где-нибудь на глухой поляне, шашлычок на угольках. Для себя папа приготовит четвертиночку, нам какого-нибудь сока. Закусим полусырыми кусочками мяса — от них дымом пахнет, — выпьем и запоем: «Славное море, священный Байкал...» За эти дни у нас перебивала толпа гостей — друзей и товарищей папы.

Теперь я сижу и тренькаю на гитаре. Разобрала уже четыре урока по самоучителю.

Вчера было комсомольское собрание. Мулька отчитывался в своей комсомольской работе. Выбрали комитет из трех человек. Меня все же утвердили на работе с октябрятами, несмотря на мой горячий отказ.

4 ноября.

Второго была на районном собрании в Институте права. Доклад делал секретарь райкома. Пришла домой в два часа.

У меня за первую четверть следующие отметки: два «пос» — по алгебре и физике, «отлично» по физиологии и остальные «хорошо».

Последнюю шестидневку перед концом четверти у нас каждый день проверочные. Я совсем измучилась. Даже бессонница и головные боли. Скорей бы праздники. Нас распустят на три дня.

Настя мне не пишет, и я не знаю, что думать. Гитара висит и молчит — нет времени.

7 ноября.

Вот наконец и долгожданный праздник. Будем веселиться вовсю!

Вчера вечером у меня было сквернейшее настроение. Даже не знаю почему. Весь вечер плакала, хотелось умереть, и заснула вся в слезах. А сегодня в груди что-то звенит и поет. Вскочила рано в прекраснейшем настроении. Чай пили с бабушкиными пирогами. Потом — в школу. В школе болтались до 11 часов, а в 11 пошли к Институту права. Студентов уже не было, и мы с трудом отыскали их в каком-то тупике на улице Герцена. В этом тупичке мы часа полтора пели и танцевали под гармошку.

В два часа прошли Красную площадь. Видела Сталина. За Красной площадью случилась суматоха. В узкой улице нас сплющило и понесло. Лидка, конечно, стала вопить, на нее тоже закричали. Когда нас вынесло на широкую улицу, стало легче, но милиционеры преградили дорогу и стали поворачивать всех на далекий круг. Но мы уперлись, зашумели. Вдруг слышим крик: «Прорвали, прорвали!..» (цепь милиции)... Мы туда. Милиция прижата к стене, все бегут, и мы за народом.

Вечером зашла Сима. К нам привязались Стелла и Леля. Пришлось взять. Пошли сперва на Арбат, посвященный детям. Там в витринах замечательные макеты Артека, пушкинских сказок и пр. Народу полно. С Арбата Стеллу и Лелю отправили домой, а сами пошли к Манежу, где была эстрада и площадка для танцев. Мы осмотрели стенды пищевой промышленности, хотели танцевать, но в толпе нас здорово помяли. Мы пошли на Театральную площадь. Там мне понравился портрет Сталина высотой со здание Мосторга. На обратном пути зашли на Манежную площадь и вволю потанцевали. Пришла домой к 11 часам с отбитыми ногами...

9 ноября.

Конец отдыха. Моментально пролетели три дня. Вчера Стелла, Леля и я ходили в зоопарк. Там рассмешил нас один инцидент. Билет взрослому стоит рубль десять копеек, а детский до двенадцати лет — двадцать пять копеек. Мы взяли правильно — два детских (Леле и Стелле) и один взрослый. Стелла предупредила, что ее по детскому не пустят — она такая дылда! Мы все же попытались — и нас не пустили. Пришлось покупать еще один билет взрослый, но зато мы посмеялись над Стеллой.

30 декабря.

Пламенный привет моей дорогой Насте!

Получила твое письмо сегодня утром и прочла его прямо в постели. Ты не можешь себе представить, как я обрадовалась, лишь только увидела конверт. Я долго ждала ответ, а оказывается, это наша «чудесная» почта так исполняет свои обязанности — твоих двух писем я не получила.

Отец мой работает на Дальнем Востоке. Нашей дорогой сестренке Вере уже три месяца, и она чудесно смеется. Не знаю, поедем ли мы к отцу: там очень холодно, и мама боится. Это чертовски далеко — на берегу Охотского моря. Но я с удовольствием бы поехала — хочу посмотреть свет.

Учусь я хорошо, посредственных отметок мало. Я веду большую общественную работу. Я и председатель отряда, и руководитель группы октябрят. Ношу пионерский галстук, значок КИМа и звездочку. Школа у нас большая, а комсомольцев всего семь человек, поэтому нас основательно нагружают. Но зато и авторитет большой.

Дорогая Настя, ты, наверное, скучаешь в своем провинциальном городишке, а у нас здесь замечательно весело. В Октябрьские торжества и в праздник Конституции было очень весело. Я всегда так танцую, что потом долго болят ноги. Часто ходим в Институт права (они наши шефы). У них всегда оркестр. Вот и сегодня идем туда. А завтра вечер в школе. А ты где будешь справлять Новый год? Смотри проводи веселей. У меня никогда не бывает недостатка в партнерах, и я никогда не пропускаю ни одного танца. Только с мальчиками я танцую редко — стыдно.

Недавно здесь была ужасная пурга. Я как раз шла в школу с одним мальчиком, как вдруг налетел ветер, закружил снег. Мы побежали, но до школы было далеко. Пришлось забежать в подворотню и немного подождать. Пурга свирепствовала по-прежнему. Мы боялись опоздать в школу и опять побежали. В двух шагах ничего не было видно. Нам пришлось взяться за руки. Ветер бил в лицо с такой силой, что приходилось идти спиной вперед. Шли и смеялись. В школу пришли все в снегу. После такой встряски настроение было прекрасное.

Сегодня первый день каникул. Вчера вечером мы своей компанией ходили в кино. Смотрели «Вратарь республики». Хорошая вещь. 4 января иду в театр (Всеволода Мейерхольда) на «Горе уму». С 5-го по 11-е я и еще три человека (две девочки и два мальчика) поедем под Москву в дом отдыха.

Ты, конечно, слыхала, что недавно умер Николай Островский. Мы ходили смотреть его в гробу. Он умер тридцати двух лет. Ты читала его книгу «Как закалялась сталь»? Если нет, то прочти. Замечательная.

Вот проснулась Верочка и сейчас заорет. Она у нас хорошая, и ее все любят. Смеется здорово, как будто понимает что-нибудь.

В школе у меня много подруг, но больше всего дружу с Леной Гершман, с ней и сижу.

Дома мы устраиваем елку. Наделали игрушек, купили свечей целых двадцать пять штук, бус, блестящих шаров и т. п. Будем также на елке у Стеллы и Ирмы — нашей двоюродной сестренки.

Мне сшили очень хорошее синенькое платье с белым воротничком и белым поясом¹. Сегодня я его надену. Купили на высоких каблучках туфельки и еще чулочки. Теперь я уже считаюсь барышней. Наша Леля больна экземой. Экзема переходит уже на лицо. Она все такая же худая.

Настюша, как получишь письмо, немедленно пиши ответ.

Целую тебя несчетное число раз. Всего хорошего.

Нина.

1937 год

25 января.

Забросила я свой дневник — только сегодня начала год.

Кратко об январе: двенадцать дней каникул прошли хорошо, но в дом отдыха я не ездила. На каток хожу часто и в театр тоже. За январь посмотрела: «Горе уму», «Чудесный сплав», «Принцесса Турандот» и «Флоридсдорф». В школе дела идут плохо. Ну и черт с ней, надоело...

Сейчас идет второй процесс троцкистов. Вскрываются жуткие вещи. Всех, наверное, расстреляют.

¹ В дневнике красками нарисовано это синее платье.

31 января.

Умерла наша бедная кошечка. Не дали ей пожить: отравили. И не знаем, кто сделал такую гадость. Всегда была такая веселая, игрунья, а последние дни ее рвало, ничего не ела. Вчера Леля и Маргарита ходили к доктору. Он дал лекарство, но «котя» не дождалась лечения и умерла.

Вспоминаю, как мы ее принесли. Она была такая крошечная, беспомощная. Все лежала на желтенькой подушечке, прелесть была киса. Теперь вся квартира жалеет. Впрочем, когда собирали деньги для врача, то собрали всего восемьдесят копеек. Остальные — до трех рублей — мы с Лелей дали, свои последние сбережения.

7 февраля.

Страшный процесс кончился. Конечно, расстрел. Как могло случиться, что старые революционеры, десятки лет борющиеся за власть народа, стали врагами народа?..

В школе стало веселее. Играем в волейбол, ходим на лыжах. Недавно произошел такой случай. Я влезла на окно и закрывала форточку. Вдруг Светлов подбегает ко мне, хватается за талию и снимает с окна. Все так и ахнули, а я смутилась и убежала. Все потом смеялись надо мной и Светловым. Но вообще Светлов противный, всегда старается обнять или еще что-нибудь. От Насти получила письмо и до сих пор не отвечаю. Она просит прислать ей шляпку, а мне, по правде говоря, чертовски не хочется возиться со всякими шляпами.

21 февраля.

Умер Григорий Константинович Орджоникидзе. Лида, Светлана, я и Лена Гершман ходили в Колонный зал Дома Союзов.

Потеря за потерей: Киров, Куйбышев, Горький, Орджоникидзе — старая гвардия умирает...

Сегодня я, Мулька и Вовка ходили с рабочими ТЭЦ на Красную площадь. Видели всех вождей на трибуне.

Седьмого февраля у нас был костюмированный вечер, посвященный Пушкину. Я была в костюме Маши. У меня было длинное оранжевое платье с белыми кружевами на шее и рукавах. И в маске, конечно. На вечере я чувствовала себя прекрасно. Танцевать было очень удобно. Светлана была в роли шамаханской царицы, а Валя в роли черкешенки. Мой костюм признан лучшим по стилю.

Послала сегодня письмо Насте. Написала о Новом годе, о катке, о шляпе, о лыжах, об институте, о Серго Орджоникидзе и т. д.

Получила письмо 1 февраля, а только сегодня ответила. Вот как!

4 марта.

Недавно произошла одна странная вещь.

К нам прислали нового преподавателя по Конституции, который нам всем очень понравился, потому что не похож на учителя и хорошо рассказывает. Однажды, когда мы со Светланой шли домой, мы увидели его. Он тоже шел домой, и нам было по пути.

Светлана дошла до переулочка и свернула к себе, а мы пошли дальше. Поговорили о том о сем. Он спрашивал, нравится ли он нам. Я ответила утвердительно.

А вчера я шла домой одна и вдруг увидела его. Он прогуливался по тротуару. Когда я проходила мимо, он пошел со мной. Было скользко идти, и он взял меня под руку. Потом записал мой телефон и спросил,

пойду ли с ним в кино. Я отказалась. И наконец в довершение всего просил не рассказывать Светлане, потому что она может все разболтать.

Я пришла домой сама не своя. Не знаю, что теперь делать? Посмотрим, что будет дальше. Он партийный, пожилой.

7 марта.

Ну что мне делать? Он от меня не отстает!

Два дня я ходила со Светланой по другим переулкам и, конечно, все ей рассказала. Она очень возмущилась.

А вчера мы пошли по тому же пути и на углу переулка остановились. Я думала, что больше не встречу его, и пошла своей дорогой. Я шла быстро, опустив глаза в землю. А он точно ждал меня. Подошел, поздоровался и пошел рядом. Я сказала, что только что рассталась со Светланой. Он, видно, испугался и спросил: «Где?» Но все же пошел меня провожать. Когда подошли к дому, я вбежала в подъезд, не подав ему руки, и сказала: «До свиданья». А он: «Всего хорошего». А мне хотелось крикнуть: «А вам всего худшего!» Черт противный! К хорошему это не приведет. Я уже и сейчас на его уроках сижу, как на иголках, точно пришибленная. Как все это противно!

21 марта.

Весна. Снег тает, бегут ручьи. Хочется побузить, но на днях кончается третья четверть и каждый день проверочные работы. Вчера было сочинение по литературе. Я писала на тему: «Почему Белинский назвал роман Пушкина «Евгений Онегин» энциклопедией русской жизни?» Написала три листа.

Скоро каникулы. Хоть и маленькие, но я рада и этому. И все рады. С наступлением весны все стали какие-то сумасшедшие. Весна действует.

Я купила себе дешевенькую, но прелестную шляпку. Она подойдет к моему красненькому платью. Скорей бы Первое мая!

25 марта.

Произошло что-то страшное и непонятное: арестован дядя Миша, брат отца, его жена тетя Аня, а Ирму, нашу двоюродную сестренку, отдали в детский дом. Говорят, что он, дядя Миша, был замешан в какой-то контрреволюционной организации. Что такое происходит: дядя Миша, член партии с первых дней революции, — и вдруг враг народа?!

27 марта.

Не пойму, что делается с матерью. Кричит, ругается.

Сегодня я и полы вымыла, и за хлебом сходила, и в больницу для нее же, и посуду всю перемыла, и сидела нянчилась с Верунькой весь день. Потом полезла в Лелины игрушки, та запищала (у нее слезы близко), мамаша, ясно, налетела, как коршун, в защиту ее, и мне влетела затрещина. Да еще накричала — и злая я, и старой девой буду и т. д. Ладно, черт с ней. Мать всегда за Лельку заступается.

29 марта.

Сегодня опять ревела. Все мать доводит. Все дни кричит и ругается. Черт ее знает, чего ей надо? Не житье стало, а мука... Уехать бы к отцу на Дальний Восток...

16 апреля.

Прошел день моего рождения совершенно незаметно. Только Тоня подарила мне красненькую сумочку. Остальные забыли нас с мамой.

И еще страшное и непонятное: арестован папа Стеллы. Он был начальником главка при Наркомтяжпроме. Говорят, он вредитель...

Вчера подралась. Один мальчишка стал бросать в Денисову песком, а та струсила и молчит. Нет у нее ни крошки самолюбия. Он ее всячески ругает, а она молчит. Девочки играли в волейбол, и игра была сорвана. А я стою и жду. Вот мальчишка наклоняется, берет песок и намеревается в меня кинуть. Но не успел он поднять руку, я бросилась на него, рванула за воротник так, что рубашка разорвалась, и ударила его по лицу. И... остановилась! Это меня и погубило. Надо было добивать его, если начала, а я остановилась. Мальчишка воспользовался моей остановкой и вlepил мне по носу и в глаз. У меня искры из глаз посыпались, а он убежал...

Сейчас смеюсь над этим, а вчера очень злилась и, конечно, больше всего на себя. Обидно, что не умею драться, как надо.

17 апреля.

Вчера было комсомольское собрание с восьми часов вечера до двух ночи. Вопрос: критика и самокритика. Директор сделал краткую информацию о докладе Сталина. Потом развернулась критика. Больше всего попало директору. И есть за что. Тюля, а не директор. Я тоже выступала и набросилась на него. Высказала все, что накопилось и накипело: и почему дисциплина плохая, и о вожатой, и о нем лично... В общем, здорово было. Попало и мне: говорили, что я перестала заниматься, не хожу на политзанятия и т. д. Это верно. В последнее время я действительно ничего не делаю...

Не выходят из памяти мои две сестренки, которые осиротели. Стелла-то еще при матери живет, а бедную Ирму спрятали в детский дом.

30 апреля.

Ура, завтра Первое мая!

Вчера у нас в школе был вечер, на котором была постановка «Как закалялась сталь». Из школы пошли в институт. У них был бал-маскарад и сколько замечательных костюмов! Встретила Женечку и расцеловалась с ней. Она что-то очень похудела, но в своем испанском костюме выглядела эффектно.

3 мая.

Вот и кончился отдых. За эти три дня, кажется, не отдохнула, а еще больше устала. Первого мая была на демонстрации, 2-го ездила в Сокольники на маевку, а вечером попала в Театр оперетты на «Сорочинскую ярмарку».

Через семь дней экзамены!

21 мая.

Сдала диктант. Завтра письменная литература.

Скука ужасная. Хочется чего-то нового, неизведанного. Целые дни мотаюсь из угла в угол и не знаю, за что взяться. Вяжу, шью, вышиваю, но только к экзаменам не готовлюсь. Роман, что ли, какой завести? Как жаль, что... Нет, лучше, как говорится, «для ясности» закрую дневник...

13 июня.

Экзамены кончились. Мне везло до самого последнего времени. Получала «хорошо» и «отлично». А на немецком срезалась — «плохо». Выводы сделала следующие: немецкий язык не пустяк, без немецкого языка нет пути в институт. Следовательно, надо на него основательно нажать!

20 июня.

Позавчера приехали на дачу. Все говорят, что даже за два дня я поспежала. Но скука продолжает преследовать меня. Не пойму, что же мне надо? Вспоминаю Хвалынский. В прошлом году я в это время была на Волге... А Настя не пишет.

3 июля.

Лениво переваливается время. Вышиваю, читаю.

Сегодня ходили за ягодами. Люблю ходить за ягодами, но только одна. Сегодня нарочно ушла далеко-далеко. Мне кричали, кричали, а я слышала, но молчала. Мне нравится ходить по лесу одной, и я совсем ничего не боюсь, чему все удивляются.

Местность у нас чудесная. Маленькая ложбинка, по которой протекает ручей, вся в зелени и цветах. На днях я нарвала здесь хорошенький букетик ромашек и васильков. Место пустынное, и сюда редко кто заглядывает.

Купаться ходим на Москву-реку. Дорога идет между двух лесистых возвышенностей. Здесь резко выражен моренный ландшафт: много больших камней по дороге и в реке. Из-за них и купаться здесь плохо.

Сейчас прочла Стеллин дневник (и поступила очень нечестно) и удивилась, что, несмотря на свои двенадцать лет, она очень развита. Рассмешило одно ее приключение. Апостол (мальчишка-хулиган из соседней деревни) приставал к ней, а она описала это в своем дневнике так, как будто он влюблен в нее. Поэтому она этого противного мальчишку описала красивым, интересным.

6 июля.

Опять я в этой деревеньке. Была один день в Москве и, несмотря на множество дел, прекрасно его провела.

Сходила в кино и встретила там испанцев. Их было человек двенадцать, и все одинаково оригинально одеты. Они очень интересные, молодые. Я даже засмотрелась на одного. Впрочем, и все в кино не спускали с них глаз.

Фильм «Маленькая мама» мне очень понравился.

На улице льет дождь. Два дня льет, и никуда нельзя выйти. Сегодня тетя Катя поругалась с домработницей, и мне попало. В немногих словах было сказано много. Папа далеко — он бы не допустил нас на дачу к высокочиновной родне!

13 июля.

Хорошие дни. Хорошее настроение. Но чего-то не хватает. Понимаю чего, но замнем, замнем...

Вышиваю кувшин с белыми и желтыми ромашками. Все признают вышивку прекрасной.

Вчера ходила в Тучково. Обратились ночью. Страшно грохотал гром, молнии то сверкали ломаными стрелами, то сполохом охватывали все темно-облачное небо. Но, несмотря на то, что было много шума,

дождя... не вышло! Все, особенно Аня, моя новая подружка, ахали, вздрагивали от страха, жались, как овцы, друг к другу. А мне было весело: молниеносные сполохи и следом грохочущий гром вызывали странный дикий восторг. Хотелось петь и кричать.

28 июля.

Лето в этом году мало приятное. Часто идут дожди. Вот и сейчас небо обложили тучи, и скоро, видно, пойдет дождь.

Недавно со мной произошел неприятный случай. Мы пошли со Стеллой купаться. Я стояла на камне и мылась, а Стелла попала ногой в осиное гнездо. Стелла отбежала от этого места, а осы вылетели всем роем и напали на меня. Я, как взбесившаяся лошадь, побежала на середину луга, брыкалась ногами, размахивала руками, но этим еще больше разъярила ос, и они, не щадя своей жизни, жалили меня. Тогда я сообразила встать «смирно». Осы покружились, погудели около меня и отлетели к своему гнезду. Однако покусали они меня крепко — все тело зудит. Особенно обидно, что Стеллу, виновницу всего, укусила только одна оса... Но злилась я только до рассказа Стеллы о том, как я брыкалась и металась по лужайке, какие у меня были глаза от страха и боли. Она очень выразительно рассказывала, и мы обе хохотали прямо до колик.

11 августа.

Вчера после обеда ходили в Тучково за хлебом — я, Стелла и Леля. Купили хлеба и пошли на станцию. Мы с Лелей подошли к паровозу и стали его рассматривать. Какой-то черный человек с блестящими глазами и зубами, машинист или кочегар, спросил, что мы смотрим. Мы стали его спрашивать, и он охотно рассказал нам о паровозе. Этот человек оставил очень хорошее впечатление, и мы на прощанье подарили ему яблоко. Леля даже захотела стать машинистом, но он ей порекомендовал учиться летному делу.

За лето я сделала большие успехи на гитаре. Выучила несколько вальсов, фокстротов, песенок. Лето кончается, до учебы остались считанные дни. Хочется скорее в школу...

Настя мне ничего не пишет. Это очень грустно и обидно.

22 августа.

С нашими хозяевами приключилась ужасная беда.

Сегодня часов в 12 неожиданно приходит с работы хозяин. Маруся, дочь его, думала, что он заболел, так он был взволнован и бледен. Но вслед за ним зашли еще два человека и стали делать обыск. Они обыскали хозяйскую половину, а потом двинулись к нам. Люди эти были полны какой-то ледяной вежливости. Я совсем онемела и не могла сделать ни одного движения. У нас стоял хозяйский шкаф с бельем. Осмотрев шкаф, двое агентов НКВД хотели было осматривать и наши вещи, но хозяин сказал, что мы дачники. Хозяин был бледен как полотно и так растерялся, что, когда его спросили, указывая на меня: «Это ваша дочь?» — он ответил: «Да!» Потом они все ушли на хозяйскую половину и о чем-то долго говорили. Потом мы слышали, как хозяин громко, с надрывом, будто удерживая слезы, сказал: «Ну, прощайте...» Тогда все заплакали, и громче всех — Маруся. Она с криком бросилась к отцу: «Тятя, тятя... куда тебя?..» Хозяин не выдержал и заплакал. Маруся вцепилась в него с таким отчаянием, что и у меня брызнули слезы. Хозяин наконец с трудом оторвал от себя дочь и быстро вышел. Вслед за ним ушли эти вежливые и холодные люди.

Ушли. И все, в том числе и мы — дачники, — плакали. Я пошла в комнату хозяев и стала утешать Марусю. Маруся, немного успокоившись, вдруг вскочила и сказала:

— Пойду за отцом! — И быстро ушла.

После обеда Маруся вернулась с матерью. Мать как вошла, так и запричитала. Бабушка стала утешать ее, и хозяйка рассказала, что хозяина взяли в тюрьму по подозрению в троцкизме.

Я долго размышляла над этим случаем. Вспомнила о том, что арестованы отцы у Ирмы и Стеллы. Что-то происходит. Долго думала и пришла к выводу: если и мой отец окажется троцкистом и врагом своей родины, мне не будет его жаль!

Написала, но (признаюсь) червь сомнения сосет...

29 августа.

Сидим трое — я, Стелла и Леля — в парке культуры на берегу пруда в удобных креслах. Девочки едят мороженое. По пруду плавают маленькие пароходы, набитые людьми, как корзины цветами. А вот и новое интересное зрелище: выстрел — и в небе образовалось быстро плывущее многоцветное облачко.

В парке можно хорошо отдохнуть. Красивые фонтаны, оригинальные беседки, бассейны.

В Москве мы уже с 25 августа. Но ничего из задуманного не сделано, я даже в школе не была. Встретилась с Лидой. Ее дела плохи: остается из-за физики.

Вчера была у Лены Гершман. Она только что приехала из Сочи, где хорошо отдыхала. Мне она очень обрадовалась, и мы решили с ней опять сидеть на одной парте.

10 сентября.

Недавно я зашла к Ване, комсоргу. Он пригласил меня к себе для разговора о Лоре: ее отец и мать арестованы; сама Лора совершеннолетняя. Какое мое мнение о ней? Лора сейчас почти на улице: пока живет у подруги, но к той скоро с дачи переезжают родители, и Лоре негде будет жить. Жуткое положение. Ваня настаивал на том, чтобы ее исключить из комсомола. Я не соглашалась, но комсорг так настаивал и доказывал: она, мол, не хочет отказываться от своих родителей — врагов народа. С чувством, будто делаю что-то плохое, я согласилась с комсоргом...

После этого разговора дома какие-то страшные слухи. Дядя Илья, брат мамы, работает в Забайкалье, в Хапчеранге, на оловянном руднике. Ему на днях посылали телеграмму. Пришел странный ответ: «Не доставлена ввиду выезда адресата». Мы все в большом недоумении: куда ему выехать? Его жена Марина послала четыре телеграммы, но ответа нет. Настроение у всех жуткое. Плачет бабушка. Плачу и я. Куда пропал Илья? А вдруг и моего отца арестуют? Нет, нет — я верю в своего папу! Он член партии, старый партизан — он никогда не был и не будет врагом народа.

Ох, и жуткое настроение!

А работа в комсомоле интересная. Мне дали пятый класс, где учится Леля. Хотят выбрать группоргом класса. У нас три комсомольца: я, Нона и Сергеев.

11 сентября.

Еще одна странная неожиданность: получена телеграмма, что папа, может быть, приедет в эту осень. Что случилось? Он уехал на два года —

и вдруг обратно. Я наревелась, бабушка тоже. Только мама сопит, ворчит и ругается. «Чего ревете,— говорит она,— все, мол, это пустяки». Как это пустяки, если отца посадят?.. Все полетит вверх тормашками. Но от отца я не откажусь!

13 сентября.

Сегодня у нас было кошмарно тяжелое собрание, посвященное делу Лоры. Ее исключили. Во время собрания она сидела позади всех и плакала. Все были очень подавлены.

Группоргом класса выбрали Сергеева.

«Здравствуй, дорогой папа!

Как ты там живешь? Мы с Лелей очень соскучились по тебе. Я учусь хорошо, принимаю активное участие во всей общественной работе школы. Работаю с пионерами того класса, где учится Леля. Леля тоже учится хорошо. Экзема у нее не прекращается, несмотря на все способы лечения. Меня выбрали в комитет комсомола. Недавно мы разбирали дело одной девочки. У нее арестовали отца и мать. Я вначале не соглашалась с предложением об ее исключении, но потом меня убедили, и я голосовала за исключение. И все же до сих пор не уверена, что ее надо было исключать. Девочка плакала, ей очень не хотелось уходить из комсомола, но в то же время говорила, что любит отца и мать и ни за что от них не откажется. После собрания мне было очень тяжело, и дома я долго плакала. Разве она виновата, что ее родители за что-то арестованы?

Если можно, приезжай скорей, папа. Без тебя скучно и неудобно.

Целую тебя крепко-крепко.

Твоя любящая своего папку дочь Нина».

15 октября.

Лена Гершман собирается уходить из школы. Хочет устроить у меня прощальную вечеринку. Но я против. Я остаюсь без лучшей подруги. У нас с ней интересные отношения: сидим вместе, бузим вместе, однако друзьями друг друга не считаем. Это она мне заявила вчера, когда я сказала, что остаюсь одна, без друга. Она все забыла: как я ездила к ней, когда она была больна, забыла наши прогулки и то, что я поверяю ей свои мысли и тайны. Мне вчера стало очень больно от ее слов. В будущем буду умней: никогда не буду раскрывать себя перед подругой... И все же, несмотря ни на что, я считаю ее другом.

8 ноября.

Сегодня бегали на кроссе, и всем на удивление я дала блестящий результат. В начале бега я отстала и была одной из последних, но на середине я надала, обогнала человек десять и пришла третьей. Из нашей школы я пришла первой. Лена ходила со мной «страдать» и так ухаживала за мной, что даже туфли надевала. Из мальчиков был Зюнька. Он прибежал пятым. Ухаживала я за ним, а он за мной. Даю ему платок (он, бедный, совсем замерз), угощаю конфетами, а он ходит за мной и преданно смотрит в глаза...

23 ноября.

Какое горячее, веселое время! Впервые в жизни так тянет в школу, что не могу усидеть дома.

Одно время после праздников мы с Леной Гершман почувствовали скуку: в школе, казалось, нечего стало делать. Не надо было бегать по

классам, шуметь, кричать и волноваться. У нас с Леной одинаковые характеры: когда есть дело, когда мы заняты по горло, бегаем, суетимся — мы счастливы, мы веселы. Но вот покой, тишина, дела нет — тень хандры опускается на нас, и мы ругаемся друг с другом.

Последние десять дней я каждый день хожу в свой отряд. Мне надо провести сбор, посвященный выборам в Верховный Совет. Когда я пришла в класс после праздников, мои ребятки чем-то были расстроены, не хотели оставаться после уроков и работать. Я долго старалась узнать причину и наконец допыталась: Антонов и Бутенко разлагают весь класс. Они из резинок расстреляли стенгазету. Мне удалось собрать четвертое звено и уговорить начать работу. Дело пошло на лад, и ребятки решили сделать макет избирательной кабины и выпустить стенгазету. Третье звено уже сделало замечательный макет поста пограничников. А сейчас они делают альбом о Хрущеве. Еще немало других вещей делают ребятки моего отряда.

В связи с выборами в Верховный Совет наша школа для агитации среди населения прикрепляется к Союзу писателей. Всеволод Вишневский делал у нас доклад. Вчера нас разбили на бригады, и сам директор назначил бригадиров.

Все комсомольцы, даже Нонка, оказались бригадирами, а я простым участником в бригаде Щербакова. Многие заметили, почему я, комсомолка, не бригадир. Мне было обидно, но я поняла, что директор просто мелко мстит мне за мое выступление на комсомольском собрании. И я, конечно, не собираюсь идти к кому-либо жаловаться. Однако Лена все же пошла к директору и стала возмущаться, почему она, не комсомолка, назначена бригадиром, а такая активистка-комсомолка, как Костерина, — рядовой участницей. Не знаю, о чем они там говорили, но Лена передала, что директор просил не считать это актом недоверия и неуверенности во мне.

После того как нам зачитали список бригадиров, мы пошли к нашей руководительнице Татьяне Александровне. Она тоже заметила, что со мной получилось неладно. Я рассказала ей про свои столкновения с директором в прошлом году. Она уверила меня, что моя честь комсомолки обязывает меня быть выше этих мелочей, а своей работой доказать свою общественную зрелость. Татьяна Александровна очень успокоила меня и вдохнула столько уверенности, что я решила: бригада фактически будет работать под моим руководством.

24 ноября.

Ну, взялись мы за работу. Вчера пошли по домам, отведенным нашей бригаде. Здесь же мы должны были встретиться с писателем Фишбергом. Мы прошли много квартир, беседовали с жильцами, говорили, где находится избирком, за кого следует голосовать и пр. Но «активного» Фишберга не нашли.

30 ноября.

Позавчера был сильный туман. Туман держался весь день, ночь и вечера до вечера. Мы с Леной бегали по улицам и наблюдали жизнь города в тумане. Так хорошо знакомый с детства город, его улицы, площади и переулки странно сказочно изменились, все угловатые, острые очертания стали расплывчатыми, здания выросли и расширились. Утонули и расплылись звуки города. Мы ходили, слушали и смотрели. Было очень интересно: даже противоположного тротуара не видно! Автомшины шли с зажженными фарами, непрерывно гудели. С трезвоном, опасно и медленно ползли трамваи и автобусы. И все же было много аварий.

Пешеходы в двух-трех шагах казались теньями, а дальше расплывались в тумане.

Вчера я, Лена и Гриша Гринблат собрались у Татьяны Александровны работать. Мы делаем выставку к XX годовщине. Члены исторического кружка принимают в этом активное участие. Я работала с увлечением — писала, вырезала, клеила. Татьяна Александровна осталась очень довольна моей работой. Но я успевала и кокетничать с Гришей. Татьяна Александровна сказала, что я равнодушна к нему. Это, конечно, пустяки. После работы Татьяна Александровна угощала нас чаем, а я была хозяйкой стола. Татьяна Александровна — замечательный человек, и я удивляюсь, почему она не в партии.

2 декабря.

Школа живет полной, интересной жизнью. Как только кончаются уроки, начинается беготня и крики: там пионерский сбор, и несутся медные звуки горна и треск барабана; там кто-то пробегает со знаменем; в классах работают кружки — драматический, музыкальный, хоровой и пр. Мои ребятки из пятого класса делают декорацию.

Для нас, комсомольского актива, директор расщедрился и отпустил деньги на завтраки. Булки с колбасой мы уничтожаем с жадностью, как голодные волчата.

Вчера я чертовски устала. На мою долю выпало работать над материалами крестьянских восстаний, потом 1905 года и наконец 1917 года. Закончив свою работу, мы с Леной остались ждать Татьяну Александровну. С Леной мы сходимся все больше. И одинаково любим Татьяну Александровну. Вчера мы с ней обхохотались, когда услышали сплетню Ароновой, будто Татьяна Александровна кокетничает с... мальчишками!

Эта Аронова — образец глупости и... вообще свистулька!

Ну ладно, буду делать уроки.

13 декабря.

Подготовка к выборам и самый день выборов прошли с большим оживлением. Наша бригада выпустила две стенгазеты, прошла по многим домам. В день выборов в половине шестого я уже была на ногах. Нарядившись в лучшее платье, я побежала в школу, хотя на дежурство надо было выйти только к 12 часам дня. В школе я дежурила до 9 часов, в 10 часов была с пионерами, а с 12 опять вышла на дежурство до 3 часов. В школе у нас было замечательно: ковры, шторы, картины, плакаты. В этот день я вволю накаталась на такси. Я ездила к старушкам и больным, привозила их и отвозила домой. За столом перед урнами стоял Всеволод Вишневский и каждому говорил несколько приветливых слов. Несколько раз я сама была в кабинетах, помогая неграмотным.

Этот день надолго останется в памяти. Писатель Фишберг, видимо расчувствовавшись от общей радостно-возбужденной обстановки, начал ухаживать за мной. Такой чудак! Я его зову про себя тюфяком: толстенький, мешковатый, с очками на носу. Все просит меня поучить его кататься на коньках.

15 декабря.

Получила письмо от папы:

«Дорогая Нина! Ты меня извини, что я тебе не пишу. Настроение у меня не «письменное» и вот почему: меня исключили из партии и, следовательно, сняли с работы. Подробности не буду рассказывать — в твои годы многое для тебя еще неясно. Но обязательно запомни одно:

больше спокойствия, выдержки — вот что сейчас надо тебе. Я не знаю еще, как повернется мое дело. Но даже при самом худшем повороте ты можешь быть уверена, что твой отец никогда не был ни подлецом, ни двурушником и ничем грязным и гнусным не запятнал своего имени. Поэтому — спокойствие! Дни, конечно, тяжелые, но духом падать нельзя и не надо. Переживем и преодолеем все трудности. Поверь мне, что у твоего батьки «есть еще порох в пороховницах» и склонять голову перед напастями я не собираюсь.

Привет Леле и Верушке, поцелуй маму и бабушку и других.

Твой батька».

Невольно хотелось крикнуть: «Слышу, батько!» Кажется, надо быть готовой к каким-то очень скверным событиям.

19 декабря.

Писатель Фишберг начал мне надоедать. После вечера в Доме писателей, на котором были такие замечательные артисты, как Борисов, Рина Зеленая, Хенкин и другие, Фишберг стал ко мне часто звонить, но редко заставал дома. Маме это не понравилось. Я ей посоветовала послать его подальше. Она так и сделала. Но он продолжал звонить. Я сама попросила его прекратить эти звонки. Честное слово, опротивел он мне еще с вечера. Хороший вечер был отравлен его пожатиями рук, комплиментами и... Вообще все это очень противно. Я рассказала Лене и, кстати, высказала свое мнение о таких мужчинах. «Мне кажется,— сказала я,— что мужчина, обративший внимание на девчонку,— гадкий мужчина! Естественно, что я таких сразу же начинаю ненавидеть и посылать к черту!»

А Лена возразила, что мы уже взрослые девушки и на нас начинают обращать внимание. Но все же я считаю, что поступила правильно.

20 декабря.

Сегодня произошла страшная и безобразная сцена.

С Дальнего Востока приехала знакомая папы Эсфирь Павловна, позвонила нам. Мамы не было, и говорила я. Она спросила, как наши дела. О многом в нашей жизни она знает: папа ей, как члену партии, все рассказал. Я сказала, что дядя Миша и тетя Аня арестованы и никаких сведений о них нет, а Ирма, моя сестра, в детдоме. Слыхала также, что исключен из партии дядя Вася, брат отца. Он якобы сказал, что любит больше Ленина, чем Сталина. Эсфирь Павловна рассказала, что папа держится бодро, духом не падает. Хотя и не работает, но зарплату ему выплачивают. В его дело должна вмешаться Москва.

Когда я кончила разговор, бабка накинулась на меня, зачем я все рассказываю другим. Я сказала, что Эсфирь Павловна знает папу и его дела, да и вообще я скрывать ничего не буду и в школе все расскажу. Тогда она с криком набрасывается на меня и требует, чтобы я не смела этого делать и что все это меня не касается. Когда же я повторила, что лгать и скрывать ничего не буду, она бросилась на меня, повалила на кровать и схватила за горло. «Задушу!» — кричит. Тут я тоже рассвирепела. Вырвалась, стала кричать, что она ведьма, что она недостойна получать пенсию за погибшего мужа — старого большевика...

Ясно, они все боятся — и тетки и бабка... А на меня после такой перепалки напало отчаяние...

Папа, папочка, приезжай скорей...

1938 год

10 января.

Вот и прошли каникулы. Новый год провели весело. Перед Новым годом получили приятные известия: Илья откликнулся — прислал телеграмму, но почему-то из Читы, а не с Хапчеранги. И папа прислал денег.

Приехал с Дальнего Востока еще один приятель папы — Андрюша. Молодой, веселый и немножко озорной. Он много рассказывал о Дальнем Востоке и о папе. Вопрос о его партийности еще не разрешен. Обвиняют в связи с братьями и со многими из тех, кто сейчас объявлен врагами народа — Бухариным, Радеком и другими. Папа до революции многих знал, а сейчас его в этом обвиняют. Полная дура, что ли, я, если ничего в этом не понимаю?!

Андрюша жил у нас целую неделю и швырял деньгами. Одарил всех шоколадом, купил торт, билеты в театр.

В школе у нас тоже был вечер. Два баяна, оркестр, угощение, танцы. Были гости — молодежь с ТЭЦ. Пришла домой в четыре часа.

Лена на вечере была в истерическом состоянии, кокетничала с мальчишками, но я видела, что она вот-вот заплачет. Последние дни учебы у Лены были тяжелые — пришлось выправлять плохие отметки за четверть.

На вечере я танцевала с пионервожатой Валею и даже плясала русского.

Сегодня получила письмо от Ирмы из детского дома. Она очень скучает и плачет. Ей хочется куда-нибудь выйти из детского дома. Если бы был папа, мы взяли бы ее к себе... Но мама, бабка?

Я говорила с Татьяной Александровной об Ирме. Татьяна Александровна ее очень жалеет и дала мне денег для передачи Ирме. Такие люди, как Татьяна Александровна, очень редко встречаются, и их надо очень ценить и беречь! Бедная, она сейчас очень плохо выглядит и совсем больна из-за Витьки Новоселова. Его за хулиганство выгоняют из школы. Татьяна Александровна уже дважды за него ручалась, и теперь ей очень больно. Но что-то с ней тоже произошло, только скрывает от нас. Недавно она нас предупредила, чтобы мы реже с ней встречались, а то нам попадет от директора. А с директором я очень резко поругалась из-за стеной газеты. Да, так «поговорили», что он меня выгнал из кабинета. Но ни за что и никто не заставит меня отшатнуться от Татьяны Александровны.

11 января.

Сегодня была у меня Лена. У ней дома не все благополучно: отец избил ее, мать тоже ополчилась, и оба дружно грызут свою старшую дочь. Отец, ругаясь, помянул мое имя, будто у нас есть какая-то компания и вообще неизвестно, где мы «шатаемся». Ее мать собирается даже говорить с моей матерью. Я попыталась успокоить Лену: всех девушек в таком возрасте подозревают в чем-то и следят — за мной меньше, за ней больше.

Только что Лена ушла, звонок по телефону: ее мать спрашивает, где Лена. Вот это контроль!

14 января.

В классе с Леной поругалась. По какому-то мелкому случаю я назвала ее душой. Это выражение в нашем разговоре часто встречается. Ленка хлестнула меня тетрадкой по лицу, и я уже со злостью обозвала ее идиоткой... Впрочем, мы тут же и помирились.

Все же надо сознаться, что у меня жуткий характер. Я не переносу, когда со мной грубо говорят или кричат. Как только что-нибудь такое, я вспыхиваю и становлюсь зверем.

27 февраля.

Вчера Лена получила комсомольский билет. С месяц назад я давала ей рекомендацию. Теперь у нас в классе семь комсомольцев. Лена уже нацепила значок и ходит с сияющим видом. А после первого комсомольского собрания Лена подбежала ко мне и крепко поцеловала. Ребята стали смеяться, а Лена от радости... заплакала! Вспоминаю, как и я волновалась и радовалась своим первым шагам в комсомольской организации. Теперь я чувствую себя спокойней и уверенней.

1 апреля.

Каникулы прошли неплохо. Ходила в Колонный зал. 30 марта была в Малом театре на пьесе «Лес». Два вечера гуляли с Гришей Гринблатом. Ходили в центр, на Красную площадь. С нами была Лида. Когда ее проводили, Гриша пошел провожать меня. Лениво перебрасывались словами — все переговорено. Вдруг уже около моего дома спрашивает: «Ну, а этот, как его... «конституция» — звонил тебе?» Я опешила. В минуту откровенности я рассказала ему, как «конституция» пытался ухаживать за мной. Но напоминание об этом почти забытом случае меня обидело, и мы расстались холодно. Вообще надо прекратить эти прогулки. Я не хотела бы портить свои отношения с Леной. Дружба наша сильно колеблется. Это уже не прежняя безоблачная дружба, есть на ней и пятнышки недоразумений. Гриша в ее жизни занимает, кажется, большое место, хотя она в этом и не признается. Гриша по сравнению с другими мальчишками большой чудак, но невинней всех. А впрочем, черт их всех знает...

Школьная жизнь катится по своему руслу, и дни похожи друг на друга. До экзаменов осталось полтора месяца. Скоро лето. Поедем ли куда? Хотелось бы в Хвалынский...

Вчера было жуткое настроение. Какие-то тяжелые, черные мысли клубились, но грозы (слез) не последовало. И, вероятно, плохо, потому что после слез все же наступает сон, а так — бессонница часов до трех.

12 апреля.

Вчера получили телеграмму: «Выслал две тысячи, больше не ждите. Приеду июне». Ничего не поняли. Командировка еще не кончилась, а папа возвращается. Вероятно, опять осложнения...

Вчера праздновали мое семнадцатилетие. Я не хотела, но мама и бабушка настояли. И за это сейчас бабка лежит больная после вчерашней выпивки. Были Лена, Лида, Лора. На столе не было пусто, пили даже вино, однако день рождения прошел скучно. Только Леля, сестренка, выпив вина, смешила всех и спасала от скуки.

13 апреля.

Неожиданно позвонил писатель Фишберг. Спрашивал, почему я забyla его и не звоню. Я замялась. Тогда он предложил позвонить ему, когда мне будет удобно. Я, как дура, растерялась и сказала: «Хорошо». А звонить ему, конечно, не буду. Он опротивел мне, в особенности после того, как я была у него на квартире. Дело было так.

В первый раз за то время, как пишу дневник, буду писать о своей внешности. Я знаю, что я некрасива, и мои любезные родственнички об этом частенько говорят. От этого даже бывает ужасное настроение: порой мне кажется, что меня нельзя полюбить.

Когда же этот тюфяк начал засматриваться на меня, да позвякивать по телефону, да уверять, что я ему нравлюсь, то я, ей-богу, как дура, рас-

терялась и стала отвечать ему, хотя человек это паршивенький, тюфяк, дрянь. Однажды перед отъездом в дом отдыха он позвонил мне и сказал, что очень хочет увидеть меня и просил зайти к нему. И я пошла. И не хотелось, а шла, как на привязи. Пришла, разделась, села на диван — старый, мерзкий, скрипучий диван. Пахнет от него пылью, прелью и клопами. Он сел рядом и стал читать стихи Маяковского и свои собственные. Читал он скверно, подвывал. На душе у меня было омерзительно. А он, считающий себя поэтом, не видел и не понимал, что творится у меня на душе. Этот слизняк попытался меня обнять и поцеловать. Я резко, со всей силой его оттолкнула (а сила у меня, кажется, отцовская), оделась и ушла. Он что-то бормотал и суетился около меня... И вот опять позвонил, а у меня не хватило характера дать настоящий ответ!

Сейчас была у Татьяны Александровны — она заболела. Пришла и Лена. Она рассказывала о своем семейном положении. Оно у нее действительно скверное. Отец вдвое старше матери, ужасный эгоист и мелочный. Например, такая подробность: он дает деньги жене на домашние расходы «порциями». Хамство! Наш отец приносит зарплату, выворачивает карманы и говорит маме: «Матка, бери и планируй!»

Много безобразных подробностей рассказывала Лена. А когда мы пошли домой, она говорила о себе. Говорила, что она совершенно безвольный человек, что ей даже безразлично — живет она или нет. Договорилась чуть ли не до признания и оправдания самоубийства. Я испугалась и сказала, что тяжелое, мрачное настроение бывает и у меня. Лена говорит, что все это пустяки, а вот у нее сейчас большое горе. Я спросила, относится ли это к домашним. «Нет». — «Касается Гриши?» Она ответила: «Да». И откровенно сказала, что любит его...

Вспомнила я свои прогулки с Гришей и перечла то, что записано 1 апреля. Вот глупостей написала! Хотела вычеркнуть и раздумала: если я буду вычеркивать все глупости, придется вычеркнуть половину дневника.

15 апреля.

Ну и дела! Мне сейчас объяснились в любви! И кто же? Боже, вероятно, даже дневник удивится и прыснет со смеха! Гриша! Не хочу и не могу сейчас писать об этом. Когда он сказал мне это, я еле дошла домой. Есть не могу, плачу и смеюсь. Леля со страхом смотрит на меня. Не зная, что делать, кормлю ее конфетами. Она удивляется и не берет. Пытаюсь объяснить ей, что получила «отлично». Она не верит...

17 апреля.

Теперь немного успокоилась и могу записать, что произошло.

Когда мне Лена сказала, что у нее горе, я решила добиться у Гриши, как он относится к Лене. Он провожал меня домой, и я спросила, нет ли у него горя? Он сказал, что горя нет. Тогда я спросила, может быть, у него какие переживания? «Об этом не говорят», — ответил он. Я стала все же настаивать и спросила, как он относится к Лене. Он откровенно сказал, что перестал ее замечать и охладел к ней. «Почему?» — настаивала я, так как считала его другом и не больше. Тогда он сказал: «Ты мне нравишься, Нинка, ты мне очень нравишься». Я старалась превратить это в шутку, сказала, что он еще мальчишка, что Лена девушка хорошая, красивая и я представить себе не могу, как после Лены он может полюбить меня.

«Лена, по-твоему, красивая?» — спросил он. Я ответила, что да, и была вполне искренна: Лена действительно красивая девушка. «А я не хотел бы, чтобы ты была такой!» — сказал Гриша.

Мы еще долго гуляли, а на прощанье я сказала ему: «Ты можешь относиться ко мне, как хочешь, а я тебя по-старому считаю только другом». Он задержал мою руку в своей и попросил прощения, что выболтал свою тайну. «Ты сама настаивала». — «Глупости,— говорю я,— чего ты расстраиваешься? Какие у тебя руки холодные... До свиданья, Гриша».

А когда я зашла в ворота, ноги ослабли, и я прижалась к стене...

Вчера мы встретились немного натянуто. Он смущен и расстроен, а в глазах будто сознание вины. Сегодня он спокойней.

Лена в ужасном состоянии. Уроков не учит, сидит вялая, безвольная. Мне очень жалко ее, но не знаю, чем помочь. К Грише у меня любви нет, а просто хорошее товарищеское отношение... Но кто знает... Если так будет продолжаться, то, пожалуй, и влюбишься.

20 апреля.

Сегодня мне приснился странный сон.

Мы с Гришей сидим в какой-то комнате за столом и так близко, что головы наши соприкасаются. Лена тоже в этой комнате, что-то делает позади нас. Лена спрашивает: «О чем вы говорите?» Мы повернули головы друг к другу и улыбнулись, не отвечая Лене. У меня опустилась прядь волос, я хочу ее поправить, но наши головы так близко, что Гришины волосы падают мне под руку, и я глажу их. Мне очень приятно прикосновение к его волосам. Потом Лена говорит: «Ну, я иду». И мы идем ее провожать. Она будто идет рожать второго ребенка. А я удивляюсь: «Где же первый?» Но ответа не получаю. Слышатся какие-то крики, но Гриша говорит: «Ничего страшного», и я успокоилась...

Приснится же такая чепуха!

Сейчас по радио передавали романс Чайковского «Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю». С некоторых пор я стала удивительно романтична, полюбила даже луну... Вчера искала ее, но не нашла.

22 апреля.

Вчера вечером мы с Гришей по телефону условились встретиться пораньше, чтобы идти в музей. Сегодня, когда мы с ним шли, то столкнулись с Ниной и Ольгой. Они начали смеяться и делать намеки, что вот, мол, неразлучные, всегда вместе. Мы скорей бежать от них, причем я очень смутилась и долго не могла начать разговор. Когда подошли к музею, там встретили ребят и среди них Лену. Мне показалось, что она пылливо оглядела меня. Ну что ж, пора ей догадаться. После осмотра музея Лена сразу поехала домой, хотя я ее уговаривала зайти ко мне.

За эти несколько дней я сильно похудела, и дома меня все спрашивают, отчего я похудела, не влюблена ли?

Между прочим, Гриша недавно проговорился, что он снова стал писать дневник. Интересно, придется ли мне его почитать?

23 апреля.

С каждым днем я убеждаюсь, что счастлива будет та девушка, которую полюбит Гриша. Гришина любовь облагораживает человека.

Вчера Гриши не было в школе. Мне хотелось ему позвонить, ходила около канцелярии, но так и не решилась. Когда пришла домой, мне сказали, что звонил какой-то парень. Я догадалась, что звонил Гриша, и весь вечер ждала повторного звонка. Но он не позвонил. А сегодня утром я сама позвонила...

Моросил мелкий неприятный дождик. Все прохожие жались под воротами, а мы с Гришей шагали и шагали по Москве. Нам не хотелось идти

к людям, мы предпочитали мокнуть и чувствовать только друг друга. И говорили, говорили, и он вдруг спрашивает: «Разреши взять тебя под руку?» — «Пожалуйста». Он весь вечер думал об этом, да не решился сказать.

Сегодня пошла к нему заниматься по алгебре. После алгебры Гриша стал читать мне стихи, и только мне стоило сказать, что мне нравится, он тотчас же вырывает из тетради и передает мне.

Поздняя осень

Поздняя осень. Все серо и хмуро,
Ветер охапками листьев плюет.
Холод сковал все живое. Понуро,
Серо и мрачно глядит небосвод.
 Время несется. Как будто недавно
 Воздух был ласков и пьян без вина,
 Время и люди, и все было пьяно,
 Все щебетало и пело: «Весна!»
Поздняя осень. Но отблески мая
Я сохранил, несмотря ни на что.
Помню, как шел, тебя провожая...
Как это было давно!
 Поздняя осень. Поблекли, увяли
 Листья сирени, черемухи, роз.
 Люди трезвее, суровее стали.
Поздняя осень. Мороз.

Последняя строфа мне очень нравится. Остальные тоже неплохи. Но ведь это стихи, которые Гриша писал не под моим влиянием, а под «другим» и... посвящал впервые не мне. Горько до слез. Он написал наверху: «Нине».

В разгар нашего поэтического вечера пришла его мама. Я растерялась, но она отнеслась ко мне ласково. Когда он провожал меня домой, мы разговорились о будущем. Он хочет стать ученым, а я его отговариваю. Он говорит, что ученый должен отдать науке всю свою жизнь, поэтому и не будет жениться. Сказала ему (и это вышло удивительно просто): «Конечно, этого быть не может, сам видишь». Он смутился и замолчал.

2 мая.

Тридцатого апреля мы с Гришей пошли смотреть иллюминацию. Были в центре, на набережной, но нового ничего не было. Гораздо интереснее был наш разговор. Говорили о многом, потом, когда уже шли домой, я сказала, что на следующий год перейду в другую школу. «Почему?» — «Может, и не уйду, смотря по обстоятельствам». Он понял меня так, будто он мне надоел, и тихо сказал:

Плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая — большая или крошечная?

«Последнее, видно, вернее!» — заключил он.

У меня задрожали губы и показались слезы. Стало обидно, что эту любовь он считает «крошечной». Стало жаль, что все это скоро кончится. Заметив мои слезы, он переполошился и стал допытываться, что со мной. Я объяснила, почему хочу перейти в другую школу: «Мне неприятно будет оставаться в школе, если все между нами кончится». Он думал, что я хожу с ним от «нечего делать», что я забавляюсь с ним. Меня перевернуло, и тогда в завуалированной форме я сказала, что люблю его. Он весь залучился радостью и стал просить прощения за свои слова. Расстались мы примиренные и обещали избегать всяких недомолвок.

А вчера было 1 мая, и я проснулась в шесть утра в прекрасном настроении. Пришла в школу, никого еще не было. Но когда из ТЭЦ подали две автомашины, ребят набегало много. С шумом и гамом уселись и покатали в ТЭЦ. Там стали играть в волейбол. Играли с азартом, но Гриша играет плохо, и мне было досадно смотреть на него. Часа через два подошли наши колонны, и я увидела Лену. Я очень обрадовалась, что она пришла. Мы с ней веселились все время и чувствовали себя превосходно. Пошел дождь, но от этого стало еще веселей. Зюнька был раздет, и я предложила уголок своего пальто. Он обнял меня за плечи, и мы накрылись пальто. Гриша шел впереди хмурый и скучный. Его вид меня раздражал. Почему он не веселится, почему не мог взять меня так же за плечи, как взял Зюнька? Я бегала, прыгала, пела, даже плясала. Это было уже после Красной площади. Мы шли своей компанией и натолкнулись на группу военных. Они отхлопывали лезгинку. Одного вытолкнули в круг. Я крикнула: «Давай, давай!» Кто-то толкнул меня, и я тоже пошла плясать. Плясала лихо. Военные и все наши хлопали в ладоши. Меня поздравляли: «Молодец, Нинка!»

А Гриша с нами не пошел — понес плакаты к машине.

Домой явилась без ног. Легла спать, но сон не приходил. Все думала о Грише и перебирала в уме происшедшее. И спрашивала себя: «Люблю ли я его или нет?» — и додумалась. Но до чего — пока не скажу, не буду делать выводы.

Сегодня несколько ребят, в том числе и Гриша, ходили на стадион смотреть футбол. Еще в школе Гриша дал мне свой дневник, и я его залпом прочла. Понравилось мне только начало, где он ругал меня за мое выступление против него. Дальше шли рассуждения о Тургеневе, потом о наших отношениях. Дневник мне не понравился. Все, кроме начала, будто написано по заказу. Искренности мало, много недомолвок. Например, о Лене ничего нет, хотя должно было быть много. Впечатление такое, будто Гриша готовил дневник для меня. О наших отношениях мало, но пишет прямо: «Я люблю ее сильно и думаю, что, если через десяток лет опять увижу и замужем, все равно буду любить нежно и крепко». «Я очень люблю Нину, так сильно, что прямо удивляюсь, как на это способен (зачеркнуто «человек»). Быть может, через много лет мы станем друг другу ближе, может быть, родственниками. Буду ли я счастлива? Вполне. Не потому, что буду ею обладать, а потому, что смогу с ней быть очень долго, смогу говорить и говорить, предупреждать ее малейшие желания, смогу наглядеться в ее любимое личико. Придет ли это времечко? Приди, приди желанное». Награждает меня разными эпитетами, зовет меня «Ниночка». Хороший мальчик. Именно мальчик, и больше ничего. Он еще верит, что можно любить десять лет!

3 мая.

Сейчас у меня была Лида. Она рассказывала о своих делах, а больше всего о мальчиках. Она говорит, что как только слышит объяснение в любви, ей этот человек становится противен. Чудачка. Если любишь, этого быть не может...

Но после разговора с Лидой мне стало ясно то, о чем уже думала, но в чем боялась признаться самой себе: я не люблю Гришу. Пишу это спокойно и уверенно. Гриша мне нравится, он очень хороший человек, но я его не люблю. Мне грустно, очень грустно. И сейчас мне кажется, что я никогда и никогда не смогу полюбить.

Бедный мальчик! После того, что было, после того, что я ему сказала — и вдруг такое! Как ему сказать? Я чувствую, что не в силах буду сказать ему правду. Может быть, полюблю его после? Но едва ли! А Гриша говорит, что едва ли он меня разлюбит. Люблю или нет?

Сказать Лене? Думаю об этом давно и пришла к выводу, что это необходимо. Дам ей свой дневник, и пусть читает. Надеюсь, поймет меня... Нет, не дам! Вдруг она совсем иначе поймет...

6 мая.

Вчера у нас в школе был вечер, ставили пьесу. Провожал меня Петя: Он прочел стихотворение, которое посвятил мне. Он говорит, что написал его «в припадке ревности»:

Чайкою залетной счастье пролетело,
Вспыхнуло на время, душу опалив,
Промелькнуло дальше, где-то близко село
И запело светлый, радостный мотив.

Я, конечно, сказала, что мне нравится, а то бы он разорвал его. Но оно мне не нравится: гонит рифму, а смысла маловато. Но что поделаешь с поэтами? Петя мне что-то еще говорил, но что, ей-богу, не припомню.

7 мая.

Дала Лене свой дневник. Она прочитала его и сказала: «От него я этого ожидала, а от тебя нет».

Мы долго ходили с ней вечером. Шел дождь, но у нас был зонт, и мы шли, не обращая внимания на погоду и время. Вначале Лена сказала: «После этого я его уже не люблю». Но потом часто повторяла, что любит до безумия. Долго я ее успокаивала и уговаривала, что можно исправить положение. Она жаловалась на свой безвольный характер и завидовала моему (нашла тоже чему завидовать!). Лена признавалась, что когда она идет с Гришей, то у нее язык точно привязан и она ничего не может сказать. И еще сказала, что ревнует и что нам троим будет очень тяжело в школе.

Сегодня мы втроем остались после уроков разбирать некоторые материалы. У Лены было жуткое настроение. Гриша спросил, почему у нее такое могильное лицо. «Ничего особенного». Домой с нами не пошла.

Должна сознаться, что, когда мы втроем, мне вдвойне тяжело: во-первых, потому что чувствую себя виноватой, во-вторых... ревную! Вот он мой характер. Я сейчас уже не убеждена, что Гриша равнодушен к Лене.

Но какое мне до этого дело? Ведь я же его не люблю? Вот в том-то и дело — я перестала понимать себя. Вот сейчас мне кажется, что я люблю его. Он сегодня был какой-то необыкновенный. Он взял из моей книги красную ленточку-закладку и не хотел отдавать. Я нарочно нахмурилась и потребовала ленту обратно. Он тоже насупился и отдал. И как же он был хорош в это время!

Вчера меня Лена уверяла, что я полюблю его, что он прекрасный человек и мы оба подходим друг другу. Она чуть не плакала, ругала себя идиоткой и обвиняла только себя за то, что он разлюбил ее. Она вечно молчала при нем, ему было скучно, и огонь погас...

10 мая.

Вчера мы ходили с Гришей, и он вдруг пристал ко мне: «Скажи, что у тебя на душе?» Я сказала: «Я себя перестала понимать. Я не знаю, люблю ли я тебя или нет». Он сказал, что хочет остаться один, и мы расстались. На прощанье он просил не думать об этом и все предоставить времени.

На душе скверно. Зверски хочется скорей закончить экзамены и уехать куда-нибудь подальше.

11 мая.

Настроение жуткое, хочется плакать.

Странное дело, когда я его вижу, мне кажется, что я его не люблю. А нет его, меня безумно тянет к нему...

Мама ругается. Приехал вчера из Баку дядя Миша. Выпили они с бабушкой, а сегодня он куда-то ушел и пропал. Бабушка ходила в милицию заявлять о пропаже человека. Пришла из милиции еще более злая, сидит и пьет водку.

12 мая.

Вчера мы с Леной читали дневник Гриши. Первый он забросил и начал другой с 3 мая, когда он приревновал меня к Пете и когда узнал, что я его не люблю.

Ездили на маевку. Был волейбол и два велосипеда. Немного научилась на велосипеде. Лены на маевке не было, а Гриша ходит злой и хмурый. Лена вчера сказала, что на меня сейчас не злится — ее утешило, что я Гришу не люблю. Понятно — Гриша в своем дневнике пишет, что будет внимательней к Лене. А я в его дневнике написала:

«Хотела тебе, Гриша, написать, но испортила много бумаги и бросила. Что-то не получается того, что хочу объяснить. Может быть, потому, что у меня сумбур в голове и нет ясности. Хочу все же сказать, что ты меня плохо понял. Ты слишком все преувеличиваешь и делаешь нелепые выводы. Пожалуйста, не ломай головы и не спрашивай меня, что это значит. Когда-нибудь все будет ясно, а сейчас пусть идет само собой. Время покажет. Дневник мне твой понравился. Дневник хороший, и сам ты очень хороший, Гриша, растешь не по дням, а по часам, чему я очень рада. Нина».

14 мая.

Отчего я страдаю? Я же не люблю его? Но почему же ревную к Лене? Какое мучение видеть, что он отшатнулся от меня! Во время перемен он ходит с Леной. Я делаю вид, что мне совершенно не интересно знать, о чем они говорят. Злость и тоска! Лена сегодня весь день веселая, а я мрачная. Он сегодня меня спросил: «Почему ты такая злая?» Если б он знал, как больно задела меня его слова. Завтра идем в музей, а он ничего не сказал.

.

Только что пришла домой и позвонила ему. Он примчался, как сумасшедший, задохнулся от быстрого шага. Пошли с ним гулять. Он спросил, согласна ли я с предложением Лены: поехать в парк и там прочитать взаимно дневники. Я категорически отказалась.

В школе у меня было отвратительное настроение, а сейчас, когда мы ходили с ним и оживленно разговаривали, обоим было хорошо. Он несколько раз повторил: «На нашем фронте без перемен».

16 мая.

Мы поссорились.

В школе он предложил, чтобы я проводила Лену до троллейбуса. Я поняла и согласилась. Когда Лена села в троллейбус и уехала, подошел Гриша. И по обыкновению сказал: «Ну?» Меня почему-то взорвало: он вечно ждет, что я, как патефон, заведу разговор. Он удивился моей горячности и спросил: «Что значат твои слова: мне надо с вами держаться осторожней? Не значит ли это, что ты играешь?» Что ему сказать?

Что он дурак? Я сказала, что объяснять и оправдываться не буду. Тогда он спросил: «Тогда, может быть, кончим эту историю?» Я молчу. И он ушел. Я долго смотрела ему вслед. Он не обернулся. Сейчас пойду на автомат и позвоню ему. Я хотела выдержать тон, а теперь вижу, что не могу. Меня тянет к нему...

...Ходила на автомат, звонила. Дома нет. Я прошла по бульвару до Арбата, обратно. И еще раз позвонила. Опять нет дома. Тогда я пошла по улицам, по которым он обычно ходит домой. Может быть, встретится. Нет, не встретились. Пришла домой. От прогулки немного успокоилась, но заниматься мне не могу. Что делать? Я думаю, что он меня разлюбил и ищет во мне недостатки. Недостатков во мне много, но обвинение в «игре» я не заслужила. Это оскорбление. Может быть, опять станем друзьями?

Начинаются экзамены. Боюсь, что Лену не допустят: у нее по алгебре и физике «плохо».

19 мая.

Сегодня занимались у Лены. До прихода Гриши прочитала ее дневник. После взволнованных сумбурных записей пошли более спокойные. Она поняла, что Гришу она любила дружески, как и меня. Решила из школы не уходить, чему я очень рада. Просидели до вечера, а потом пошли гулять. С Гришей — полный мир.

20 мая.

Одиннадцать часов вечера. Только сейчас пришла с Москвы-реки: мы полюбили это место. Я сидела на камне, он стоял передо мной и боялся, что я упаду. У меня после этого вечера тепло и радостно на душе. Какой он хороший!!! Он рассказывал о наших ребятах. Какие они все мерзавцы и подлецы. Такие вещи он говорил о них...

Я сидела на камне и вспоминала Волгу.

Много песен про Волгу пропето,
Но напев был у песен другой,
Раньше в песнях тоска наша пела,
А теперь наша радость поет.
Красавица народная,
Как море полноводная,
Как родина свободная,
Широка, глубока, сильна...

Но если вслушаться, и эта песня задумчивая. И всегда, когда ты одна у Волги, одна, даже в солнечный, ясный день, не тоска, а грусть, хорошая грусть закрадывается в сердце. Ох, как хочется на Волгу, но не одной, а с ним... Мне надоела Москва и ее нетактичный люд. То тебе говорят сальности, то толкают, то без причины ругаются...

Получили сегодня от папы телеграмму, что он поедет прямо в Хвалынский, где и состоится наше свидание. Едем на Волгу, а Настя, черт, не пишет!

21 мая.

Сегодня пошла к зубному врачу и неожиданно встречаю там Фишберга. «Что вы меня забыли?» — «Черт бы тебя побрал», думаю. «Может быть, зайдете или позвоните?» — «Нет, говорю, не найду и не позвоню!» — и пошла от него в сторону. Он за мной: «Чем объяснить?» — «Не желаю давать никаких объяснений!» Хорошо, что его позвали к врачу, а то он получил бы от меня что-либо покрепче. Черт паршивый!

22 мая.

Вчера Гриша позвонил, звал гулять. Я отказалась: буду заниматься. Но часа через два сама позвонила. Я ждала его на бульваре и смотрела на ребяташек. Люблю детей...

Потом мы с Гришей пошли шляться по улицам без цели и направления. Полил дождь. Мы спрятались под какой-то навес и долго молча стояли. И молча сказали друг другу больше, чем словами. Он взял мою руку и крепко, крепко сжал...

А дома неожиданное и что-то страшное, непонятное. Появился пропавший дядя Миша. Он, оказывается, приехал в Москву искать защиту для своего брата, арестованного в Баку. Он пошел искать правду и защиту в НКВД, и там его арестовали. Сейчас у дяди Миши весьма смущенный и испуганный вид. Рассказывает о жутких безобразиях в Баку, а сам оглядывается и говорит шепотом. В НКВД его подержали и, освобождая, посоветовали о брате молчать. К вечеру разгулялись на радостях, что Миша все же на свободе. Запели «По диким степям Забайкалья...». Бабушка заплакала. Я сидела в другой комнате, и мне стало грустно. Вот опять поют «Славное море, священный Байкал». Люблю эту песню. Ее особенно хорошо поет папа... Скоро-скоро я его увижу...

23 мая.

Ура, геометрия прошла! Я отделалась быстро и хорошо. Лена засыпалась. Задачу сделала, а на теореме провалилась. Вышла из класса и заплакала. Погуляли, успокоили.

Вечером — прыжки с парашютной вышки. Замечательно!

А перед тем была у Лены и поругалась с ее отцом. Он говорит, что Лена сама виновата, что провалилась по геометрии. Я ему ответила, что вы виноваты: почему не пускали ее ко мне заниматься... Лена об отце говорит ужасные вещи...

25 мая.

Вчера у меня была Лена. Она позвонила Грише, и он пришел. Но скоро ушел — не хотел встречаться с Зюнькой, который учит меня на велосипеде. Он учит, а Гриша злится. Почему он не может быть, как все — спокойным и простым?

Кончается мой дневник. Я так привыкла к этой небольшой уютной тетради. О другой тетради думаю с холодной враждебностью. Два года я поверяла своему дневнику думы и чувства... Перечитала сейчас. Много детской чепухи, много глупостей, но в общем интересно.

Просматриваю свое прошлое, как киноленту... Прощай, иди в архив. Пройдут года, и, может быть, отряхнув с тебя пыль, я буду с грустью перелистывать пожелтевшие листы, вспоминать и плакать над ушедшей юностью...

Тетрадь вторая

5 сентября.

Думала начать с сегодняшнего дня, но потом решила: надо рассказать о всех трех месяцах. Они — крутой перелом в моей жизни.

Сдала экзамены я более, чем удачно, — только по алгебре «хорошо», а по всем остальным «отлично». И вот экзамены сданы, а мы сидим. Папа писал, что приедет прямо в Хвалы́нск, а никаких известий от него нет. Посидела я, поскучала и решила ехать в лагерь. Райком назначил

даже жалованье. Простились с Гришей на лето, как прощаются любящие друг друга люди.

Обстановка в лагере с первых же дней ошеломила меня. Работа оказалась адски трудной. Ребята — народ капризный, и для работы с ними надо нервы иметь воловьи. На первых порах я даже плакала. И не только мне было тяжело. Тяжело было и Коле. Общая работа, общие горести и печали сблизили нас и сделали друзьями. Он сначала был в хороших отношениях с Ахметовым и Шульгиным, но потом поругался с ними. Я сказала ему: «Помни, Коля, что здесь у тебя среди ребят, даже среди комсомольцев, нет и не может быть друзей. И помни: только я тебе буду лучшей опорой в трудную минуту».

Мы были одиноки среди неорганизованной, недисциплинированной массы ребят. Начальник — тряпка и тюля, его помощница Валя тоже мало что делала.

А комсомольцы Ахметов и Шульгин вели себя хуже пионеров, разлагали их и срывали нашу работу. В первой смене только Жора Живов более или менее работал, а вернее, не мешал работать.

Срывы линейки, уход на футбольное поле, гулянье до часу ночи, дрянные песенки — все это обыкновенные вещи для Шульгина и Ахметова. Под конец Шульгин вел себя в высшей степени похабно. Его роман с Шурой Федоровой известен был всему лагерю и грозил вылиться в большой и скверный скандал. Этих дрянных мальчишек, особенно Ахметова, я буквально возненавидела.

Измучилась я за первую смену порядочно. У меня в отряде октябрят было двадцать человек, почти все мальчишки — сущие бесенята. Из одной школы нам дали самых отборных хулиганов... Вся первая смена прошла, как тяжелый безобразный сон...

И я была очень рада, когда за два дня до закрытия меня послали в Москву для приема вещей второй смены.

А дома, когда я пришла, меня ударили обухом по голове: папа арестован.

У меня закружилась голова, я ошалела и почти в полубреду написала Лене такое письмо, что она его немедленно сожгла. Дома у нас такое состояние, будто мы ждем какого-то нашествия.

Я решила: еду опять в лагерь и теперь уже с определенной целью — нужны деньги.

Старшим вожатым назначили Николая Мазия — замечательного парня. Дисциплину он с первых же дней поставил хорошую, и работать стало легко. Из старших ребят во вторую смену оставили только Живова и Лукьянова. Лукьянов стал моим помощником, а Живов — в первом отряде у Леши.

У меня в отряде было двадцать пять человек, и работать с ними было очень хорошо. Именно эта работа и просто все мои ребятки спасли меня от мрачного отчаяния и непонимания того, что произошло с отцом.

Многих ребят я полюбила и долго или даже совсем никогда их не забуду. Вот — милая Галочка! Это самый маленький человечек в нашем лагере — девочка в красном платьице с крылышками. Личико кругленькое, розовенькое, глазки большие. Как костер, так она тут как тут. Любимица всего лагеря и Коли Мазия. Но, когда Коля звал ее, чтобы приласкать, она с криком бежала ко мне: «Хочу к Нине. Я Ниночку люблю!» Я ее тоже очень полюбила.

В первой смене была у меня любимица Женя, тоже малышка. Да нет, все они мне стали дороги, и сейчас передо мной стоит целая вереница лиц. Помню их всех, все фамилии, имена, характеры и ни о ком не вспоминаю с плохим чувством.

Элла, Света, Майя — мои значкисты, уехавшие из лагеря с двумя

значками на груди и с подарками. Вова был переведен в пионеры. А татарин Коля из первой смены — желтоглазый мальчуган, поющий тягучие татарские песни!

Помню ночь у костра. Я сижу одна в лесу, а Коля, Юра и Вова спят в маленьком шалаше. Шагах в шестидесяти — большой шалаш второго отряда. Там Ахметов, Живов и все остальные. Там весело, шумно, а у нас тишина. Я сидела так всю ночь, и мое одиночество нарушали только дозорные, ходившие с палками и «сторожившие» наши шалаши. Они приходили, ели картошку и уходили снова в темный, таинственно настороженный лес. Они немного боялись, но мужественно скрывали это — смелые, хорошие ребята!

Встает в памяти черный темноглазый мальчуган в красных трусиках с восточным складом лица. Он хорошо рисовал, но часто плакал. Его ребята не обижали, они его любили, но своими проказами мешали ему спать, и он, уткнувшись в подушку, плакал. Я его очень любила. Из первой смены больше всего его да Женю. Жил он в лагере два месяца, и ни разу я с ним не поссорилась. Он милый мальчуган и хороший художник. Почти целый альбом заполнил своими прекрасными рисунками...

Ко мне относились очень хорошо. Даже некоторые мальчишки звали Ниночкой, не говоря уж о девочках.

Но переезд в Москву все нарушил, весь мой летний покой. Во-первых, плохо вышло с Леной. Она сдавала экзамены по физике и геометрии и опять провалилась. Ее оставили на второй год. Я была у Татьяны Александровны и при объяснении с ней расплакалась. С Гришей поговорили по душам и решили, что мы были и останемся друзьями.

7 сентября.

Какой зловещий мрак окутал мою жизнь. Арест отца — это такой удар, что у меня невольно горбится спина. До сих пор я держала голову прямо и с честью, а теперь... Теперь Ахметов мне может сказать: «Мы с тобой товарищи по несчастью!» И подумать только: я его презирала и презирала его отца — трюксиста. А сейчас меня день и ночь давит кошмар: неужели и мой отец враг? Нет, не может этого быть, не верю! Это ужасная ошибка!

Мама держится стойко. Она успокаивает нас, куда-то ходит, что-то кому-то пишет и уверена, что недоразумение скоро рассеется.

В школе у меня все благополучно. Нашему новому комсору Нине Андреевне я сообщила о своих семейных делах. Она успокоила меня и посоветовала не падать духом, не отчаиваться. Мне опять дали отряд, хотя я, ссылаясь на свое положение, решительно протестовала. Часто езжу в райком на курсы вожатых, что отнимает много времени.

Как спасение от мрачных мыслей и настроений, вспоминаю прошедшее лето, лагерь и своих маленьких друзей. Гриша мне писал редко, и письма его мне не нравились. Не умеет он писать писем. Разлука лучше всего выявляет отношения между людьми. Когда я почувствовала, что вспоминаю больше Лену, чем Гришу, то решила, что весной у меня был обыкновенный любовный бред девчонки. От этого бреда помогла освободиться деревенская обстановка, работа с ребятами, общение с другими комсомольцами и арест отца. Я почувствовала себя очень одинокой без отцовской крепкой руки.

Сейчас ночь. А в лагере это было лучшее время. Одно место там у нас было очень хорошее: по дороге в деревню Аксенки есть маленький деревянный мостик. Облокотившись на перила, мы смотрели на луну, на падающие звезды, слушали далекое пение петухов. В небольшом озере квакают лягушки, да в траве неутомимо трещат кузнечики. Кажется,

что мы, два-три комсомольца, одни во всем мире. И охватывает нас непередаваемое странное чувство грусти и печали о чем-то невозвратимом или недостижимом, ожидание чего-то тревожного или радостного... Да, ночь нас вознаграждала за суматошный, крикливый день...

А сейчас точно веревка затягивается вокруг горла, такое отчаяние нападает, что нет сил встряхнуться, разогнуть спину и смело посмотреть людям в глаза. И вздохнуть глубоко и радостно...

10 сентября.

Дома какое-то запустение, мрачное молчание, никто ничего не делает. Бабушка плачет — наш отец был ее лучшим зятем. Он же был другом ее мужа (нашего дедушки), погибшего в гражданскую войну. После гибели дедушки папа не порывал связи с его семьей и вскоре, еще во время войны, женился на маме. И в довершение всего нет сведений о дяде Илюше. Он должен был уже приехать из Забайкалья и пропал. Мы все решили, что и он арестован...

Мама ищет работу. За спиной папы мы не знали нужды, а теперь все затрещало...

Мне поделиться горестями не с кем. Лене, кажется, не до меня: она что-то переживает, но мне не говорит, скрывается от меня, как улитка, в свой мирок...

А у меня сосущая тоска. И все противно или безразлично. Вчера я, Лена и Жора были в Малом театре на пьесе «На берегу Невы». Очень хорошая пьеса, и играют хорошо, а я смотрела с холодным безучастием.

С Гришей, кажется, скоро поругаемся. Винаваты оба. Он держится ближе к Лене, меня зовет «Нинка». Я же вспыхиваю от любого слова, которое мне не нравится. Трещинка между нами становится все шире и глубже.

Таков уж мой характер: ночью буду плакать, проклинать себя за резкость, вспыльчивость, а утром вести себя еще резче и грубее. Дикий характер... Правда, мне кто-то сказал, что и облик и характер у меня азиатский.

Вспоминаются рассказы папы о наших предках по отцовской линии. Прадед папы, крепостной, страшной силы человек, бежал из рабства. Был в разбойничьей шайке, а когда пробирался на Дон, его поймали. При поимке он сломал одному руку так, как обычно ломают палку. Другому так вывихнул — почти оторвал руку. Но его все же связали, отхлестали плетью до полусмерти и передали барыне. Барыня тоже, видно, была под стать своему крепостному — она так обломала его, что он стал у нее... палачом для своих же односельчан. Дед папы, мой прадед, тоже был сильный, негнушийся человек. Он женился на дворовой девушке. Однажды барыня присылает за его женой — лучшей кружевницей в поместье. Прадед ее не пустил. Барыня вызвала его к себе. «Ты почему не присылаешь жену?» — спрашивает барыня. «Она моя жена и должна смотреть за хозяйством и детьми». У барыни была палачиха — тетка прадеда. От ее удара свалились самые здоровые мужики. Барыня приказала палачихе-тетке наказать непокорного племянника. Тетка вцепилась ему оплеуху, но племянник устоял и в свою очередь так ответил, что тетка замертво отлетела в угол. Затем прадед вытащил из-за голенища (он был столяр) стамеску и разогнал из усадьбы и господ и дворян. После этого барыня не тревожила прадеда.

Наш дед, отец папы, в молодости тоже был буен. Он сжег именье барина, с которым поругался из-за оплаты рабочих, чуть не удушил управляющего. Он принимал участие в революции 1905 года и в гражданской войне.

Папа полушутя говорил, что в нас бушует славянская кровь с татарской закваской. «Да, скифы — мы... с раскосыми и жадными очами...»

А теперь все молодые Костерины — и мой папа и дядя Миша — якобы враги народа. Да разве я, их дочь по плоти и крови, могу этому поверить?..

13 сентября.

Лена рассказала мне о себе. Гриша сказал ей: «Я вырвал старую любовь из сердца с корнями и люблю тебя, хотя и не очень сильно». Лена поддалась и написала ему послание о том, что любит его. Я невольно расхохоталась и сказала Лене, что так легко разлюбить одну и полюбить другую девушку нельзя — это глупости. Ну кто говорит девушке, что любит ее, но немножко?! Дурак Гришка, а Лена не понимает, что он просто «играет».

14 сентября.

Вчера было комсомольское собрание. Принимали Мирона по рекомендации Гриши. Гриша расхвалил его. Уже Жора спрашивает: «Кто за?» Я останавливаю его и требую, чтобы еще кто-нибудь высказался. Шурка стал меня одергивать: «Все хорошо, прекрасная маркиза!» Но я выступила и говорила очень горячо. Меня поддержал Жора, и в результате Мирона приняли только кандидатом. «Зачем увеличивать число плохих комсомольцев в нашей организации?» — говорила я. И напала на тех, кто безобразно вел себя в лагере. Шульгина я назвала «нахальным типом». Ахметов сидел бледный и злой. Нет, хотя отцы наши и арестованы, но я тебе не товарищ!

Я научилась хорошо говорить, не боюсь массы, слова как-то сами сливаются в хорошие, крепкие фразы.

16 сентября.

Ахметов и Шульгин очень мило здороваются. А я вплотную взялась за работу в отряде.

Вчера имела серьезный разговор с сестренкой Лелей. Маму вызывали в школу из-за ее поведения. Мама расстроилась и плакала. Вечером, когда я пришла из школы, поговорила с Лелей. Я сказала, как сейчас всей нашей семье тяжело из-за ареста папы. Наши дела настолько плохие, что очень может быть, что ей после седьмого класса придется работать, а не учиться. Леля разревелась. А ее преступление: она бросила в учителя цветком!

Сегодня пошла в читалку заниматься по немецкому, но читалка оказалась закрытой. Решила позвонить Грише. Он пригласил к себе. Я пошла, но потом пожалела: каким холодом встретила меня его мать! Еле процедила сквозь зубы: «Добрый день». А он после занятий даже не проводил меня, как делал это раньше. Это уж совсем не по-дружески.

18 сентября.

Только что пришла из читалки: три часа сидела, читала Ленина, Луначарского. Мне все больше и больше нравится сидеть и работать в читальне.

20 сентября.

Говорили вчера с Леной о многом и, конечно, о Грише. Мне обидно, он точно намеренно подчеркивает, что мы не больше как друзья. Он гово-

рит со мной только о пустяках и явно избегает меня. Лене надоела его игра. Она в последнее время стала поддаваться влиянию Тамары. Недавно они вместе не пришли в школу — опоздали и весь день просидели у Тамары. Мать Лены пришла в школу и переполошила всех. Вышла некрасивая история. Татьяна Александровна тоже разругала Лену. Какая же она слабовольная и как легко поддается влиянию таких людей, как Тамара — девушки, которая мечтает только о пустой, легковесной, мишурно-красивой жизни. А я очень люблю Ленку, люблю как-то особенно тепло. Втайне лелею надежду, что мы будем друзьями на всю жизнь. Я считала, что мы очень разные, а теперь думаю: несмотря на все различия, мы очень одинаковые.

Вчера у меня был радостный подарок: одна из моих лагерных любимиц Элла прислала письмо. Своими каракулями она просто привела меня в умиление!

25 сентября.

Решила — каждый выходной день буду ездить на стадион. Вчера провела там четыре часа: бегала, прыгала, гребла, каталась на велосипеде и бросала гранату. Сдала греблю и прыжки в высоту. День прошел замечательно.

Вечером позвонила Грише — узнавала об уроках. Разговорились, и он предложил мне свой велосипед. Я поблагодарила...

26 сентября.

Какая же я дура, как презираю себя за то, что звонила Грише два раза. Он, конечно, был дома, а мне отвечали: «Дома нет». Он, вероятно, думает: «Вот, мол, привязалась!»

А сегодня он вдруг дает мне записку, в которой предлагает свою дружбу, видя, что у меня друзей «недостаточно». Сначала я чуть не расплакалась, а потом рассвирепела и написала грубый и резкий ответ.

И еще одна неприятность: Лена уходит из нашей школы. Отец перевел ее в другую. Я очень расстроилась...

Вообще мое моральное состояние ужасное. Последнее время со мной творится что-то очень неладное. По химии мы проходим хлороформ, и против моей воли вдруг мелькнула вороватая мысль: хорошо бы покончить все разом. Я поспешно оборвала себя, заставила думать о другом...

2 октября.

Осень. Туманная слякоть. Где-то сейчас папа? Что с ним?

Что-то грустное и печальное играют на скрипке. Думаю о этих тоскливых днях своей жизни. И жизни еще не было, а уже думаешь: стоит ли дальше жить?

Обрываются и дружеские связи.

На днях Жоржик, с которым подружилась в лагере, позвонил, и мы пошли с ним гулять. Вела себя скверно: обрывала его, дерзила и ни за что обидела.

Записка Грише тоже завершила разрыв: он отворачивается от меня. Чувствую, что, если бы я захотела, все могла бы исправить. Но не могу. Я делаю все наперекор тому, что хочу. Подхожу к нему с одними словами, а говорю обратное. Что это такое, почему?

Мне жалко и Жоржика. Хочется взять его за плечи и по-дружески попросить не покидать меня. Я его крепко обидела, но не могу исправить отношений.

Лена уже два дня учится в новой школе. Ей там нравится. Я сильно

скучаю по ней, мне не хватает ее. В эти дни особенно остро ощущаю, что больше у меня никого нет, что она единственный друг... и тот не рядом!

Вчера было комсомольское собрание. Целая дискуссия разгорелась о Кирьяке, о комсомольце со змеиной гибкостью, с волчьей хваткой и беспринципностью спекулянта. Я и некоторые другие выступали против него. Но он вышел обеленным. «Фактов нет, Нина, а факты — вещь упрямая!» — сказал он мне после собрания. Он выбрал себе удачную специальность — юридическую. Все обвинения ловко отклонил и отвел. Оказался лучшим и прекрасным комсомольцем. Хитрый и ловкий человек. И, как один писатель назвал таких людей, г о л о в о н о г и й! Когда он станет юристом, то он может стать опасным врагом нашего социалистического общества.

7 октября.

В груди каменная тяжесть. В таком настроении я себя плохо сдерживаю и могу сделать что-нибудь нехорошее. Зашла я к Татьяне Александровне. Она наговорила мне таких вещей, которые меня еще более убедили, какая я скверная и мерзкая.

Вчера позвонила Грише и попросила прийти в читальню. Он пришел. Из читальни проводил. А сегодня позвонил, и мы катались на велосипеде. Он очень спокоен. Я не заметила в нем ни волнения... ни чувств.

Вчера у нас были моменты, когда наступало тяжелое пустое молчание. Между людьми близкими молчание часто бывает выразительней слов. А у нас — пустота. А почему меня это волнует? Я же оттолкнула его? Или я действительно чудовище, которое старается влюбить в себя, а потом грубо от себя отталкивает? Права Татьяна Александровна, подозревая во мне нехорошие черты. Но все это выходит не намеренно, я не хочу делать того, что делаю. Почему же так получается? Мне иногда даже страшно становится...

Я говорила ему, что мне нужна дружба и поэтому отвергла его любовь. Перед тем как сесть за дневник, я говорила себе: «Я люблю его». Но боялась написать это, потому что тотчас же появится: «Я не люблю его». А он что же — игрушка, волейбольный мяч? Может быть, я теряю очень-очень большое, но надо отойти в сторону!

Зачем я живу? Что впереди? Страшно подумать, что за какие-то несколько месяцев со мной произошло так много тяжелых переживаний и так страшно они меня ломают. А время ползет, как долгая бессонная ночь — мучительная, липкая ночь без сна...

Случайно подвернулись под руку его стихи, написанные еще весной:

Сегодня вечером осенний ветер воет,
Бросает капли дождика в глаза.
Сегодня мы последний раз с тобою
Последние произнесли слова...

Читаю эти строчки, и капли слез падают на них...

8 октября.

Знал бы ты, как я тебе благодарна! Маленький знак внимания — а как он меня обрадовал! Вчера он предложил мне кататься, а сегодня еще раз напомнил — могу взять велосипед и кататься с Жоржиком. А я отказалась; поистине во мне сидит бес, и он не дает мне спокойно жить.

Прочитала Гёте «Торквато Тассо». Поэт Тассо говорит Элеоноре, что его слова и поступки противоречат его желаниям. Целые строфы вливаются в меня и без труда запоминаются:

О, если б люди были между вас,
 Которые ценить умели б женщин,
 Умели бы почувствовать, постичь,
 Какое в сердце женщины таится
 Чистейшее сокровище любви
 И верности...

9 октября.

Вчера была с Гришей в читальне. Я читала Блока. Понравился мне эпиграф к статье «Ирония»:

Я не люблю иронии твоей.
 Оставь ее отжившим и нежившим,
 А нам с тобой, — так горячо любившим,
 Еще остаток чувства сохранившим, —
 Нам рано предаваться ей.

(Некрасов)

Сегодня мы бродили по Москве. Я некстати сказала: «Я иногда боюсь себя понять». Он спросил, что это значит. Я не захотела разъяснять — боюсь перейти на интимность.

Последнее время полюбила стихи. Читаю их вслух перед невольной слушательницей — сестренкой Лелей. Она их слушает, но не понимает ни стихов, ни меня!

Пусть светит месяц — ночь темна,—
 Пусть жизнь приносит людям счастье,
 В моей душе любви весна
 Не сменил бурного ненастья

Прочла недавно Герберта Уэллса «Любовь и мистер Льюишем». Этель! Хорошее описание начала, прогулок, любви. Из всего этого поняла, что надо быть осмотрительным при женитьбе. Не дай бог попасть на такую пустоту, как Этель! Бедный мистер! Ему страшно не повезло в жизни: такие благородные замыслы и такой печальный финал.

Виноват сам — по мнению Уэллса. Жизнь — игра.

15 октября.

Ну, наконец-то можно отдохнуть — только что провела сбор, посвященный двадцатилетию комсомола. Прошел хорошо, ребята довольны. Пьеса «Под маской верности» понравилась всем. Коля играл замечательно — прирожденный артист. Остальные играли тоже неплохо. Женя и Ахметов аккомпанировали и очень помогли. Была Нина Андреевна, Валя, родители. Всем очень понравилось...

Гриша работает над газетой. Ему 17 октября выпускать, а ничего еще не готово. Соскучилась по Гришке, давно мы с ним не гуляли — некогда, а вернее, он не хочет. Я его сейчас люблю! Вчера, позавчера, сегодня! Может быть, будут дни, когда я буду думать о нем с раздражением, но сейчас люблю, люблю!

19 октября.

Позавчера был вечер. Были артисты — чеченцы и ингуши из консерватории и оркестр. Газета Гришина вышла в самый последний момент. Весь вечер для него прошел мимо. Домой пошла с Леной и Петей. У троллейбуса догнал Гриша. С ним ходили по Москве до трех часов ночи.

Вчера были в читалке. Я читала Гёте, он делал задачи.

Странно — при такой напряженной жизни, при таких настроениях отметки у меня отличные, общественная работа идет хорошо...

24 октября.

Двадцать второго октября состоялись перевыборы комитета. Ждала этого дня с нервной дорожкой. Я, конечно, хотела войти в комитет, но была в полной уверенности, что меня провалят при выборах или просто отведут.

При обсуждении списков я заявила себе отвод — отец арестован. Однако Ахметова (у которого тоже отец!) отвели, а меня оставили. При голосовании я из 34 получила 29! Только Гриша меня обскакал: 30 голосов! Остальные собрали по 23—24 голоса. При распределении обязанностей мне дали культмассовую.

25 октября.

Вчера у меня произошло маленькое столкновение с Глебовой, и это натолкнуло меня на мысль описать девочек нашего класса.

Нравы и типы десятого класса

В десятом классе дружбы между мальчиками и девочками нет. Нельзя сказать, что они чуждаются друг друга, не говорят и не играют между собой. Нет, но жизнь мальчиков и девочек катится каждая по своему руслу. Мальчики кажутся более цельной группой, и мне пока трудно разбить их на подгруппы. Девочек же я делю на три группы: «болото», «барышни» и «комсомолки».

«Болото» — это Светлова и ее компания. «Барышни» — это Глебова и еще две девочки. Мало кто из девочек из «болота» хорошо учится, но и других интересов у них нет. Школа их не увлекает, общественная жизнь для них непонятна и неинтересна. В школе они сплетничают, дома, видимо, их тоже занимают только сплетни кухни и базара. К «барышням» они льнут и втайне завидуют: «Почему и я не могу быть такой?» Если бы у них была возможность, они стали бы «барышнями». Но некоторых, как, например, Семенову и Михайлову, можно было бы из «болота» перетянуть в «комсомолки». То, что они в «болоте», несомненно, вина нашей комсомольской группы. Светлова же — сплошное тупое упрямство, Федорова — идеальный образец глупости.

«Барышня» Глебова. Волосы завитые, ручка у портфеля оторвана. Два часа торчит в парикмахерской, а задачи делать некогда. «Стыдно в наши годы ходить на низком каблук!» Заметишь ей: «Может быть, у Тоси другое понятие о стыде!» И тогда она начинает грубить: «Я не с тобой говорю!» На мальчиков своего класса, вернее своего возраста, обращает мало внимания. Метит выше. Светлана желает жизнь провести «так красиво, чтобы было что вспомнить» (о какой «красоте» она говорит, можно догадываться). Оглоблина ругает мальчиков ослами и дураками, а сама только тем и занята, чтобы нравиться мальчишкам. Волосы взбитые (перманент), чулки рваные, юбка узкая (модная!), круг интересов тоже узкий, как юбка. Из «барышень» мне больше всего нравится Галя. Если ее вырвать из-под влияния Оли и Лизы, она могла бы стать хорошим человеком.

Наша комсомольская группа девочек ближе к мальчикам. Отношения с ребятами дружные. На некоторых комсомолок оказывает влияние «болото» и «барышни». Катя хорошая, умная девочка, но в ней большой избыток либерализма. Долгинская — умная, прямая, но ее тоже весьма увлекают перманент, лакированные ногти, узкие юбки...

27 октября.

Ночь. Тишина. Затихает гул Москвы. Пора спать, но передо мной Горький — «Дед Архип и Ленька». Прочла полстраницы и схватилась за

дневник. Так живо, так ясно представилась картина — дед и Ленька на берегу Кубани. И тут же свое — в пышной зелени берега Волги у Хвалынска, белые песчаные отмели... Никогда, может быть, я не увижу этой чудной реки, и никогда не забудутся наши маленькие, но милые, простые и чудесные приключения...

Я, Леля, папа и художник Коля вышли на лодке в большое «кругосветное» (вокруг острова) плавание. На песчаной косе заночевали. Пылал костер. Огненные блики плясали на волнах. Волга, огромная, могучая, несла свои воды к далекому морю. Из-за поворота появился пароход, сверкающий огнями, шумно вспахал Волгу и исчез вдали. Только в воздухе нежным дыханием ветерка разносило над Волгой какую-то печальную музыкальную фразу и песенную грусть... И папа тихо запел:

Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется —
То бурлаки идут бечевою...

И был изумительный рассвет, когда по могучей груди Волги вспыхивали и гасли алые огни... Нам тогда пришлось немало потрудиться, но только Коля не брался ни за весло, ни за шест. И папа шепнул мне: «Коля — барич, боится ручки натрудить...»

Вспоминаю еще, как мы втроем — папа, я и Леля — тащили нашу лодку против течения. Дул сильный, как говорят здесь «верховой», ветер. Грести против течения и ветра было невозможно, и пришлось тянуть лодку бечевою. Поминутно проваливаясь в ямы, вся мокрая, продрогшая, иду берегом. Потом меня сменяет папа и тоже тянет лодку до тех пор, пока во мне совесть не заговорит: он ведь первый не скажет... Частенько папа таскал нас на рыбалку. Мы брали с собой удочки, хлеба, картошки и уходили далеко-далеко. Разводили костер. Но картошку печь нам папа не доверял — он сам производил это священнодействие: с серьезным видом разгребал золу и укладывал картошку... А наши вылазки в сады, леса, а шесть дней на лодке по Волге — триста километров! Не забыть никогда этих двух лет на Волге... и отца...

Но вернусь к деду Архипу и Леньке...

30 октября.

Когда-то была у меня подружка Паня. Это было время, когда моими подружками были сами худшие девочки в классе. Катька, Панька, Валька, Сима... С Панькой я была дружнее всех. Упрямая до чертиков. Вызовут ее к доске, а она молчит. И урок знает, а молчит. Из нашей компании она враждебней всех относилась к мальчишкам. С ребятами никогда не разговаривала и только ругалась, за что ее звали «щучкой». И точно — она была похожа на щучку: худая, с длинным острым носом и вытянутыми губами. У нас было целое звено таких девчат, и я была его вожаком. Учились мы все плохо. Я лучше всех, но дальше «удов» не вылезала. Звено мое в общественной работе участия не принимало, а на переменах дралось с ребятами. Колотили их сообща, всем звеном. Сидели мы на последних партах, на уроках болтали. В школе мы нехорошими словами не ругались, но вне школы мы самые разухабистые: звонить в подъезды, кататься на трамвайных буферах, прицепляться к ломовикам, скверно ругаться — вот наши занятия. Панька на улицах была самой боязливой, но в школе ее резкий звонкий голос звучал на всех этажах.

Мы с ней сидели на последней парте — я тогда хорошо видела. Когда зрение стало портиться, пересели на одну парту ближе. Но потом зрение ухудшилось еще больше. Я прошу ее пересесть ближе, она отказывается, а помогать мне читать на доске не хочет. Тогда я ушла от нее на первую парту.

В житейских делах Панька была опытней меня. Я росла очень наивной и глупой. Панька часто смеялась надо мной, разъяняя мне всякие скандалности. С мальчишками мы никогда не заигрывали. Мы их лупили — так определялись наши отношения.

Панька была болтлива, криклива, писклива. Она очень заботилась о своей внешности, но дома у нее всегда мерзость запустения. Училась она плохо и из седьмого класса ушла. Поступила работать, и внешность стала изменяться: шапка со лба съехала набок, волосы стали виться, появились модные платья, губки порозовели. Да и вообще она похорошела, пополнела. Кривые ноги и те выпрямились... Я предупреждала ее, чтобы она не скатилась до бульвара. «Нина, кому ты это говоришь!»

Сегодня вечером зашла к ней. Дома нет, на работе. Посидела, поговорила с матерью. Мать ее грубая, крикливая женщина. Ругается матерно, делает неприличные жесты. Паньку ругает: «Сволочь, выдра рыжая, ей бы...» Жалуется, что Панька ее называет «психой». Денег ей Панька не дает.

В комнате у них кислый, противный запах, грязно. Кровать одна, и спят все вместе. Вместо наволочки на подушке какая-то грязная полосатая тряпица. Так живет Паня. А одевается хорошо, с бульварным шиком. Живет, как зверь. Попросила у матери бумаги. Она еле нашла клочок — обрывок географической карты. Написала записку, просила зайти.

Зачем я к ней зашла? Интересно, что из нее получается. Часто встречаться не хочу, но понаблюдать неплохо. Мне жалко Паньку — катится она по наклонной плоскости. Были мы когда-то подружками, одинаковыми хулиганками, и как резко разошлись наши дорожки, как многое нас разделяет!

Сегодня пришла ко мне Лена. Зашли с ней к Татьяне Александровне. От нее, прихватив Гришу, пошли в Музей изящных искусств. Люблю этот музей — сюда первый раз пришла с отцом, и с тех пор я чувствую себя здесь очень хорошо.

Вчера Гриша меня проводил домой, а зайти отказался. Я его тащу, ругаюсь, а он: «Когда ты злишься, ты такая хорошая!» Хорошие у него глаза — голубые, умные...

А вокруг нашей семьи вихрем вьются злые духи: получили письмо от дяди Ильи. Сидит в тюрьме и просит посылку. Бабушка расстроена, мама злится и ругается, будто мы в чем виноваты. Ругает она и отца... А у меня и тени сомнений нет, что отец ни в чем не виноват.

31 октября.

Читаю Горького «Супруги Орловы». Люблю Горького. Читаю, перечитываю и опять перечитываю...

Вчера читала Блока — «Интеллигенция и Революция», «Религиозные искания» и народ». «Русской интеллигенции — точно медведь на ухо наступил: мелкие страхи, мелкие словечки. Не стыдно ли издеваться над безграмотностью каких-нибудь объявлений или писем, которые писаны доброй, но неуклюжей рукой? Не стыдно ли гордо отмалчиваться на «дурацкие» вопросы? Не стыдно ли прекрасное слово «товарищ» произносить в кавычках?»

«Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию». Крепко сказано!

1 ноября.

Странное ощущение какой-то грядущей еще более тяжелой беды для нашего семейства. Часто вижу во сне отца. Сегодня видела. Будто приехал — чужой, мрачный и... в галстуке. Он никогда так не одевался... Проснулась — и так горько и тошно стало, что впору завывать по-волчьи...

2 ноября.

Только в книгах нахожу покой. Каждую свободную минуту отдаю книгам. Прочла «Но пасаран» Эптона Синклера.

4 ноября.

Он прямо сказал мне, что не любит меня. Более того — он меня не понимает. Он заподозрил меня в том, что я люблю Колю Щеглова. Ну, это уж черт знает что! Я как-то утверждала, что Щеглов из тех — «рожденный ползать — летать не может». И вдруг Гриша преподносит мне Щеглова как мою любовь! Я возмутилась, но решила молчать. Больше того, бесенок дернул меня за хвост, и я сказала: «Да, нравится!» Ушел Гриша в полной уверенности, что это правда. А я его, дурака, люблю!

Что же делать? Сказать ему? Но не могу же я навязываться ему со своей «любвишкой»! Нет! Пусть буду мучаться, но не буду впутывать в свою внутреннюю путаницу еще и Гришу. Постараюсь уйти в работу и книги, чтобы меньше было времени психовать.

Хотя и так у меня время загружено до отказа. Кроме того, что имею по школе и комсомолу, взяла урок — учу мальчишку, деньги зарабатываю. Прихожу домой только к 12 часам ночи...

Читаю Горького «На дне». Жуткая жизнь...

7 ноября.

Вспоминаю Лену весной этого года. Точно так же хожу и я. Язык будто связан, голова не работает, делаю все, как в тумане. Стараюсь бегать, работать, читать, а оно не забывается.

Я стала скучная и сама себе противная. Я скучная, а он веселый. Он смеется весело, смешит весь класс, а у меня даже смех судорожный, нехороший...

Спасают только книги и театр. Читала Анатоля Франса. Очень своеобразный писатель. Язык четкий, сжатый, большое чувство юмора. Высмеивает существующее положение вещей, но будущего не представляет...

В филиале Большого была на «Фаусте». Сначала понравилось. Надо забыть «Фауста» Гёте и тогда поймешь «Фауста» в филиале. Здесь Фауст — сластолюбивый старец, связавшийся с Мефистофелем только потому, что тот вернул ему младость... Самое лучшее в этой постановке — музыка. Особенно арии «Люди гибнут за металл», «Дверь не открой», очаровательный вальс и много других мест. Мефистофель (Пировов) изумителен, Маргарита (Баратова) старовата, Фауст (Жадан) толстоват. Это портит впечатление.

20 ноября.

Позавчера была в Художественном на «Любови Яровой». Сюжет не нов, затрепан, но постановка хороша. Образ Любы, сильной женщины, сделан хорошо, запоминается.

Вчера собрался литературный кружок. Пришел Гриша. Я читала Козьму Пруткува. Я была возбуждена, и доклад прошел хорошо, весело и явно всех увлек. Мое предложение о выпуске литературного журнала было принято. Хотели меня выбрать в редколлегия, но я отказалась.

Вечером позвонил Гриша и пригласил к себе. У него Лена. Пошла. На улице свежий веселый снег, а пришла — язык точно прилип. Когда пошли домой, немного разгулялась, повеселела. Лена не понимает, что со мной, и сердится.

25 ноября.

Была в Театре Красной Армии — «Мещане». Очень сильная пьеса. Многие в нашей жизни похоже на жизнь «мещан», хотя пьеса Горького написана давно. Бороться с мещанством надо, и буду бороться. Мещанством, как болотом, втягиваются не только люди недалекие, но умные и культурные...

26 ноября.

Наш комсорг Нина Андреевна молодец. Хотим устроить в школе переворот: директора выселить. Вот нахал: у него есть квартира, а он еще в школе занял три комнаты. Весьма противная личность наш директор.

27 ноября.

Такое ощущение, будто приняла холодный, освежающий душ.

Сегодня я и Гриша пошли к Нине Андреевне. Беседовали, как всегда теперь бывает: он говорит, я молчу. И что за чертовщина — нападает какая-то оторопь, язык связан и вся как будто цепенею. Когда Гриша ушел, я разговорилась с Ниной Андреевной. Она рассказала о себе, о своей учебе, о матери. Я восхищаюсь ей, она становится для меня идеалом женщины. Она откровенно говорила обо мне: плохая черта во мне — мало чуткости к людям, стараюсь всех подгонять под свои требования, не учитывая личных способностей и характера человека. Я рассказала Нине Андреевне о своих тяжелых мыслях и переживаниях в связи с отцом и со своими личными делами. Она сказала, что я веду себя глупо, что нельзя жизнь отдавать на произвол судьбы, надо самому строить свою жизнь. С неба ничего само собой не падает, надо драться за жизнь. Между прочим, она сказала мне, что я «влюблена в Гришу».

Мы ходили с ней по улицам часа два. Милая Нина Андреевна, после беседы с ней я почувствовала, будто большая тяжесть упала с плеч.

5 декабря.

Книги и театр все большими и большими друзьями становятся для меня.

За две недели была: на оперетте «Золотая долина» Дунаевского. Оперетты не получилось. И сюжет, и музыка, действующие лица — все весьма посредственно.

«Борис Годунов» в Театре Станиславского оставил исключительно сильное впечатление. Особенно сцены у шинкарки, с юродивым, в светелке у детей. После «Бориса» специально пошла в читалку почитать о Мусорском.

В Еврейском театре смотрела «Короля Лира». Незнание языка сказало на впечатлении. Постановка хорошая, артисты замечательные, но все же мне кажется, что король Лир слишком уж еврей! В русском театре это вышло бы лучше.

Читала Бальзака («Тридцатилетняя женщина», «Силуэт женщины» и др.). Вначале понравилось, но под конец все эти светские психующие от безделья женщины надоели.

Сильное впечатление оставил Теодор Драйзер («Титан»).

1939 год

4 марта.

Много воды утекло за это время. За три месяца много пережито скверного, такого скверного, что рука не поднимается писать...

Сейчас усиленно работаю: учусь, читаю, на каток бегаю... Чтобы не было свободного времени.

Хотела забыть, что произошло за это время, но не могу. Надо спокойно, не щадя себя, разобраться во всем, чтобы в будущем таких дней не было...

Еще немного — и я бы совершила очень большую гадость. Слава богу, не сделала. Спасибо Лене... Когда собиралась это сделать, я даже не понимала всей низости и гнусности этого поступка. А Светлана (подлая душонка!) восторгалась: «Ах, как это будет интересно!» Хорошо, что я не о себе, а будто о Светлане рассказала Лене. Лена, милая девушка, друг мой единственный, предупредила меня, чтобы я не поддавалась влиянию Светки, и пока не поздно, мне надо порвать с ней...

Но надо описать все по порядку.

Перед каникулами, да и во время них я еще была уважаемым членом комитета, авторитетной комсомолкой, имела много товарищей, которые хорошо ко мне относились.

Но после каникул и затем длительной болезни, когда я пришла в школу, я с первых же дней почувствовала себя одинокой. Я увидела, что центром класса стала новая ученица, замечательная комсомольская работница Катя.

На вечере вокруг Кати толпа, а я одна (со Светланой). Гриша тоже там. Некоторые ребята, увидев мое одиночество, стали хамить. О-о, я не знала еще до сих пор, что такое одиночество! Одна, всегда и всюду одна! Я истерзалась, замкнулась... Только книги и театр немного спасали меня.

И вот я разозлилась, а злость подсказала мне выход. Светка тоже одна. Двое «одиноких и несчастных» нашли друг друга и заключили союз. А план таков: разбить центр около Кати, создать кружок вокруг себя. Для этого объясниться в любви Пете и тем самым оторвать его из окружения Кати... Таким же путем воздействовать и на других мальчишек. Я не соображала, что делаю. Куда делась моя честность, принципиальность! Во мне кипела зависть — подленькая, мелкая зависть к Кате.

Теперь все позади. На проклятом вечере, где я намеревалась привести в действие свой план, я вовремя спохватилась, поругалась со Светкой и ушла с вечера. Шла домой, глотая слезы, бормотала проклятья себе и Светке...

Но этот вечер стал переломным. Я долго не могла уснуть. Но выход нашла — учиться и работать, а все остальное придет само собой. Мне и сейчас стыдно за прошедшее, очень стыдно, но больше это не повторится.

Сейчас настроение улучшилось. Читаю, работаю с увлечением, все свободные часы провожу на катке.

6 марта.

Сегодня трагикомическая сцена.

Верочка возилась с куклой. Я гладила белье. Угли погасли, утюг остыл. Мне надоело перебирать белье, и я уткнулась в книгу Фейхтван-

гера «Лже-Нерон». И по обыкновению так углубилась в чтение, что все забыла, ничего не вижу и не слышу. Случайно оторвалась, и — о ужас! — картина: Верочка сидит на полу, рядом уют и она с наслаждением ест уголь! Вся мордашка черная — только глазенки блестят. Я невольно (от страха!) закричала, и Верочка от меня убежала в другую комнату. А уголь во рту! На шум прибежала мама из кухни и посмеялась над моим страхом. Пускай ест: чего-то в ее организме не хватает, и ребенок тянется к углю.

8 марта.

Мое последнее увлечение — Лион Фейхтвангер. До сих пор я его совсем не знала. Читала только «Семью Оппенгейм». Но настоящий Фейхтвангер не здесь, а в «Иудейской войне». Какая изумительная вещь! Я не могла оторваться от нее, совершенно забросила уроки, носила с собой в школу.

Поставила себе в план: прочитать всего Фейхтвангера и написать сочинение «Антифашистские романы Фейхтвангера».

20 марта.

Сегодня я в школу не пошла. Сидела, читала. Вдруг... Мещеряков Сережа! Это старший, с детства, друг папы! Но что от него осталось! Обшарпанный, замызганный и пьяный. Только голос остался. А голос у него удивительный, песни поет исключительно хорошо, задушевно. Голова у него тоже умная, он хороший математик — и вот скатился в подонки.

Когда-то Мещеряков хотел вместо папы отдаться жандармам. Сейчас он тоже плачет и говорит, что отдал бы за папу свою жизнь. Смотрю я на него, и невольно слезы навертываются — жалко его, и папа на память приходит. А дядя Сережа вдруг запел, да как запел:

Хороши гречанки на Босфоре..

Я разревелась, за мной бабушка и мама. Так ярко встала картина: полная комната старых друзей папы, друзей подполья и гражданской войны, и вот Сережа Мещеряков запекает:

Далеко, далеко
 Степь за Волгу ушла...

Сережа точно понял меня и запел эту песню. Нигде и никогда я не слышала, чтобы с таким чувством, с такой лирической глубиной пели русские песни, песни Волги...

Хороший человек Сережа, но пропащий. Только папа мог бы его вырвать из пьяного босяцкого болота.

25 марта.

Сейчас каникулы, и я бездельничаю до безобразия.

Сейчас приехала от Лены. Был там и Гриша. Последние дни часто бываю с Гришей, отношения у нас установились прекрасные. Он мне сказал, что пытался обмануть и меня и себя. Он любит меня. У меня к нему чувство тоже большее, чем дружба. Только это совсем не то, что было. Сейчас много спокойней, но глубже, серьезней. Но я и виду не подаю и не подам. Пусть будет дружба.

Мне жалко Лену. Я счастлива, а Лена одинока...

Ура! Телеграмма — Илья свободен, просит денег на дорогу...

Дома веселье, а у меня мысли об отце...

27 марта.

Комсомольские дела очень плохие. По существу организация разложилась. Нужны решительные меры. Нина Андреевна согласна со мной, но предупреждает против крутых мер. Берусь за дела вплотную, организацию оздоровим.

А жизнь, несмотря ни на что, чертовски хороша! Мне скоро восемнадцать лет! Много, не правда ли?

Мне восемнадцать лет, я любима и люблю!

Хорошо!

Тетрадь третья

1939 год

25 июля.

Итак, разрешите отрекомендоваться: Нина Алексеевна Костерина, «без пяти минут студент», «одинадцатиклассник», если хотите, или наконец просто «нечто», висящее пока между небом и землей.

Прошло уже больше месяца, как я кончила школу и по примеру многих теперь стараюсь попасть туда, куда, как мне кажется, «влечет меня неведомая сила» — в геологический институт. С превеликими муками «обыкновенная девушка» искала решение в своих никому не ведомых способностях — на что же в жизни она будет годна? Искала и, как ей кажется, нашла, и теперь это решение твердо и непоколебимо. Если даже я и не выдержу испытаний, то этот год буду считать испытательным, буду работать в геологических партиях простым рабочим и на следующий год вновь устремлюсь к намеченной цели.

Весенний туман в голове и сердце, экзамены, частые прогулки с Гришей, любовный бред — все отодвинулось в лиловую даль.

Как и раньше, не понимаю своих отношений с Гришей. Бедный мальчик! Я, кажется, измучила его... Он пишет:

«Я не хочу тебя любить! Но отсюда начинается старая история — разногласия головы и сердца. Временами я очень люблю Лену, временами не могу ее видеть. Я силой заставил себя верить, что люблю ее, и верил в этот самообман.

Но это была своеобразная самооборона от тебя. Я затыкал себе уши, ничего не писал о тебе, ничего не думал... Тогда, когда говорили о Кольке, я нарочно повторял, что не люблю тебя. Это был самообман. Глупо, но что делать... Тогда я долго бродил по улицам, мне было очень и очень тяжело. И тогда же я хулиганил, бузил, дурачился. Мне иногда хотелось напиться, в эти дни я сошелся с Мироном, и он часто бывал у меня. И в это же время я снова кинулся к Лене. О тебе мне не хотелось верить, но все убеждало меня в том, что твои слова — правда...

А сейчас я не знаю, что делать, что думать. Я не хочу тебя любить, а люблю! Вчера не надо было брать тебя под руку, а взял!

Никогда я тебя не упрекал увлечением Жоржиком. И если ты завтра полюбишь другого, все равно ты будешь права. От меня ты ни одного упрека не услышишь. Все это, что ты «чудовище, которое старается» и т. д., — глупость. Все дело в том, что тебя все это не захватывает с головой...

Нина, Ниночка, Нинок, я люблю тебя, люблю по-старому! Это единственное верное из всего этого бреда... Сейчас за спиной играет молдавский оркестр. Настроение — как эта музыка: хочется плясать, плакать и смеяться.

Вижу и понимаю, что пишу нечто бредовое. Искал каких-то сильных слов, ярких и убедительных, а оказывается, все укладывается в одном слове — «люблю!»

Люблю! Кого люблю? Не знаю,
Но сердцу так тепло в груди,
И я шепчу, и я мечтаю:
Приди, любимая, приди...»

Приведу еще одну выдержку из другого письма:

«В одну из бессонных ночей, когда умопомрачительно много времени, я задумался... о тебе, конечно.

И вот до чего додумался. Во мне очень много недостатков, ты их не все замечаешь. И поэтому я должен отказаться от тебя. Но надо это сделать так, чтобы для тебя вышло безболезненно. А я? Черт со мной! Почему? Да, я слишком тебя любил. И люблю! Ты скажешь, что это дикость, но для меня это было милой мыслью. Ты для меня все. Ни при каких случаях жизни я не должен тебя обманывать. И для этого я частенько ставил себя в глупое положение — придурковатым баричем, маменькиным сынком... Я хотел, чтобы ты разлюбила меня. Но я ошибся... ошибся в тебе! Ты достаточно трезва и зорка, ты не слепой котенок.

Мне приходило раньше в голову: я не достоин тебя потому, что я уже любил. И, надо сознаться, я развращен этим.

Моя дорогая! Если все это кончится, то буду помнить тебя всегда. Не для красоты слова говорю. Память о тебе будет светлой и чистой. Я сравниваю мои увлечения Катей, Леной и Алькой с теперешним чувством. Это не то! Такого я не испытывал никогда. Помнишь, как я цитировал Лермонтова? Это относилось к Лене, а не к тебе. Ты, любимая, лучше, чище и выше всех.

Любимая, береги себя... Целую тебя крепко-крепко (как когда-то на Москве-реке)».

И много его стихов. Строго говоря, стихи слабые. Я избалована поэтами — от Пушкина до наших дней. Но стихи Гриши мне все же нравятся. Еще бы, они посвящены мне...

А что же произошло, почему вдруг появились эти письма?

Началось это — как часто начинаются все важные вещи — с пустяка.

Однажды я пришла к Лене, и она усадила меня обедать. Не успела я оглянуться, как очутилась за столом перед тарелкой борща. Справа от меня сидел какой-то незнакомый старик — огромный, жирный. Он непрерывно говорил, что Лена его обкармливает. Просил поменьше положить и... уминал двойную порцию. А сосед слева... Первое, на что обратила внимание, — его изуродованная левая рука, а затем голос — почему-то он мне очень понравился.

Вскоре я опять была у Лены и встретила с ним во второй раз. Почти не разговаривала с ним, кроме незначительных мелких фраз. Я провела чудный день, вечером уехала, но... сердце оставила там. Кто он? Это Лева, брат Лены. Двадцатилетний, женатый человек, отец семейства. С женой он разводится. Жену не любит, а дочку обожает. Вот и все. И я люблю его.

Стараюсь забыть его, стараюсь с ним не встречаться, на взаимность, конечно, не надеюсь. Но мысли только о нем...

Я занимаюсь, готовлюсь к испытаниям, но так мало, что надежды попасть в институт очень мизерны. С большим удовольствием посещаю стадион, увлекаюсь футболом, бегами и пр. Двадцатого на стадионе было грандиозное зрелище: повторение парада физкультурников. Какое величие и красота! Потом я увлекаюсь плаванием.

На все это уходит уйма времени. Так проводит время обыкновенная девушка — «без пяти минут студент».

27 июля.

Книги, театр, кино — хорошие спутники в моей жизни. Всякими правдами и неправдами, иногда даже с риском войти в конфликт с администрацией, пробираюсь в театры. Книги хватаю без системы, случайно... От этого порой чувствую, что у меня «мозги под пятой» «груза всякой чепухи».

А посему необходимо время от времени приводить хотя бы в простейший порядок весь тот багаж знаний, впечатлений и настроений, которым нагружаю голову. По полочкам, что ли, разложить с наклейками (пусть даже отсебятины!) в надежде как-нибудь после, на досуге, разобраться в этой «камере хранения».

Итак, что же поступило в мою бедную голову за последние три месяца?

На более видном месте надо, конечно, положить Мериме. Его книги очень понравились, особенно «Кармен» и «Души чистилища». Потом Конан-Дойль. Увлекательно, но от Мериме в моей «камере хранения» его надо все же отодвинуть подальше. Еще перечитывала Пушкина — и целые строфы сами собой врезались в память и, вероятно, на всю жизнь.

Случайно сделала «открытие» — «нашла» в русской литературе Шеллер-Михайлова и в восторге от его книг «Из трясины на дорогу», «Позолоченный позор» и др. Хорошо он знал закулисную жизнь высшего общества и хорошо умел ее показать.

На одно из первых мест надо еще поставить «Пошехонскую старину» Салтыкова-Щедрина и на память сделать зарубку: прочитать все главнейшие книги этого писателя.

А вот полка специально музыкальная: биографии Римского-Корсакова, Моцарта, Чайковского и Мусоргского. Мое музыкальное образование не поднимается выше весьма посредственной игры на гитаре — подарке отца, — но музыка всегда производит на меня сильное впечатление. Хочется в этой области искусства разбираться более глубоко.

Надо найти место также и для таких замечательных книг: В. Гюго «Отверженные», Сергеев-Ценский «Мишель Лермонтов», Куприн «Яма», Брюсов «Алтарь победы»... Бедная моя голова, где все это разместить, в каком порядке? Как Маяковский уживается с Афанасием Афанасьевичем Фетом?

Я сразу смазал карту будня,
Плеснувши краску из стакана...

И тут же:

Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок,
Пред скамьей ты чертила блестящий песок...

Задумала разобраться во всем этом и спуталась. Какие же мои вкусы? Почему с удовольствием декламирую:

Ненавижу всяческую мертвечину!
Обожаю всяческую жизнь!

И с не меньшим удовольствием читаю Есенина:

Вы помните,
Вы все, конечно, помните

и т. д.

Или слушаю, как мама напевает:

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет...

Гейне, Есенин, Лонгфелло, Маяковский — я их могу с одинаковым увлечением читать одного за другим. И они уживаются во мне, как в большой квартире уживчивые квартиранты. Но порой мне кажется, что уживчивость эта обманчива и грозит мне большими неприятностями, а может быть, уже неслышно подтачивает мою психику и мое сознание... Нет, не может быть — пульс мой полнокровный, путь свой вижу ясно...

28 июля.

До приемных испытаний остались считанные дни, а мы с Надей (моей подружкой по занятиям) совсем недостаточно занимаемся. Всего шесть-семь часов в день, что очень мало, особенно для тех, кто повторил всего половину программы... А вчера ездили к Грише в Серебряный бор якобы заниматься и, как и следовало ожидать, потеряли полдня...

1 августа.

Прочла «Письмо незнакомки» Стефана Цвейга. О-о, как оно меня тронуло, больше того — потрясло. Я плакала над письмом, потом вспомнила Леву и стала плакать над собой. Какая глупость! Я стараюсь его забыть... И уверена, что через пару месяцев буду смеяться над собой. А пока поддаюсь таким глупым чувствам...

2 августа.

Вчера ко мне приехала Лена. Когда я провожала ее, мы неожиданно столкнулись с Гришей. Пошли, конечно, шататься по улицам. По обыкновению вели себя глупо, как всегда, когда мы втроем. Я баловалась, смеялась над Гришей. То намеревалась взять его под руку, то ругалась. Лену бесило, что Гриша к ней невнимателен. Она его любит и ждет от него больше, чем простых дружеских отношений. А он ничего, негодяй, не замечает — ни ее волнения, ни ее любви. Характер у Лены хороший, выдержанный, но вчера не сдержалась и кольнула меня. Она вдруг повернулась ко мне и с усмешкой сказала: «А Лева сейчас сидит у нас». Я остолбенела — он предполагал уехать в дом отдыха. У меня дыхание перехватило и слезы показались на глазах. Дрянь Ленка — почему раньше молчала?

Не знаю, как помочь моим друзьям — Лене и Грише. Самое лучшее, если бы Лена полюбила кого-нибудь другого. Да и Грише такой же рецепт...

Бедные мои друзья!

А со своими чувствами к Леве я справлюсь. Я уже сейчас чувствую, что думаю о нем более спокойно...

При чтении «Письма незнакомки» меня поразило одно место:

«Я любила молча. Только одинокие дети могут всецело затаить в себе свою страсть. Другие выбалтывают свое чувство товарищам, треплют его, поверяя своим друзьям, — они много слышали и читали о любви и знают, что она неизбежный удел всех людей. Они играют ею, как игрушкой, хвастают ею, как мальчики своею первой папироской».

Не превращаюсь ли и я в «других»? Но я могу рассказывать о всем только Лене. С Гришей трудно говорить — человек пишет стихи обо мне и для меня... Фу, до какой чепухи доболталась...

13 августа.

Лева мягко и неслышно уходит в прошлое. Снова Гриша стал близок и дорог...

Лена уехала в дом отдыха. Не захала, не позвонила перед отъездом. И не пишет ничего.

14 августа.

От Лены ни слова. Понимаю, что ей трудно... Но разве это по-дружески? Надо с ней поговорить и помочь...

Лева вспоминается, как что-то глупенькое и детское. И тут же вспомнилась Настя из Хвалынска. Какая она сейчас? Может быть, и она, как и Надя, любовно ухаживает за своими бровками, ресницами и ноготками? А Надя мне надоела. Не в меру хамовата, пуста, глупа и кругла, «как эта глупая луна на этом глупом небосклоне...»

16 августа.

Каждый день встаю с надеждой получить от Лены весточку. Увы! Не хочет черкнуть даже пары строк!

Живу сейчас без лишних движений: дом, институт и изредка читалка.

Нечего и говорить о том, как я трясусь. Я бы могла взять себя в руки, но общий тон среди сдающих испытания, ноющих и стонущих, действует и на меня. Очень мучают ожидания. Сидишь и томишься целый час — и затем в десять минут готово!

У меня двадцать два очка есть, а надо тридцать. Еще два экзамена. Сумею ли набрать еще восемь очков?

22 августа.

Сегодня узнаю свою судьбу: у меня уже есть тридцать очков. Но вчера был крупный скандал.

Меня вызвал директор института и стал расспрашивать об отце, о родственниках, кто и где работает. Я рассказала всю правду об отце, его братьях. Дома я рассказала о разговоре с директором, и поднялась кошмарно-дикая и безобразнейшая истерика: зачем я говорила о своих родственниках и поминала теток-коммунисток? Я заявила, что лгать и что-то скрывать считаю просто подлостью. А на меня накинулись и тетки, и мать, и бабка: «Дура безмозглая, не научилась еще жизни, надо лгать и говорить «не знаю»».

Тетушки трясутся за свою шкуру, и мне было противно до тошноты их слушать. Они хотят, чтобы и я, по их примеру, устраивалась «применительно к подлости». Нет, мне комсомольская честь дороже!

23 августа.

Вот и конец! Меня отшвырнули, как негодный элемент. А Соня, хотя у нее всего двадцать восемь очков, принята. Почему? Отец! И какой возмутительный ответ мне дали: «Ввиду отсутствия общежития...» Это мне-то, москвичке!

Чувствую себя очень странно — какая-то огромная чудовищная пустота. Что делать? Куда деваться? Мне все кажется, что это сон — дурной противный сон. Вот сейчас проснусь — и все будет по-старому, хорошо и ясно. Неужели правы «опытные» тетки и мне надо «приспособливаться», а следовательно, лгать и стать «головоногой»?

Солнце — громадный красный шар. Или это мне кажется? Да, оно садится... а в глазах рябит и двоится...

Сижу, читаю, а в сердце вдруг кольнет что-то нестерпимо острое, тоска защемит... Ах, зачем это не сон!

26 августа.

Захотелось еще раз провести беглый осмотр того книжного багажа, который поступил в мою бедную голову за последние полтора месяца, тем более что я сейчас свободна, как никогда.

В одну из прогулок в Серебряном бору Гриша прочитал мне Сологуба. «Это сжатая программа символистов», — сказал Гриша. Сологуб тоскует о том, что нет какой-то второй, тайной, загадочной жизни, хотя бы в снах, а есть только грубая, резкая действительность. Сильная вещь «В толпе». Она, как и в «Климе Самгине» и «Ходынке» Толстого, показывает толпу — грубого зверя, который даже из-за несчастных пряников давит, убивает, калечит людей. Ужасная вещь толпа — я снова пережила события этой зимы, когда на похоронах Чкалова попала в толпу.

Прочла замечательную книгу Виноградова «Три цвета времени». Хорошо, очень выразительно показан Анри Бейль-Стендаль, умнейший человек своего времени, но не понятый и не оцененный своими современниками. Стендаль написал много книг, но я, к моему стыду, ни одной его вещи еще не читала. Ставлю вам на вид, дорогая Нина Алексеевна.

Сюжет книги Гревса «История одной любви» очень интересен — история любви Тургенева к Полине Виардо Гарсия, знаменитой певице и артистке, его встречи и дружба с Мериме, Жорж Санд, Флобером, Золя. Но написана книга скверно. Как сказал Горький об одном писателе, «портянки из бархата сделал».

Анатоль Франс — «Боги жаждут». Могучий писатель, но с его трактовкой французской революции и якобинцев согласиться не могу.

Обогатил мою историческую полку Манн — «Юность Генриха IV».

Ромен Роллан — «Жан-Кристоф». О-о, тут надо целый восторженный трактат писать, а я тем более еще не дочитала эту вещь.

В моем теперешнем положении и при моих настроениях читала, перечитывала (а порой слезу роняла) над книгой Надсона.

..... * * * * *

Писать о своих делах пока рука не поднимается...

27 августа.

Сегодня мне вдруг пришла шальная мысль: что, если я буду артисткой? И, подумав, пришлось сознаться, что я была бы самовлюбленной артисткой. Часто ловлю себя на нехорошем чувстве тщеславия. Вероятно, в каждом человеке бездна скверных сторон, но большинство их тщательно скрывает. Верно, у каждого есть в душе такие тайники, куда и сам не любит заглядывать — там мерзко...

Вместе с тем в каждом человеке спят такие чувства — сильные, вечные, — о которых никто не подозревает. Нередко грубый, неласковый человек в душе очень нежен и чуток, и хорошо тому, кто вызвал эти чувства на свет — вознаграждение будет чудесное... Вообще самый интересный объект наблюдения — это человек!

29 августа.

Еду в Баку!

В Комитете по делам высшей школы делается что-то невообразимо безобразное! Всех, которые не попали в индустриальные институты, гонят на педагогические, сельскохозяйственные, ветеринарные — в Алма-Ату, Пермь, Саратов и т. д.

А таких, как я, зачумленных во имя отцов, тоже немало. Встретила одну девушку — у нее тридцать четыре очка (из сорока!). Отец ее арестован — и судьба ее, как и моя, судьба зачумленной. Не приняли.

Она после ареста отца жила в кабинете директора школы (удивительно смелый директор!) и за один год прошла курс двух классов — девятого и десятого. И в институт прекрасно сдала. Но «сын за отца не отвечает». Каково лицемерие!

Говорят, что я удачно попала — в Баку, на индустриальный. Можно было бы еще ходить и драться. Я уверена, что добилась бы своего и осталась в Москве. Но я уже и так на человека не похожа — выдра какая-то! Как-то мои друзья встретят мое решение?

30 августа.

Еду! Странно, но радуюсь. Что-то новое, неизвестное увижу, какие-то новые встречи. Друзья мои еще ничего не знают.

6 сентября.

Всем знакомо то чувство, которое испытываешь при отходе поезда. Все, что волновало, беспокоило, отходит назад, как бы остается на перроне вокзала, на душе сразу становится легче, веселей. Накануне я себя очень плохо чувствовала — так все надоело, так замучили мысли о своей гражданской неполноценности, так опротивели добрые советы и милые улыбки теток и мнимодрузей. Но только легла на верхнюю полку — облегченно вздохнула. Дома малейший шум не дает спать, а здесь грохочут колеса, плачут дети, вокруг смех и говор, а я сплю как убитая. Перед отъездом на меня нагоняли панику: смотри за вещами, не верь соседям, обманут, обкрадут. Первые полчаса я тревожно оглядывалась на соседей и на свои вещи. А потом махнула рукой — чему быть, того не миновать, и сразу стало легче.

Вчера ничего не ела, а сегодня жуткий аппетит, и я с тревогой поглядываю на свои запасы.

Соседи — грузины, едут в Баку. Мне с ними скучновато: они говорят по-своему, и для меня в их говоре не больше смысла, чем в грохоте колес вагона. Окно открыто, но в него вместо свежести летит пыль и дымнознойное дыхание паровоза. Поезд мчится по скучноватой равнине с перелесками, селами, небольшими станциями.

Перед отъездом получила от Гриши письмо:

«Хотел с тобой поговорить, но из этого хотенья ничего не выйдет — мы разучились с тобой говорить. А это необходимо. Я тебе сказал, что не верю тебе. Но вернее было бы сказать, что я не знаю тебя. «Знать человека» — это уметь предугадать его действия и желания. А я этого не знаю. Знаю только, что мы зашли в тупик, из которого выйти можно только по тоненькой дощечке, перекинутой через пропасть. Перейдешь — пропасть и тупик останутся позади; оборвешься или дощечка подломится — знакомству нашему конец. Вчера я хотел тебе рассказать все, но что-то стоит между нами, и я не смог. О чем я думал? О верности к тебе. Это чувство до того старомодно, что хочется писать его через ять. Я не разговаривал ни с одной девушкой. Смешно? Пожалуй. И вот тогда-то я тебя и любил. А потом? Потом я решил, что ты разлюбила меня еще весной 38 года, а затем, когда временами, выражаясь химическим языком, у тебя освобождались почему-то валентности, был я. В эту гипотезу, которая скоро перешла в уверенность, укладывалось все.

Ты мне никогда всего о себе не говорила, и поэтому я догадывался, что твое увлечение братом Лены — кажется, Лева? — перешло в любовь. Я был, быть может, в роли той «Книги очищения», которая была у одного немецкого агента во Франции («Изгнание» Л. Фейхтвангера). На твоей орбите было около восьми электронов, поэтому ты не можешь никого долго любить. Там, в Баку, будут новые впечатления. новые хлопны...

Как видишь, теория эта не лестная для тебя.

И постепенно любовь моя спряталась где-то внутри меня, перешла в потенциальную форму.

Тогда, во-первых, я начал разговаривать с нашими девушками. Среди них есть много славных. Особенно мне понравились две — Нелли и Валя. Мы пошли в кино, и как будто случайно я сел с Нелли. Я же в институте устроил так, что попал с этими девушками в одну группу. Как видишь, от вѣрности не осталось и следа. Но, увы, это даже не увлечение. Стоит тебе появиться на моем горизонте — и все летит к черту. Люблю ли я тебя? В квартире тишина. Тикает маятник часов и будто бы говорит: так было — так будет...»

Виновата я — я безобразно запутала наши отношения. Но и сама в себе до сих пор не могу разобраться...

Ох, эти грузины! Набились в наше купе со всего вагона, пьют пиво и поют песни. Меня зовут уже Ниночкой, расспросили, куда и зачем еду. И вопрос, который я в личной жизни встречала только в анкетах: какой я нации? Правда, мой облик вызывает сомнение...

7 сентября.

Сегодня проехали Ростов. Со всеми соседями перезнакомилась. Попутчицу зовут Ниной, а армян (которых я приняла за грузин) Сетрак, Гриша, Арутюн. Меня угощают со всех сторон яблоками, курицей. Сетрак очень красивый. Он зовет меня Нана-джан. Нина — армянка, очень красивая, но немножко портит нос. Очень приветливая, общительная, смеется хорошо, захватываяще.

9 сентября.

Вот и Баку. Здесь все с первого шага поражает меня — и плоскокрышие дома, и море, и громадные пароходы, и люди...

Но мне грустно. Чувствую себя одинокой. Остановилась у дяди Коли. Завтра должна получить ответ в институте.

13 сентября.

А я еще не занимаюсь. И здесь тянут подозрительную волынку, а время уходит.

Ходила во Дворец культуры в читальню, познакомилась случайно со студенткой Раей. По ее записям посмотрела начало лекций, кое-что списала у нее. Хотя официально еще не зачислена, но уже начала заниматься.

Но времени у меня излишне много и использую его для осмотра Баку. Вчера была в Балаханах и долго ходила по этому оригинальному району.

Сегодня каталась на лодке в море.

16 сентября.

Резинка в институте все тянется. Возможно, что придется уезжать. И перспектива здесь учиться мало улыбается — надо обязательно изучать азербайджанский язык.

Сегодня опять каталась в море. Дул сильный ветер, в море гуляли большие волны. Но море, даже рассерженное, меня не пугает.

19 сентября.

Завтра обещают дать ответ. Кажется, начну учиться.

30 сентября.

С 20-го занимаюсь в институте. Но это не значит, что все устроилось. Мне отказывают в стипендии. Сейчас решительные дни — через два-три дня все выяснится.

6 октября.

Вот и окончила «курс науки» — опять вагон, опять о чем-то торопливо, жестко говорят колеса. В их захлебывающемся гневном говоре что-то грозное для меня. То ли грозят раздавить меня, то ли выговор делают и как будто обещают дело исправить. Что случилось? Мне предстояло пять лет — страшно подумать, — пять долгих лет жить на иждивении теток! А потом после учебы пять лет отработать в том же Азербайджане!

И вот еду... скучно... тошно... Сквозь муть будущего вижу только один просвет — работать! На завод, на фабрику или в геологическую партию!

8 октября.

Сильно подвинулись на север: почувствовала сегодня ночью, когда продрогла, и сосед, спасая меня, накрыл своим пальто...

А тоска и безнадежность мчатся вместе со мной и давят мозг...

Спасибо Гейне: только он рассеивает мою тоску, а порой вызывает и злобу на людей-мещан, оскверняющих воздух нашей родины...

Вечером — Москва.

5 декабря.

Только в последние два-три дня имею право немного отвлечься от учения и немного привести в порядок свои думы и настроения.

Приехав из Баку, потеряв надежду на учебу, я всерьез стала думать о работе. Однако со стороны мамы встретила самый решительный отпор. «Ты имеешь право на ученье и должна учиться. И будешь учиться!» — заявила она.

И вот я еще раз убедилась, какая кремнистая твердость есть в маме. Кажется, уж больше невозможно выдержать тех испытаний и тех ударов, которые обрушились на ее плечи, — арест папы, материальные лишения, отход от нас многих тех, кто неоднократно сидел за нашим столом. А теперь еще и боль за дочь, которую лишили права на учебу за какие-то неведомые нам грехи отца.

Мама написала письмо Сталину. Написала все и очень резко. «На каком основании нарушают принцип, вами же провозглашенный: «Сын не отвечает за отца?» Неожиданно (для меня!) маму вызывают в Комитет, и она возвращается домой с путевкой в институт! Я буду геологом — о чем мечтала!

Меня приняли, несмотря на двухмесячное опоздание, дали стипендию, но предупредили: «Догоняйте!»

Как я работала! Света не видела! Еще и сейчас не догнала, но уже виден просвет, стало легче и лучше. Помощь мне понадобилась большая, и я по наивности надеялась на своих друзей. Думала: Лена тетради переписет, Гриша заниматься со мной будет. Из этого ничего не получилось. Мама переписала мне тетради, дядя Коля помогал чертить. А основной воз тянула, конечно, в одиночку сама. Мои друзья не поняли и не почувствовали моего тяжелого момента — дружба была на

словах, а когда потребовалась помощь, — я ее нашла в другом месте. Мне особенно нужна была моральная поддержка, в особенности тогда, когда все «науки» встали передо мной сплошной темной стеной, о которую можно было лоб расшибить. Лена даже не звонила ко мне: «Я, говорит, боялась помешать тебе». Деликатность-то какая и очень вовремя! С Гришей еще хуже. Звоню, прошу прийти, а он не может: «Некогда!» А на днях обещал прийти — и не пришел!

Для меня теперь ясно: все прошло! Он еще не сознается, но уже ясно. Он ищет других занятий и развлечений, со мной ему скучно...

Короче говоря, за месяц Гриша был у меня два раза, а Лена — один. На друзей (таких!), следовательно, в трудную минуту рассчитывать нельзя.

Но самое скверное во всем этом, что Гришку... люблю! Крепко, серьезно, молча... А он уходит от меня...

7 декабря.

Вечер. Одиннадцатый час. Погода, как у Блока в «Двенадцати» — ветер и снег — снег и ветер... Когда проходишь по мосту у парка Горького, невольно обращаешь внимание на снежную белую даль, уходящую по Москве-реке. Вдали темная полоска леса, над головой мощное и в то же время ажурно-легкое строение моста и над всем этим тяжелое московское небо. В нем своеобразная красота, особенно в вечерний час, когда из-за куп Нескучного сада по небу пойдут сполохи багрового заката...

«Да, Гриша, все, что ты говорил, правда... Гриша, Жора, Лева... В жизни очень холодно, одиноко. Без дружбы не может быть жизни. Я ищу дружбы. У меня нет брата. Может быть, у каждой девушки должен быть брат — он даст ей дружбу и братскую любовь. Но, повторяю, у меня нет брата...

Разойтись в разные стороны, потерять самое лучшее, что есть в жизни — дружбу и любовь, — ты сам понимаешь, что я этого не могу сделать.

Я тебе говорила, что жизнь без тебя мне кажется пустой. Не скучной — нет, даже иногда более веселой, но пустой, лишенной хорошего глубокого содержания. Ты приносишь в мою жизнь нечто лучше того, чем обычно живут люди. Ты приносишь хорошие чувства, умную истинную сущность жизни...

Во мне, как и во всяком обыкновенном человеке, есть разное: много хорошего и столько же плохого. Ты пробуждаешь лучшие стороны, ты поднимаешь меня надо мной же...

Ты меня последний раз сильно оскорбил, ты меня совсем даже не уважаешь (не говоря уж о любви), а скоро, пожалуй, и презирать начнешь. Ты говоришь про себя: «Книга очищения». Может быть, это и так. Среди моря житейской грязи и грубости ты для меня — чистый островок. О том, что я тебя люблю, я повторяю еще и еще раз. Люблю твои милые глаза, твои кудри и умный лоб.

Мысленно прослеживаю историю наших отношений. В сущности, я начала жить только весной 1937 года. С тех пор все самые лучшие дни, мои мысли и чувства связаны с тобой. Ты крепко вошел в мою жизнь, и вырвать тебя будет очень, очень больно...

То, что я тебе сказала, относится к тебе и Лене. Вы оба — одно и то же. Лена в меньшей степени, но тоже «Книга очищения». И если рвать, так я буду рвать с обоими. С Леной мы легче сживаемся — у нее характер слабый, поддающийся. А все недоразумения с тобой происходят

от наших характеров. Я замечаю у себя признаки «верховодничанья», ты тоже не любишь подчиняться. Оба упрямые, оба своенравные, а я еще (из-за семейной трагедии) и неврастеничка — ну разве же мы можем мирно жить? Все это вселяет в меня уверенность — конец близок, все кончено... Но я люблю тебя... есть еще надежда... Говори же, отвечай...»

Было и такое письмо, после крупного разговора с моими друзьями...

10 декабря.

Вчера была на выставке русской исторической живописи (Третьяковская галерея) и только сейчас попытаюсь разобраться в своих впечатлениях.

Когда я была в Баку, меня многие (армяне, тюрки, грузины) спрашивали, какая у меня национальность. Этого вопроса у меня в Москве не возникало, в нашей семье этот вопрос тоже не возникал. И вдруг люди стали интересоваться моей национальностью. Особенно, когда у меня, москвички, потребовали изучения азербайджанского языка, я почувствовала себя русской. До этого у меня ни мыслей, ни особых ощущений своей национальности не было. К другим национальностям я отношусь ровно — все нации для меня равны.

Вчера, когда я после осмотра выставки шла домой через центр, по Красной площади, мимо Кремля, Лобного места, храма Василия Блаженного, — я вдруг вновь почувствовала какую-то глубокую родственную связь с теми картинами, которые были на выставке. Я — русская. Вначале испугалась — не шовинистические ли струны загудели во мне? Нет, я чужда шовинизму, но в то же время я — русская. Я смотрела на изумительные скульптуры Петра и Грозного Антокольского, и чувство гордости овладело мной — это люди русские. А Репина — «Запорожцы»? А «Русские в Альпах» Коцебу?! А Айвазовский — «Чесменский бой», Суриков — «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни» — это русская история, история моих предков...

15 декабря.

Как только подхожу к строгому, стильному зданию Библиотеки имени Ленина, странное чувство овладевает мной. Все, что до этого волновало, тревожило или радовало, все житейские мелочи и дразги — все отходит в сторону, и я вхожу в умную тишину читальни спокойно, неторопливо, точно боясь расплескать из полной чаши драгоценный напиток — живую и мертвую воду...

Хорошо в читалке. Здесь строгая тишина. Не мертвая, гнетущая и тревожно настороженная, а тишина умная, располагающая к углубленной, вдумчивой работе. Шелест переворачиваемых листов книг или тетрадей, шепот сотрудниц, легкое дуновение ветерка от проходящих и уходящих посетителей. Тишина читалки напоминает мне тишину леса в безветренный день — тихо так, что слышно биение собственного сердца, и в то же время вокруг бьется и кипит жизнь...

Полюбила я читалку. Часто захожу и сижу в своем любимом уголке. Лампа, ручка, чернила, тишина. Сотрудницы уже знают меня, привыкли и быстро, аккуратно выполняют мои заказы. Если какой-либо книги нет, то в следующий раз ее для меня обязательно отложат.

Иногда книга не идет в голову. Тогда переходишь к перу и бумаге. Вот и сейчас мне захотелось опять провести смотр прочитанного за последние три месяца, заполненных мрачными мыслями и переживаниями. Очень тяжелое было время — мне дали понять и осознать мою гражданскую неполноценность за грехи отца, потом эта неудачная поездка

в Баку, хлопоты и волнения в Москве, затем сумасшедшая гонка в учебе. Но все же мою книжную полку можно кое-чем пополнить.

Только вчера прочитала — но с нее хочется начать — чудесную драму Генриха Ибсена «Пер Гюнт», она сказочно-фантастическая, грациозная и как будто звучащая. Читаешь и точно слышишь музыку. Я закрываю глаза и слышу песню Сольвейг, вижу на склоне лесистой горы шествие гномов, троллей и домовых, сказочно-красивую «Женщину в зеленом»... Мечтаю услышать когда-нибудь музыку Грига к «Пер Гюнту».

Вересаев («Без дороги», «Записки врача», «На повороте» и др.), Помяловский («Мещанское счастье»), Слепцов («Трудное время»)... «Хождение по мукам» А. Толстого. Замечательная книга! Кнут Гамсун («Голод», «Пан», «Виктория»). Гордые гамсуновские люди, а любовь для них — рок. Хороша и гамсуновская природа. В последнее время Гамсун скатился к фашизму. Надо будет познакомиться с литературой о Гамсуне.

Замечательные книги Ромена Роллана «Гёте» и «Бетховен». Я недавно была на квартете имени Бетховена. Музыка оставила глубокое, сильное впечатление. Я с грустью думала, что в моем образовании такой громадный пробел — нет музыки. Увлеченная Бетховеном, я бросилась к книгам о нем. Если малограмотна в музыке, то хотя бы почитать о музыкантах.

Боккаччо — «Декамерон». О впечатлении, со скромной улыбкой, умолчим.

О. Генри — «Новеллы». Говсрят, что это «американский Зоценко». Это глупость, конечно. О. Генри несравнимо лучше, глубже, оригинальней и, главное, умней Зоценко.

И (в который уж раз!) опять Гейне. Он ездил со мной в Баку, вернулся и вновь мне грустно улыбается:

Печально и вместе забавно
Иногда убеждаемся мы,
Что любят два сердца друг друга,
Но верить не могут умы.
Ты слышишь ли, крошка, как много
Любви в моем сердце? Она
Головкой качает: «Бог знает,
Кому та любовь отдана».

20 декабря.

Еще раз прошла по Музею нового западного искусства. Здесь мне многое непонятно. У отца был хороший друг, хороший художник Доброковский. Мы все его звали «Худогой» (искаженно от «художник»). Один раз (года три назад, а сейчас он тоже арестован) я была в музее вместе с ним, и он давал объяснения. И все же многое до меня не доходит.

Почему «Девушка в черном» (Ренуар), а черного нет — все краски есть, кроме черной? Более понятна его же «Девочка с кнутиком», где белое дано цветами радуги. А вот «Сосна» (Синьяк) похожа на попугая. Пикассо и фермершу, и девочку, и пьяницу изображает геометрическими фигурами... Если это художественные искания, то следовало бы показать, что эти искания дали.

Понравился мне Дени («Полифем») и Марке — особенно его «Везувий».

В общем, впечатление от музея неудовлетворительное... Впрочем, некоторые утверждают, что это надо понимать как «недоросла».

Вчера была в Художественном театре на комедии «Смерть Пазухина». Досадно — до сих пор плохо знаю Салтыкова-Щедрина.

28 декабря.

Сегодня мама получила подарок, очень ее порадовавший: директор института прислал ей письмо с сообщением, что ее дочь Нина Алексеевна, студентка первого курса, сдала все зачеты за первый семестр и показала отличные успехи. Маму и директора школы (вот с этим уж я никак согласиться не могу!), в которой я училась, поздравляет и уверен, что она (это — я!) и в дальнейшем будет высоко держать знамя отличницы учебы.

Для бабушки это явилось предложением выпить, а для меня — средством покрыть стоимость билета на оперу «Прекрасная Елена» в Театре Немировича-Данченко.

1940 год

2 января.

Проводили старый и встретили Новый год. Были только свои — дядя и тетка, Стелла и бабушка. Несмотря на обилие напитков, было во встрече что-то минорно-похоронное. Не было отца, а дядя Илья, подвыпив, рассказывал о своем многомесячном тюремном опыте. Некоторые детали и подробности ужасны. Страшно подумать: неужели и моему отцу пришлось пройти через это?

На рассвете я, Стелла и Леля пошли гулять. Зимний рассвет в Москве чудесный. И это был первоянварский рассвет, когда многие москвичи только что заканчивали ночь. Мы немножко похулиганили на улицах, студентка-отличница не отставала от школьников. Когда к нам привязались какие-то подгулявшие «новогодники», мы со смехом убежали...

Уснула как убитая. И проснулась только в пять часов вечера.

Начался год. Что-то он даст? Хочется учиться, читать, расти...

20 января.

Я люблю Москву. Сегодня у меня была бессонница. Долго ворочалась, пытаюсь уснуть. Потом тихо встала, оделась и вышла на улицу. Был четвертый час. Тишина безлюдных улиц, хороший бодрящий мороз... Я пошла без цели и не выбирая направления. Прошла через центр. Поновому увидела и ощутила Красную площадь, Кремль и алое знамя над Кремлем. Не умею, не могу даже определить своих чувств. Слов нет. Жаль, что не знаю музыки. Только в звуках торжественной симфонии можно, наверное, отлить те чувства, настроения и смутные образы, охватившие меня в этот предрассветный тихий час...

Отсюда я углубилась в сумеречную тишину замоскворецких переулков...

Москва! Только одно это слово волнует и наполняет душу гордостью, настраивает на песенный, былинный лад. Тысячелетия шли над тобой, Москва! Из пожаров, из моровых язв, голодовок, из хищных лап иноземцев, из кровавых междоусобиц вставала ты, Москва, все более и более красивой, могучей и милой русскому сердцу. Грозовые тучи собираются сейчас на горизонтах. Но разве они могут испугать Москву? Москва может сгореть, но Москва, как сказочная птица Феникс, вновь возродится из пепла еще более могучая и прекрасная.

Я — москвичка! Москва для меня — родная мать. Она порой бывает сварливой, строгой, требовательной, но всегда она была и будет любимой мамой...

Шесть часов утра. Леля проснулась, удивленно вытаращила глазенки и сказала: «Нина, ты что так рано встала?» — и опять сладко заснула.

Лягу и я. А перед сном на подушку свою возьму Гёте:

Все ты хандришь, о несбыточном мыслишь!
Да оглянись: сколько жизни вокруг!
Счастье всегда возле нас. Научись лишь
Брать его полною горстью, мой друг.

24 февраля.

День Красной Армии был как бы итогом моей комсомольской, общественной работы за эту зиму. Райком комсомола в порядке проверки готовности комсомола к обороне в день Красной Армии провел военизированный переход Москва—Сходня—Нахабино—Москва. Я была назначена командиром роты студентов нашего института. Пробная мобилизация и переход прошли хорошо. Моя рота выполнила маршрут в указанные сроки, дисциплина, политработа во время перехода — все было в соответствии с приказом командования. Приказом по батальону мне была объявлена благодарность.

В общем, к войне готова. Одно плохо: из-за близорукости не могу научиться хорошо стрелять, а напяливать очки не хочется — корове седло!

8 марта.

Между друзьями не то что «черная кошка» пробежала, а ширится холодная пустота. Вспомнила Настю хвалынскую. Что-то далекое, детское, но красивое... Долгая разлука стала могилой для красивой детской дружбы. А с Гришей и Леной? В особенности с Гришей? Любовь не получилась, а дружба тоже покрывается какой-то кисленькой плесенью.

18 марта.

Передо мной «Очарованная душа» Ромена Роллана. Пока прочла две книги — «Аннета и Сильвия» и «Лето», но уже покорена и очарована, как когда-то «Жан-Кристофом». Аннета Ривьер! «Ривьер» — по-французски река. И жизнь Аннеты похожа на полноводную, глубокую реку: то бурную, кипуче-шумливую, то величаво-спокойную. Большая психологическая правда, оптимизм: «Я принимаю жизнь такой, какая она есть. Пусть трудная, пусть страшная, но я принимаю ее — я принимаю ее вызов!» — лейтмотив Аннеты.

2 апреля.

Лежу больная. Давно хотелось «поговорить» с дневником, но, видно, теперь только, больная, и могу это сделать.

Со старым покончено. С Леной и Гришей. И хорошо — слишком стала утомительна эта бесплодная игра. Я еще в начале марта сказала Грише, чтобы он забыл мой телефон. Он не слушается, но я неумолима. Без боли и сожаления расстаюсь с друзьями. Лена — «суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано». Безвольная, вечно раздраженная, много обещает и ничего не дает. Я устала от идиллических картин и мелодий.

У нас в группе интересен Женка. Ему двадцать шесть лет, кандидат партии. Он как-то рассказал мне о своем пути в вуз. Вот это была борьба!

Надо перестраивать весь строй своей жизни и переходить в следующий этап — от школы в вуз.

6 апреля.

Была в Музее восточных культур на китайской выставке. Китайское правительство передало Советскому Союзу на сохранение шедевры

китайского искусства. Китайская живопись на свитках, чудные инкрустации, фарфор, слоновая кость, вазы, веера, шелка, халаты и совершенно непревзойденные изумительные вышивки по шелку. А фонарь! Все это надо видеть, нельзя рассказать. Два часа я провела на выставке, как в сказочном царстве.

.

Сейчас два часа ночи. Тишина. А я читала Эдгара По. У-у! Мороз по коже от этих рассказов...

20 апреля.

Еще раз была в консерватории на концерте Гинзбурга, исполнявшего сонаты Бетховена. И еще раз убедилась, что мне рано ходить на такие серьезные вещи. Мало что поняла, хотя в отдельных местах сильно захватывало...

30 апреля.

В нашей группе из общей студенческой среды выделяются Жора, Женя, Володя, Ира. Но они живут обособленной группой. А у остальных общий уровень развития невысок. Одно время меня заинтересовал Женя, но потом обнаружила в нем недостаточную культуру, ограниченность. Мне хочется ближе познакомиться с Жорой, но он не делает шагов навстречу мне, а я, конечно, первой тоже не сделаю.

8 мая.

Кажется, это самое лучшее, что я слышала в консерватории, — Ленинградская хоровая капелла и хор мальчиков под управлением Свешникова. Хор выступает без всякого аккомпанемента, но как мощно и красиво звучат голоса! Порой кажется, что это звучит орган. Особенно мне понравилось «Эхо».

22 мая.

Грызет хандра, как крыса голодная. И понимаю почему: это тоска по друзьям. Друзей не хватает. Вокруг меня нет интересных людей. Вот только Жора, но дружбы у меня с ним не получится, я это ясно вижу.

Мне девятнадцать лет. Кажется, самый расцвет молодости, а мне скучно. Боже мой, какие у нас в группе серенькие, мелкие люди! И с ними мне жить и учиться пять лет! А впрочем, чем я лучше их? Кажется, хуже, но только мне скучно!

«Что в наше время может дать институт? Нужен ли он и можно ли стать культурным человеком без него?»

«В институтах учатся одни дураки. Гениальные, одаренные люди всегда в конфликте с массой. Отличники большей частью ограниченные люди. В институте не жизнь, а прозябание».

Это все афоризмы Жорки. Следовательно, и он дурак, если учится в институте?! Вспомнился анекдот из логики: один грек сказал: «Все греки врут» и т. д. Но в спорах Жорка увертливый и способен вопреки правилам на «подножку».

23 мая.

.

Кончается третья тетрадь моего дневника. Третий кусок моей жизни. Каждый раз, когда кончается тетрадь и ее приходится откладывать в архив, мне почему-то грустно. Мысленно прослеживаю свою жизнь — детство и юность. Быстро летит. Смотрю на свою фотографию тридцать ше-

стого года, когда папа уезжал на Север. Неоперившийся «гадкий» утенок, с удивленными глазенками — не то татарчонок, не то калмычка, — смотрит и удивляется чудесам жизни. И вот я вышла на порог «большой» жизни и вижу: расстилается передо мной туманно-лиловая даль, манит неведомыми радостями, обещает бури в своих просторах и сладостный покой в каких-то далеких гаванях. Чья-то мужественная сильная рука лежит на плечах, а детские ручки обнимают шею...

Но прежде всего мне хочется бури:

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой,
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Тетрадь четвертая

Лето 1940 года

(Листки блокнота)

...Он легонько тянет ее за руку дальше и дальше в лес. Неожиданно целует в щеку.

— Ты что? Что тебе от меня надо?

Они стоят. Ее руки в его сильных горячих ладонях. Он слегка тянет ее к себе:

— Я просто тебя люблю.

Перехватило дыханье, но пересиливаю себя и, задорно трянув головой, говорю:

— А я тебя нет.

— Это неправда, ты врешь!

— Как это вру? Говорю и повторяю: н е л ю б л ю! Ты мне нравишься, это я могу сказать, но любить? Нет!

— А я люблю!

— Ну и люби. А я не буду.

Он сильно жмет руки, раскачивает их. Разгоряченные беготней и борьбой, громко бросают слова: «люблю», «не люблю»...

Потом вдруг срываются с места и, не расцепляя рук, быстро шагают по лесу.

— Какой ты странный человек, Жорка! Тебе говорят, что тебя не любят, а ты утверждаешь обратное. Как это можно?

— Потому что это не так.

У девушки бьется сердце — тяжело и гулко, грудь наполняется волнением — неужели она любима?

А на следующий день он говсрит:

— Ты, кажется, обиделась на мои пьяные слова вчера вечером?

Холодный обруч сжал сердце, но внешне спокойно сказала:

— Нет, что ты... стоит ли говорить об этом...

Но в комнате своей упала на кровать, стиснула зубы от злости. Как он смеет оскорблять своими капризами?

— Нина, что с тобой?

— Уйди! Я тебя ненавижу! Кто тебе дал право издеваться надо мной?

— Нина, но я люблю тебя! — Голос встревожен.

— Врешь, тебе поиграть хочется... — А рука ее уже тянется к его голове, и вся она — порыв и желание.

Поцелуй, объятия, слезы и радость — все смешалось.

— Ведь я тебя тоже люблю...

— Это правда, Нина?

— Ну, конечно, противная твоя голова...

Следующие дни полны смешанным чувством — и счастья и боязни, что счастья еще нет, а есть лишь призрак его. И еще брало сомнение: почему, когда они вдвоем, они не могут разговаривать? Словно эти два человека, жадно стремящихся друг к другу, не имеют общего языка. Чтобы сгладить неловкость молчания, он целовал ее. Но этот выход из положения ей не нравился. Она думала: они друг друга очень мало знают. Нужно узнать его поглубже, надо сблизиться духовно, сродниться. Эта мысль ей не давала покоя, а его... раздражала. Достигнуть физического сближения нетрудно, а вот познать себя и друга своего — это не удавалось. Отношения казались нечистыми, нехорошими. Это не любовь, а голая физиологическая страсть. Она пыталась постичь его внутренний мир, его мысли, влечения. И ни на один вопрос не получала ответа.

— Что в этой любимой голове? Не знаю, ничего не знаю!

Неуверенность и страх закрались в сердце, предчувствие близкого конца не давало покоя. Ну что же, пойдем навстречу всему, чему суждено случиться.

А он был настойчив, его неукротимые желания смущали. Но она также настойчиво отклонялась от более интимных отношений.

— Ну, милый,пусти... не надо...

— Ну почему, Нина? Я хочу, Нина, чтобы ты была моей от последнего пальца до корней волос.

И он ласкал ее сильными, грубыми руками.

— Будь моею!

— Нет... я тебе говорю, что этого не будет.

— Будет! Все будет... Не сейчас, так после.

— Никогда!

Сцена повторялась несколько раз и утомляла обоих.

— Все так говорят... Хочешь, я больше не буду требовать?

— Хочу.

— До какого времени?

— Навсегда.

— Ну, до конца практики? Да?

— Хорошо.

Расстались неохотно. А наутро... Что случилось? Ничего...

Он едет в Москву завтра и вместе с Ирой занимается. Что же случилось? Ничего. Он занимается с другой студенткой. Потом они уезжают. И что же? Да ничего... Только я уже его не провожала, как раньше...

Затем приезжает Ира. Она в «ударе» и очень эффектна — так всегда бывает с девушкой, когда у нее что-то замаячит впереди. Мне грустно. Я вижу: Ира жалеет меня, но она еще ничего не хочет говорить. Но мне все ясно: он уже не мой, он с Ирой. Игра это или что другое?

Злость, обида, пустота...

Он приехал, и стало еще хуже. Они не смотрят друг на друга. Он с Ирой. Его рука часто задерживает руку Иры, они все время вместе.

Игра или серьезное увлечение? Но все равно — покорности от меня не дождется, а любовь и уважение убьет. Да, надо отйти...

...И так до конца практики. Перед отъездом он тянет меня в лес. Он говорит, что во всем виновата я: с чего это я на него надулась? Затем ему кажется, что хотела его закабалить... И вообще нельзя же так жить — смотреть друг на друга, а остальное презирать... Надо же упорядочить отношения, пусть они будут нормальными...

Не-ет! Любя, такие слова не скажут. Какие там нормальные отношения!

— Так ты меня любишь?

— Люблю... — Но голос звучит неуверенно.

Любит, а на стороне флиртует. Нет, у нее так не выйдет, она не умеет разбрасываться. Если любит одного — все остальные не стоят внимания. Верно, это скучная любовь, но она такова...

.....

22 сентября.

Перечла сейчас летние записи. Стало грустно.

Улетело все, о чем мечтала: о сильных, искренних чувствах, о глубоких переживаниях. Что-то вспыхнуло и погасло — как болотный газ.

Но мне сейчас все же трудно, особенно потому, что каждый день видимся. Он предложил мне объясниться. К чему? Достаточно унижений. Я проверяла свои чувства и убедилась: нет у меня к Ире ни злости, ни зависти, ни обиды. Ира мне нравилась и нравится сейчас. А с Жоркой мы не подходим друг к другу.

В последнее время стала чаще вспоминать Гришу. И жаль утерянную чистую дружбу и любовь. А Лена? Я ее очень любила и люблю до сих пор... Хорошо бы встретиться, как прежде, и говорить, говорить... Но тропинки заросли травой...

30 сентября.

До сих пор, хотя прошли сутки, звучат во мне сонаты и симфонические отрывки Чайковского. Очень хорошо. Большое, глубокое впечатление. Я становлюсь, не зная музыки, «болельщиком» музыкального искусства. Бегаю по концертам и операм, читаю о великих композиторах. За лето умудрилась достать и прочитать о Глинке, Франце Листе, Вагнере, Чайковском, Рубинштейне. Хорошая книга Майкапара «Годы ученья». Книга дала мне некоторые понятия о музыкальном мире и целом ряде наук, о существовании которых я и не подозревала: эстетика, гармония, теория композиции, о фразировке, о сходстве музыки с архитектурой: «Архитектура есть застывшая в одном моменте музыка, а музыка — развертывающаяся во времени архитектура».

Познакомилась со всей «могучей кучкой», с историей ее возникновения, ее ролью и значением не только для русского музыкального искусства, но и для мирового.

Для чего мне это, мне, будущему геологу? Мне кажется, что нельзя быть культурным человеком, если не можешь разбираться в музыке, — это одно. И другое — я просто люблю музыку. Она уносит меня в неведомые края, навевает удивительные грезы и волшебные видения, как ни одно искусство. В музыке — движение, полет. Архитектура, живопись, скульптура — статика, что-то отсеченное от жизни и навек умерщвленное...

6 октября.

К моему стыду, это первая книга Стендаля («Рим. Неаполь. Флоренция»), которую я прочла. Читала с большим интересом, но убедилась в своей отсталости — много незнакомых имен сбивают с голку. Честно говоря, требуется перечитка, разумеется в более подготовленном состоянии.

8 октября.

Спасибо Паустовскому за его книгу о Левитане. Тепло и вдумчиво. выразительно рассказана биография большого, своеобразного художника. Хорошо сказал Чехов о картинах Левитана «Золотой плес», «Свежий ветер», «Вечерний звон»: «На твоих картинах даже появилась улыбка». Как это хорошо, «по-чеховски» сказано!

Паустовский и заставил меня еще раз пойти в Третьяковку, где, конечно, в основном смотрела Левитана. Две картины — «Золотая осень» и «Март» — особенно понравились своей жизнерадостностью, синим небом, воздухом. На них «улыбка». Но две другие — «Над вечным покоем» и «У омута» — навяли дикую тоску.

20 октября.

Еще раз прочла «Воскресение» Толстого. Нехлюдов мне противен до тошноты, несмотря на все старанья автора сделать его привлекательным.

16 ноября.

Сегодня немного расклеилась и в институт пошла только для того, чтобы освободиться от занятий. По обыкновению быстрым шагом шла по Калужской — в платке, какая-то растрепанная и смешная. Вдруг в двух шагах впереди вижу — Вера и Жора. Сердце забилось, и я быстро обошла их, отвернувшись в другую сторону. Но Вера меня узнала и что-то вскрикнула... Скорей, скорей...

Дурная! Я, конечно. Все еще не успокоилась, а времени прошло немало! Вера шла в красивой котиковой шапочке, в хорошем пальто, а он, склонившись к ней, говорил что-то такое, отчего все лицо ее светилось радостно и весело. Стало очень нехорошо — я как будто завидую. Я не ревную, нет, просто я хочу быть на ее месте...

И особенно сильно почувствовала свое собственное ничтожество, свою некрасивость и ветхость, полунищенскую дешевизну моего пальто. Мои дорогие родственнички часто же говорят мне, что я некрасива. Спасибо за любезность, но я сама это знаю.

Широкие, разросшиеся брови (отцовские), серьезная складка на лбу, глаза обыкновенные, нос картошкой, широкие скулы — это мое лицо. Чаше всего оно серьезное — брови сливаются, глаза сощурены, губы выдаются вперед. Когда смеюсь — скулы разъезжаются в стороны — монголка!

В такое лицо нельзя влюбиться. А полюбить?

Гриша говорил когда-то, что я красива. Этот мальчик все во мне идеализировал. Как далеко все это ушло... Вспоминаю, как мы ходили на Москву-реку. Была зима, зима очень суровая, но мы часами гуляли по пустынной набережной, где было, конечно, особенно холодно. В последнее время мы часто целовались. Он целовал робко, но страстно. Я же ни разу не ответила ему поцелуем. Почему? Стеснялась, было как-то смешно и неловко...

И всему конец! Кажется, уже восемь месяцев мы не виделись. С Гришей связано отрочество, юность и первые шаги в жизни, чистые мечты, грезы юности. Гриша, Лена, мои дорогие друзья, вы и не знаете, как я вас люблю и часто думаю о вас!

С Гришей была поэзия, а с Жоркой — чад, угар, хмель. Почему наши отношения быстро порвались? Разозлила его моя неуступчивость или же увлекся Ирой? Но все это кончено. Сейчас, оглядываясь вокруг, вижу серость и скуку. И все мне противны...

Изнываю от будничной, медленно текущей жизни. Хочется нового, будоражного. Я даже период экзаменов люблю — время подъема, борьбы, порывов...

От старого у меня осталась Нина Андреевна! Какая она умница, чуткая, энергичная и живая. Я с ней редко встречаюсь, но теплые, дружеские отношения не остывают. Говорим всегда с полной откровенностью обо всем.

18 ноября.

Вчера был долгий разговор с Ниной Андреевной, и она раскрыла мне весьма распространенную разновидность таких подлецов, которые только и стремятся к тому, чтобы «рвать цветы невинности». Жорка — один из таких подлецов. На мне сорвалось, так теперь он ищет утешения у других...

Но сама Нина Андреевна тоже накануне полной катастрофы: ее муж арестован. Физически и морально она чувствует себя разбитой, хотя еще и пытается держаться. Ей пришлось подать заявление об уходе с работы. Она решила уехать из Москвы — в провинции, на новом месте, среди новых людей. попытаться восстановить душевные силы. С ее отъездом я лишаюсь последнего друга моей юности.

30 ноября.

Первая весточка от папы и какая же страшная: он особым совещанием при НКВД признан «социально опасным элементом» и приговорен к заключению на пять лет. Он просидел в тюрьме под следствием больше двух лет — двадцать шесть месяцев. Удивительно, письмо папы полно какой-то странной свежести и бодрости. Столько просидеть в тюрьме (и, возможно, так же, как и дядя Илюша!), получить приговор на пять лет и с увлечением описывать то место, куда его выслали «на перевоспитание». Дикое ущелье, холодная, хрустально-прозрачная и кипучая таежная река. Папа назначен звеньевым на строительстве дороги. В его звене — три лейтенанта-пограничника и двое рабочих. Все или «опасные», или «деятели» троцкизма и пр. Папа очень хорошо описал и тайгу, и своих товарищей по несчастью. И написал песню, которую сочинил в тюрьме один артист московской оперетты.

Мне и письмо и песня очень понравились, а мама буквально рассвирепела. «Винovat он или нет? Почему он не обжалует приговор? Пишет всякую ерунду и чепуху, а про дела ни слова...» Кому-то собирается писать...

30 декабря.

Прошел год. Он дал немало. Была упорная работа — и летом, и в первом семестре, и сейчас. Я должна быть серьезным геологом, знающим. Была общественная работа, работа с душой и настроением. Было и любовное головокружение. Нет и не было одного — дружбы.

1941 год

4 января.

Будто новогодний подарок — 31 декабря получили письмо от папы. Оно шло месяц. Папу с дорожного строительства перевели рабочим в буровую партию, которая исследует грунты для строительства мостов. Живет партия в палатках и кочует с одной реки на другую. Письмо опять бодрое, свежее. А на мамино ворчанье только и ответил: «О деле писать нечего. Дела нет, а есть слон из мыльного пузыря. Я не умею опровергать то, чего нет, и не было, и даже не могло быть...»

И дальше — густые яркие краски о природе и о людях, с которыми живет и работает. В конце ноября, когда было послано письмо, буровая партия переселилась при пятидесятиградусном морозе на новую речку, которой еще нет и на карте. Прежде чем поставить палатку, им при-

шлось разгребать снег метровой толщины... И меж строк письма какая-то неуловимая ироническая улыбка. И еще одна песенка:

Я живу близ Охотского моря,
Где кончается Дальний Восток.
Я живу без нужды и без горя,
Строю новый стране городок...

Песенка неизвестного автора, конечно заключенного.

6 января.

Вчера была в консерватории на Бетховене. Исполняли 8-ю симфонию, концерт для скрипки и увертюру «Эгмонт». Дирижер Натан Рахлин, скрипка — Полякин. Сидела я, как обычно, во втором ряду партера (а билет в первом ряду с конца — под крышей!).

Как ни странно, но игра Полякина меня не затронула. Я больше смотрела на него, чем слушала. Но «Эгмонт» меня подхватил — не знаю, как это описать, — мне захотелось встать, идти куда-то, я почти физически ощущала полет — в груди тревожно билось сердце, дышать было трудно. Я в восторге долго аплодировала и не отрывала благодарных мокрых глаз от Натана Рахлина. Он кругленький, полненький толстячок, с очень приветливой улыбкой. Но когда он дирижировал, он был могучий великан, от его движений вздрагивал не только его пюпитр, но и мой стул.

Увертюра «Эгмонт» и «Леонора 3» понравились мне больше, чем симфония. Не знаю почему...

Очень люблю Грига — сказочные мелодии, прелестная музыка. Все это мне дорого и мило. Слушая Грига, вспомнила Гришу... Серебряный бор, вечер, шум леса. Григ навевает лирическое, тихое настроение. Бетховен тревожит, зовет к борьбе, к восторгам победы — и порой он мне даже страшен...

А сегодня Бах. Я о нем пока ничего не знаю. Пойму ли что-нибудь?

8 февраля.

Я очень давно стремилась услышать «Пер Гюнта» и наконец была вознаграждена. Мало сказать: понравилось. Я просто в упоении. Я сидела в первом ряду партера (конечно, опять с билетом на галерку) и могла наблюдать всех исполнителей. Волнение Шарановой, интересную игру Толчанова — все до мелочей пришлось рассмотреть. «Пришлось», потому что это очень мешало слушать музыку, пока я не рассердилась и не перестала смотреть на сцену. А Пер Гюнт!

20 февраля.

Прочитала «Ярмарку тщеславия» Теккерея. Есть у него неплохие советы для людей, желающих преуспеть в обществе и быть «добрыми малыми».

Но после таких поучений хочется пойти в ванну и хорошо, с мылом помыться. Но, увы, и в нашем обществе... Сытый, благовоспитанный мешанин ползет из щелей...

24 февраля.

Нина Андреевна прислала мне книгу «Ленин. Материализм и эмпириокритицизм» с надписью: «Нине, которой от души желаю сохранить навсегда непосредственность и искренность и обязательно изжить высокомерное презрение к товарищам, которые ниже по уровню развития,

и «полосы» пессимизма и пассивности в настроении, превращающие боевую и активную Нину в непробудную «спящую красавицу» с некоторой дозой хныканья и налетом обывательщины.

Спасибо, дорогая Нина Андреевна!

2 марта.

Книги как-то по-особому остро напоминают мне, что, в сущности, я еще только стою на пороге огромного и чудесного храма науки и искусства. Каждый шаг вперед многое дает, но в то же время раскрывает такие горизонты, от которых дух захватывает... Но я не отчаиваюсь: каждый шаг вперед я сплошь и рядом делаю для собственного удовольствия. Я бы умерла с тоски или стала пьяницей, если бы не было поэзии, музыки, моих книг, а была бы только сухая институтская долбежка...

20 июня.

Я долго противилась желанию писать: боянь ли глубокой оценки своих поступков или нежелание навести ясность в собственной голове — словом, то же самое, что и с тягой к книгам. И хочется читать, а между строчками читаешь что-то свое, что волнует более, чем самая интересная книга. Перед глазами неотрывно стоит один-единственный образ, одна милая голова.

Несутся картины, воспоминания прошедших дней, как надоедливые сторожа и «мамки», проносятся мысли, легкие, неглубокие. Но вскоре все замолкает, и остается только сегодняшний день, «сейчасное» счастье.

В жизни моей колоссальная перемена. Я уже не «сама по себе», я уже «чужая». Кажется, что моей независимости конец, что теперь я не смогу так легко порвать, если это потребует. Очень крепкая нить привязала меня к этому человеку.

Стендаль называет чувство «кристаллизацией». Возможно, что я многого не вижу в том, кого я должна хорошо знать именно благодаря этой «кристаллизации». Но то, что я знаю, мне безусловно нравится: поступки последних дней убеждают меня в том, что передо мной действительно Человек по-горьковски. Хотя и бессознательно, но я как будто испытываю его и хотелось бы еще больше испытаний, более трудных. Я чувствую, что сейчас мне необходимо попасть в Москву: в первый же день приезда я смогу точно определить свое отношение к нему. Мне не раз помогала в этом именно Москва, и я знаю почему.

Здесь, в деревне, среди чудной природы, сближение очень просто. Слишком просто, я бы сказала. Сходятся подчас люди совершенно различные, далекие, сходятся неожиданно и быстро. Это, конечно, очень упрощенное, чисто физиологическое сближение. Так часто бывает в домах отдыха, в геологических партиях, как наша, где люди живут свободно и с минимумом забот. Но, как правило, по возвращении к обычной жизни такие связи так же легко и просто распадаются, оставляя лишь легкое воспоминание. Нет правил без исключения: бывает, конечно, и нечто более серьезное. Но всегда перемена обстановки является проверкой чувства и кладет или конец, или начало новому, более глубокому чувству. Поэтому мне и хочется в Москву. И боюсь и хочется. В большей степени боюсь за себя: я уже достаточно хорошо знаю свои потребности, свои высокие требования...

Я знаю, что физически люблю, а интеллектуально? Выяснить это мне поможет только Москва. Это не значит, что он должен быть образцом интеллектуальности для меня. Но он должен отвечать моим внутренним

запросам. Я должна почувствовать в нем человека, понимающего мои мысли и переживания. Он не обязан любить то же, что и я, быть со мной одних мнений во всем. Нет, но мы должны стоять на одном уровне. Вот о чем я мечтаю.

Мне страшно ехать в Москву. Я так счастлива здесь, несмотря на все неприятности. Да, неприятности! В другое время это было бы тяжким переживанием, а теперь только... «неприятности».

...Я ходила сейчас по лесу одна. Погода серая, мрачная, черные тучи нависли кругом. Но лес всегда прекрасен, а сегодня даже необыкновенно красив: березы и ели от сильного ветра качаются и глухо, гневно шумят, кустарники, трепеща от ужаса, гнутся к земле. И невольно из моих уст вырываются чудесные стихи Кольцова:

У тебя ль, было,
Поздно вечером
Грозно с бурей
Разговор пойдет...

И ты молвишь ей
Шумным голосом:
«Вороти назад!
Держи около!»

Закружит она,
Разыграется...
Дрогнет грудь твоя,
Зашатаешься:

Встрепенувшись,
Разбушуешься:
Только свист кругом,
Голоса и гул...

Досадно, что он не пошел. Ах, Серега, как ты крепко меня привязал к себе! Я уже не чувствую себя «самой по себе»...

У меня еще не было повода думать о нем плохо. Он поражает не только меня, но и других исключительной порядочностью, чуткостью, вниманием. Мой милый! Мне хочется звать его всеми ласковыми словами, говорить и говорить ему: «Мой любимый, мой дорогой! Крепче прижми меня к сердцу, дай уснуть, радость моя, на груди твоей. Я люблю тебя, мой большой и ласковый человек...» И сотни других ласковых, нежных слов вот этому человеку, который сейчас так крепко спит...

А ветер шумит. Где-то далеко-далеко, точно испуганный крик паровоза...

Я ему правду говорю: «Хочу ребенка». Меня не пугает, что я молода, что ребенок помешает учебе. Я хочу оставить след нашей любви...

23 июня.

Вы помните, Нина Алексеевна, как вы втайне мечтали пережить большие, волнующие события, мечтали о бурях и тревогах? Ну вот вам — война! Черный хищник неожиданно, из-за черных туч кинулся на нашу родину.

Ну что ж, я готова... хочу действий, хочу на фронт...

28 июня.

Как отлично это лето от прошлого. В прошлом году, кроме всяких дел, много читала, интересовалась архитектурой, живописью, музыкой. Это был богатый год, насыщенный. Сейчас наоборот. Моя внутренняя жизнь мало содержательна, интеллектуальное — глубоко внутри. Но в личной жизни я счастлива. Мне хорошо. Я люблю чудесного, хорошего человека. Я чувствую в нем не только мужчину, не только любимого.

Он друг наш, заботливый брат. Его все из нашей геологической партии любят и уважают. «Мы далеки друг от друга. Ты всем своим развитием подготовлена к большой интересной жизни, я для тебя слишком прост». Так сказал он. О-о, мой милый Сережа, ты и сам не подозреваешь, какая у тебя хорошая, чуткая душа...

Дорогая, милая моя Лена!

Если бы ты знала, как я хочу тебя видеть! Я вспоминаю твое родное лицо, твои черные кудряшки, твой голос и ласковое «Нинок». Какая я свинья! Я очень мало тебя ценила. Хочется тебе сказать, Леноч, что я не переставала тебя любить, не было ни одного дня, когда бы я тебя не вспоминала. Я пыталась уверить себя: «Ничего, будет новая дружба!» Но я обманывала сама себя — не было новой дружбы и не будет.

...За окном густая, непроглядная темь. Зародился новый месяц. Тонкий серпок робко появился и быстро исчез. А хороводы ярких звезд великой беззвучной симфонией тревожат и волнуют душу. На улице тепло, хотелось бы куда-нибудь пойти, слушать таинственный шепот леса и задыхаться от безмерной радости жизни. И не с кем. Мне грустно без моих друзей. Нет человека, которому можно было бы рассказать свое...

Человек, которого я люблю... которого я, кажется, люблю, не подходит для этого по ряду причин. И первая и главная причина в том, что он слишком волнуется за меня...

Мне надо отсюда убраться, мое место сейчас не здесь. Мое место на фронте. Жизнь сломалась, жизнь круто направилась по другим путям. Надо что-то решать и в первую очередь надо быть честным с самим собой, не прятать трусливо голову от вражеских вихрей...

Июль (неизвестное число).

Не пойдем, что нам делать. Из Москвы истерические телеграммы: «...работы продолжать...», «...работы свернуть...» А если «свернуть», то куда выезжать?

На фронте что-то невообразимое — фашисты врезались к нам, как нож в масло... У всех на устах недоуменные вопросы, растерянные взгляды: неужели мы так слабы?

1 сентября.

Горячее солнце обливает лучами большую поляну. Парит. Хочется купаться. Но вот налетел свежий ветер. Лес зашумел, стряхивая с себя пожелтевшие листья, и глубоко вздохнул: «Уж поздно... осень наступила».

Сегодня первое сентября. По всем правилам надо уже быть в Москве, учиться. Но требуют сидеть здесь, доводить до конца работу, которая неизвестно когда и кому понадобится... А пожар войны охватил страну от «хладных финских скал до пламенной Колхиды», враг уже глубоко среди наших полей и лесов...

Будущее темное и страшное... Но я пойду в будущее, это решено...

Неяркое голубое небо покрыто легкими облачками, солнце горячее, а кругом лес. Никогда не забуду Тамбовских лесов. Милый лес! Ты был нам другом, нежным и заботливым, ты укрывал нашу любовь от нескромных, а порой даже ядовитых взглядов, прикрывал густыми ветвями и шептал нам сказки...

А луга, ранним летом расцвеченные многоцветными коврами цветов,— их я тоже не забуду. Из луговых цветов я плела венки и украшала ими голову милого...

Сейчас по лугам прошли косцы. Под острой и звенящей косой упали цветы и травы, а среди серых и унылых лугов выросли стога сена. Стога вначале были пушистыми и ароматными, а сейчас их омыли дожди, они потемнели и осели. И среди моей любимой поляны стоит стог — одинокий и угрюмый...

2 сентября.

Добрейший Иван Андреевич, наш институтский пестун, расположившись возле речки, снимает рюкзак и предлагает «устроить шашлычок». Мы, как маленькие дети, с радостным криком бросаемся помогать ему. Иван Андреевич за главного повара, а нам — сбор дров и костер.

Полуголые, в купальных костюмах, бегаем по берегу, собираем сучки и щепки. И вот на опушке леса вспыхивает большой костер. А мы, как племя диких, чуть не пляшем вокруг костра.

Иван Андреевич угостил нас чудесным шашлыком. С редким аппетитом мы уплетали подгоревшие, задымленные, с песочком кусочки мяса. Он подавал мне шашлык на ноже: — мне лишь оставалось открывать рот, что я, как голодный галчонок, и делала. Потом купались, барахтались в речке, смеялись над Иваном Андреевичем, нашим милым «глухарем»...

Но душа переворачивается, и уж не до бездумного веселья, когда вспомнишь, что где-то, уже близко, льется кровь, города и села распадаются в прах и пыль...

3 сентября.

Трудно сказать, что красивее: высокие, стройные сосны, задумчиво-строгий бор или веселые, нарядные, будто девичий хоровод, березки. Мне по духу ближе угрюмые сосновые леса. Очень глубоко врезалось мне в память одно местечко в моих лесах, в моих владениях.

Там, возле Крутицы, за оврагом, идет дорога на Кутлю. Сосновый бор расступается, образуя щель, пропуская неширокую дорогу, это место поразило меня своей красотой.

Я вышла на дорогу, остановилась, и сердце защемило. И заплакала — горьки и сладостны были слезы. Мне в то время было трудно, но я выплакалась в лесу, в тени угрюмых чутких сосен, и стало легче. Меня успокоила величавая красота леса. Он будто нашептывал мне мудрые слова о том, как хороша жизнь. Ах, как хороша жизнь! «Даже в твоих горестях и печалях есть радость большой жизни! Не плачь, маленький человечек!» Я с благодарностью смотрела вверх: вершины сосен слегка качались, а дорога шла вперед... и никого кругом...

Вокруг меня все время только лес. Все мои чувства, мысли слились с ним, он один передо мной.

Двое ребят, работающих в шурфах, не в счет...

Идет осень. Еще две-три недели, и я покину тебя, мой дорогой лес, уйду, должна уйти туда, где развернулась великая битва... И так грустно становится при мысли, что здесь я оставлю свое счастье... чтобы искать иное счастье и в другом месте. И найду, обязательно найду!

И кажется мне, что гордые сосны мне говорят: «Надо так жить, чтобы иметь право держать голову подобно нам — высоко, гордо, независимо».

«Таких ломает судьба! — испуганно зашелестели березки. — Сильные бури ломают гордых, рвут их с корнем... смирись, согнись...»

«Да, но те, кто выдержит бурю, будут еще более сильными, гордыми... Безумству храбрых поем мы песню!» — слышится мне в гуле могучих сосен.

Я прислушиваюсь к голосам леса, к торжественному гимну гномов, элей...

10 сентября.

И стоять бы под руку с березкой,
И смотреть, как ветер шевелит листву...

За одни эти слова я вспоминаю о Грише с хорошим, теплым чувством.

Осень. Чуть слышно шелестят поблекшие листья, тихо кружатся, опадают на землю. Деревья оголяются, а их подножье все плотней укутывается цветистым ковром. Сосны стоят все так же гордо, спокойно и уверенно, ждут студеной зимы и жестоких бурь. А березки отдают листок за листком, обнажают свои тонкие гибкие ветки. Чуть легкий ветерок налетит — листья кружатся. В вечерних сумерках березки стоят грустные-грустные...

За целые сутки мы виделись всего десять минут и то в присутствии рабочих. Нет, надо уезжать скорей. Он так близок мне и чем дальше, тем больше. А меня тревожат новые мысли, я слышу зовы иной жизни. Я не рождена «для звуков сладких и молитв...».

12 сентября.

Веселый огонек согревает руки. Люблю костер. Смотрю на маленькие языки пламени, кудрявые струйки дыма, и встают картины одна за другой...

...Рассыпая искры, бросает костер розовые блики на большую елку. А кругом — песни пионерские: «Шли лихие партизаны...» А самый звонкий и высокий девичий — это Люба, любимица лагеря, чудесная девушка... больная туберкулезом.

А вот пионерский костер, на котором я уже не пионеркой, а вожатой. Вспоминается ночь со своими мальцами в шалаше у костра. Татарченок Коля, не отрывая своих желтых острых глазенок от огня, поет заупытную песню без слов и без конца. Несколько «отважных» маленьких сторожей шагают вокруг костра, в кустах. Временами они насакивают друг на друга в темноте, пугаются и смеются. Какие это смелые ребята и гордые порученным делом охраны отряда!

...Каждый день — утром и вечером — мы зажигали костер. В нескольких шагах от костра — широкая, могучая Волга. Ночью, бывало, вылезешь из палатки и подсядешь к еле тлеющему огоньку. Подкинешь дров, выкопаешь из углей картошку, заботливо положенную отцом с вечера, и с жадностью ешь. Вокруг темнота, еле слышно плещется Волга, покачивая лодку. В лодке спит отец. Белеет палатка, за ней черный массив кустов и леса, над головой яркие звезды...

...Много было костров и под Москвой. Отец любил таскать семью за грибами и в тихом безлюдье жарить шашлычок. Нагрузимся всякой снедью и — на поезд. Вылезаем там, где понравится. Есть грибы или нет — это мало кого тревожит. Самое главное — костер и шашлычок. Вечером, усталые, сонные, еле добредем до дома и скорей в постель...

Где, в каких ущельях, в какой тайге зажигает сейчас отец свои костры? Нет писем от него...

24 сентября.

Как всегда, прихожу на место работы и — никого. Меня это радует — хочу побыть одна. И лезу на сосну. На большой высоте крепкий сук обрывает превосходный стул. И какой вид отсюда! По лугу разбрелись коровы. Луга серые, тусклые. И лес потемнел. Только сосны все такие же зеленые и могучие...

Имею ли я право так жить? Мне становится тяжело: тысячи желаний обуревают меня, мысли вихрем мчатся в голове. Хочется на фронт. Какой смысл в моей работе, кому она нужна?..

Надо что-то и как-то решать...

20 октября.

Веселые шутки разыгрывает со мной судьба и мой характер: уже две недели я скитаюсь с солдатским эшелоном. «Куда влечет меня неведомая сила?»

Я собралась в Москву стремительно и решительно. Как начальник партии ни уговаривал, как ни протестовал, я настояла на своем, и он вынужден был дать мне направление в Москву. Кстати, не было и Сергея: он поехал в Горький для подготовки переезда всей партии на Урал...

Я вышла к станции, но уехать обычным путем было уже невозможно. Тогда я пошла к солдатам. Молодой сержант сразу же подал мне руку, и я влезла в вагон. И поехала. Впрочем, мы больше стоим — то день, то ночь. И главное, не знаем, куда едем. Ждут указания командования. Сегодня сержант поехал в Пензу...

Наблюдений и впечатлений за это время столько, что можно написать целую книгу. Столько бед, столько горя вокруг! С солдатами подружилась в первый же день... Хорошие, славные ребята...

28 октября.

Я приехала в Москву 24 октября. И была прямо потрясена московскими впечатлениями. Началось с нашей квартиры — я никого из своих не нашла. Квартира пустая. Я растерянно ходила по комнатам — все вещи на месте, на месте книжные полки и книги, даже всякие мелочи: рамки из уральских камней с фотографиями, часы, репродуктор (и так же аккуратно говорит, и тот же голос диктора, как и полгода назад!), но нет ни мамы с маленькой Верочкой, ни сестренки Лели, ни бабушки, ни теток... Пусто. Тихо. На моем столе письмо мамы, в котором она пишет об эвакуации их треста на Урал. И совет мне — тоже ехать на Урал.

Пустая квартира произвела гнетущее впечатление. Я пыталась отвлечь свое внимание и рассеять тоску любимыми книгами. Увы, мертвая тишина угнетала... На буфете провела пальцем — на слое пыли ясно отпечатались черта. Я написала: «Нина — Лена — Гриша!» — и стало страшно — мороз по коже — от тишины и этой надписи на пыли. Быстро стерла написанное и вышла на улицу...

Жаль, что я не приехала в Москву до 16 октября! Тогда не пришлось бы знакомиться «по свидетельским показаниям» с московскими событиями до 16-го, а была бы сама свидетелем.

Оказалось, что наши нефтяники, переколотив с утра порядочное количество оборудования, расхватав, кому хотелось, дипломы, к вечеру 16-го собрались идти пешком в Горький. От одного к другому бегала Г. и, прикрыв ладошкой рот, торопливо, с захлебом шептала: «Москва будет оставлена! Мне известно... Москву сдают без боя! Надо уходить!» И вот — многие ушли. Институт опустел.

Придет он, час расплаты с вами, подлецы и трусы! Попробуйте-ка вернуться! А вернетесь — мы с вами по-другому поговорим! Хватит, довольно того, что вы громкими, цветистыми фразами прикрывали так долго свои гнилые души и прожорливые желудки. Трудно было до вас докопаться, хотя многие и чувствовали лживость вашей болтовни.

Вот что значит слепо, беспрекословно верить в авторитеты!

Но не все сбежали из института. Сидит в кабинете новый директор, и вся химия на местах. Молодцы! Но все же институт едет... вернее, идет в Стерлитамак...

Но многое я так и не поняла.

Зачем отсылать молодежь, когда под Москвой не хватает народу для рытья окопов? По домам с трудом набирают людей на трудфронт, а сотни студентов, молодых, здоровых, эвакуируют. Что это?

С виду Москва все та же. Неприятно поражают, правда, заколоченные окна во многих домах, а в некоторых окна и двери будто выдавлены. В МГУ попала бомба, и тяжелые, массивные ставни вылетели, на тротуаре груды стекла, щебня, все дома по соседству и напротив стоят с ощеренными окнами.

А по Калужской через определенные промежутки растут баррикады. Впереди торчат массивные рельсы, слегка наклоненные вперед, рядами стоят «ежи», а за ними мешки с песком и просветами для орудий. Наш чудный Крымский мост минирован, по нему уже не пропускают пешеходов.

Как жаль все в Москве — поврежденный Большой театр, Книжную палату. Хожу по Москве и со страхом думаю: вот еще одна тонна — и не будет чудного здания, может быть, последний раз вижу Библиотеку Ленина, где в тихой, уютной читалке столько дум передумано, столько пережито...

2 ноября.

Дорогая Нинуша!

Получил твое письмо и пишу тебе. Но о чем писать? Первым делом хочется тебе сказать, что ты по своим поступкам глупа до невозможности. Я готов тебя избить за упрямство и упорство. Я всегда говорил тебе, что ты еще молода, что необходим тебе совет старших или более опытных друзей. В этом я убеждаюсь все более и более. Мне неприятно, но я считаю своим долгом напомнить тебе наш последний разговор в лесу при последней встрече. Я тогда тебе говорил как друг, как брат, что теперь тебе опасно в жизни. Смотри, Нинуша, убедительно прошу тебя — будь благоразумна!!! Время теперь такое, что надо глядеть в оба! Легкомыслие сейчас подобно смерти. Береги себя! Знаешь, когда я читал твое письмо, я ругал себя за то, что многое прогляпил. Я виноват в твоих мучениях, я должен был предотвратить твой безумный шаг. Мне хотелось бы быть с тобой вместе, возможно, тебе было бы легче. Твои слова в письме — «я имею друзей» — страшно обидели меня. Как понимать «друзей»? А я тебе кто? Ты не считаешь меня другом? Нинуська, противная, что мне делать с тобой? Советую еще раз, если еще не поздно: садись в любой эшелон, идущий на Горький, и поезжай на Урал. Надо наконец уважать своих друзей и родных.

Крепко целую. Сережа.

Это — ответ на мое последнее «прости и прощай».

Да, было удивительное лето — полное нежных ласк, любви, лесных сказок, клятв «до гроба»... «Много, много... И всего припомнить не имел он силы...» Его не было, когда я сделала «безумный» шаг. Оставила письмо: «Не грусти, прости и прощай». Закинула рюкзак за плечи и зашагала на станцию по лесной тропе. Я должна идти туда, куда зовет меня родина. И все в прошлом — лесные запахи, и шепот сосен, и веселые хороводы березок, и венки из луговых цветов...

Сегодня узнала, что Гриша уже на фронте — ушел добровольцем. Как бы хотелось встать с ним плечом к плечу. Вспомнились его стихи:

Поздняя осень. Поблекли, увяли
Листья сирени, черемухи, роз.
Люди трезвее, суровее стали.
Поздняя осень. Мороз...

Да, над Москвой, моей любимой родной Москвой режут «мессершмитты», взрывают фугасными бомбами мои грезы юности, жгут все, что с детских лет с молоком матери вспило и вскормило меня...

Вот так-то, милый Сережа, не жди ответа от меня. Другие дни и другие песни...

А Лены тоже нет в Москве — куда-то уехала...

5 ноября.

Сегодня много ходила по Москве и, следовательно, многое видела. Поразил меня один дом. С улицы смотреть — он как будто целый, но это обман — цела лишь фасадная стена, а за ней ничего! Сквозь выбитые, вернее вырванные, окна сверкает голубое небо. Совсем как плохая декорация в театре...

Дни полны тревожного ожидания. Гитлер собирает силы, он готовится для прыжка на Москву.

Надо решать и как можно скорей, нельзя оставаться посторонним зрителем. Конечно, заманчиво пожить Флавием, бесстрастным Флавием из «Иудейской войны», но будущее мне этого не простит! Пока я сижу в своей уютной комнате, люди борются, страдают, гибнут.

На улице грохот зениток. Сегодня чудный морозный день, и гитлеровские молодчики не решились тревожить Москву. А сейчас вечером... вот — сирена! «Граждане, воздушная тревога!» — с особой интонацией повторяет несколько раз диктор. Из соседней квартиры мне стучат: «Тревога, тревога!» Но оставшиеся москвичи уже привыкли к налетам, и мало кто теперь ходит в убежище. А я так и ни разу не была.

Если судить по рассказам очевидцев, жертв в Москве от бомбежек достаточно. Недавно на улице Горького покалечило целую очередь — люди стояли за изюмом и получили бомбу. Говорят, вся улица была завалена телами. Но я свободно хожу по улицам даже во время тревоги. В нашем районе работают зенитки у зоопарка и у Первого кино. Грохот порядочный, но пока можно обходиться без тампончиков, которые любезно предлагают на всех перекрестках для сохранения ушных перепонок. А я так сплю по ночам, что ничего не слышу. Мне многие завидуют: «У вас стальные нервы!» Не стальные, конечно, но закрывать уши тампончиками или совать голову под подушку (как страус в песок) не нахожу нужным и переносу спокойно все.

7 ноября.

Итак, сегодня Гитлер обещал принимать парад своих войск на Красной площади. Но все получилось немного иначе. Вчера говорил Сталин. Мы все замерли у репродукторов и слушали речь вождя. А за окном гремела канонада — это было так необычно, так странно. Голос Сталина звучал спокойно, уверенно, ни на секунду не прерываясь. В зале, где слушали Сталина, кричали «ура» и приветствия Сталину. Все так, как и раньше, только гулкие артиллерийские выстрелы говорили о необычности наших дней.

Сегодня, так же как из года в год, по Красной площади шли парадно войска, летели самолеты, шли танки. Я, конечно, сбегала в центр и наблюдала парад. Особенно понравились танки. Сначала шли средние, потом тяжелые и наконец сверхмощные, новой конструкции. Я их хорошо рассмотрела. Жаль, что не умею рисовать.

На улицах, несмотря ни на что, все же праздник. Холодный ветер треплет над подъездами красные флаги, в магазинах столпотворение.

У меня тоже по-праздничному: вчера мылась, постирала, вымыла полы, сварила обед. Борщ мясной и голубцы — не так уж плохо по нашим временам.

К сожалению, в театрах нет ничего, и придется ограничиться кино...

9 ноября.

Сегодня очень сильный налет. Второй раз тревога, без конца пальба.

Тах-тах-тах... — бьют зенитки.

О-ох... о-ох... — бьют тяжелые.

А порой редкие, но грохочущие тяжелые взрывы — где-то разрушения и жертвы. Эх, Москва, Москва! Сколько это — от Батыея до Гитлера? Но ничего, Москва — птица Феникс...

13 ноября.

По вечерам, уже с семи часов, дома стоят безжизненными темными глыбами. Веет от них мертвым холодом и тоской. Авто движутся, как слепые, гудки дают короткие, негромкие, боясь нарушить безжизненную мрачность ущелий города, обреченного на тяжкие испытания.

Тревога застала меня вчера вечером на Каретном: кто-то вошел в вагон и сказал: «Тревога! Выходите!» В вагоне погас свет, и мы, слепо толкаясь и суеясь, выбрались на мостовую. Десятки прожекторов скользили, изучали московское небо, скрещивались, собирались в пучки. В одиночку и пачками вспыхивали в небе звезды войны и быстро гасли. Трассирующие пули прошивали небо зелеными нитями. И аккомпанемент к этой мрачной картине — грохот зениток, треск пулеметов и раскатыстый, потрясающий гул фугасных бомб. На улицах стало совершенно пусто, а я шла, постукивая своими каблучками и прижимая сумочку к груди. И стук каблучков, несмотря на треск и грохот войны, почему-то был особенно отчетлив и ясен. Прошла по всем Садовым, и вдруг, точно над головой, страшный грохот, как гром в хорошую летнюю грозу. Я прижалась к стене дома. Откуда-то пахнуло гарьку, пылью и смрадом взрывных газов. Я снова в путь...

Говорят, что всю ночь сильно бомбили. «Говорят» — потому что я совершенно ничего не слыхала. Как пришла, легла и только утром услышала голос диктора: «Воздушная тревога миновала! Отбой!»

Шестнадцатого ноября я уйду в партизанский отряд. И так, моя жизнь выходит на ту же тропу, по которой прошел отец.

Ленинский райком направил меня в ЦК: «Там вы найдете то, что ищете». В ЦК с нами долго беседовали, несколько человек отсеяли, некоторые сами ушли, поняв всю серьезность и чрезвычайную опасность дела. Осталось нас всего трое. И мы выдержали до конца. «Дело жуткое, страшное!» — убеждал нас работник ЦК. А я боялась одного: вдруг в процессе подготовки и проверки обнаружат, что я близорука. Выгонят. Говорят: придется прыгать с самолета. Это как раз самое легкое и пустяковое из всего. Наши действия будут в одиночку, в лучшем случае по паре. Вот это тяжело... В лесу, в снегу, в ночной тьме, в тылу врага... Ну, ничего, ясно — не на печку лезу! И так — 16-го в 12 часов у кино «Коллизей»!

14 ноября.

О, конечно, я не твердокаменная, да и не просто каменная. И поэтому мне сейчас так тяжело. Никого вокруг, а я здесь последние дни. Вы думаете, меня не смущают всякие юркие мыслишки, мне не жаль, что

ли, бросить свое уютное жилище и идти в неведомое? О-о, это не так, совсем не так... Я чувствую себя одинокой, в эти последние дни особенно не хватает друзей...

Я хожу по пустым комнатам, и вокруг меня возникают и расплываются образы прошлого. Здесь мое детство, юность, здесь созрел мой мозг. Я любовно, с грустью перебираю книги, письма, записки, перечитываю страницы дневников. И какие-то случайные выписки на обрывках бумаги.

Прощайте — и книги, и дневники, и милые, с детства вошедшие в жизнь всякие житейские пустяки: чернильница из уральских камней, табурет и столик в древнерусском стиле, картины Худоги, ворох фотографий, среди которых детство отца, и мамы, и мое, и Лели, и Волга, и Москва...

Прощаюсь и с дневником. Сколько лет был он моим верным спутником, поверенным моих обид, свидетелем неудач и роста, не покидавшим меня в самые тяжелые дни. Я была с ним правдива и искренна... Может быть, будут дни, когда, пережив грозу, вернусь к твоим поблекшим и пожелтевшим страницам. А может быть... Нет, я хочу жить! Это похоже на парадокс, но так на самом деле: потому я и на фронт иду, что так радостно жить, так хочется жить, трудиться и творить... жить, жить!

З а в е щ а н и е

Если не вернусь, передайте все мои личные бумаги Лене.

У меня одна мысль в голове: может быть, я своим поступком спасу отца?

Лена!

Тебе и Грише, единственным друзьям, завещаю я все свое личное имущество — письма друзей и дневник.

Лена, милая Лена, зачем ты уехала, дорогая, мне так хотелось тебя увидеть.

Нина,

Три письма

8 декабря.

Дорогая мамуля!

Я давно уже тебе не писала, но, право же, было невозможно. Я только что вернулась с дела и сейчас отдыхаю. Скоро снова уйду. Мне хотелось, чтобы ты посмотрела, как нас обмундировали! Теплое белье, валенки, телогрейки, варежки... Словом — опасности замерзнуть нет. Там, где я живу, много молодежи. Нас много. Дома я не была с 16 ноября. От ночевки в лесу на снегу у меня была ангина, но сейчас я уже здорова. Вы мне мало пишете. Приехала с задания, побежала узнать, есть ли письма, — и ничего. Обидно, мамуля. Пиши чаще, сообщи всем нашим мой адрес. Не грусти, мамуля, все хорошо пока. Поцелуй за меня крепко-крепко Верочку и Лелю. Целую все твои суровые морщинки.

Нина.

Дорогая моя сестренка!

Крепко целую тебя, мой милый Пепсик. Если бы ты знала, как я по тебе соскучилась. Недавно увидела твоё фото — мордочку и... расплакалась — грозный партизан!

Я достала тебе много книжечек, и мои подружки должны тебе их отправить. Ты читай их и всегда при этом вспоминай меня. Никуда не

уезжай от мамы — ей тяжело остаться одинокой. Пиши мне чаще и не смущайся моим молчанием: я не всегда имею возможность писать.

Нина.

28 декабря.

Уважаемая Анна Михайловна.

Очень прошу вас сообщить, где сейчас Нина. Я получила от нее одно письмо, когда она была еще в Москве, но потом она замолчала. Я послала три письма, и ответа нет. Я очень беспокоюсь. Характер у Нины вы, конечно, знаете какой. Мы, ее друзья, всегда немножко боялись ее вспышек и взрывов. Я боюсь, что она со своей горячей головой что-нибудь фантазирует. Удержите ее от безумств и сообщите мне ее адрес. Я вскоре попытаюсь проехать в Москву и постараюсь ее разыскать. Сообщите ей печальную новость — Гриша, наш общий друг, с которым мы учились несколько лет, погиб на фронте.

Желаю вам всего хорошего.

Подруга вашей дочери Лена.

НКО СССР
Генеральный штаб КА
20 января


Костериной Анне Михайловне

Извещение № 54

Ваша дочь КОСТЕРИНА НИНА АЛЕКСЕЕВНА, уроженка г. Москвы, в бою за социалистическую Родину, верная воинской присяге, проявив геройство и мужество, погибла при выполнении боевого задания в декабре 1941 года.

Начальник ОК
полковник

Куприянов.



АТТИЛА ЙОЖЕФ

★

ИЗ ЛИРИКИ

Исполнилось двадцать пять лет со дня смерти одного из самых замечательных поэтов Венгрии Аттилы Йожефа.

В детстве поэт был свидетелем классовых боев венгерского пролетариата в дни Венгерской советской республики. Ответ революции навсегда отразился в строфах его стихов. Формирование его поэзии происходило в годы белого террора. Зрелого поэта преследовало хортистское государство.

В современной Венгрии он один из самых любимых и читаемых поэтов. Имя Аттилы Йожефа венгерский народ чтит наряду с именами Петефи и Ади. Ниже мы публикуем несколько стихотворений Йожефа.

Ars poetica

Поэт я, но какое дело
мне до поэзии самой?
Нелепо, если б вдруг взлетела
в зенит звезда с реки ночной.

Пусть время тянется уныло,
забыл я сказок молоко,—
я пью глоток земного мира
с небесной пеной облаков.

Ручей прекрасен — лезь купаться!
Покой и трепетность твоя
обнимутся и растворятся
в разумном лепете ручья.

Поэты? Что мне все поэты?
Их пачкотню я не люблю,
где вымышленные предметы
они рисуют во хмелю.

Дойду до разума и выше
сквозь будней грязную корчму!..
Плести слова лакейских виршей
негоже вольному уму.

Ешь, спи, целуйся, обнимайся!
Но с вечностью равняйся сам.
И не служи, не поддавайся
уродующим нас властям.

А если счастье компромиссно —
плати краснухой лица,
и лихорадкой ненавистной,
и панибратством подлеца.

Я рот не затыкаю в споре.
Ищу совета у наук.
И помнит обо мне на поле
крестьянин, опершись на плуг.

И чувствует меня рабочий
всем телом, что напряжено;
и ждет парнишка, озабочен,
возле вечернего кино.

Где подлых недругов ватаги
на стих мой лезут не добром,
там танки братские в атаки
идут под рифм победный гром.

Да, человек велик не очень,
но неуемен и крылат.
За ним родительские очи
любви и разума следят.

1937

Перевел Д. Самойлов.

Сытый дождь

Сытый, сыплется горохом
по железной крыше дождь,
покудахтай, дура-квоха,
может, время мне снесешь.

О, высиживай, как яйца,
золотые времена,
пусть краснеют, золотятся,
голубеют для меня.

Подожду. Куда же деться,
кошелек-то мой не пухл.
Сердце бьется, чует сердце,
как вокруг летает пух.

Бьет, трясет меня — терзаюсь,
и наглею, и боюсь,
настороженный, как заяц,
вспрыгнувший на поезд-люкс.

Ливень льет, бубнит болтливо,
льется по миру всему.
Дергает, как сети рыба,
ветер ливня кисею.

1932

Свинопас

У меня в порядке стадо,
всем хвосты подвил, как надо,
по-венгерски в пяточки
золотые вдел крючки.

У меня одна есть свинка,
шепелявит, как графинька,
и, вздыхая и сопя,
в лужу смотрит на себя.

Есть приветливый кабанчик,
только вид его обманчив;
если рылом раз копнет —
целый замок скovyрнет.

У меня еще есть дудка,
только дуну в дудку — ну-тка:
загудит сильнее трубы,
в пляс пускаются дубы!

Грозных туч сбежится тыща,
чуть взмахну я кнутовищем!
Кнут засвищет, хлынет дождь —
мокрых юбок не сочтешь.

1932

Перевел В. Корнилов.

Дел по горло...

Дел по горло, а с тобой вожусь.
Спящей пашней я иду, сержусь,
и, топча росу горбатов троп,
шляпу нахлобучил я на лоб.

Я шагаю, ничему не рад,
сяду средь пасущихся телят,
замечаю в них твои черты,
в сердце мне копытцем входишь ты.

И в кусты мешок свой я мечу,
палкой бью цветы я и кричу,
трясогузки слыша крик шальной —
луг и лог терзаются со мной.

Далеко не обходи меня,
коль я фартук твой — не рви меня,
если песенка твоя — так не молчи,
если я твой хлеб — так не топчи!

1928

Перевел Л. Мартынов.

Март

Подняли голову ростки
и смотрят на бульвар.
Стоят деревья, как лотки,
и почки — как товар.
Прыщами мальчики цветут,
горят мужские рты,
и юбки женщин там и тут,
как флаги. суеты.
И, отгоняя до поры
и стужу и разлад,
уже весенние хоры
то тут, то там звучат.

1935

Перевела М. Алигер.

ВИКТОР НЕКРАСОВ

★

ПО ОБЕ СТОРОНЫ ОКЕАНА *

2. В АМЕРИКЕ

С живой Америкой я впервые познакомился ровно сорок лет назад в не очень легком и сытом 1922 году в своем родном Киеве. Было мне тогда одиннадцать лет, и бегал я босиком (деревяшки и обувь на веревочной подошве были недосыгаемой роскошью) в пятую группу 43-й трудовой школы.

Америку — а по транскрипции тех лет САСШ, Северо-Американские Соединенные Штаты — я знал главным образом по Майн-Риду и Куперу, по почтовым маркам (не очень интересным — все больше президенты) да еще по сгущенному молоку АРА, которым кормила нас, детей, американская благотворительная организация Гувера (наклейки с этих банок с индейцами и бизонами тоже усиленно нами коллекционировались). Кроме того, по дороге в школу я всегда останавливался у прикрепленной к стенке «Пролетарской правды» и с трудом читал (она печаталась на синей оберточной бумаге) про греко-турецкую войну и Вашингтонскую конференцию. На американские фильмы я еще не ходил. Это началось примерно через год — «Владычица мира», «Королева лесов», «Богиня джунглей»... Ни одного живого американца в глаза не видел: в АРА молоко и белоснежную, мягкую, как вата, булку выдавали русские.

И вот в один прекрасный день в Киев приехал и остановился у нас (гостиниц в городе не было, а тетка моя работала тогда в библиотеке Академии наук) не больше не меньше как директор Нью-Йоркской публичной библиотеки мистер Гарри Миллер Лайденберг — немолодой сухощавый господин, носивший через плечо на ремешке портативную пишущую машинку, на которой ежедневно отстукивал длиннющие письма домой. В конце каждой строчки звонил звоночек, и я первое время поминутно бегал открывать дверь. Когда он приехал, ему сделали ванну. Это было отнюдь не просто: дров не было и вода тоже не всегда была. Мы все очень гордились этой так хорошо организованной ванной, повесили чистое полотенце, а гость наш через три минуты оттуда вышел, даже не окунувшись и не прикоснувшись к полотенцу. Все были огорчены. После обеда он предложил помочь помыть посуду — дома, мол, он всегда это делает, — но в этом ему было отказано. Когда он уехал, на его подушке обнаружили приколотый английской булавкой то ли доллар, то ли червонец — не помню уже что. Все немного обиделись и в то же время были тронуты. Вот все, что я помню о Гарри Миллере Лайден-

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 11 с. г.

берге, директоре одной из самых больших в мире библиотек, первом американце, с которым я познакомился. Мне он понравился.

Второй, которого я знал, работал у нас на стройке вокзала. Я там тоже работал стажером после профшколы. Звали его мистер Боркгрэвинк, а рабочие прозвали Борщгривенник, так как он, как и все, терпеливо стоял в рабочей столовке в очереди за борщом. Он был высок, худ, молчалив, ходил в ботинках на толстой подошве — предмет всеобщей зависти — и ежедневно, как консультант по бетону, писал длинные «меморандумы м-ра Боркгрэвинка», вывешивавшиеся в комнате начальника работ. Этот американец мне не очень понравился — показался скучным.

С тех пор с американцами я не сталкивался, если не считать «генерала Шермана» — полутяжелый танк, в котором проехался один раз на фронте.

Прошло немало лет. И вот осенью 1960 года, точнее 2 ноября в 9.30 вечера по нью-йоркскому времени, я впервые вступил на американскую землю, вернее бетон, международного аэродрома Айджлауэйд.

Все-таки, как хотите, а это непостижимо — за один день пол земного шара. Утром морозная (-8°), заснеженная Москва, а через двадцать часов мы тащили уже свои пальто на руках в Нью-Йорке. Где-то на полпути был еще Брюссель — кроме обеда, старинные залы ратуши и разглядывание опустевшего Атэмиума, — потом Ла-Манш (за пятнадцать минут!), где-то справа Лондон («Смотрите, смотрите!» — но ничего не видно), залитый от горизонта до горизонта огнями Манчестер, черная, как ночь, Ирландия, последние европейские пассажиры в тихом Шенноне, а дальше семь часов над океаном. Раздевшись до трусов в полупустом «Интерконтинентале», мы захрапели. Проснулись от чье-то колумбовского крика: «Земля!» После Манчестера Нью-Йорк огнями не поразил, впрочем, кажется, был легкий туман.

Ночью я смотрел из окна двенадцатого этажа «Говернор Клинтон отеля» на Пенсильванский вокзал у своих ног, на сияющую надпись небоскреба редакции «Нью-Йоркер» и все еще не верил своим глазам: неужели я в Нью-Йорке?

Предвижу тысячу вопросов. А правда, что ку-клукс-клан всех терроризирует? А правда, что в Нью-Йорке каждые шесть минут совершается преступление? Что летом температура там поднимается до $+45^{\circ}$ в тени? Что на каждого американца приходится по четверти автомашины? Что... Нет, ни на один из этих и подобных им вопросов отвечать не буду. Буду говорить только о том, что видел собственными глазами. И по возможности никаких цифр, хотя в Америке их очень любят. А может, именно поэтому.

Начну с Нью-Йорка... Нет, с нашей группы. Мы не делегация, мы туристы. Нас двадцать человек: преподаватели, журналисты, инженеры — то, что называется советская интеллигенция. Каждый заплатил довольно кругленькую сумму, и за это его четырнадцать дней будут возить в поездах и громадных автокарах по северо-восточным штатам — Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Ниагара, Детройт, Дирборн, Буффало и опять же Нью-Йорк. Руководитель нашей группы некто, назовем его для простоты Иван Иванович, — человек славный, но перепуганный, очевидно, еще с детства. Кроме того, к нам прикомандирован туристской компанией «Америкэн экспресс» подвижной, апломбистый человек в галстук-бабочке — Гадеуш Осипович, выходец то ли из Польши, то ли из Прибалтики, наш гид, о котором сразу скажу, что мистером Адамсом из «Одноэтажной Америки» он не был ни с какой стороны.

Наивно, конечно, предполагать, что за две недели можно хотя бы приблизительно узнать Америку. Но сопоставить в какой-то степени

увиденное с тем, что ты читал о ней, все же можно. И вот тут-то все зависит от самой организации поездки.

Скажем прямо: советского туриста не везде и не всюду пускают. В маршрутах для нас нет Юга — Нью-Орлеана, Луизианы, Миссисипи, тех мест, где положение негров во много раз сложнее, чем на Севере. В Нью-Йорке строго-настрого запрещено посещать Бруклин. В Ниагара-Фолс, где любой таксист предлагает за какой-нибудь доллар перевезти тебя на канадский берег (оттуда открывается особенно эффектный вид на водопад), Тадеуш Осипович специально предупредил нас, чтоб мы об этом и не смели думать.

Америка — страна особенная. Одна наша писательница, посетив ее, сказала: «Что меня в Америке больше всего поразило, это то, что ничего не поразило». Как-то не верится. Меня во всяком случае очень многое поразило, хотя ко многому из того, что я видел — к небоскребам, к обилию машин, к огням Бродвея, к воскресным выпускам газет весом в килограмм, — я был подготовлен. Но именно это — гигантские дома, гигантские города, пересекающие всю страну автострады с тысячами тысяч несущихся по ним машин, двадцатипятиэтажные магазины, вахханалия ни на секунду не гаснущих реклам, знаменитый американский сервис — словом, все это сразу ошеломляющее тебя внешнее богатство и обилие, оно-то и затрудняет, мешает поначалу разобраться в чем-то более глубоко и существенном.

А для того, чтоб хоть как-то проникнуть в само существо, добраться до каких-то, пусть даже и относительных глубин, нужно не только ходить по музеям, взбираться на вершину Эмпайрстэйт-билдинг или фотографировать Ниагару, нужно еще и другое, куда более сложное — умение непредубежденно, трезво и добросовестно вникать во все, что ты видишь. А это вовсе не так легко, как кажется.

Что говорить, с Америкой, точнее с Соединенными Штатами, мы сейчас не дружим. Мы, две крупнейшие и сильнейшие державы мира, в идейной и политическом отношении противники. Двадцать лет тому назад мы были союзниками, сейчас мы противники. Это страшное слово, его не хочется употреблять, может быть, даже и не надо. Но прятать голову под крыло все же не стоит. Мы не доверяем друг другу. Мы остерегаемся друг друга. Мы обвиняем друг друга.

В этих условиях ездить по стране, а потом еще писать о ней совсем не легко. И общаться с людьми тоже непросто. А общение — пусть с друзьями, пусть с недругами — это самое важное. Только через общение можно добраться до этих самых, пусть даже относительных глубин того, что тебя интересует. А интересуется прежде всего жизнь, чем люди дышат. А потом уже Эмпайры и Крейслеры...

Милейший наш Иван Иванович больше всего боялся какого-либо отклонения от расписания и распорядка. Находясь в состоянии постоянного напряжения и волнения, он поминутно пересчитывал нас, как цыплят, и самое страшное для него было, если ему говорили: «А я не хочу в Национальную галерею, я хочу в Музей Гуггенхайма или просто погулять по Бродвею». Вот этого-то «просто погулять» он почему-то особенно страшился.

В первый же день в Нью-Йорке, после осмотра здания Организации Объединенных Наций, тут же у входа, он устроил первое производственное совещание, первую «летучку». Попросив Тадеуша Осиповича отойти в сторонку, он произнес небольшую речь о дисциплине, о задачах и обязанностях небольшого советского коллектива на чужой земле, о том, что такие-то и такие в первый же день опоздали к обеду и, оторвавшись от коллектива, вынуждены были приехать сюда на такси, и чтобы впредь этого не было, иначе он вынужден будет принять соответствующие ме-

ры, не сообщив, правда, какие. Мы, как школьники, стояли у стен громадного здания, молча слушали его, потом провинившиеся стали оправдываться, голоса постепенно повышались, назревала ссора, а Тадеуш Осипович стоял в сторонке, иронически на нас поглядывая. Было немного стыдно.

Бедный, бедный Иван Иванович. Я в чем-то понимал его, мне было его даже жаль. Все-таки он за всех нас отвечает, а нас двадцать человек, и никого-то он не знает, знакомы мы не больше суток и находимся не у себя дома, а в городе Желтого дьявола, а в нем и гангстеры, и полицейские, и ФБР... Ну как не посочувствовать. И все же добрейший наш Иван Иванович забывал об одном — о том, что к нам, людям из Советского Союза, тянутся, жаждут общения с нами и мы не имеем права отгораживаться, замыкаться в себе. К каждому нашему движению присматриваются, к каждому слову прислушиваются, поэтому держаться мы должны совершенно естественно, быть самими собой. Излишняя осторожность — назовем это так — не сближает людей, она отталкивает.

И все же, несмотря на строгое расписание и распорядок, кое-что об Америке узнать удалось. Не очень много, но удалось.

Итак (я немного отвлекся), начнем с Нью-Йорка, хотя о нем столько уже писалось, что как-то боязно начинать. Пробыли мы в нем в общем пять дней — срок ничтожный. Как ни странно, но к этому Вавилону довольно быстро привыкаешь. Сначала небоскребы поражают, особенно Мэнхэттен, — но очень скоро начинает казаться, что ты всю жизнь их видел, ходил среди них, взбирался на сотый этаж. Разговоры о том, что они подавляют, ерунда (гитлеровская имперская канцелярия в Берлине, несмотря на свои относительно скромные размеры, подавляла меня значительно больше), — многие из них, постройки последних лет, очень легки (именно легки!), воздушны, прозрачны. В них много стекла, они друг в друге очень забавно отражаются, а утром и вечером, освещенные косыми лучами солнца, просто красивы. Рядом с ними небоскребы начала века кажутся уже чем-то архаичным — греческий портик на высоте тридцатого этажа вызывает только улыбку.

На самой верхушке Эмпайрстэйт-билдинга, высочайшего в мире здания, есть обозрительная площадка. За какую-то там сумму ты можешь подняться туда на двух скоростных лифтах, посмотреть в подзорную трубу на город, выпить кофе, купить сувениры.

Мы, конечно, тоже поднялись. И должен сказать, когда стоишь над этим городом и где-то внизу под тобой сгрудились на громадном пространстве десятки небоскребов, а между ними, как в ущельях, ползают какие-то мурашки и несутся крохотные автомобильчики, а там вон Ист-Ривер, и Бруклинский мост, и Гудзон со своими пристанями и пароходами, когда стоишь вот так, обвеваемый ветром, и смотришь на этот город-гигант, город-спрут — назовите его, как угодно, — не можешь не испытывать волнения. Когда-то нечто подобное я испытывал на вершине Эльбруса. Кавказ под тобой! Всё ниже тебя. Даже Казбек и тот пониже. Но там тогда тогда покоряло величие и красота природы, здесь — величие и красота человека. Ведь все это он сделал — его мозг, его руки. И тут же невольно задаешь себе вопрос: сколько таких Эмпайров, и Крейслер-билдингов, и мостов, подобных стремительному, легкому Вашингтон-бридж через Гудзон, сколько полезного можно было бы построить на деньги, которые уходят на всякие «Поларис», «Онест-Джон» и прочие веселые игрушки XX века. (Кстати, громадные, в натуральную величину, макеты боевых ракет стоят в Америке перед разными военного характера учреждениями, как в свое время стояли старинные пушки, а одну из таких ракет мы обнаружили даже в вестибюле Центрального вокзала в Нью-Йорке. Для чего она там?)

* * *

Нью-Йорк (а на заре своей юности Нью-Амстердам и Нью-Орандж, когда им владели голландцы) вовсе не так уж молод. Ему уже триста лет. По преданию, куплен он был — вернее, не он, а остров Мэнхэттен — голландским мореплавателем Петером Минузэтом у индейцев племени ирокезов за двадцать четыре доллара.

Из этих трехсот лет пять лет (1785—1790) Нью-Йорк был столицей государства, сейчас ему подвластен только один штат. Раскинулся он со своим восьмимиллионным населением на трех островах и одном полуострове. Состоит из пяти частей: Бруклина, Куинса, Бронкса, Ричмонда и Мэнхэттена — узенького островка, на котором, собственно говоря, все и сосредоточено. Мэнхэттен в свою очередь делится на три части: Даун-таун (Нижний город) — от южной оконечности острова (Баттерипарк) до 23-й улицы, Мид-таун (Средний город) — от 23-й улицы до 59-й (Центральный парк) и Ап-таун (Верхний город) — от 59-й улицы до северной оконечности острова. Мид-таун из них самый маленький, но в нем все самое большое и знаменитое: здание ООН, Рокфеллер-центр, два крупнейших вокзала — Пенсильванский и Большой Центральный, два крупнейших небоскреба — Эмпайр и Крейслер и пуп Нью-Йорка — Таймс-сквер. Недалеко от него, а значит, и от Бродвея жили и мы в своем «Говернор Клинтон отеле» — каменной громаде в двадцать восемь этажей: «великолепное расположение в центре Мэнхэттена, 1200 номеров, кондиционированный воздух, телевидение двадцать один дюйм (в отдельных номерах цветное), удобство, комфорт, дружелюбие...»

Мэнхэттен разбит на клеточки. Вдоль всего острова с севера на юг идут авеню (их четырнадцать, не считая двух набережных), поперек, с востока на запад, под прямым углом к авеню двести двадцать улиц — «стрит». (Наш отель находился на углу 7-й авеню и 31-й стрит.) Через весь остров наискось, нарушая регулярность клеток, стремительно несетя Бродвей — вероятно, самая длинная улица в мире, километров двадцать, не меньше.

В первый же день мы ринулись на Бродвей. Собственно Бродвей — сердце Нью-Йорка, его Крещатик, как назвал его один из наших киевлян, — это относительно небольшой отрезок от 34-й до 52-й стрит. Именно этот участок снимают во всех кинофильмах, изображающих Нью-Йорк, каким его все себе представляют, Нью-Йорк огней и развлечений, именно здесь знаменитый «всемирный перекресток» — Таймс-сквер (пересечение Бродвея, 42-й стрит и 7-й авеню), именно здесь все на память фотографируются (что сделали и мы, грешные) на фоне рекламы Шевроле или всему миру уже известного молодого, обаятельного курильщика размером в два этажа, прославляющего сигареты «кэмэл», — он круглосуточно выпускает изо рта огромные кольца всамделишного дыма. Короче говоря, Бродвей, при всей своей длине, улица небольшая и, что еще более странно, часов с одиннадцати вечера начинающая пустеть — то есть именно тогда, когда, например, Виа Венето (римский Крещатик) начинает только заполняться. Я как-то ночью возвращался по Бродвею, и странно было видеть все это море сверкающих и мигающих огней, обращенное только ко мне, — Бродвей был пуст.

Второе, что меня поразило, — это обилие маленьких щелевидных магазинчиков. В одних играют в какие-то непонятные для меня электрические игры (и молодежь, и старики, и даже старухи), в других продаются всякие забавные штучки — извивающиеся, совсем похожие на живых змеи, какие-то засушенные индейские головы с длинными волосами (не пугайтесь — из пластмассы), чудовищные маски, всякого рода прыгающие, скачущие, кружащиеся, пищание механические игрушки.

Кстати, об игрушках. В Америке они превосходны. Я долго стоял перед одной «железнодорожной» витриной (правда, не в Нью-Йорке, а в Брюсселе, но игрушка была американская) и не мог оторваться. Три поезда — один товарный с тепловозом, один пассажирский с паровозом и один экспресс из пяти вагонов с электровозом — циркулировали по очень сложному переплетению рельсов, въезжали в туннели, мчались по мостам, свистели, гудели, останавливались у станций, иногда у светофоров и нигде не сталкивались. А сзади был аэродром, на который от времени до времени приземлялись самолеты. Но это еще не все. Наступал вечер, в окна домов зажигались огни, а у локомотивов — прожектора. Я с трудом оторвался от этого зрелища: все детство я мечтал о таком поезде (о таком? о таком я даже и не мечтал...), и никогда у меня его не было. Окажись у меня сейчас деньги, я б его обязательно купил. Не себе, конечно, а восьмилетнему сынишке моего приятеля, но до того, как отнести ему всю эту прелесть, я б закрылся на ключ в своей комнате, и никто бы не видел, чем я занимался бы...

Невероятно заманчивы, конечно, и солдатики, те, которые раньше назывались оловянными, а сейчас даже не знаю, из чего сделанные, — всех видов, размеров, национальностей и веков. Американцы, индейцы, арабы, наполеоновские гренадеры, рыцари, берсальеры — только красноармейцев не видал. Довести до бессонницы любого подростка могут и всякого рода наборы — ковбойский, например: широкополая с загнутыми краями шляпа, штаны с бахромой, платок на шею и пара «кольтов» в роскошных кобурах на широком поясе с металлическими украшениями. Можно для полноты картины и шерифскую звезду купить.

Видел я, правда, и другие игрушки, сделанные с не меньшим мастерством. Например, бомбардировщик «боинг» — он летает и даже сбрасывает бомбы. Или танк с ракетной установкой. В телевизор как-то показали ползущий на зрителя танк. Приполз, навел на тебя пушку и... «Покупайте лучшие развлечения для ваших детей — танки такой-то фирмы!»

Но вернемся на Бродвей. Больше всего на нем (на этом отрезке между 34-й и 52-й стрит) театров и кино. В театр мы, к сожалению, не попали (хотя «бродвейский театр» — наиболее интересное и характерное явление в нью-йоркской театральной жизни), зато в кино были, в первый даже день, соблазнившись рекламой знаменитого Элвиса Пресли — кумира американских девушек. Этот красивый, несколько слащавый двадцатидвухлетний молодой человек несколько лет тому назад молниеносно покорила своими песенками всю Америку. Если не ошибаюсь, ему же мир обязан и рок-н-роллом. В течение нескольких недель Пресли стал миллионером, и популярность его достигла таких размеров, что, когда пришел срок призываться в армию, военный департамент США получил, как писали в газетах, несколько десятков тысяч писем и телеграмм от влюбленных девиц с просьбой не отнимать у них кумира. Но военный департамент все же отнял, Элвис отслужил положенный ему срок, и именно этому событию — Элвис в армии — и посвящена была комедия, на которую мы попали. Комедия оказалась пустячком, в меру смешным, никакого рок-н-ролла Пресли не танцевал и пел даже не очень много, хотя и мило, в основном же вздыхал по девице, а она по нем, и несколько раз они поцеловались — вот и все. Стоило это развлечение нам по доллару и, скажу по секрету, тех нотаций, которые нам, трем любителям кино, пришлось выслушать на первой «летучке» у стен Организации Объединенных Наций.

В кино мы больше не ходили, но представление о нем все же имели, так как в гостиничных наших номерах стояли эти самые телевизоры 21 дюйм (ширина экрана), а работают они двадцать два часа в сутки

по одиннадцати каналам. Ну и насмотрелись же мы драк! И каких! И в барах, и на улицах, и в поездах, и в роскошных гостиных, на море, под землей, в воздухе, с опрокидыванием столов, шкафов, с потоками крови и таким количеством выстрелов, что они звучали у меня в ушах еще добрых недели две по возвращении домой. А дерутся-то как... А парни какие, и как ловко они вылетают через весь кабак, кувырком, вверх тормашками, раскрывая своим телом створки двери, прямо на улицу, а потом, утерев только нос, таким же манером выпроваживают своего противника уже в окно. А погони, а скачки! Только в детстве я видал такие, разве что машины стали теперь подлиннее, поплотнее да побыстрее. Видали мы и Распутина, и русских князей на тройках, и каких-то гипнотизеров, и роскошных женщин, шутя расправляющихся с мужчинами тарзаньей комплекции... Обидно только, что в самый решающий, самый напряженный момент на экране появляется вдруг миловидная девушка и довольно долго моет голову какой-то особенной мыльной стружкой или обворожительная парочка на берегу прекрасного озера никак не может поцеловаться, пока молодой человек не догадается принять соответствующую пилюлю, уничтожающую дурной запах во рту. Такими и подобными им сценами каждые десять минут прерывается любой фильм, любая программа — это реклама, на средства которой и живет телевизионная компания. И, представьте, она действует. Даже на нас подействовала: все мы в конце концов купили магические таблетки «энесин» от головной боли, хотя я, например, этим недугом не страдаю.

Да, американское телевидение — штука страшная, я много о нем слышал, но только увидев, понял. Действительно, попробуй не убить своего ближнего, попробуй не изувечить его приличным нокаутом, когда с утра до вечера в телевизор тебе показывают, как это надо половней сделать. А не сделаешь сам, другие с тобой сделают. Об этом много говорили на писательском конгрессе во Флоренции. Появился даже новый термин «полукультура» — у англичан «mass media» (средства массового общения), у американцев «mass culture» (массовая культура), — под которым подразумевается значительная часть западного кино, комиксы, желтые книги, иллюстрированные журналы как средство отучить людей думать и в первую очередь, конечно, телевидение, вытеснившее собою книги и человеческое общение.

Впрочем, если говорить серьезно, телевизор — бич не только Америки. У нас нет драк, мордобоя, соревнований по кэтчу, самому чудовищному из всех видов спорта, если это зверское истязание друг друга можно назвать спортом, но у нас зато есть другое — телезрителя иной раз загоняют в гроб скукой, бесконечными беседами и похожими как две капли воды смотрами самодеятельности. Может, это и нужно для выполнения плана телестудии, но смотреть на это уже нет сил. Впрочем, на зрителей смотреть не легче. Нет ничего страшней и унылее сидящей за вечерним столом семьи, уставившейся в телевизор. Театр, кино, книги, гости — все побоку! Глаза не отрываются от мельтешащего экрана.

Нет, я признаю телевидение только как средство репортажа. Чтоб увидеть, как выходит из самолета и шагает по ковровой дорожке Гагарин, как встречают москвичи Титова, Николаева, Поповича, чтоб присутствовать на фестивале в Хельсинки, послушать Жан-Поля Сартра, ну и в крайнем случае посмотреть прозванный тобою фильм.

Второй бич Америки — широченный, мутный поток полицейско-детективной литературы. Буквально море разлитое. Об этом столько же писалось — о всех этих выпусках с наставленными на тебя пистолетами, — что как-то даже совестно об этом писать, но не писать нельзя. Я ничего дурного не хочу сказать об американских книжных магазинах — их много, и в них много хороших, интересных, серьезных книг. Но

хорошие книги дороги, а вся эта детективщина, вся эта отравка стоит гроши и сама в рот лезет. И, что обиднее всего, ее охотно пьют. Особенно молодежь. И мне очень жаль американского парня — в общем, хорошего, простого, доброжелательного, — жаль смотреть на него, когда он сидит в вагоне метро со спортивным чемоданчиком на коленях и раскрытым выпуском в руках, который он только что купил за двадцать пять центов в киоске, а завтра выбросит в одну из громадных корзин для газетной макулатуры, какие стоят в Нью-Йорке на каждом углу. Ей-богу, жаль... Необязательно, конечно, в метро, по дороге на тренировку или матч, читать Фолкнера, но я, откровенно говоря, боюсь, что этот парень и дома его не читает.

Забегу немного вперед. Поездка наша кончалась. Мы ехали из Буффало в Нью-Йорк. Ехали в отдельном вагоне без купе — проход посредине и мягкие кресла по бокам. Все уже немного устали от обилия впечатлений и лениво поглядывали в широкие зеркальные окна, за которыми мелькала одноэтажная Америка. Кое-кто спал. Я тоже изредка поклевывал носом.

И вот дверь из тамбура слегка приоткрылась, и в нее просунулись две мальчишеские головы. Посмотрели, посмотрели, потом один из мальчиков на ломаном русском языке спросил:

- Вы русские, правда?
- Правда.
- И можно с вами поговорить?
- Можно.
- Тогда сейчас...

Оба парнишки скрылись, а через минуту наш вагон заполнился молодежью. Это были «старшеклассники», как у нас говорят, — ребята лет по шестнадцати, которые ехали на несколько дней в Нью-Йорк на экскурсию. Вез их учитель, немолодой уже человек, который, к слову сказать, от этого неожиданно возникшего контакта двух миров растерялся не меньше нашего Ивана Ивановича.

Мальчишки оказались бойкими, словоохотливыми и любознательными. Дело пошло дальше традиционного обмена значками, открытками и монетами. Двое или трое из них, оказывается, изучают русский язык, и мы с грехом пополам могли даже поговорить.

Ребята мне понравились. Держались свободно, естественно, весело, и в том, что они спрашивали и о чем говорили, чувствовалась определенная культура — я понял: если не сейчас, то через сколько-то там лет Фолкнера они прочтут. Разговор шел вперевивку, о том о сем, о Москве, Нью-Йорке, наших пиджаках, войне, бейсболе, кино (кое-кто видел «Балладу о солдате» — очень понравилась), о планах на будущее. На этот вопрос отвечали, правда, довольно туманно или с юморком: «Открою сначала дело, а потом попытаюсь сменить Кеннеди...» — за неделю до этого Кеннеди был избран президентом. Вообще американцы юмор любят и понимают, но все же пусть даже в шутку сказанное «открою дело» меня насторожило. С ребятами на эту тему разговаривать особого смысла не имело, знакомство с ними мы завершили «Подмосковными вечерами» и какой-то молодежной американской песней, в Нью-Йорке расстались, и они веселой ватагой, размахивая чемоданчиками, растворились в толпе. Кто из них сменит Кеннеди, сказать сейчас, конечно, трудно, но что по меньшей мере четверть из них будет стремиться «открыть дело» — это, к сожалению, так.

Вопрос о молодежи — вечный вопрос. «Эх, не такими мы были...» — вздыхают на всех широтах отцы. Где-то я читал, что в Египте нашли шеститысячелетней давности папирус, в котором какой-то фараон жало-

вался на молодежь: она, мол, ленива и неуважительна, к тому же, оказывается, не хочет работать, а хочет писать. Фараон безусловно был дальновиден, ничего не скажешь. Но это так, к слову; если же серьезно говорить о молодежи, то тут дело, пожалуй, даже сложнее, чем в древнем Египте.

Мы смотрим на нашу нынешнюю молодежь, иногда любим ее, иногда качаем головами. Речь идет не о том, что встречаются лоботрясы и первые ученики, стилиги и книголюбы, карьеристы и смельчаки, мальчики в очках и мальчики в синяках — это было всегда, — речь идет о более серьезном: о взгляде на жизнь, о поисках своего места в ней. Есть очень серьезные ребята, для которых учеба и работа — это все. Но есть среди них и такие, которые говорят: «Я люблю и знаю свое дело, остальное меня не касается» — для таких работа и учеба превращаются в шоры. Встречается и более сложная разновидность: он, например, физик, хороший физик, к тому же увлекается Генрихом Бёллем, ходит на Рихтера, на мексиканскую выставку, только, упаси бог, подальше от политики: «Ну ее, дело темное...» Есть и более сложная, более серьезная категория молодежи — те, которые мучительно переживают все связанное с культом личности. Эти говорят прямо: «Мы хотим знать правду...» Этим придется труднее всего.

Но, каковы бы ни были все эти ребята (я не говорю о «накипи» и «плесени», которая есть везде), личные их устремления — хочу быть тем-то или тем-то, — как правило, сочетаются не только с выгодой и полезностью для них самих. Существует еще такое понятие, как долг — перед народом, страной, перед самим собой. Мне кажется, это главное, что отличает нашу молодежь от западной, буржуазной, а не то, что одни выступают на комсомольских собраниях, а другие в черных свитерах и узких брючках танцуют рок-н-ролл и твист.

Спор об этом у меня зашел в одном уютном коттеджике недалеко от Вашингтона. Попал я туда по приглашению Общества дружбы ветеранов. Пригласил нас туда высочайший симпатичный парень, довольно хорошо говоривший по-русски. Он пришел в ресторан нашей гостиницы, как раз когда мы обедали, и, вручив нам визитные карточки с нарисованным символическим рукопожатием, сказал, что члены этого самого общества очень рады были бы пригласить нас небольшими группами по два-три человека к себе домой. Иван Иванович, как и всегда в таких случаях, растерялся — в расписании эти визиты не были предусмотрены, — но молодой человек с такой грустью сказал: «Неужели вас музеи и небоскребы интересуют больше, чем люди?» — что отказать ему было невозможно.

Я уже не помню, кем именно был хозяин дома, в который я попал. Отвезла меня туда совсем по-мужски правившая машиной дама, насколько я понял, дочь русского эмигранта, сказавшая: «Называйте меня просто Ольгой». В небольшом, очень уютном коттедже собралось человек десять, среди них двое русских: муж Ольги Лев Николаевич, молодой молчаливый журналист, и очень живой парнишка лет двадцати, Володя. С этим-то Володей и развернулась у нас дискуссия, закончившаяся часа в три или четыре утра уже в Вашингтоне в номере нашей гостиницы.

Поначалу все было очень мило и хорошо — шел общий разговор, пили вино и коньяк, затем кофе при зажженных свечах, хозяйка дома все очень уютно и со вкусом обставила. Но часам к двенадцати Володя оживился, перешел на принципиальные темы, и туг Ольга сказала:

— А что, если мы поедem сейчас к нам домой? Там вы закончите свой спор, американцам он все равно мало интересен, а заодно посмотрите моих ребятешек.

Поехали. Попили еще кофе, посмотрели ребятишек — двух очень славных золотоволосых мальчиков, которые вовсе не хотели просыпаться, — и продолжили свой спор. Володя — парень неглупый, темпераментный и искренний, в России никогда не бывавший, родившийся в Америке, — критиковал нашу систему и восхвалял американский образ жизни.

Вообще споры эти — с людьми, явно не приемлющими нашу систему, — в основном всегда сводятся к следующему: «А почему у вас одна партия, а не несколько? Почему запрещен абстракционизм? Почему в московских киосках не продают «Нью-Йорк таймс»? Почему глушат «Голос Америки»? Где же ваша свобода?» Мы в ответ: «А почему вы преследуете компартию? Почему изгнали Чарли Чаплина? Почему держите военные базы во всем мире? Почему душите голодом Кубу? Почему разрешаете вашим генералам произносить поджигательские речи? Это и есть ваша свобода?»

Пользы от таких диалогов не много, они только вызывают взаимное ожесточение, — значительно важнее другое: разобраться в психологии человека, с которым ты споришь (если это, конечно, человек, с которым имеет смысл спорить), вникнуть в суть поставленного вопроса (если это, конечно, серьезный вопрос) и, не слишком хвастаясь, не доказывая, что у нас все без исключения лучше, чем в мире твоего оппонента, спокойно и четко доказывать правоту своей точки зрения.

Мне трудно судить, насколько я в тот вечер был убедителен, но мне кажется, что именно в споре с Володей о молодежи, о ее направленности мне удалось добиться определенного успеха.

Я отнюдь не идеализирую всех наших ребят, которые едут на стройки, — далеко не все руководствуются идейными соображениями — но сколько все-таки из них едут, веря в то, что они там нужны, что они принесут пользу стране. Возможно ли подобное в Америке? Сомневаюсь. Молодой американец, пусть даже ищущий, думающий, прежде всего заботится о себе, о своей карьере. У нас, например, трудно себе представить молодого человека, который сказал бы: «Я хочу туда-то, потому что мне это выгодно» — это считается просто неприличным. Если он даже так думает, он никогда не произнесет этого вслух — просто стыдно будет. Молодой американец, напротив, считает это вполне нормальным. И он в этом ничуть не виноват — этого требуют железные законы общества, в котором он живет.

Мой спор с Володей закончился, как я уже говорил, под утро. Прощаясь, он сказал:

— Признаю свое поражение. Не думал, что так будет, но вынужден признать.

Больше я с ним не встречался — на следующий день мы уехали, — но мне очень интересно было бы знать, насколько наш ночной разговор изменил его взгляды на страну и народ, который (хотя он его и мало знает) не может не быть ему дорог. Мне почему-то кажется, что Володина активность в споре вызвана была именно этим — он внутренне пытался оправдаться перед самим собой в том, что так далек от больших дел, которые происходят на родине его отцов.

Володя, конечно, не типичен. В нем все-таки слишком много русско-го — желания поспорить, доказать. Американец вовсе не такой уж спорщик. В чистом своем виде средний, или рядовой, как принято сейчас говорить, американец (рабочий, конторский служащий, студент) не очень склонен ко всякого рода рассуждениям и философствованиям. Это не примитивность, как некоторые считают, и не умственная лень — это скорее, я бы сказал, своеобразная инфантильность (даже внешне американец выглядит всегда значительно моложе своего воз-

раста) или, как сказал мне один веселый студент Колумбийского университета: «Мы не любим, когда нам забивают голову всякой ерундой». Тут, конечно, надо бы разобраться — что именно считать ерундой, — но, повторяю, американец в противоположность итальянцу, например, спорить не любит, он предпочитает дружескую беседу за стаканчиком чего-нибудь покрепче, любит шутку, веселье, проказы. Вообще по натуре своей он дружелюбен, доверчив, очень прост и естествен в обращении и, если ты попадаешь к нему в гости, хочет, чтоб тебе у него было просто и весело. Он не любит скуки, всего официального, формального.

Помню, в какую черную тоску вогнал наших гостеприимных хозяев и их гостей в Буффало один из наших туристов (университетский преподаватель), когда после второй рюмки коньяку вытасил свой блокнот и стал довольно долго зачитывать цифры производства стали, чугуна, марганца и угля у нас на Украине. И как же, наоборот, все влюбились в другого нашего туриста (молодого московского газетчика), который покорила всех своей первой фразой, адресованной хозяйину: «Я видел у вас там в гараже «форд» последней марки. Можно я сяду и прокачусь на нем со скоростью сто шестьдесят километров в час?» И прокатился, и поковырялся вместе с хозяином в моторе, и спорил потом о последних матчах бейсбола, и с кем-то затеял борьбу, и американцы не могли уже от него оторваться, а бедный наш преподаватель сидел в углу со своими цифрами в кармане, и о нем все забыли.

Да, прежде всего будь самим собой, а потом уж проповедником. Впрочем, быть самим собой — не есть ли это лучшая проповедь?

Когда все эти размышления по поводу молодежи были уже написаны и вообще вся рукопись почти закончена, я попал в Москве на просмотр одного фильма, который невольно заставил меня опять вернуться к молодежи. Речь идет о картине Марлена Хуциева «Застава Ильича».

Я не боюсь преувеличения: картина эта — большое событие в нашем искусстве. Очень большое. Смотревший ее одновременно со мной Анджей Вайда, автор превосходного фильма «Пепел и алмаз», человек, которого смело можно отнести к первой десятке современных кинорежиссеров, после просмотра просто сказал, что подобного фильма он еще не видел (думаю, что Вайда на своем веку кое-что все-таки посмотрел) и что, если б была возможность, он тут же, сейчас же пошел бы еще раз его смотреть. А фильм, к слову сказать, идет два часа сорок пять минут.

Повторяю, я ни минуты не сомневаюсь, что фильм этот станет вехой в нашем киноискусстве — его идея, его режиссура, операторская работа (Маргарита Пилихина показала нам Москву, какую мы еще никогда не видели на экране — настоящую, невыдуманную и такую поэтичную, что иногда от счастья узнавания навертываются слезы на глаза), удивительно правдивая, лишенная какого-либо напряжения игра актеров (и все это молодежь, ни разу еще не снимавшаяся!), диалоги — свободные, легкие, предельно живые (вместе с Хуциевым писал сценарий Геннадий Шпаликов), — все это — хотя у меня и есть к режиссеру свои претензии, — все это настоящее, большое искусство — правдивое, искреннее, честное.

О молодежи много уже писалось, много ставилось фильмов — и у нас, и за границей, — но ни одной книги я не читал, ни одного фильма до сих пор не видел, где бы так серьезно, с такой, я бы сказал, личной заинтересованностью, с такой остротой был поставлен вопрос о путях молодежи.

Все видели очень хороший американский фильм «Марти», не все

видели «Любовь двадцатилетних» — пять киноновелл пяти разных режиссеров: французского, итальянского, немецкого, японского и польского. Оба фильма тоже о молодежи. В последнем превосходны две новеллы: первая — француза Трюффо (в ней те же два мальчика, что и в «400 ударов», но уже повзрослевшие, двадцатилетние), и последняя — Анджея Вайды, но о ней мне хочется поговорить в другой раз, не в этих очерках. Три остальные значительно слабее, хотя в каждой из них есть и своя достоверность, и своя правда.

Почему я вспомнил именно эти два фильма — «Марти» и «Любовь двадцатилетних»? Да потому, что оба они вместе с картиной Хуциева создают очень интересную и, как мне кажется, правдивую картину того, как и чем живут сегодняшние «двадцатилетние». В разных странах, на разных континентах.

Герой картины Трюффо очень трогательно и чисто влюбляется в девушку, и из этого в конце концов ничего не получается; у героя западно-немецкой новеллы вся сложность в том, что любимая девушка родила ему сына (он состоятельный журналист, она телефонистка); в итальянской новелле (поставил ее сын Росселини) молодой человек разрывается между двумя любовницами — бедной и богатой; в японской все дело кончается убийством героини героем; наконец, перенесясь в Америку, мы знакомимся с жизнью и следим за первой робкой любовью милого, обаятельного американского парня Марти.

Разные страны, разные ребята... Парижанин — служащий фирмы по изготовлению патефонных пластинок; немец — журналист; человек невыясненной профессии — итальянец; японский рабочий; владелец мясной лавки в Нью-Йорке; в хуциевском фильме — трое рабочих ребят. Всем им по двадцать, по двадцать с небольшим. И все, конечно, любят. Каждый по-своему. И всем им бывает весело, и всем иногда немного грустно (за исключением японца, он все время одержим — вообще эта новелла несколько выпадает из общего плана), и все они порой томятся (в «Марти» и в «Заставе Ильича» одинаково: «Ну, куда пойдем, ребята? Чем заняться?»), но только в одной — хуциевской — картине эти самые ребята позволяют себе спросить самих же себя: «Ну, хорошо, а дальше что?»

Герои «Заставы Ильича» — закадычные друзья. Им весело друг с другом. И жизнь у них сложилась в общем неплохо — не так уж чтобы слишком хорошо, но и неплохо. Работают. Один на заводе, другой — в какой-то электровычислительной организации, третий — на строительстве. По вечерам после работы встречаются. Идут гулять. Бывает, и выпьют. В общем, дружат. И вот в этой как будто немного даже устоявшейся жизни появляются свои сложности. У Славки жена и ребенок, а хочется иногда «попарубковать», жена же вроде как подрезает молодые крылья, у Кольки неприятности с начальством — чуть в морду ему не заехал, Сергей неожиданно вдруг влюбляется в дочь некоего несимпатичного, зажавшегося высокопоставленного товарища. И возникают — не могут не возникнуть — вопросы. Как дальше? Как правильно? Как не ошибаться? И вообще как жить?

Я бесконечно благодарен Хуциеву и Шпаликову, что они не выволокли за сидящие усы на экран все понимающего, на все имеющего четкий, ясный ответ старого рабочего. Появись он со своими поучительными словами — и картина погибла бы. Хуциев и Шпаликов пошли по другому пути, куда более сложному. Сергей задает этот вопрос — как жить? — своему отцу, погибшему на фронте отцу. Это одна из сильнейших сцен фильма. Отец и сын встречаются. Что это — сон, бред, фантазия, мечта, галлюцинация? Не знаю. Но они встречаются. Отец в пилотке, плащ-

палатке, с автоматом на груди... И комната превращается вдруг в блиндаж, и спят вповалку солдаты, и копит на столе артиллерийская гильза, и отец с сыном пьют. Друг за друга. И сын говорит отцу:

— Я хотел бы быть рядом с тобой в той атаке, когда тебя убили.

— Нет,— говорит отец,—зачем? Ты должен жить...

И сын тогда спрашивает:

— А как?

И отец в свою очередь спрашивает:

— Тебе сколько лет?

— Двадцать три.

— А мне двадцать один...

От этих слов мурашки бегут по спине...

Отец не дал ответа — он уходит, его ждут товарищи... И они идут, три солдата, три товарища, в плащ-палатках, с автоматами на груди по утренней сегодняшней Москве. Мимо проносится машина, а они идут, идут. Идут, как шли в начале картины три других солдата, солдата революции, по улицам другой Москвы — Москвы семнадцатого года... И шаг их, размеренный, гулкий, сменяется другим шагом... Красная площадь. Смена караула. Мавзолей. И надпись: «Ленин».

В картине много других линий, других узлов, других столкновений, других сложностей, но все эти линии, узлы, столкновения и сложности сводятся к одному: как дальше?

А ответ один — так же, как и сейчас — в неустанных поисках ответа, поисках правильного пути, поисках правды. Пока ты ищешь, пока задаешь вопрос — себе, друзьям, отцу, на Красной площади, — ты жив. Кончатся вопросы — кончишься и ты. Сытое, благополучное, безмятежное и безвопросное существование — это не жизнь.

Получилось что-то вроде рецензии на картину. Очень куцой, но все же рецензии. Я этого не хотел. Я хотел другого. Найти ответ: что же такое в конце концов наша молодежь? И чем она отличается от западной? Вместо меня ответ дали Хуциев и Шпаликов.

Я не сомневаюсь, что на Западе тоже есть такие ребята, не может этого не быть — и на Кубе, и в Америке, и в Италии, и во Франции, — но впервые они ворвались в искусство у нас. Думаю, что это все-таки кое-что да значит.

* * *

На третий день нашего пребывания в Америке в 9.30 утра с Пенсильванского вокзала на поезде, носившем название «The Executive», мы отправились в Вашингтон.

В Америке поезда имеют названия. На Пенсильванской железной дороге, охватывающей в основном три штата — Пенсильванию, Огайо и Индиану, — ходят поезда: «Президент», «Генерал», «Адмирал», «Золотой треугольник», «Южный ветер», «Патриот», «Эдисон», «Законодатель», «Полумесец», «Пилигрим», «Виллиам Пенн», «Врата Ада» и еще с десяток других. Наш назывался «The Executive», что, очевидно, значит «Административный».

С детства я питаю страсть ко всему железнодорожному — поездам, паровозам, семафорам, мостам, вокзалам, даже к расписаниям. Паровоз для меня всегда был, да и остался существом одушевленным. В двенадцатилетнем возрасте, когда мы жили под Киевом, я десятки раз на день бегал на станцию встречаться с любимыми паровозами. Ходили тогда преимущественно пассажирские НВ и НУ. иногда А и Б, а на единственном почтовом поезде Киев — Казатин красавец С типа «Пре-

ри», острогрудый, гордый, с низенькой трубой и электрическими фонарями (на остальных были керосиновые). Я знал характер, повадки и голоса каждого из них, и если по каким-либо причинам вечерний почтовый вез не С-513, а Б или Н^у, я начинал тревожиться: не заболел ли мой любимец. Теперь этих паровозов уже нет, даже С^у, потомок С, встречается только на самых второстепенных линиях.

В Америке паровозов вообще нет. Их сменили безликие электровозы и дизели. Но в Дирборне, в «Генри Форд музее», мне удалось все-таки встретиться со старым своим знакомым (по картинкам к Жюлю Верну и кинофильмам двадцатых годов) — паровозом «Пасифик»: широкая труба, громадный фонарь, обязательный колокол у будки машиниста и «коровотбрасыватель» перед передней тележкой. (Между прочим, от Ниагара-Фолс до Буффало нас вез дизель, но тоже с колоколом, который всю дорогу неизвестно для чего трезвонил.) В «паровозном» отделе музея я пробыл дольше всего. В нем старик Форд собрал все виды американских поездов, начиная от самых первых с паровозами типа степенсоновской «ракеты» и крохотными вагончиками в виде дилижансов с идиллическими картинками на стенах и дверцах и кончая могучими титанами, колеса которых в два раза выше человека. Сейчас они стоят рядышком — трогательный малорослый дедушка и устрашающий своими размерами внучек, — и оба они уже в прошлом... Есть в этом музее и знаменитый поезд, в котором Эдисон мальчишкой торговал газетами и где ретивый проводник съездил ему по уху так, что Эдисон на всю жизнь оглох. В этом же поезде, специально купленном Фордом, через много лет Эдисон своеобразно отпраздновал свой восьмидесятилетний юбилей — ходил по вагонам и продавал газеты.

Нынешние американские поезда комфортабельны и удобны. Состоят они из очень длинных вагонов разного типа. Наиболее дешевый «coach» (коуч) с проходом посередине и креслами по бокам, подороже спальный (sleeping-car), есть «observation-car» — двухэтажный вагон специально для любителей пейзажей, есть и «lounge-car» (лаундж-кар) — вагон-салон. В этом вагоне я не был, а в слипинге мы ехали из Вашингтона в Чикаго. Скажем прямо: наш обыкновенный мягкий куда удобнее. В американском какая-то очень сложная система расположения купе по двум сторонам прохода и на двух уровнях: в некоторые купе надо взбираться по ступенькам. Но что нас больше всего поразило и поначалу просто поставило в тупик — это проблема уборной. Мы долго рыскали по всему вагону и никак не могли ее найти. Потом она обнаружилась в нашем собственном купе: оказывается, я на ней сидел.

Из Нью-Йорка в Вашингтон — четыре часа езды. «Административный» несется со скоростью сто километров в час. Мимо Филадельфии, Уилмингтона, Балтимора, мимо маленьких американских городков с аккуратенькими, беленькими, очень похожими друг на друга, отдельно стоящими среди зелени домиками, мимо фабрик и заводов, обгоняемый десятками и обгоняющий сотни машин, бегущих рядом по автострадам туда же, на юго-запад — в столицу страны Вашингтон. Иногда на какую-то секунду мы останавливаемся в каком-нибудь Нью-Брунsvике или Трентоне, меняем пассажиров и мчимся дальше.

Пассажиры дремлют или листают журналы — к концу поездки весь вагон будет завален ими, как в свое время покинутые немецкие штабы документацией. Я сижу у окна и опять вспоминаю детство.

Был у меня тогда друг, звали его Яся. Мы издавали с ним газету будущего — 1979 года. Называлась она «Радио». Выпустили мы что-то номеров десять или двенадцать. К сожалению, вся «подшивка» погибла: сожгли немцы вместе с домом, в котором мы жили. С тех пор прошло

более тридцати лет, до семьдесят девятого года осталось меньше двадцати, но сейчас, вспоминая те дни, трудно удержаться от улыбки: до чего же действительность обогнала все наши детские мечты и фантазии. Единственное, в чем мы обогнали ее (впрочем, до семьдесят девятого года все же семнадцать лет!), это в космических полетах — на Марс мы уже летали. Но на грешной Земле все оставалось на уровне двадцатых годов — даже метро не прорыли, а транспортную проблему Киева решили простым увеличением трамвайных линий до ста номеров. Тогда это нам казалось громадным прогрессом. Войны велись тоже по старинке — в семьдесят девятом году мы воевали с англо-амами (англичанами и американцами), из-за чего воевали — не помню, но сражения, развернувшиеся на Аляске, как две капли походили на бои в Шампани и у Вердена, тем более что иллюстративный материал мы вырезывали из старой «Нивы» и французского «Иллюстрасьон».

Потом газета нам надоела, мы выдохлись, и на смену ей пришла «кругосветная железная дорога» Москва — Владивосток — Нью-Йорк — Париж — Москва. Через Берингов пролив построен был мост, а через Атлантику, которая в те годы не была еще пересечена Линдбергом, поездка переправлялась на быстрходных океанских паромах. На больших листах бумаги, оставшихся от нашей газеты, мы составляли расписания этой самой железной дороги. Были у нас и экспрессы, и курьерские, и скорые, и ускоренные, и почтовые, и даже товаро-пассажирские поезда. Расписание составлено было по всем правилам — станции, где находились буфеты, обозначались перекрещенными вилок и ножом, а спальные вагоны — маленькими кроватками. До конца мы его так и не довели — преодолели Сибирь, Аляску, Канаду, добрались до Чикаго — и тут подвернулось лето, каникулы, Днепр, лодка — вещи, куда более соблазнительные. Сейчас, тридцать с лишним лет спустя, сидя в мягком кресле «The Executive», я невольно вспомнил о нашем незавершенном труде. Когда несколько дней спустя мы приехали в Чикаго, я тут же на вокзале купил расписание «Огайо — Балтимор рэйлуэй» Чикаго — Нью-Йорк, запечатал его в конверт и отправил в Москву уже не Яське, а Якову Михайловичу — геологу, историку, полиглоту, человеку, несмотря на его солидный возраст, не потерявшему чувства юмора, — а вдруг ему захочется довести до конца прерванное тридцать лет тому назад такое нужное, большое дело. Увы, по непонятным для меня причинам пакет до адресата так и не дошел: юмор, очевидно, на границах не в почете.

В проспектах сказано, что Вашингтон — по-английски Уошингтон — самая красивая столица в мире. Самая или не самая, не берусь судить — боюсь, что авторы проспекта несколько преувеличивают, — но то, что Вашингтон в репрезентативной своей части действительно красив — это бесспорно. Особенно осенью, с горящей всеми оттенками желтого, оранжевого, красного листвой, с медленно кружащимися в воздухе кленовыми листьями, с беломраморными дворцами на фоне синего-синего неба и дружелюбными серенькими белочками, прыгающими по деревьям и ярко-зеленым свежим газонам.

Вашингтон — самый неамериканский из всех американских городов. В нем почти нет промышленности, улицы его широки и зелены, дома невысоки. Это тихий, спокойный, очень рано ложащийся спать город чиновников. Вашингтон относительно молод — он ровесник Ленинграда, — и если так уж необходимо выделить его среди столиц мира, то согласимся с тем, что сказано в путеводителе: Париж, Рим и Лондон стали столицами по воле обстоятельств, Вашингтон — по воле проекта, сделанного его основателями. Это верно: Вашингтон весь придуман. Придуман-

нее его, пожалуй, только столица Австралии Канберра и совсем еще юная Бразилиа. Вашингтон — это две регулярные сетки, наложенные одна на другую, — квадратная и диагональная. Квадратная состоит из перенумерованных и, если можно так сказать, перебуквенных улиц (есть А-стрит, В-стрит и так до Z), диагональная — из авеню, носящих названия штатов: Пенсильвания, Массачусетс, Вирджиния, Мэриленд, Нью-Йорк и т. д. Центр — Капитолий. От него в сторону реки Потомак — широченная зеленая полоса, заключенная между двумя единственно не диагональными авеню — Индепенденс и Конститьюшэн. Заканчивается полоса мавзолеем над Потомаком — Линкольн-мемориал. Между Капитолием и мавзолеем, ближе к мавзолею, шестидесятиметровый обелиск — Вашингтон-монумент. К северу от него, в центре города, на пересечении Пенсильвания- и Нью-Йорк-авеню — Белый дом. Вот и весь, в общем очень простой, планировочный принцип Вашингтона. Автор проекта — француз Пьер Шарль Л'Анфан.

Вашингтон — самый неамериканский из всех американских городов, и все же, как и повсюду в Америке, в нем есть свое «самое большое». Вестибюль вашингтонского вокзала (Юнион стэйшен) — 750×130 футов — самое большое в мире помещение! Национальная галерея искусств — самое большое в мире мраморное здание! Марин Корпс-мемориал — памятник морской пехоте — самый большой в мире бронзовый памятник! Арлингтонский мост — самый большой в мире разводной мост! Вашингтон-монумент — самый большой каменный, а может быть, и масонский (масонгу: каменный, масонский; Джордж Вашингтон был масоном) обелиск в мире! Храм Непорочного Зачатия — самый большой католический собор в США (и один из семи самых больших в мире), а в северной абсиде его — самое большое в мире мозаичное изображение Христа (голова размером 8×5 футов, расстояние между распростертыми руками тридцать четыре фута, камни мозаики четырех тысяч оттенков).

А в общем, что там ни говори, Вашингтон очень красив. Я не большой поклонник эклектики и всякого рода подражательных стилей и все же не могу не признать, что бело-розово- и золотисто-мраморные «греческие» портики и колоннады зданий и музеев, утопающих в зелени парков, производят сильное впечатление. Особенно ночью, когда подсвеченные фонтаны изливают каскады воды различных цветов и оттенков, а купол Капитолия и Вашингтон-монумент точно светятся изнутри.

Капитолий — не лучшее здание столицы: он помпезен, многословен, выдержан в самых что ни на есть традиционных формах парламентских зданий XIX века; зато обелиск Вашингтона, предельно лаконичный в своей геометрической простоте — мраморная игла, вонзающаяся в небо, — достоин имени того, чью память он увековечил. Обелиск строился долго, очень долго: сорок лет — с 1848 по 1888 год. Высота его 160 метров, точнее 555 футов и $5\frac{1}{8}$ дюйма. С вершины его (там специальное помещение, куда за семьдесят секунд поднимаешься специальным лифтом) открывается очень красивый вид на город и его окрестности. Вниз мы спускались по железной лестнице. Занятие довольно утомительное, но зато мы увидели и пощупали камни, из которых обелиск столь долго (помешала гражданская война) возводился. Среди них — громадные блоки с дарственными надписями от отдельных лиц, обществ, городов, штатов, даже государств. Есть и уникальные камни, куски Парфенона, Карфагена, гробницы Наполеона с острова Святой Елены, капеллы Вильгельма Телля из Швейцарии. Может быть, это самое трогающее во всем памятнике.

Недалеке от обелиска высится другой памятник другому сыну Америки — Линкольн-мемориал, некий парафраз афинского Парфенона,

строгий, ослепительно-белый, весь из колорадского мрамора. Это не гробница, это скорее храм, воздвигнутый в честь великого президента. Сам Линкольн, высеченный из мрамора, очень задумчивый, серьезный, немного грустный и усталый, сидит в мраморном кресле, выдвинув правую ногу немного вперед и положив большие красивые руки на подлокотники кресла. Мне ничего не говорит имя автора этой скульптуры — Даниэль Честер Френч, — но могу смело сказать, что по силе психологического проникновения художника в образ изображенного им человека я, пожалуй, не много могу назвать подобных памятников в галерее так называемого официального искусства нашего времени. Поразительное сочетание мудрости, спокойствия, воли и в то же время, я бы сказал, трагизма. Кажется, что сидящий перед тобой в полумраке прохладного мраморного зала великий человек предвидит не только свой собственный трагический конец, но и всю сложность и противоречивость судьбы народа, которому он посвятил и отдал свою жизнь. И глядя на его задумчивое, печальное лицо, невольно задаешь себе вопрос, особенно невеселый для нас, русских: мог ли предположить Авраам Линкольн, борец за правду и справедливость, что пройдет не многим более полутора столетия — и кое-кто из его преемников, преемников Вашингтона и Джефферсона, попытается задушить рождающуюся на другом конце земного шара молодую Советскую республику.

Я упомянул имя Джефферсона — третьего президента Соединенных Штатов, — имя человека, которого очень чтят американцы. Томас Джефферсон — выдающийся американский просветитель XVIII века, автор Декларации Независимости, друг Кондорсе и Кабаниса, последователь Жан-Жака Руссо — был, если можно так сказать, самым революционным из американских президентов. Он приветствовал и пытался поддерживать Великую французскую революцию, выдвинул теорию развития революции по мере распространения просвещения в массах и осознания ими своих прав. Он обличал ограниченность американской революции XVIII века, не уничтожившей рабства, не разрешившей аграрного вопроса в интересах народа, не обеспечившей ему подлинных политических прав, он предсказывал неизбежность новых революций в США. Ныне традиции Джефферсона используются прогрессивными силами Америки в борьбе за истинную свободу и демократию.

Памятник ему — Томас Джефферсон-мемориал, круглая колоннада с куполом — высится сейчас на берегу живописного озера и, как говорят, особенно красив весной, в апреле, когда весь утопает в розовом море цветущего вишневого сада — подарка городу Вашингтону от города Токио в 1912 году.

Вашингтон тих, спокоен, рано ложится спать. В задумчивых водах его озер отражаются памятники былой славы, по газонам прыгают белочки. В громадных залах Национальной галереи развешены бесценнейшие полотна Джотто, Рафаэля, Гольбейна, Вермеера, Рембрандта, Констатбля, Ренуара, Дега, Мане. В смитсоновском институте — одном из интереснейших музеев Америки — висят за стеклом исторические мундиры Джорджа Вашингтона и генерала Гранта, бережно хранятся аэроплан братьев Райт и знаменитый «Спирит оф Сан-Луи», на котором Чарльз Линдберг пересек океан 20—21 мая 1927 года за тридцать три с половиной часа.

А в Уокс-музее — музее восковых фигур — при желании вы можете даже сняться вместе с Франклином и Джефферсоном за точной копией того самого стола, где подписывалась Декларация Независимости, а потом увидеть свою фотографию в «Уошингтон обсервер». Короче говоря, в Вашингтоне «есть что посмотреть».

Мы бродили вдоль изяшных решеток Белого дома, такого красивого и спокойного в тени вековых лип и вязов, а на следующий день, 8 ноября, должно было решиться, кто же станет новым хозяином этого дома — Никсон или Кеннеди. Вашингтонец по конституции лишен избирательного права, но он может слушать радио, смотреть телевизор. В этот вечер мы тоже сидели у телевизоров и слушали Кеннеди и Никсона.

Два молодых, энергичных миллионера. Кто из них победит? И что даст миру победа одного из них? В Нью-Йорке мы видели сотни плакатов и фотографий двух улыбающихся претендентов, через Бродвей протянуты были громадные полотнища, призывающие голосовать за этого, а не за того, на перекрестках какие-то молодые люди со звонкими головами раздавали листовки и вступали в дискуссию, а на углу 42-й стрит и Бродвея мы видели даже Генри Кэбот Лоджа — кандидата в вице-президенты от республиканской партии: он ехал в украшенной флагами машине и тоже что-то выкрикивал в мегафон.

Нам, советским людям, это состязание двух крупнейших капиталистов мало что говорило. Не все ли равно, кто из них победит? Одного поддерживают одни могущественные тресты и монополии, другого другие. Борьба между Слоном и Ослом (символы двух соперничающих партий — демократической и республиканской), — борьба, стоящая десятки миллионов, нам порой казалась смешной и наивной. Но американец другого мнения. Люди левого толка, с которыми мы встречались, определенно склонялись к кандидатуре Кеннеди. Он, мол, и моложе (таких молодых президентов еще не было — сорок два года!), и прогрессивнее, и на войне отличился, и вообще, дорогие друзья, в нашей внутренней политике вам разобраться все-таки трудновато, поверьте, мы знаем, за кого голосовать. И вечером девятого числа, сидя, как все американцы, у телевизора, мы следили за подсчетом голосов и тоже «болели» за Кеннеди.

С того дня прошло два года. В мире многое за это время изменилось. А с Америкой у нас по-прежнему напряжение. Тысячные очереди стоят в Нью-Йорке за билетами на балет Большого театра, овациями сопровождаются выступления моисеевского ансамбля, москвичи с нетерпением ждали прибытия нью-йоркского балета, на концерты Клиберна невозможно достать билеты, «Моби Дик» с иллюстрациями Рокуэлла Кента был распродан в течение одного дня, а на заседаниях в ООН и в Женеве мы по-прежнему не можем договориться.

Я помню картинку в одном американском журнале первых послевоенных дней: дядя Сэм через океан пожимает руку белокурому парню в косоворотке — Ивану. А внизу подпись: «Наша дружба — залог мира». Так писали в 1945 году. Неужели же сейчас, в 1962-м, это не должно быть так?

В южной части Арлингтонского национального кладбища на постаменте из полированного лабрадора шесть бронзовых американских солдат водружают звездно-полосатый флаг на воображаемой вершине горы Сурибаки острова Иводзима. Водружение это произошло 23 февраля 1945 года на далеком тихоокеанском острове и, отлитое сейчас в бронзе, символизирует доблесть солдат американского морского корпуса. Трое из шестерых погибли на том же острове, четвертый, индеец Айра Хайс, умер в 1955 году и похоронен неподалеку от памятника, двое же остальных, очевидно, живы и могут в любой момент прийти полюбоваться на свое собственное изображение в бронзе.

Памятник этот может нравиться и не нравиться: он очень динамичен и в то же время репортерски фотографичен (говорят, что автор его, скульптор Уелдон, при работе действительно пользовался фотографией), но, глядя на этот памятник, невольно задумываешься. Шестеро смелых

ребят в касках водружают знамя на вершине горы, о существовании которой, вероятно, совсем недавно еще не имели никакого понятия. Что их привело сюда? За что трое из них отдали свои жизни и похоронены на чужой земле?

Всему миру известен вклад Америки в дело борьбы с фашизмом. Имя Франклина Рузвельта почитается во всех уголках земного шара. Соединенные Штаты не знали, правда, ужасов оккупации, разрушений и варварских бомбардировок, но американские солдаты гибли в Пирл-Харборе и на Филиппинах, в Персидском заливе и на Соломоновых островах, под Монте Кассино и на Гималаях. Триста тысяч молодых американцев никогда больше не вернутся домой. Американцы познали не только торжество победы, но и горечь поражения — тот же Пирл-Харбор, трагедия Коррехидора и Батаана, тревожные дни начала сорок второго года, когда, казалось, еще немного — и Япония доберется до Австралии, до берегов самой Америки. Нам в те дни было намного тяжелее, и мы ничуть не склонны преуменьшать свои заслуги в войне, и все же мы, русские, никогда не забудем оказанную нам помощь в те тяжелые дни — и танки «шерман», и аэрокобры, и «студебекеры», и свиную тушенку, и то, чего не видели мы на фронте, но получала наша промышленность.

Обо всем этом невольно вспоминаешь, глядя на памятник шестерым американским солдатам. Ведь они воевали так же, как и мы, против фашизма. Воевали далеко от своей родины, зная, что дома у них все спокойно. И трое из них погибли. За что? Неужели за то, чтоб повязки со свастикой появились на рукавах американской молодежи, чтоб в штабквартирах американской нацистской организации «бэрчистов» висели портреты Гитлера и вновь раздавалось знакомое «зиг-хайль!»? Я знаю, организации эти малочисленны, большинство американцев относится к ним презрительно и враждебно, но они все-таки есть, и об этом трудно не думать у памятника людям, воевавшим против самого человеконенавистнического, что было на земле, — фашизма.

* * *

Две недели в автобусах «Америкэн экспресс»...

«Господа, господа, не задерживайтесь, впереди еще два музея, аквариум и посещение редакции «Чикаго-сан». Мчимся в автобус, рассаживаемся и едем в музей, аквариум, редакцию. В голове все мешается. Что было после чего? Что мы видели? Что мы пропустили? Что нам заменили? Что еще осталось? «Господа, подъем в восемь. В девять завтрак. В девять тридцать завод Форда, затем Гринфильд-вилледж, Музей Форда, лаборатория Эдисона, мастерская братьев Райт. В пять выезжаем в Детройт, оттуда в Буффало и автобусом до Ниагара-Фолс...»

Как в кино, мелькают фордовский конвейер, обрастающие деталями корпуса автомашин, проворные неторопливые рабочие руки, «фордики» двадцатых годов с медными клаксонами, любимое кресло Эдисона, колбы, реторты, фонографы, угольные лампочки, верстаки, тиски — «те самые, на которых...», мастерские, типография, кузница — «та самая, в которой...». Голова идет кругом. «Господа, подъем в восемь, завтрак в девять...»

Музеи, музеи, музеи... Эх, людей бы! Посмотреть бы, как живут, чем занимаются, о чем думают...

Тот самый киевский газетчик, назовем его К., член нашей туристской группы, который мучился тем, что ему не о чем будет писать, так как нам не показали еще трущобы, вернувшись домой, с места в карьер стал выступать с докладами. По городу развешены были афиши «Америка, ноябрь 1960 года». Я пошел на один из этих докладов. К. очень обстоятельно говорил о трущобах, о безработице, о нищете, о нью-йоркских

улицах, где никогда не бывает света, о тяжелых условиях труда, дороговизне квартир, низкой зарплате, забастовках. Его спросили о ценах на товары. Он ответил, что этим не интересовался. По залу прокатился шепоток. Молодой парнишка, стесняясь, спросил, как обстоит в Америке дело с алкоголизмом, много ли там пьют? К. ответил:

— Много. В Вашингтоне, нет, виноват, в Чикаго мы видели одного пьяного, он еле держался на ногах.

По залу прокатился хохот. Мне было стыдно, хотя я и понимал, что такого, как К., слава богу, не встречаешь на каждом шагу.

Другой журналист, наш, советский, проживший в Нью-Йорке около четырех лет, говорил мне:

— Америка действительно страна контрастов. Причем контрастов разительнейших. Нищета и богатство, красота и уродство — все это рядом. Но когда говоришь о контрастах, надо придерживаться все-таки каких-то пропорций черного и белого. Прошу вас, если вы будете писать об Америке, придерживайтесь хотя бы, как здесь говорят, фифти-фифти — пятьдесят на пятьдесят. И не пишите, что американская молодежь интересуется только рок-н-роллом и бейсболом. Интересуется, даже увлекается, но газеты, поверьте мне, тоже читает. И журналы и книги. И вашу статью прочтет. Учтите это, чтобы потом не краснеть.

И еще один журналист. На этот раз американец, но хорошо знающий русский язык и неоднократно бывавший у нас. Он спросил меня (это было два года спустя, в Италии), собираюсь ли я писать об Америке и если да, то могу ли я не кончать свой очерк строками о трудолюбивом, талантливом и мужественном народе, который автор, несмотря ни на что, полюбил, хотя и пробыл в Америке недолго.

— Я начну вашу статью с конца, — сказал он, — и, если там будут эти строки, не стану ее читать — значит, она необъективна.

Я пообещал ему кончить свой очерк какой-нибудь другой фразой и в свою очередь спросил, как он заканчивает свои статьи о Советском Союзе. Он улыбнулся и сказал:

— По-разному. Но однажды кончил именно так, научившись этому у вас, поэтому и предостерегаю.

Парень он был неплохой и, как я потом узнал, в своих статьях, печатавшихся в не слишком просоветском журнале, придерживался фифти-фифти.

Я лично никаких пропорций придерживаться не собираюсь, более того, я по мере возможности стремлюсь избегать обобщений (все-таки слишком мало видел), я сам пытаюсь разобратся в увиденном, в тех мыслях и ассоциациях, которые возникали у меня от того или иного явления в Америке, от той или иной встречи. На большее я не претендую.

Несколько выше я писал об американской молодежи. Удалось ли мне ее узнать? Ведь за две недели я сталкивался с нею всего три раза. Первый раз — с русским, Володей, второй — в поезде со школьниками, и третий раз — с двумя студентами Колумбийского университета. В сумме своей это что-то дало, но боюсь, что именно «что-то», не более. И все же...

Встреча с колумбийскими студентами меня разочаровала. Впрочем, тут для меня не все ясно. Когда мы уезжали из Нью-Йорка в поездку по стране, Тадеуш Осипович, наш словоохотливый гид, сказал, что, когда мы вернемся в Нью-Йорк, мне обязательно надо будет встретиться со студентами русского отделения Колумбийского университета, которые, мол, об этом очень просили. Я, конечно, тут же согласился: что может быть интереснее?

По возвращении в Нью-Йорк — на второй, кажется, день — мы всей группой пошли в университет. Тадеуш Осипович опять предупредил ме-

ня, чтоб я не забыл о студентах, которые ждут встречи. Хорошо. Пришли. Приняли нас очень мило в каком-то небольшом зале для торжеств. Сказаны были необходимые слова приветствий, потом мы разделились на маленькие группы, и физики пошли к физикам, историки к историкам, а я отправился на поиски тех самых студентов, о встрече с которыми давно мечтал. Сопровождал меня в этих поисках профессор Мэтьюсон, преподаватель русской советской литературы. Немолодой уже, приветливый господин, превосходно говоривший по-русски, автор книги о положительном герое в советской литературе. О встрече этой он ничего не знал, но предложил свои услуги в поисках студентов. Зашли мы в несколько аудиторий, заглянули в библиотеку русского отделения — никого нет. Проходили мы так с полчаса, если не больше, кого-то останавливали, кого-то спрашивали, но так никого и не нашли. Почему? Не знаю. Профессор Мэтьюсон явно был озадачен и даже, я бы сказал, смущен. Мы зашли в студенческое общежитие (к слову сказать, похожее на нашу московскую гостиницу «Юность», только побольше), но и там никого не нашли. Веселые ребята и девушки, сбегавшие по лестнице, приветливо нам улыбались, на наши вопросы пожимали плечами и убежали дальше. С горя мы двинули в студенческий ресторан.

— Сядем вот за тот столик, — сказал профессор Мэтьюсон. — Там как будто славные ребята.

Ребята оказались действительно славными, с симпатичными интеллигентными физиономиями. Но, должен признаться, большего равнодушия к моей персоне за все свои поездки за границу я еще не встречал. Ребята любезно и вежливо, похлебывая кофе, отвечали на все мои вопросы, но сами не задали ни одного. Я им был просто не интересен. Представляю, что творилось бы в столовой нашего университета, если бы туда зашел и подсел к чьему бы то ни было столику пусть самый обыкновенный американский парень, я не говорю уже о журналисте или писателе. Какой завернулся бы спор, сколько пододвинуто было бы стульев. Ничего подобного здесь не произошло. Ребятам просто со мной было скучно, несмотря на всяческие подстегивания профессора Мэтьюсона, пытавшегося их растормошить. Мне кажется, что оба они даже с облегчением вздохнули, когда мы стали прощаться.

Почему так произошло? Не знаю. Я ведь был первым советским человеком, которого увидели эти два молодых американских студента. На какую-то долю секунды в самом начале встречи зажегся в их глазах огонек любопытства и сразу погас. А вот мальчишки в поезде Буффало — Нью-Йорк всем интересовались и задавали тысячи вопросов.

В фильме «Америка глазами француза» (люди, знающие Америку, говорят, что там многое правдиво схвачено) показана различная американская молодежь: и пляжно-рок-н-рольная и пьяно-карнавальная, и веселые солдаты на ковбойских состязаниях уголовников, и будущие отцы семейства, проходящие на куклах курс ухода за детьми, и красивые мальчишки и девочки, живущие с того, что снимаются для журнальных обложек и реклам, и юные преступники с мрачными лицами, которых уводят за решетку... В Гринвич-вилледж (нью-йоркский Монмартр) я тоже видел «веселящуюся» молодежь. Один размалеванный во все цвета радуги пьяный парень ходил взад и вперед по тротуару и все кричал о том, что ему наплевать, кто будет сидеть в Белом доме — Кеннеди или Никсон, куда важнее, кто находится сейчас в Кремле! Все это есть, я знаю, и, вероятно, даже в значительно большем количестве, чем это показано в фильме, но как-то не хочется верить, что нет другого. Конечно, есть, наверное есть, но я, увы, не столкнулся. Поэтому я так жалею, что не встретился с теми студентами, которые меня пригласили и которых я не смог обнаружить. Кто в этом виноват? «Америкэн экс-

пресс», Иван Иванович, профессор Мэтьюсон, студенты, я сам? Не знаю. Во всяком случае, мне кажется, не я...

По этому случаю судить, конечно, трудно, но за две недели, что я пробыл в Америке, я не сдружился, не сблизился ни с одним американцем. Не то что в Италии с итальянцами. Мой «итальянский блокнот» заполнен адресами, в «американском» — два-три случайных телефона. И это при американской общительности и простоте в отношениях.

Что поделаешь, придется об американцах, их вкусах, стремлениях, симпатиях говорить косвенно, опираясь на то, что мне было более доступно. Портрет получится не очень точный, не очень ясный, как бы освещенный отраженным светом, но тут уж ничего не поделаешь.

Одним из таких «отражений» является, безусловно, искусство.

Очень ошибаются те, кто думает, что абстрактное и вообще так называемое «левое» искусство в Америке в почете. Ничуть не бывало. Правда, на нью-йоркском аэродроме Айдлуайлд с потолка вестибюля свешивается и медленно вращается некая многолопастная конструкция, считающаяся скульптурой (кстати, сама по себе она мне очень понравилась, в ней есть что-то птеродактильно-геликоптерное, иными словами — авиационное), есть в Нью-Йорке и специальный музей наиновейшего, наилейшего искусства, Музей Соломона Р. Гуггенхайма на 5-й авеню, есть в Америке и богатые коллекционеры, не жалеющие денег на покупку всякого рода сверхлевых ухищрений, но в массе своей американец не любит такого искусства, он любит искусство «похожее».

Я, например, очень люблю польский плакат. Мне кажется, что в этой области (так же как и в кино) поляки нашли свой собственный, очень выразительный и не похожий на другие язык. Польский плакат при всех качествах, необходимых плакату — броскости, запоминаемости, лаконичности, — прежде всего произведение искусства. В польском плакате нет назидательности и риторики (чем, увы, часто грешим мы в своих плакатах) — он образен и поэтичен. Вспомните хотя бы плакаты шопеновского конкурса или знаменитый антивоенный плакат «Nie!» — три элемента: бомба, руины и краткое, выразительное слово. В Америке такой плакат не прошел бы. Американский плакат предельно натуралистичен, фотографичен. Обложки журналов, книг тоже. На стенах небоскребов, у входов в кино, по бокам автострад, везде — громадные красавицы, красавцы, ковбои, гангстеры, улыбающиеся или не улыбающиеся физиономии, и все это очень добротное, старательно и, главное, сделано страшно «похоже». Условности никакой.

Я говорю сейчас о самом утилитарном виде искусства, потому что он самый доходчивый и больше всего свидетельствует о «широких» вкусах. Но если говорить о «большом» искусстве, то и в нем мы сталкиваемся в большинстве своем с тем же. Очень характерен, к примеру, тот самый памятник морской пехоте, о котором я уже говорил. Его фотографичность, всамделишность усугубляется еще тем, что само водружаемое знамя не бронзовое, а самый что ни на есть матерчатый, развевающийся по ветру американский «старз энд страйпс» — звезды и полосы.

Да, памятник этот вызывает определенные эмоции, даже сильные, я об этом уже говорил, но я остерегся бы назвать его произведением искусства. В этом памятнике есть рассказ о некоем волнующем событии, но в нем начисто отсутствует образ, а без образа, как известно, искусству, особенно изобразительному, трудновато. (Кстати, по-украински «изобразительное» — «образотворче», что, по-моему, очень точно.)

Образ... Как часто мы о нем говорим и как часто забываем, что без него искусства нет. Мертвая и живая вода. Мертвая только склеивала разрубленное тело, живая вселила в него душу, жизнь. Памятник морякам — мертвая вода. А вот памятник разрушенному Роттердаму — жи-

вая. Многие москвичи помнят экспонировавшуюся в 1961 году на французской выставке в Москве его бронзовую копию (оригинал работы выдающегося французского скульптора Цадкина стоит в Роттердаме). Большинство посетителей возмущалось скульптурой, издевалось над ней, в лучшем случае пожимало плечами: «Что это — человек или кусок равного железа?», «И почему у него в животе дырка?», «А где лицо?», «Нет, это не искусство, это черт знает что!» Мне больно было слушать. Больно, потому что роттердамский памятник, памятник варварски уничтоженному городу и тысячам погибших людей, тщетно взывающих к справедливости, памятник этот — страшный, кричащий — произведение большого, настоящего искусства, это живая вода.

Живая вода... А сколько лет нас поили и мертвой.

Недалеко друг от друга, по обе стороны Арбатской площади, стоят два памятника. Оба Гоголю. Один работы Андреева, другой — Томского. В свое время самодовольный, напыщенный Гоголь Томского прогнал вместе с пьедесталом андреевского Гоголя и стал на его место. И стоит до сих пор. Не знаю, как другие, но я всегда обхожу его, пересекаю Арбатскую площадь с другой стороны. А если есть время, обязательно захожу в маленький дворик на Никитском бульваре, где рядом с домом, в котором он умер, сидит в раздумье, накинув шинель на плечи, не «мертвый», а «живой» Гоголь. Это один из прекраснейших памятников в мире. Я прошу читателя не полениться зайти в этот дворик и обойти памятник по полукружью, от правого плеча Гоголя к левому. И вы увидите нечто совершенно необычайное. Вглядитесь в его профиль, в его лицо — перед вами Гоголь «Вечеров на хуторе близ Диканьки» — мягкий, чуть иронический. Двигайтесь по полукружью — на ваших глазах он меняется. С последней точки это уже Гоголь сомнений, мистики, сожженных «Мертвых душ»... Подобной трансформации я не видел нигде и никогда.

Андреевский Гоголь был изгнан. Теперь он нашел свое место, может быть, даже лучшее, чем было. И здесь мне хочется заступиться еще за один памятник, тоже изгнанный, но до сих пор так и не нашедший своего места. Снятый с пьедестала, вот уж сколько лет он стоит во дворе Русского музея в Ленинграде, и никто его не видит, а молодежь просто даже и не знает о его существовании. Речь идет об Александре III Паоло Трубецкого. Без преувеличения этот памятник можно назвать в своем роде уникальным. Я не знаю другого равного ему по силе обличения. В грузной, торжественно-самодовольной фигуре царя-мироотворца, восседающего на массивном, расставившем ноги битюге, — все бесправие самодержавной России. Когда-то, когда памятник еще стоял на площади Восстания перед Московским вокзалом, на пьедестале высечены были слова Демьяна Бедного:

Мой сын и мой отец при жизни казнены,
А я пожал удел посмертного бесславья.
Торчу здесь пугалом чугунным для страны,
Навеки сбросившей ярмо самодержавья.

Так этот памятник и назывался — Пугало. Зачем его сняли? Кому это пришло в голову? К слову сказать, открытие его в 1909 году вызвало скандал. Царские сановники, да и сам Николай II поняли, что это злая карикатура, сатира. Почему же мы сейчас не хотим этого понять?

В отдельном зале Национальной галереи в Вашингтоне висит картина, называемая «Тайная вечеря». Автор ее Сальватор Дали. Перед ней всегда много народу. Не многие картины удостоились такой чести — висеть в отдельном зале.

Сальватор Дали — один из знаменитейших художников Запада. Он испанец, но вот уж более двадцати лет живет и более чем процветает в Соединенных Штатах. Поэтому, хотя я и остерегаюсь причислить его к американским художникам, мне хочется сказать о нем несколько слов.

Сальватор Дали — сюрреалист. Течение это не новое, ему никак не меньше сорока лет. Наиболее известные представители его Андре Бретон (его называют «папой сюрреализма»), Ганс Арп, Макс Эрнст, Миро, Андре Массон, Ив Танги, Рене Магритт. Но, конечно же, самый знаменитый, самый сенсационный, самый шумный, самый экстравагантный и, я бы позволил себе сказать, самый талантливый среди них — это Сальватор Дали.

Ему под шестьдесят, но он полон энергии. У него эффектнейшие колючие, почти как у Вильгельма II, усы, известные всему миру, так как Дали очень любит фотографироваться. Он охотно дает интервью, считает себя философом и даже написал две книги: «Тайная жизнь Сальватора Дали» и «50 секретов магического искусства». Он любит сенсации и всякого рода сногшибательные проделки. Не помню уже точно, да это не так уж и важно, но где-то в Италии на каком-то им самим поставленном спектакле он сидел в ложе и раздувал по залу золотой порошок. Во время работы он носит на носу бумажку, так как нос ему мешает, мол, работать. На какой-то из своих выставок в Нью-Йорке он поставил в витрину ванну, обшитую изнутри шерстью, в которой лежала красавица, потом влез в витрину, перевернул ванну и разбил витрину...

Но все это так, к слову. Просто я поддался на удочку американских газет, столь падких до сенсаций и всяческого рода чудачеств различных знаменитостей. Если же говорить серьезно, то Дали — художник, наделенный изощреннейшей фантазией, превосходный рисовальщик, и, глядя на его работы, видишь, сколько большого и нелегкого труда в них заложено. Это не тяп-ляп, не «Заход солнца на Адриатическом море» знаменитого осла, это труд.

Если верить Большой Советской Энциклопедии (см. том 41, статья «Сюрреализм»), то «известный представитель сюрреализма — живописец Сальватор Дали пишет картины, восхваляющие атомную войну». Сказано кратко, выразительно, но, к сожалению, не совсем соответствует истине. Никакую войну Дали, конечно, не восхваляет, и вообще он ничего не восхваляет и не осуждает. Сальватор Дали, как и весь сюрреализм, явление гораздо более сложное, хотя и вполне закономерное на пути развития западного искусства.

Я не собираюсь подробно разбираться в сущности этого явления, прародителем которого является безусловно Фрейд с его культом подсознательного. Хочется разобраться в другом: почему музеи и выставки с абстрактным искусством почти пусты, а перед картинами Дали всегда толпы?

Для иллюстрации постараюсь рассказать (если можно так выразиться) одну из картин Дали, которая называется «За секунду до пробуждения от жужжания пчелы, летающей вокруг граната». Уже одно название привлекательно, не правда ли? А содержание еще более завлекательно. Над какой-то плоской скалой, напоминающей остров, спит, закинув руки за голову, парящая в воздухе прекрасная обнаженная женщина. Рядом с ней тоже парит в воздухе плод граната. Вокруг граната вьется пчела. Над женщиной нависла скала. Но это не самое страшное. Над морем или пустыней, раскинувшейся вокруг спящей женщины, опять-таки парит в воздухе другой, большой уже плод граната, надкушенный, теряющий зерна. Из этого плода вырывается страшная рыба с разверстой пастью. Из ее пасти выскакивает не менее страшный, громадный зубастый тигр,

из пасти которого в свою очередь выскакивает другой тигр, поменьше. Сейчас они оба вонзят свои когти в тело прекрасной женщины. Но и это не все. Из пасти тигра, что поменьше, вылетает ружье со штыком, и через секунду штык вонзится в закинутую за голову руку красавицы. А сзади, на горизонте, шествует слон на бесконечно длинных, суставчатых, как у насекомого, ногах. На спине слона обелиск.

Бред? Да, бред... Но к этому-то и стремится художник. Его мир — это мир кошмаров, галлюцинаций, подсознательного, иррационального. Страшно, непонятно, но, ей-богу же, занято. Зритель толпится: «Смотри, смотри, какая рыбища... А тигр, тигр, совсем как живой... А почему слон на таких ногах?.. И что все это значит?» Должен признаться, мне тоже было интересно, мне тоже хотелось разгадать, «что хотел сказать автор своим произведением». Головоломка, кроссворд... Но от них иной раз невозможно оторваться, хотя и понимаешь, что попусту тратишь время.

Сочетание редкого натуралистического мастерства, «похожести» (тигр действительно как живой) с иррациональностью содержания привлекает сотни зрителей. Наши туристы, в том числе и я, на последние центы скупили в Национальной галерее чуть ли не все открытки с «Тайной вечерей», картиной, о которой в проспекте сказано, что в ней Дали «воссоздает существо XX века формами и линиями классических традиций католицизма, частично Ренессанса, частично барокко, с оттенками испанского реализма». Иди пойми, что это значит (на картине двенадцать склонивших головы над столом апостолов, посредине Христос с головой Галы — жены художника, над всем распростерты руки, и все это заключено в некий тающий в воздухе октаэдр) — иди пойми, все похоже и непонятно, а в общем...

— Дайте мне еще парочку открыток...

О Сальваторе Дали написано много, очень много. Паранойя, галлюцинация, автоэротика, автосодомия, психосексуальность, внутриатомное равновесие, астральное сублимирование и еще не менее чем двумя-тремя десятками таких же страшных слов оперируют авторы этих трудов. И все это говорится вполне серьезно.

Повторяю: множество картин Дали просто поражает своим техническим мастерством, своей необузданной фантазией (например, серия его мадонн или Сант-Яго Великий, выставленный в специально построенном франкистской Испанией павильоне на Брюссельской выставке), но когда под все это подводится какая-то претендующая на научность база, когда говорится, что Дали, «проштудировав и отвергнув труды Маркса и Розенберга, пришел к реактуализации католических, европейских и средиземноморских традиций, которые материализуются в колоннадах Бернини, в распахнутых объятиях (распростертых руках) Запада, руках святого Петра в Риме, в Ватикане», когда все это читаешь, — то, откровенно говоря, становится немного страшно. Тупик...

Глядя на картины Дали в Национальной галерее, на толпы стоящих перед ними людей, я невольно вспомнил такие же толпы перед некоторыми картинами на наших выставках. В них тоже все было похоже и непохоже. Дали убежал от действительности в сновидения, в кошмар, в сюрреализм, кое-кто из наших художников столь же стремительно бежал в другую сторону — в сторону старательно отутюженной, ландшафтно-ликующей антидействительности, антиреализма.

К счастью, это в какой-то степени уже позади. Но иногда, пробегая по той или иной станциям метро или попадая на Сельхозвыставку, невольно вздрагиваешь при виде того, что так недавно еще считалось столбовой дорогой и что, выбирая наиболее мягкое выражение, назовем тоже сновидением...

Нет, не живопись и не скульптура — искусство Америки. Искусство Америки — это архитектура. Точнее — строительный гений.

Но здесь я хочу немного отвлечься.

Современная архитектура бесспорно переживает серьезный кризис. И западная и наша. Наша — благодаря крутому перелому после почти тридцатилетнего «культа излишеств», западная — в силу причин, в которых и хочется разобраться.

Для меня до сих пор остается загадкой творческий путь Ле Корбюзье — Архитектора № 1, как назвал его молодой, симпатичный и пылкий итальянский архитектор пока еще без номера, с которым мы спорили этой весной о путях развития современной архитектуры. Мне почему-то кажется, что творчество Ле Корбюзье последних лет — яркое свидетельство того кризиса, который переживает сейчас архитектура Запада.

Лет двадцать—тридцать тому назад архитектура и инженерия жили мирно и дружно, держась за руки, помогая друг другу. Сейчас появилась какая-то трещина. И с каждым днем она становится все шире и шире. Впечатление такое, что архитектура (говорю, конечно, условно — иными словами, идейное начало) вдруг обиделась на инженерию. Ты, мол, подрезаешь мне крылья, хочу на простор... И вот получается капелла Роншан.

Я уже писал о ней. Она прогремела на весь мир. Появление ее оказалось событием в современной архитектуре. Капеллу причислили к «лику святых». Во Франции она считается сейчас памятником архитектуры, подобно Реймскому собору или замкам Луары.

Я пытаюсь проникнуть в эту капеллу. (Я сознательно отбрасываю сейчас основное — почему мастер, в период своего расцвета говоривший: «Какое мне дело до церквей: проблемы архитектуры в другом — в строительстве городов!» — почему на склоне лет он занялся вдруг церковной архитектурой?) Капеллу видно издали — белую среди живописной зелени предгорий Вогез. Она стоит на месте своей погибшей во время войны предшественницы. Описать ее невозможно. Могу сказать только одно — она не похожа ни на что из того, что когда-либо строилось человеком. В самых грубых выражениях — это темная подушка, лежащая на изогнутых, наклонных белых стенах. И белая обтекаемая колокольня. И еще две поменьше, стоящие друг к другу спиной. (В «Первом знакомстве» я сделал небольшой набросок этой капеллы.) Попытаемся разобраться отдельно в образе, отдельно в структуре. Начнем со структуры. Стены сделаны из камня. Они оштукатурены белой, очень грубой, шероховатой штукатуркой и снаружи и изнутри. Несущие железобетонные конструкции тоже оштукатурены, как и стены. Строительный материал — разный — скрыт общей декорацией, штукатуркой. (Кстати, на главной колокольне она вся в потеках от дождей — в свое время Корбюзье такого не допустил бы.) Перекрытие капеллы железобетонное, не оштукатурено — следы от опалубки сознательно оставлены (между прочим, это сейчас очень модно на Западе). Все это, очевидно, для контраста — от былых принципов конструктивизма (ничего не скрывать, все говорит само за себя) не осталось и следа. Очевидно, принципы сейчас уже другие. И в основе их нечто новое, то, что раньше отрицалось — образ.

И вот тут-то самое грустное. Перед нами безусловно образ иррационального. Возможно, даже мистического. Логика архитектурной конструкции, формы отвергнута. Вместо нее алогичность иррационального, экспрессивного, неразгаданного. Не спрашивай, не спрашивай, воспринимай так, как оно есть. Вот и все.

Люди, побывавшие внутри капеллы, говорят, что впечатление очень сильное. Потолок темный, изогнутый. Стены то вертикальные, то наклонные, то мягко изгибаются. В той, что наклонна, десятка два отверстий-

амбразур (их трудно назвать окнами), прямоугольных, очень глубоких, различных размеров, разбросанных без всякой системы. Прорывающиеся сквозь них лучи солнца, по-видимому, создают большой эффект. В амбразурах стекла прозрачные, но есть и разноцветные, что, по мнению автора, должно приближать капеллу к древней романской и готической архитектуре. Нет, очевидно, не так — очевидно, вызывать у молящихся эмоции, сходные с теми, которые вызывала архитектура и витражи готики...

Вот что пишет сам Корбюзье о капелле: «Свобода: Роншан. Архитектура полностью свободная. Никакой задачи, кроме как служение мессе — одному из древнейших человеческих установлений. Единственный, кто здесь присутствует, — это пейзаж, четыре стороны горизонта. Это они командуют. Истинное явление зримой акустики. «Зримая акустика, явление, вводящее в область формы»: формы создают шум и тишину: одни говорят, другие слушают».

Что все это значит? Истинная свобода... Служение мессе... Зримая акустика... Шум и тишина... Что это значит? Опять уход от действительности? Опять иррациональное? Новая теория?

Оказывается, нет. Капелла строилась пять лет — с 1950 до 1955. В это же время и позже по проектам Корбюзье возводился знаменитый правительственный ансамбль в столице Пенджаба Чандигархе, строились виллы в Ахмедабаде, жилые дома в Нейи-Сюр-Сен и Нант-Рэзэ, корпус Бразилии в Университетском городке в Париже, Музей в Токио. И все это на других, более близких «старому» Корбюзье принципах. Даже в законченном в 1959 году доминиканском монастыре в Турет, возле Лиона, Корбюзье очень бережно отнесся к форме, может быть, даже слишком. А ведь там тоже служат мессы...

Я жалею об одном. Корбюзье рвался к большему, к строительству городов, к «Солнечному городу», как назвал он то, что ему так и не удалось осуществить. Он рвался к нам. И тут я не могу не привести несколько строк из тех писем Корбюзье, о которых я уже писал в своей предыдущей книге, — писем, присланных нам, студентам-архитекторам, в 1932 году. Речь идет о конкурсе на Дворец Советов, который отметил премиями Иофана, Жолтовского и американца Гамильтона, обойдя Корбюзье. Вот что он писал:

«Дворец Советов должен быть венцом пятилетнего плана, должен быть возвеличением архитектурных принципов нового строя, который вдохновил этот пятилетний план... Правительство СССР заказало мне проект. Программа требовала учета всех достижений современной техники. В течение трех месяцев пятнадцать проектировщиков были заняты анатомическим анализом проекта. В нашей мастерской царил всеобщий энтузиазм. Самые тонкие и мелкие детали страстно изучались. При каждом новом открытии, при каждом новом решении то тот, то другой проектировщик восклицал: «Они будут довольны в Москве!» Мы все думали, что проект будет рассмотрен с точки зрения его технических качеств, на почве строительной и архитектурной реальности. Основой нашего проекта были: график движения, хорошая видимость, акустика, вентиляция, статика сооружения.

И вот вынесено решение. Ничто из этого не принято во внимание. Премированы эскизы фасадов, академические купола... Даже жюри в своем решении признало, что премированные проекты не дают никаких указаний о способе перекрытия залов, акустике, отоплении, вентиляции!!!

Разочарование у наших пятнадцати проектировщиков было невообразимое — возмущение и раздражение».

И из другого письма:

«Я очень доволен, что планы Дворца поручены моим друзьям Весни-

ным, но я хотел бы лично работать над теми моментами, в которых чувствую себя вполне уверенным... Я считаю за собой известные права на это сотруничество, так как наш проект, конечно, является одним из самых серьезных среди представленных».

И, наконец, последние, самые горькие строки:

«Мне много раз предлагали составлять планы для городов СССР, но это оставалось только разговорами. Я этим очень огорчен, так как чувствую, что обладаю сейчас истинами, которыми я хотел бы поделиться с другими. Я так глубоко оценил основные социальные истины, что мне первому удалось создать, вполне естественно, великий город без классов, гармоничный и улыбающийся. Иногда я огорчаюсь, видя, что в СССР со мной борются по поводам, которые мне не кажутся достаточными»

Мы не привлекли Корбюзье. Не привлекли очень большого мастера, хотя, возможно, он несколько и преувеличивал, считая, что ему уже удалось создать бесклассовый город.

Мне больно сейчас смотреть на фотографию, где Корбюзье стоит на лесах строящегося монастыря в окружении монахов в сутанах. А ведь этого, кто знает, может, и не было бы, окажись он до этого в другом окружении. Строителей Комсомольска-на-Амуре, допустим...

Корбюзье — наиболее яркий пример. Но он не одинок. Разрушение формы, уход в иррациональное — это не единичные случаи, это уже целое явление. Очень характерен в этом отношении Джованни Микелуччи — известный итальянский архитектор, автор многих зданий, построенных в тридцатых годах, в том числе и флорентийского вокзала, о котором в свое время много писали. Все эти здания выдержаны в более или менее обычных формах рационально-конструктивистской архитектуры, свойственной тем годам. Сейчас Микелуччи составил проекты двух церквей (любопытно, что в наши дни церковники дают наибольшую свободу архитекторам) — Санта-Мария и Автострада-дель-Соль.

Я смотрю сейчас на фотографии эскизов этих церквей, макетов, сделанных из глины, и опять-таки не нахожу слов. Ищу чего-то, с чем можно было бы сравнить, и не нахожу. Скорее всего это похоже на то, что дети лепят из мокрого песка на пляже. Что-то расплывчатое, расплывающееся, иногда очень привлекательное, вроде средневекового замка или торта, а в общем непонятное. А может, церкви так и надо строить? Что ж, пусть строят. Жаль только, что на это тратят время (только ли время?) люди, которые могли бы заняться куда более полезным делом.

* * *

Все это довольно длинное отступление я сделал специально для того, чтобы подготовить свой разговор об архитектуре Америки.

Мне не раз задавали вопрос: нравится ли она мне? Да, нравится, отвечал я. И сейчас отвечаю: нравится. Я вижу несколько удивленный взгляд. Как? Американцы сами не знают, как выбраться из того, что они нагромодили. Если уж говорить о тупике, так вот где тупик: транспортная проблема неразрешима, воздуха нет, солнца нет, надземная железная дорога в Чикаго может свести с ума человека с любыми нервами, небоскребы хороши только на открытках и нравятся разве что туристам...

Все это так, и все же...

Мы бродили с товарищем по берегу озера Мичиган в Чикаго. Вечером еще шел снег пополам с дождем, город тонул в красно-желтом от реклам тумане, блестя мокрым асфальтом, а сейчас распогодилось, светило солнце, и озеро, большое, как море, тихо набегало плоскими волнами на широченный, пустынный, холодный пляж. Кругом удивительно, неправдоподобно пусто. Пронесются машины — низкие, широкие, бесшумные, — а людей нет. Мы одни на этой бескрайней набережной. Чикаго здесь не-

чего делать, сейчас не лето, пляж закрыт. (А какой пляж! В Ялте бы такой...) И эта пустыньность, безлюдье, эта почти идиллическая тишина создают возможность посмотреть на город — самый американский из всех городов, даже более американский, чем Нью-Йорк, — посмотреть на него со стороны, не суетясь, никуда не торопясь, присев на парапет, покуривая сигарету, лениво перебрасываясь отдельными фразами.

С одной стороны озеро — четвертое в мире по величине озеро, если не считать Аральского моря, — поднялся ветер, и оно покрылось сейчас барашками, с другой стороны фронт небоскребов Золотого Берега, фешенебельнейшего района Чикаго. И среди них два черных стройных небоскреба. Я их знаю по фотографиям. Они знаменитости, их строил один из прославившихся архитекторов Америки — Мис Ван дер Роз. Красиво! Ей-богу, красиво. Город!..

Потом мы идем через мост, под ним десятки железнодорожных путей, движутся какие-то составы, товарные, пассажирские, мигают светофоры, а по мосту беззвучно несутся машины, и двое рабочих в люльках вкручивают лампочки в букву «о» гигантской «кока-колы» (зря мы над ним посмеиваемся: вкусный, действительно освежающий напиток). Перед нами новая панорама — небоскребы Мичиган-авеню. На два километра вытянулись в ряд. И во главе их недавно построенный Прюденсиал-билдинг. Он сейчас весь горит — невысокое ноябрьское солнце отражается во всех окнах его сорока с лишним этажей. Идем вдоль набережной и, свернув на Мэдисон-стрит, попадаем в самый центр, в Луп, в петлю (loop — по-английски «петля», и в этом месте надземная железная дорога «elevation» действительно образует петлю).

Рекламы все горят, круглосуточно горят, здесь всегда полумрак, сияют витрины, в них что-то блестит, переливается; на углу, у лестницы в надземку, лежит кипа газет с результатами президентских выборов, и прохожие на ходу берут их, положив в специальную баночку пять центов, а над головой уходят куда-то ввысь серые небоскребы, и с этого на тот когда-то, лет сорок тому назад, перепрыгивал Гарольд Ллойд...

Город... Гигантский город. Крупнейший узел железных дорог. Тысяча семьсот поездов в день! Второй город Америки. Знаменитые скотобойни, консервы, чугун, сталь. Город, где зародилась американская компания. Город, которому мы обязаны 1 Мая, после расстрела демонстрации 1886 года. Город, в котором сто двадцать пять лет тому назад было четыре тысячи жителей, а сейчас пять с половиной миллионов. Город, сгоревший в семьдесят первом году почти дотла и до сих пор бережно хранящий наружные пожарные лестницы на всех небоскребах. Город финансистов, магнатов, клерков, рабочих. Город... Гигантский город.

А архитектура? При чем же тут архитектура? И что здесь может нравиться? Полумрак на улицах, пожарные лестницы?

Могу сказать: мне, городскому жителю, нравится подчеркнутая урбанистичность этих городов. Мне нравится небоскреб весь из стали и стекла, в котором отражаются бегущие по небу облака. Мне нравится, задравши голову, смотреть на его грань, точную, как математическая формула. Мне нравится безалаберная суতোлка небоскребов, уничтожающая регулярность улиц. Я говорю об облике города. Не о его трагедии — пыльно, жарко, тесно, задыхаешься от бензина, не о продуманности или случайности планировки и чистоте стиля его зданий, а именно об облике.

Я понимаю всю необходимость, всю значительность регулярной застройки Юго-Запада Москвы, но для меня Москва — это не Ломоносовский проспект, не проспект Вернадского, а путаница арбатских переулочков, в которую хорош он или плох, но уже врос, стал своим высотный дом на Смоленской, для меня это доживающий свои последние дни Кречетниковский переулок, Собачья площадка, Дом Моссельпрома на Кисловском,

на котором какой-то не в меру ретивый управдом замазал строки Маяковского. Для меня это Тверской бульвар с шахматистами-пенсионерами и роющейся в песке ребяточной, гостиница «Москва» (хотя я помню еще Охотный ряд с церковью и рундуками), метро «Площадь революции» со своими наивными, но такими милыми нашему сердцу, навевающими столько воспоминаний скульптурами парней и девушек, для меня это андреевский Гоголь, Василий Блаженный, Красная площадь.

Здесь я мысленно представляю себе некоего нью-йоркского старожилу, вздыхающего: «Эх, Нью-Йорк, Нью-Йорк, я помню тебя, когда еще не было этой суеты, спешки и катились себе, не торопясь, по 5-й авеню прекрасные экипажи, а на Таймс-сквер ворковали голуби. И дом компании Зингер был самым высоким в мире. Теперь его и не найдешь среди этих стеклянных коробок. И трамваи ходили — за три цента весь Мэнхэттен, а сейчас спускайся в эти тесные, душные подземелья. Эх...»

Дело не в том, что было и что есть. Речь идет об облике города, о его неповторимости, его обаянии. Ленинградские каналы, белые ночи, Адмиралтейская игла и мрачные достоевско-добужинские дворы со штабелями дров неповторимы так же, как неповторима Москва поленовских двориков на фоне строительных кранов и панельных домов — нынешняя Москва! — как неповторимы днепровские кручи и медленно вползающий в гору своей булыгой Андреевский спуск в Киеве, как неповторимы одесские дворы с галереями и развешенным бельем. В этой неповторимости — лицо города, его обаяние, его душа.

Я видел много безликих городов в Америке, один, как другой, не отличишь: Буффало, Детройт, еще какие-то — все слилось вместе, но ни о Нью-Йорке, ни о Чикаго я этого не скажу. У них свое, может, чужое мне, но свое лицо, свое обаяние, своя душа.

Я шел как-то рано-рано утром по каким-то улицам в районе гудзоновских доков. Тянулись бесконечные заборы складов с громадными надписями, совсем по-нашему свистели где-то маневренные паровозики, перебежали улицу ободранные, озирающиеся кошки, и вдруг, свернув в какую-то улицу, я увидел Эмпайрстэйт-билдинг... Он был еще окутан утренним туманом, но самые верхние этажи уже розовели от солнца, поблескивали окнами, и вокруг еще несколько громад, только поменьше, ждали, когда же солнце дойдет до них, а внизу, в ущельях, было прохладно и не растаяли еще предрассветные сумерки... Именно в это утро я понял красоту этого громадного противоречивого города, красоту его стекла и стали, красоту его архитектуры...

* * *

Принято считать, что архитектура Америки — это архитектура небоскребов. Это так и не так. Конечно же, небоскреб придумали американцы, и они же добились той законченной конструктивно-эстетической формы, венцом которой являются Сиграм-билдинг в Нью-Йорке, Мис Ван дер Роэ или Левер-билдинг (Спидмор, Оуингс и Меррилл) — стеклянно-стальные параллелепипеды. Но небоскреб — только отдельный элемент архитектуры Америки, или, точнее, как я уже говорил, американского строительного гения. Под этим понятием я подразумеваю не только размах строительной техники, но и умение слить воедино архитектуру зданий с архитектурой «инженерии». Удивительной красоты и легкости мосты (через Золотой Рог в Сан-Франциско, например, или Джорджа Вашингтона в Нью-Йорке), пересекающиеся на разных уровнях эстакады и, я бы сказал даже, автострады стали сейчас одним из неотъемлемых элементов современного американского пейзажа¹. Все это, вместе взятое, и есть архитек-

¹ Франк Ллойд Райт писал: «Я предвижу, что дороги вскоре будут тоже архитектурой, потому что они в полной мере могут быть ею, — великой архитектурой».

тура Америки — сумбурная и в то же время целенаправленная, подавляющая и завораживающая, математически точная и анархичная. В этом и есть ее сущность. И прелесть. И беда...

Но архитектура — это не только здания, архитектура — это люди, создающие ее. В Америке это в первую голову Франк Ллойд Райт, это Ричард Нейтра, Мис Ван дер Роэ, Ээро Сааринен, Аальто, Оскар Нимайер, наконец Вальтер Гроппиус, с 1937 года живущий и работающий в США. Архитектурная мысль XX века обязана очень многим этим крупнейшим мастерам с мировыми именами. Я не буду утомлять читателя перечислением того, кто и что из них сделал (наиболее ярким событием последних лет было строительство столицы Бразилии — города Бразилиа по проекту Нимайера и Лучио Коста), мне хочется только сказать несколько слов об одном из крупнейших архитекторов конца XIX и первой половины XX века Франке Ллоиде Райте, умершем в 1959 году в возрасте девяноста лет.

Райт был американцем, но он не строил небоскребов. «Величайший архитектор мира», как его называют сейчас американцы, прославился именно тем, что был врагом небоскребов и создал свою собственную теорию «органичной архитектуры»¹.

«Я требую от архитектуры, — писал он в одной из своих статей, — того же, что и от человека: искренности и внутренней правдивости, и только с этим связаны для меня все качества архитектуры». На практике это означало, что любое архитектурное сооружение не должно противопоставлять себя окружающему пейзажу, а, наоборот, вписываться в него, становиться его органической частью. Поэтому большинство зданий Райта, в основном виллы, построенные в равнинной местности (появился даже термин — «стиль прерий»), проектировались по горизонтали, подчиняясь рельефу местности и в то же время подчеркивая его. Строительный материал тоже использовался местный — дикий, рваный камень, очень хорошо контрастирующий с плоскостями стекла и вытянутыми по горизонтали железобетонными перекрытиями.

Франк Ллойд Райт много построил на своем веку — более семисот зданий, не считая нескольких сотен неосуществленных проектов. В творчестве его было много противоречивого, были и спады, были и взлеты, но в целом влияние его на мировую архитектуру и как практика и как теоретика огромно.

Последнее творение Райта, его лебединая песня — это Музей Соломона Р. Гуггенхейма в Нью-Йорке на 5-й авеню. Открыт он был в 1960 году.

Мы часто любим сравнивать непривычные для нашего глаза здания с чем-нибудь знакомым. Ростовский театр Щусева, например, считался похожим на трактор, какой-то еще там, не помню какой, на самолет. Музей Гуггенхейма не похож ни на что (хотя кое-кто из наших туристов говорил, что он напоминает пароход, другие — стиральную машину). Это громадная белая железобетонная спираль, расширяющаяся кверху и покоящаяся на вытянутом горизонтальном объеме. Остальные объемы дополняют и подчеркивают основные. Громадная спираль и есть собственно музей. Вы подымаетесь на лифте на самый верх и оттуда по этой-то спирали — а она не что иное, как галерея с внутренним двором, — спускаетесь вниз. Длина ее тысяча двести метров. Более удобного — и для зрителя и для экспонатов, — более рационально устроенного музея я в своей жизни не встречал. Картины висят в один ряд, на уровне глаза. Собственно говоря, они даже не висят, а прикреплены к стене кронштейнами, что создает иллюзию их парения в воздухе на фоне белой стены. Много воздуха, мно-

¹ За три года до смерти он все же не удержался и запроектировал небоскреб, так называемый «Иллинойс», для Чикаго — 528 этажей, 1609 метров высотой. Есть планы и чертежи, но будет ли он осуществлен — пока неизвестно.

го света (и естественного и искусственного, но они как-то очень ловко смешиваются), много зелени, есть даже бассейн с фонтанчиком.

Коллекция музея богата и разнообразна. Сезанн, Модильяни, Леже, Пикассо, Пауль Клее, Кандинский, Шагал, скульптуры Липшица Бранкузи — одним словом, все самое интересное, что было на Западе с конца XIX века. И должен сказать, что слитность архитектуры и выставленных произведений искусства абсолютная. Картинам, скульптурам здесь легко и просторно. Они у себя дома.

Франк Ллойд Райт спел свою лебединую песню и умер. Но странно — песня эта не похожа на ту музыку, которую он создавал всю свою жизнь. Не будучи никогда конструктивистом, Райт пропел гимн конструктивизму. На углу 5-й авеню и 89-й стрит во второй половине XX века он возвел здание, под проектом которого охотно подписался бы сам Ле Корбюзье, не отрекись он от того, что породил. Это прекрасное, умное здание, оно войдет во все учебники архитектуры, но это не Райт.

Последний, 82-й номер (август 1962 года) итальянского журнала «L'Architettura» целиком посвящен двадцатипятилетнему юбилею — нет, не архитектора, а одного из его произведений — так называемого «Дома у водопада», «Fallingwater».

«Дом у водопада» — это вилла детройтского миллионера Эдгара Кауфмана, которому пришлось в голову построить ее именно здесь, в Пенсильвании, в Bear Run, у Медвежьего ручья, в этом лесу, над этим живописным водопадом. И построить ее должен был Франк Ллойд Райт. И Франк Ллойд Райт построил.⁴

«План дома, — говорит Райт, — это образ жизни, а образ жизни всегда индивидуален». По образу жизни Кауфмана и построена эта великолепная вилла.

Лес, негустой, прозрачный, на взгорье. Ручей, скалы, камни, водопад. Над самым водопадом, нависая над ним своими террасами, вилла. И хотя согласно теории «органичной архитектуры» Райта «главное в архитектуре то, ради чего строится здание — его внутреннее пространство, но не оболочка этого пространства, то есть стены и крыша, и тем более не внешний вид здания», вилла эта, внешнему виду которой уделено значительное внимание, полностью отвечает другому тезису Райта: «Внутреннее пространство является частью единого пространства природы, поэтому оно должно не замыкаться от внешнего пространства, но как можно больше связываться с ним». Этой связи, этого слияния Райту удалось достичь полностью. Вилла вросла в пейзаж, а может быть, выросла из него, она стала органической его частью. Скалы ручья и дикий камень стен, белые горизонталы террас и перерезающие их вертикали деревьев, покой комфорта и шум и брызги водопада — все это слилось в нечто единое и проникло внутрь виллы, где тот же дикий камень (никакой штукатурки!), а стеклянные наружные стены-витражи как бы всасывают внутрь окружающий пейзаж. Все продумано до мельчайших деталей, вплоть до места для охапки дров у камина.

Как и Ле Корбюзье в свое время, Райт верил, что с помощью архитектуры (да еще, может быть, религии) можно осуществить переустройство общественной жизни. Вся жизнь он был бунтарем, критиковал американскую демократию, американский образ жизни, капиталистическую культуру, считал, что должен служить народу, стремился строить дешевые дома для рядовой американской семьи, но судьба его сложилась иначе: он стал «модным» архитектором, он строил роскошные виллы для миллионеров...

Райт критиковал капиталистическую систему («Наше благоденствие — фальшь»), на Первом съезде советских архитекторов говорил, что уносит с собой «впечатление громадных достижений и величайшую —

какую когда-либо питал — надежду для человечества и будущей жизни на Земле», а, вернувшись из Москвы, сразу же отправился в Бир Ран, к Медвежьему ручью, на строительство своего маленького шедевра.

Я глубоко убежден, что и на этот раз мы упустили из рук возможность использовать знания и мастерство одного из крупнейших архитекторов мира. Более того, предложив ему сотрудничество, мы помогли бы ему осуществить его заветную мечту — строить для народа. Кауфман, возможно, превосходный человек, но все-таки обидно, когда талант такого мастера, как Райт, тратится на то, чтобы мистер Кауфман, удобно устроившись в шезлонге, сказал, пытаясь перекричать шум падающей воды: «А все-таки неплохую хату отгрохал нам старик Райт, а?»

* * *

Тот самый молодой пылкий итальянский архитектор без номера, о котором я уже упоминал, во время нашего спора об архитектуре сказал: — В прошлом году я был в Москве. Многое мне там понравилось, но одного я никак не мог понять: зачем вам небоскребы? В Америке, даже у нас это понятно — дорого стоит земля. А вам зачем они? Для силуэта? Не дороговато ли он обходится?

Я ответил, что недешево и что архитектурно высотные здания представляют не бог весть какую ценность, но своеобразным памятником эпохи они все же являются, а архитектура, как известно, это «каменная летопись истории» и так далее в том же духе.

Каменная летопись истории... Теперь не каменная — железобетонная, стальная, сборная, каркасная, панельная летопись века, общественной системы, строя.

В одном из тех писем, о которых я уже говорил, Ле Корбюзье писал: «СССР на расстоянии представляет зрелище интенсивной работы в области архитектуры, и весь мир склонен думать, что именно у вас рождается новая архитектура». Ле Корбюзье не преувеличивал — тридцать лет тому назад действительно было так. Мы были куда беднее, чем сейчас, и опыта у нас было маловато, но творческая мысль, как говорится, была ключом. Потом произошел перелом — конкурс на Дворец Советов, и на два с половиной десятка лет все пошло вспять. (Я хорошо помню те переломные годы: я даже получил «тройку» за свой диплом, не хотел отречься от конструктивизма.) Но годы эти, слава богу, уже позади. Все говорит о том, что мы входим в эпоху новых строительных материалов, новых конструкций, новых приемов, новой современной архитектуры.

Новая современная архитектура? Что же это такое?

Года два тому назад «Литературная газета» заказала мне статью на «архитектурные темы». Статью я написал, попытался разобраться в каких-то теоретических вопросах, но она почему-то долго не выходила. Оказалось, что редакция собрала «архитектурную общественность» и вместе с ней обсуждала статью. Ее и хвалили и поругивали, в конце концов она вышла, но перед выходом одна из сотрудниц газеты мне сказала:

— Видите ли, в чем дело. Не подведем ли мы молодежь? Молодежь говорит: «Сейчас все изменилось, можно строить по-новому. Стоит ли заниматься теоретизированием? Конструктивизм, неконструктивизм, формализм, неформализм... Начнем копать в «измах» и опять запутаемся. А нам строить хочется».

Я не уверен, что архитектурная молодежь именно так думает, может быть, только небольшая часть ее, но то, что с теорией у нас не очень благополучно, это более или менее очевидно.

Впрочем, может быть, действительно с этим можно подождать? В конце концов разберемся, а сейчас важнее всего строить, строить, строить... И строим. Много строим. В иные районы Москвы приезжаешь и

просто не узнаешь. Как будто недавно здесь был, а уже путаешься, не знаешь, как пройти к тому дому, к которому когда-то здесь проходил.

И все-таки хочется, чтоб строилось не только много и быстро, но и целесообразно, удобно, а главное — красиво.

Наше строительство во многом отличается от строительства Запада. Возможности стандартизации, массового изготовления строительных элементов заводским путем у нас неограниченны. В этом наша сила, но в этом же и сложность.

«Город нужно строить таким образом, чтобы каждая часть, каждая отдельно взятая масса домов представляла живой пейзаж. Нужно толпе домов придать игру, чтобы она, если можно так выразиться, заиграла резкостями, чтобы она вдруг врезалась в память и преследовала бы воображение. Есть такие виды, которые век помнишь, и есть такие, которых, при всех усилиях, не можешь заметить в памяти».

Так писал Гоголь сто тридцать лет тому назад в своей статье «Об архитектуре нынешнего времени». У Гоголя были свои взгляды на архитектуру, он считал, например, что город должен состоять из домов всех существующих на земле стилей, и придумал даже улицу, «которая бы вмещала в себе архитектурную летопись», которая «сделалась бы тогда в некотором отношении историею развития вкуса, и кто ленив перевертывать толстые томы, тому бы стоило только пройти по ней, чтобы узнать все». Я не очень уверен, что из Гоголя получился бы лучший из городских архитекторов, но когда он говорит, что «новые города не имеют никакого вида: они так правильны, так гладки, так монотонны, что, пройдешь одну улицу, уже чувствуешь скуку и отказываешься от желания заглянуть в другую», невольно спрашиваешь себя: каким образом Гоголь мог попасть в Новые Черемушки или на нашу киевскую Чоколовку?

Живописность архитектуры города — вопрос очень сложный. Один из красивейших, живописнейших городов мира — Прага, на зеленых холмах которой мирно уживаются готика, барокко и ультрасовременный модерн, строилась столетиями. Случайность, незаданность архитектурного пейзажа Праги великолепна: от крыш и колоколен Старого Места и Малой Страны, когда смотришь на них с Градчанского холма, невозможно оторваться. Но нельзя же искусственно создавать случайность. Хорошо гористым городам, там сам рельеф помогает архитектору. А на ровном месте?

Римляне очень гордятся своими нынешними окраинами, где десятками возводятся новые жилые корпуса. Что ж, жить там, может быть, и удобно (я был в двух-трех квартирах, они действительно удобны и благоустроены), но какая все-таки скука вокруг. Как утомительно однообразие...

Спасение, мне кажется, в одном. На помощь стандартизирующейся архитектуре должны прийти цвет, живопись, скульптура, зелень, малые формы. В этой области уже есть если и не очень большой, но все же заметный сдвиг. Монументально-декоративное искусство постепенно начинает дружить с архитектурой. Один из наиболее удачных примеров, на мой взгляд, новый киевский автовокзал (архитекторы А. Милецкий, И. Мельник, Э. Бильский, художники В. Мельниченко, А. Рыбачук). В нем найден свой прием — не банальный, свежий. Это не роспись в стиле Сельскохозяйственной выставки и не мозаичные панно московского метро — это нечто куда более слитное с архитектурой. Все три этажа вокзала, стены его и колонны — это мозаика. Черная, из глазурованной керамической плитки стена, на ней цветные горизонтальные полосы — движение! — абрисы несущихся куда-то автомобилей. То тут, то там, точно аппликация, маленькие панно сграфитто — дорога, шоссе, городская улица с фонарями, мчащиеся тебе навстречу автомашины. Колонны об-

лицованы мозаикой из зеленой майолики — тут тоже мелькнет вдруг автобус, неожиданно среди геометрических линий вырастает маленький каштан в цвету... Если вы попадете когда-нибудь на этот вокзал, зайдите еще в ресторан (кстати, там неплохо кормят) и взгляните на стены. А потом в детскую комнату, если вас впустят. Какие там милые и забавные рисуночки. И к занавескам на окнах тоже присмотритесь: они сделаны по специальному заказу. И зайдите в номера для приезжающих — ручаюсь, что вы отложите свой отъезд по крайней мере на сутки.

Возможно, я несколько захваливаю вокзал — строители его мои друзья, — но, ей-богу же, когда строят не только со знанием дела, но и с любовью (Ада Рыбачук и Володя Мельниченко ночами сами клеили мозаику на колоннах, а архитектор Милецкий до сих пор бегаёт на вокзал проверять, как стоят кресла в зале ожидания и не украли ли керамику в номерах, а ее тоже делали по специальному заказу) — при этих условиях трудно плохо построить. Энтузиастов в архитектуре хватает. К этому бы еще материал получше, подорожнее, и было бы чем хвастаться...

А вот с теорией все-таки плоховато. Впрочем, существует Академия строительства и архитектуры, там есть специалисты, которые этим занимаются. Пожелаем же им успеха.

* * *

Был вечер. Мы стояли над Ниагарским водопадом. Он шумел и брызгался. С противоположного, канадского берега прожектора делали его то розовым, то зеленым, то голубым, фиолетовым, белым. Было очень красиво, а в общем обидно. Водопад подчинили туристам, и он покорно, терпеливо выполнял свою работу. Невдалеке сиял огнями Ниагара-Фолс — безликий, скучный город все тех же туристов.

Мы собирались уже в гостиницу (предстоял еще визит в Буффало, к какому-то зубному врачу, это входило в расписание), когда к нам подошел высокий человек в пиджаке с поднятым воротником.

— Я почув руську мову, — сказал он, — ви руські?

— Русские.

— А можна з вами побалакати? Я українець. Деметрі Корінець. Давно не чув руську мову...

Он вытащил пачку сигарет.

— Прбшу.

Я вынул коробку «запорожцев». Он заулыбался.

— О, запорожці!

— Берите, — сказал я.

Он двумя пальцами попытался аккуратно вынуть одну папиросу.

— Нет, всю.

— Як, всю?

— Так, всю.

— Всю коробку?

— Всю коробку.

Бог ты мой, как он обрадовался! Положил папиросу обратно, вынул носовой платок, завернул в него коробку и положил ее в боковой карман пиджака. Нет, курить он их сейчас не будет. Только в особых случаях. Будет хранить как память. Ведь это из Киева? Подумать только, папиросы из Киева. Запорожцы! Ведь он тоже запорожец. Все украинцы запорожцы. Ну, не все, большинство...

Он проводил нас до гостиницы. Усиленно затягивал нас в бар. Посидим, потолкуем. Он вмиг сбегает домой, переоденется, он сейчас прямо с работы, не успел переодеться. Но в бар идти мы не могли, надо было ехать к зубному врачу. Как он жалел! Да и я жалел. Посидели бы, потолковали бы...

Я уже не помню, где он работал. Кажется, по торговой части. Работой недоволен. По ту сторону, в Канаде, лучше. А мы были в Канаде? Нет? Только поездом проезжали из Чикаго? Если мы хотим, он возьмет такси, и через три минуты мы будем в Канаде. Оттуда и вид на водопад красивее, и бары дешевле. Ну, подождет немного зубной врач, не умрет...

Но в Канаду нам ехать нельзя было — строго-настрого запретил Тадеуш Осипович. Шагов за тридцать до гостиницы у очередного бара Коринец сделал последнюю попытку затащить нас к стойке:

— На пять минут, не больше. Тут и водка е...

Но Иван Иванович с такой мольбой и тревогой посмотрел на меня, что я вынужден был и на этот раз отказаться. А то посидели бы, потолковали...

Мы распрощались с Коринцем у входа в гостиницу. Ему ужасно не хотелось домой. Подумать только, за сорок лет впервые встретиться с человеком из Киева, из его любимого Киева. Он никогда там не был: он родился здесь, но он любит Киев, привет ему большой и уклін, низький уклін...

Мы расстались...

Русский за границей. Украинiec за границей. В большинстве своем это трагедия...

В Нью-Йорке я встретился с женщиной, с которой когда-то был знаком. Последний раз мы виделись за несколько лет до войны, в 1938 или 1939 году. Во время войны вместе с десятилетним сыном она пережила оккупацию. Муж был на фронте. Отступая, немцы угоняли местное население. Ее с сыном тоже загнали в эшелон. Где-то их разбомбили. Потеряли друг друга. Сын сложными путями пробрался домой. Мать исчезла.

И вот мы встретились с ней в Нью-Йорке. Через двадцать с чем-то лет. Оба не очень помолодели за эти годы и все же узнали друг друга. Мы сидели в Централ-парке. Она рассказывала о своих мытарствах. Почему она не вернулась домой? На этот вопрос всегда трудно ответить. Побоялась. Тогда, после войны, столько всякого говорили. Освободили ее американцы, вот и попала в Америку. О близких ничего не знала. Писала. Никто не ответил. Вероятно, уже другой адрес.

Она работает. Неплохо зарабатывает. И друзья здесь есть. Но она хочет домой. У нее там сын, внучка. Может, она им будет не в тягость. Будет нянчить внучку.

Я был у нее дома. На стенке фотография сына — совсем еще мальчик, а сейчас уже тридцать лет, — виды Киева, Владимирская горка, Днепр, все это вырезано из американских украинских журналов. Угостила меня борщом, настоящим украинским борщом.

Мы прощались в небольшом кафе в центре Нью-Йорка. Я торопился в гостиницу, меня уже ждали, через час отходил автобус на аэродром. Она писала письмо сыну. Никак не могла кончить. Все хотелось еще что-нибудь написать. «Сейчас, сейчас, одну минутку...»

Мы попрощались. Я спрятал конверт в карман и вышел на улицу. Обернулся, помахал рукой. Сквозь стеклянную дверь хорошо видна была внутренность кафе. Она сидела за столиком и плакала. Я на всю жизнь запомню этот ясный осенний вечер, маленькое нью-йоркское кафе, раскачивающуюся стеклянную дверь, столик и сидящую за ним плачущую женщину. Увижу ли я еще когда-нибудь ее? Увидит ли она своего сына?

Все это трагедии. А сколько их на белом свете... Людям, помнящим свою родину, особенно тяжело.

Месяца три тому назад я получил письмо из города Перт, Западная Австралия. В нем лежало аккуратно отпечатанное приглашение на сва-

дбу одного молодого человека, которому, когда я видел его в последний раз, было года полтора. Потом пришло другое письмо — с фотографией улыбающихся молодоженов. Рядом с женихом его мать, дочь известного киевского художника, с которой в незапамятные времена я учился вместе в театральной студии.

Война разлучила дочь с родителями, разогнала в разные концы света. Родители сейчас в Киеве, дочь в Австралии. Пятнадцать лет никто друг о друге ничего не знал. И вдруг письмо. Письмо из южного полушария на старый киевский адрес, который чудом не изменился. «Не спрашивайте, почему не писала, все очень сложно. Пишу наугад, не знаю, живы ли вы». Что же послужило толчком к написанию этого письма? Через пятнадцать лет... Фантастическая история. Бывшая киевлянка, начинавшая постепенно уже забывать свой родной город, как-то, зайдя в книжный магазин города Перт (о существовании которого я, например, до позапрошлого года не имел никакого понятия), обнаружила на полке... Нет, этому поверить нельзя: на полке стояла книга — мемуары ее отца, изданные в Киеве издательством «Мистецтво» в 1959 году... Она не верила своим глазам. На первой странице портрет отца, постаревшего, поседевшего, но отца, отца... И она написала письмо.

С тех пор исчез покой. Все мысли только о Киеве. «Пришли мне все, что только есть о Киеве. Открытки, альбомы, фотографии. Опиши, как выглядят сейчас улицы. Что изменилось за эти годы. Все, все, все опиши...» Одна мечта — вернуться назад. Но как? И денег нет, и былой энергии, и, что самое страшное, не окажется ли она сейчас чужой у себя на родине? А сын? Он вырос в Австралии, привык к ней, стал австралийцем, сейчас вот и женился на австралийке. Как все сложно, как бесконечно все сложно. «Пишите, пишите почаще. Каждое письмо из Киева — радость. Самая большая радость...»

С фотокарточки, сдержанно улыбаясь, смотрит на меня двадцатипятилетний молодой человек в черном костюме, с галстуком-бабочкой. Вид у него весьма уважаемый, но, по словам матери, это только вид: за свои двадцать пять лет он успел уже переменить с десяток профессий — работал на золотых приисках, в сельскохозяйственной авиации, пек хлеб, чинил радиоприемники, собирал и разбирает холодильники, командовал оравой мальчишек в каком-то магазине, торгующем мотоциклами. Последнее его увлечение — мотоцикл. Конечно же, налетел на столб и расквасил всю физиономию. Но сейчас ничего, зажило. «Парень он хороший, не жалуюсь, только вот учиться не хочет. Россией он очень интересуется и советский строй ему нравится, но боится, если туда придет, что его заставят учиться, а это его несколько не соблазняет. Предпочитает работать. Здешняя молодежь только и ждет, когда ей стукнет четырнадцать лет, а тогда бросает школу и идет работать — в магазин, бюро, в гараж, на фабрику, девушки — в госпитали. Все тут стремятся заработать, скопить, приобрести авто, жениться. Зачем специальность, когда можно и так заработать? Вот и мой такой же. А вообще он парень хороший. И товарищ хороший. Сюда приходил «Витязь». На второй день он уже со всей молодежью команды был на «ты». Впрочем, он тебе сам обо всем напишет».

И действительно, написал. Письмо из двадцати строк начинается так: «Не знаю «выкать» или «тыкать», но я думаю, что это большой роли не играет — так что давай «тыкать». Кончалось же словами: «К следующему разу постараюсь побольше накарять. Сердечный привет маме, всем нашим, а тебе (зачеркнуто) крепко жму руку».

Сейчас он смотрит на меня с фотокарточки и слегка улыбается. Рядом с ним молодая жена в подвенечном платье, с букетом цветов в руках. Снято в городе Перт, Западная Австралия. Бывает же такое...

В Брюсселе, когда мы вылезли из самолета после шестичасового перелета из Нью-Йорка, нас встретил приветливый, улыбающийся грузный мужчина, сразу же представившийся:

— Мамонов, Александр Васильевич.

Это был гид авиакомпании «Сабена», предложивший нам свои услуги на те два дня, которые мы должны были провести в Бельгии в ожидании самолета из Москвы.

Мне трудно найти слова, чтоб передать то внимание и ту заботу, которыми нас окружил сын бывшего русского адмирала. Больше всего ему хотелось, чтоб мы не скучали и чтоб за эти два дня как можно больше успели посмотреть. Кроме достопримечательностей Брюсселя, он показал нам музей Конго (километрах в двадцати от Брюсселя) и даже умудрился свозить в Антверпен — в город чаек, умирающих в гавани. На обратном пути из Антверпена, хотя было уже довольно поздно, он остановил автобус на каком-то перекрестке дорог и, весело подмигнув, сказал: «А что, если нам заехать в Ватерлоо?» И мы поехали в Ватерлоо. Панорама знаменитого сражения была уже закрыта, но Александр Васильевич куда-то скрылся, кому-то что-то сунул, и через минуту все двери перед нами были открыты. Панорама оказалась ниже среднего, сувениры — бюстики Наполеона — еще того ниже, самого поля сражения мы так и не увидели — полил проливной дождь, — но Александр Васильевич сиял с головы до ног: все, что можно было выжать из этого дня, он выжал.

Наутро, перед нашим отлетом в Москву, он торжественно явился со своей женой и вручил каждому из нас на память по шелковому платочку с видами Брюсселя и по крохотной золоченой статуэтке «Манекен-Пис» — знаменитой брюссельской скульптуры, поставленной в честь знаменательного события в жизни одного из наследных принцев: бедняжка долго мучился камнями в мочевом пузыре и вот наконец освободился от них. Очаровательная струйка малыша вот уже сколько лет собирает толпы любознательных туристов.

Александр Васильевич отнюдь не гид-профессионал. У него есть антикварный магазин, с него он и живет, а гидом работает только из любви к русским. «Только так я и могу вас увидеть, поездить с вами. поговорить, порасспрашивать». Узнав, что я когда-то был архитектором, пообещал прислать интересующие меня книги. Не успел я приехать домой, как из Брюсселя пришел большой пакет — великолепно изданный том работ Ле Корбюзье. А еще недели через две — другой, еще более великолепный. Разве не трогательно? Спасибо, Александр Васильевич! Может быть, вы когда-нибудь все-таки посетите свою бывшую родину — обещаю, мы постараемся отплатить вам тем же вниманием, той же заботой.

Заговорив о Мамонове, никак уже не обойдешь молчанием уважаемого нашего Тадеуша Осиповича, с которым мы не расставались целых две недели. Жили мы с ним в общем дружно, хотя ко мне лично он относился с некоторой подозрительностью, не лишеной, правда, оттенка юмора. Почему-то он считал, что у меня хитрые глаза и что вообще положиться на меня в серьезном деле нельзя. Тем не менее отношения у нас были самые дружеские.

Он появлялся каждое утро свежевыбритый, подвижный, улыбающийся, в неизменном своем галстуке бабочкой и, обходя наши столики в ресторане, говорил бодрым голосом:

— Сегодня, друзья, у нас маленькая перемена. Вместо Модерн-арт мы поедем сначала в Метрополитен-музеум, а потом...

Подымался легкий шумок: у всех были какие-то собственные планы, которые приходилось на ходу менять. Потом шла небольшая торговля о

способе транспортировки к очередному музею — кто хотел пешком, кто метро, кто автобусом, но все в конце концов утрясалось, и под похлопывание в ладоши Тадеуша Осиповича — «давайте, давайте, времени мало» — мы отправились туда, куда нам надо было отправиться.

По дороге Тадеуш Осипович давал объяснения. В основном они сводились к трем положениям: 1) старые дома разрушаются, новые строятся; 2) негритянского населения в этом городе столько-то, и сейчас оно из трущоб перебирается в благоустроенные дома и 3) всякий памятник какому-нибудь деятелю, не сидящему на коне, назывался памятником Колумбусу. В этом третьем он настолько нас убедил, что мы уже просто говорили: «Вот дойдем до того Колумбуса — и там сделаем небольшую остановочку».

Подобно Ивану Ивановичу, он не любил нарушения расписания и ненужных, лишних вопросов. Как-то мы ехали по 5-й авеню. В окно я увидел знакомые очертания какого-то здания.

— Тадеуш Осипович, что это?

Он пренебрежительно махнул рукой:

— А, это музей одного Соломона. Мало интересного...

Так мы обнаружили Музей Гуггенхайма, в который ему ужасно не хотелось нас пускать — «опять растеряемся, опять опоздаем к обеду, и вообще там мазня». К чести Тадеуша Осиповича нужно сказать, что в вопросах искусства он стоял на позициях самого ортодоксального искусствоведа нашей Академии художеств.

Расставание наше было грустно. Тадеуш Осипович вдруг обиделся. Подошел к нам, ко мне и двум моим приятелям, когда мы сидели на аэродроме Айдлуайлд в ожидании самолета в Европу, и, потеряв вдруг обычно свойственное ему чувство юмора, произнес маленькую тираду:

— Откровенно говоря, я не только огорчен, но и удивлен. Вы не первая советская группа у меня. И всегда в день расставания мне преподносят бутылку «столичной». Вы знаете, я не пью, но я люблю прийти в свою контору, показать бутылку и сказать: «Вот как отблагодарили меня мои советские туристы». Вы первая группа, которая не преподнесла мне водки. Мне очень обидно.

Сказал, круто повернулся и ушел. Потом, уже у выхода на летное поле, он, не глядя в глаза, жал всем руки и сдержанно произносил:

— Счастливого пути.

Дорогой Тадеуш Осипович! Бог его знает, встретимся ли мы когда-нибудь. Адреса вашего я не знаю, поэтому позвольте мне здесь сказать вам несколько слов. Мне очень жаль, что вы на нас обиделись. Но, честное же слово, виноваты вы сами. Не подойди вы к нам со своей горькой речью, мы б устроили вам очень трогательное прощание: мы его даже слегка срежиссировали. У меня к тому же была заготовлена книга для вас с уже написанной, на мой взгляд очень остроумной, надписью. А вы подошли и все разрушили. Зачем? Ай-ай-ай... Кроме того — пусть это только останется между нами, — ведь один из наших товарищей преподнес вам все-таки бутылку коньячку. И, кажется, неплохого коньячку, армянского, четыре звездочки, а, может, даже и КВ...

Ну, да ладно уж, что старые обиды вспоминать. Спасибо вам за компанию, Тадеуш Осипович. Привет вашей жене... А может, еще и увидимся, кто его знает. К тому времени, надеюсь, старые кварталы будут уже полностью разрушены, новые возведены, негры перейдут из трущоб в благоустроенные квартиры, а Колумбусов станет чуть поменьше: кстати, говорят, в путеводителях точно указано, где, кому и какой памятник поставлен...

* * *

Нижеприведенный разговор, оставленный мною специально под занавес, произошел на одной из окраин Нью-Йорка, где уже нет небоскребов и реклам, в районе Лексингтон-авеню и 125-й улицы, недалеко от Гарлем-ривер, в одном из небольших салунов.

Это был последний вечер в Америке. Захотелось провести его в одиночестве. Я вышел из отеля, прошел по уже начинавшему пустеть Бродвею, дошел до Грэнд-Централ-стэшэн, спустился в метро, сел в поезд и, решив проехать десять остановок, вышел на 125-й улице.

Двенадцатый час. На улице никого. Темновато. Чем-то похоже на Москву Тверских-Ямских улиц. Редкие фонари, какие-то заборы. Иду куда глаза глядят. На углу двух нешироких улиц обнаруживаю салун. В нем тоже пусто. В дальнем углу за столиком два пожилых небритых человека в синих комбинезонах пьют пиво. За стойкой, на фоне длинных полок с разноцветными бутылками, очень красивая молодая негритянка шоколадного цвета. По эту сторону стойки, облокотившись на нее, двое парней: один — постарше, в кожаной короткой курточке, другой — помоложе, негр, в очень яркой ковбойке. Все трое о чем-то негромко разговаривают. Играет музыка, что-то джазовое с синкопами.

Подхожу к стойке, кладу доллар и подымаю один палец. Не прекращая разговора, красивая негритянка наливает мне неполный высокий стакан виски. Я отношу его на пустой столик у витрины, возвращаюсь и беру еще кружку светлого пива и крохотный бутербродик с хэм-ветчиной.

Сажу за столиком, посасываю пиво, курю «беломор»: на сигареты уже денег нет, надо оставить на метро. На меня никто не обращает внимания. Двое пожилых в комбинезонах, расплатившись, ушли. Двое других все еще разговаривают. Я рассматриваю развешенные плакаты — рекламу виски «белая лошадь», мартини, кока-кола. Сажу один, на окраине Нью-Йорка, в салуне, пью виски. Если б знал Иван Иванович...

Негр прощается с красивой барменшей и уходит. Парень в курточке задержался, подсчитывает деньги. Потом берет еще кружку пива и, оглядевшись по сторонам, подсаживается к моему столику. Барменша вытирает стойку.

Подсевший — он немолод, у него седина на висках и глубокие складки возле рта — молча пьет пиво и курит. Докурив и ткнув сигарету в пепельницу, вдруг подымает глаза на меня. В них легкое удивление.

— «Беломор»? — спрашивает он, указав глазами на окурок в пепельнице.

— «Беломор», — говорю я.

Вынув пачку, шелкаю пальцем по ее донышку.

— Лейтенант Патрик Стэнли, — говорит парень в курточке. — «Летающие крепости». Стрелок-радист. Аэродром Полтава.

На столе появляются еще две кружки.

Патрик Стэнли... «Летающая крепость»... Аэродром Полтава... Так, выходит, мы с тобой вместе воевали? Ты в воздухе, я на земле. А сейчас вот сидим на окраине Нью-Йорка и пьем пиво. У вас хорошее пиво, крепкое. И холодное. Чего смеешься? Больше водку любишь? Правильно. Где научился? У нас, конечно? В госпитале? Нет, в госпитале ты научился спирт пить, медсестры приносили — сознайся, что так. Я тоже лежал в госпитале, знаю. Ты в Полтаве, я в Баку. Так-то... Вот уже и семнадцать лет прошло. А сейчас чем занимаешься? Чинишь телевизоры? Что ж, дело неплохое... Неплохое-то неплохое, но денег все-таки не хватает. Впрочем, их всегда не хватает. Миллионерам тоже не хва-

тает. А тут еще сын. Семнадцать лет, а ему уже машина нужна. За двести—триста долларов можно купить подержанную, вполне приличную, а ему, нет, обязательно новая нужна. Учиться, дурак, бросил, устроился в магазин. Зачем, говорит, учиться, когда и без ученья можно зарабатывать деньги... Забавно, я вот тоже получил от одной знакомой письмо из Австралии — ее сын теми же словами говорит: зачем учиться, когда можно работать... Да, с молодежью сейчас сложно. Впрочем, отцы всегда ругают своих детей. И то не так, и то не этак, мы были лучше. А в общем, вероятно, такими же были. Ну, ладно, давай еще по стаканчику. Нет, уж разреши я заплачу, ты все-таки гость. Вот приеду к вам, тогда ты будешь угощать, а здесь я хозяин... Да, очень хочется в Россию приехать. Вот поднакоплю немного денег и махну с женой в Полтаву. Э, нет, лучше без жены. А то встречу еще там Клаву — медсестра там была такая, Клава, — нет, один поеду, без жены. Правильно я решил? А по дороге в Киев к тебе заеду. Ты кем там работаешь? Архитектором? Что ж, неплохо. Вероятно, прилично зарабатываешь, раз сюда приехал. Самолетом туда и обратно, думаю, не дешево. Ну что, еще по одной? Не смотри на нас так, Бэтси, это последняя, сейчас уйдем. Эх, жаль, что завтра улетаешь, а то посидели бы у нас вечерок, посмотрел бы, как живет американец вроде меня. А как тебе Америка? Понравилась? Нет, только правду говори. У нас, например, газеты о вас много врут, а я не верю. А ваши? А вообще, черт, обидно. И кто ее придумал, эту холодную войну? Была горячая — дружили, началась холодная — ссоримся. Кому это нужно? Тебе? Ведь вы хорошие ребята, знаю. И мы неплохие. Чего мы не поделили? Берлин? Очень мне нужен этот Берлин. И воевать из-за него не хочу. И вообще воевать не хочу. Навоевался. И не хочу, чтоб Джим воевал. Пусть лучше уже машину покупает и катает в ней свою девушку. А парень первоклассный, честное слово. Эх, жаль все-таки, что ты завтра уезжаешь. А то пошли бы втроем куда-нибудь и — как это у вас в России говорят — погуляли бы, да? Можно, конечно, сейчас что-нибудь взять у Бэтси и пойти ко мне, жена уехала к родителям в Балтимор... Ну, ладно, ладно, знаю, тебе завтра ехать, мне тоже рано вставать. Жаль, Джима не увидишь, тебе бы он понравился. Он даже несколько русских слов знает — «спутник», «лунник», «давай-давай», «водка». Хороший парень. Нет, не пьет еще. Ну так, с товарищами там немножко. Он у меня спортсмен, хоккеист, хорошо плавает... Уходим, уходим, не сердись, Бэтси, можешь закрывать свою лавочку. Запомни только сегодняшнее число — первый раз у тебя русский был. Это не каждый день случается...

На улице уже совсем пусто. Нам не хочется расставаться, поэтому мы идем пешком до следующей станции метро, тут оно ходит всю ночь.

Эх, Патрик, Патрик. Семнадцать лет назад мы с тобой вместе воевали, ты в воздухе, я на земле, а сейчас вот вместе шагаем по гулким ночным улицам Нью-Йорка. И нам друг с другом хорошо, не хочется расставаться. А страны наши почему-то не дружат. Почему? Вот приезжай с Джимом к нам в гости, я тебе много интересного покажу. По музеям я тебя особенно водить не буду, а с хорошими ребятами познакомлю. Оторву тебя с Джимом от твоей туристской группы, и поедем мы к одному моему другу. Когда-то мы вместе лежали в Баку в одном госпитале, а сейчас он работает электросварщиком. Ты даже представить себе не можешь, как он тебе и Джиму обрадуется. И не потому, что вы американцы, а потому, что вы славные ребята. И он славный. Сразу же сдружитесь. Он немножко будет красоваться (ребята-то ребята, но все-таки американцы, не хочется в грязь лицом ударить), крутить телевизор, хвалить свою жену и дочек, хвалить меня, своих друзей, свою

работу. Потом появятся эти самые друзья, начнется беготня в гастронорм, пока он еще не закрыт, посыплется вопросы, все будут хлопать тебя и Джима по спине (а ручки, должен сказать, у друзей нелегкие), потом Джим с кем-нибудь из ребят помоложе, поставив локти на стол и сцепив ладони, начнут соревноваться в силе — «а ну, давай, давай!» — и все будут кричать, хохотать, а потом обязательно петь песни, и в третьем часу ночи мы безрезультатно будем ловить такси, и, слегка пошатываясь, думаю, что побольше, чем сейчас, побредем по ночному Киеву вот так, как бредем сейчас по Нью-Йорку, только будет нас немного побольше, и уж, наверное, кто-нибудь затянет «Хотят ли русские войны», и вы с Джимом в ответ будете кричать: «Американцы тоже не хотят!» — и будет весело и хорошо, и, так же как сейчас, не захочется расставаться...

Мы доходим до метро. Спускаемся вниз. Поезда уже ходят редко. Закуриваем по сигарете. На скамейке у автомата с жевательной резинкой кто-то спит, поджав ноги. Негр в синем комбинезоне подметает перрон. Уже второй час ночи. Бедный Иван Иванович...

Приходит поезд. «Ну, будь здоров, Патрик. Привет твоему Джиму».

Я вхожу в вагон. Трогаемся. Поезд въезжает в туннель.

* * *

Из Нью-Йорка в Брюссель мы летим всего шесть с половиной часов, напрямик, без всяких залетов в Манчестеры и Шенноны.

Скрылся Нью-Йорк со своими огнями, потом и полоска берега с огнями пореже. Принесли ужин. Потом мы опускаем ручки у сидений и ложимся спать. Выключается свет. Только в овальных плафонах тихо сияют искусственные созвездия.

Я долго не могу заснуть. От усталости, от обилия впечатлений за эти две недели, от мысли, что летишь над Атлантическим океаном. Вспомнился чудесный фильм «Путешествие на воздушном шаре». Вот так бы полетать над Америкой, Францией, над всем земным шаром. Не в космическом корабле в заоблачных высотах, а как в фильме Ламориса — с чудаковатым дедушкой и внучком на высоте пятидесяти метров, над лесами и лугами, над замками и соборами, боясь зацепиться за башни Нотр-Дама, между фабричными трубами и отвесными скалами Мон-Блана, над Ла-Маншем, над Лазурным берегом. И спуститься где-то в деревне, где празднуют свадьбу, или на крохотной площади маленького провансальского городка... А потом опять вверх, выпускающая дым из каких-то странных, как у архангела Гавриила, труб. И лететь, лететь, лететь, слегка покачиваясь в допотопной корзинке.

Лежу и думаю.

Думаю о том, что видел и чего не увидел, о громадной стране, к которой чуть-чуть только прикоснулся, о небоскребах Нью-Йорка, о Де-Метри Коринце, о сталелитейном цехе на заводе Форда в Дирборне, где мне вдруг почудилось, что я стою в цеху на «Красном Октябре» в Сталинграде (тут же вспомнилось, каким он был в сорок втором году, когда через него проходила линия фронта, — страшный, разбитый, искореженный...), о своем споре с Володей, о шести солдатах морской пехоты, водрузивших знамя на острове Иводзима, о Патрике Стэнли...

Патрик Стэнли... «Летающие крепости»... Стрелок-радиост... Как жаль, что мне не удалось с тобой встретиться, что всю эту историю с ночной поездкой, с салуном, с красивой негритяжкой, с пачкой «беломора», что все это я придумал. Не было салуна, не было негритянки, не было Патрика. Было только желание, чтоб так было. Чтоб посидели вот

так в салуне, повспоминали бы войну, выпили бы по стопочке, прошлись бы по ночным улицам. Чтоб где-то действительно существовал Джим, хороший парень, хотя он и не хочет учиться (а ведь существует, существует...), и чтоб он с отцом приехали в Киев, и мы пошли к моему другу, и пели б там песни, а потом шли по притихшему ночному Киеву мимо Голосеева, по Красноармейской, Крещатику, до Днепра и там, усевшись на кручах, встретили б восход солнца... Как хотелось бы, чтоб так было.

Погасли созвездия в овальных плафонах. Тихо прошла стюардесса по проходу, хорошенькая, в синей пилоточке:

— Летим над Парижем. Через час Брюссель.

Я выглядываю в иллюминатор. Светает. Ничего не видно; облака, сплошные облака. Над Европой, очевидно, дождь.

А через два дня Москва. Снег, морозец. И друзья. Вот они стоят, машут шапками: «С приездом!» Сейчас начнутся объятия, поцелуи. А потом вопросы. Вопросы, вопросы, сто тысяч вопросов. И на все надо будет ответить. Ох, нелегко...



АННА ЗЕГЕРС

★

СВЕТ НА ВИСЕЛИЦЕ

Карибская история из времен французской революции

1

Антуан вышел из кафе, куда часто заходил в послеобеденные часы выпить рюмочку по пути к своим ученикам. На улице, у самых дверей, его окликнули:

— Вы гражданин Антуан?

Он притворился, будто не слышит, и продолжал шагать. Но незнакомец схватил его за руку:

— Вы это или не вы?

Антуан ответил резко:

— Оставьте меня в покое! Что вам нужно?

За последние годы он научился — хотя, может быть, еще и недостаточно — избегать глупцов и простаков, шпионов и провокаторов. Незнакомец отпустил его руку, но пошел за ним.

— А я уверен, что это письмо для вас.

Лицо у него было широкое, здоровое и спокойное, взгляд привычно внимательный и острый. Антуан, умевший распознавать людей по внешности, подумал: моряк. У Антуана, собственно, не было причин не признаваться, кто он. Увидев в серых и спокойных глазах незнакомца нечто вроде упрека или, скорее, сожаления, он взял письмо.

— Давно же это, однако, написано! — воскликнул он.

— Больше двух лет, — ответил незнакомец. — Мой друг хотел лично рассказать вам обо всем. Мы встретились с ним в последний раз случайно, в лазарете на Кубе. Там он и умер. Перед смертью он только и говорил, что об этом письме. Хоть меня и обшарили с ног до головы, письма не нашли... Наш корабль шел во Флориду, но испанцы спутали все расчеты, задержав нас на Кубе. Когда я наконец освободился и хотел вернуться на Мартинику, расчеты спутали англичане: они схватили меня и отправили в Тринидад. Отпустили только этой весной, когда консул Бонапарт заключил с ними мир. Тогда я отправился на Мартинику. Оттуда — в Булонь.

— Все это хорошо, но как вы нашли меня здесь? — спросил Антуан, вертя в руках письмо. «Может быть, лучше не говорить ему, кто я, — подумал он. — Но и отрицать, что я Антуан, тоже глупо».

Ощущение, будто почва уходит из-под твоих ног, было уже знакомо Антуану. Он и сейчас почувствовал себя приговоренным, которому из милости отсрочили казнь. Желтые яблоки на уличных лотках, возле которых они стояли, мерцали в темном удушливом воздухе, как болотные огоньки. Антуану показалось, что никогда больше он не ощутит их запаха, нахлынувшего на него с пьянящей силой.

Последнее время они с женой жили тихо и неприметно в маленькой комнатке на окраине; они переехали туда после покушения на консула, когда снова начались преследования якобинцев. В самом же городе Антуан бывал лишь в дни занятий со своими учениками.

Незнакомец ответил:

— Сначала я пошел на ту улицу, которую мне назвал Галлудек. Галлудек — это мой друг. Но в доме, где находилось ваше учреждение, теперь пусто, там все перестраивают. Все-таки нашелся один человек — он живет за строительными лесами, в подвале, — который направил меня в ту школу, где вы были учителем. Но и там ответили, что вы уже у них не бываете. Какая-то уборщица мне рассказала, будто ее племянник недавно вас встретил здесь. Он извозчик, ее племянник. Я отыскал его. Оказалось, что в последнее время он вас видит частенько. Он точно описал, как вы выглядите. Сказал: у него сросшиеся брови. Посоветовал подождать у этого кафе. А мне завтра уже надо обратно в Булонь. Мой корабль называется «Адриана». Меня зовут Мальбек. Извините, забыл представиться... Какая удача, что мы сразу здесь встретились!

Сам не зная почему, Антуан вдруг почувствовал себя увереннее. Пропало ощущение висящей над ним смертельной угрозы.

Желтые яблоки блестели, уложенные в аккуратные кучки, все черенками кверху. Воздух потемнел лишь оттого, что наступили обычные ранние осенние сумерки.

«В этом человеке, — подумал Антуан, — нет ничего странного. Вероятно, все очень просто: он действительно пообещал умершему другу передать это письмо и сдержал слово. Случай — как мальчик-сиротинка: может попасть к злой мачехе, а может и в добрые, заботливые руки».

— Так вскройте же письмо, — сказал Мальбек, — оно не заразное, иначе я и сам давно бы уже заболел.

Антуан взял его под руку. Они зашли в рыночную харчевню. Там было полно. Несколько свечей бросало слабый свет, выхватывая из полумрака то чье-нибудь лицо, то угол стола. Потолок был низкий и сводчатый, как в часовне.

— Я знаю, о чем говорится в письме, — мой друг мне часто все это пересказывал. Но раз уж я ему пообещал, прочтите сами.

Антуан заказал ему немного вина.

2

«Пользуюсь случаем сообщить вам, что граждане Дебюиссон и Саспортас были арестованы, — читал Антуан. — Саспортаса сразу же судили и повесили в Кингстоне. Дебюиссон покинул Ямайку на английском судне. Он спасся ценой признания».

— Вы обоих хорошо знали? — спросил Мальбек.

Антуан хотел было сказать «почти не знал», но, поняв, как будет разочарован этот человек, с таким трудом доставивший ему письмо, ответил:

— С казненным я был знаком довольно давно.

— Я плывал однажды с ним на корабле, — начал было рассказывать Мальбек, но Антуан перебил его:

— Пейте на здоровье. Мне надо идти. Вот записка к моей жене. Я живу за церковью святого Евстафия, на заднем дворе, рядом с зеленым домом. Подождите меня там.

Он потратил немало времени на разговор с Мальбеком и на чтение письма — к ученикам пришлось чуть не бежать. Пришел он на урок совсем запыхавшись. К счастью, все ученики жили вместе и были из одной семьи: отец, сыновья, зятья. Он учил их английскому языку, право-

писанию, совершенствовал стиль. Занимая уже солидные посты, они надеялись вскоре подняться еще выше. Антуана они выжимали, как губку, но как-никак это семейство и еще несколько учеников кормили его с женой. В начале нового столетия им уже не приходилось голодать.

Учителем Антуан стал еще до революции. Его отец служил писцом у управляющего поместьем графа Савенэ. Антуана обучал священник. Потом, по его рекомендации, старый граф послал Антуана учиться — мальчик нравился ему своим прилежанием, приятной внешностью и сообразительностью. Антуан стал домашним учителем в графском замке. По вечерам и поздно ночью, когда его воспитанники спали, он, по желанию господина Савенэ, который намерен был сделать его своим секретарем, изучал английский язык. Антуану не исполнилось еще и двадцати лет, но он был уже измучен бессонными ночами и страхом, что его, если он не исполнит желания графа, отправят в контору помогать отцу или, еще того хуже, в поле работать с крестьянами.

Когда вспыхнула революция, семья Савенэ решила уехать в Англию, к невестке, в ее поместье, ни на секунду не сомневаясь, что с ними поедет и домашний учитель. Но Антуан рассмеялся им в лицо — смеялись и слуги, когда им приказано было схватить ослушника.

Антуан отправился в Париж, добираясь туда то пешком, то на крестьянских телегах. С каждым часом людской поток становился все гуще. Антуан прислушивался, о чем говорят в деревнях, провинциальных городках, на перекрестках. Когда же он прибыл в Париж, стали слушать и его. Вскоре он уже не знал, он ли появлялся там, где собиралась толпа, или собиралась толпа там, где появлялся он.

О себе Антуан не думал. Но как-то вечером в толпе, стекавшей к Новому мосту, он заметил женское личико. Оно тут же затерялось в людской толчее. Он отыскал его и протиснулся как можно ближе, чтобы, не дай бог, не потерять его снова. Девушку звали Моникой. Они почти всегда были голодны и всегда счастливы.

Возвращаясь сейчас домой, к церкви святого Евстафия, возле которой они жили, Антуан вспоминал тот вечер. «Для нас было счастьем быть вместе,—думал Антуан.—Что бы ни происходило вокруг. Счастьем было вместе идти по улице, вместе шагать с манифестацией, вместе слушать песни и крики, быть вместе, когда под окном раздается цокот копыт, вместе получать известия о победе и внимать слухам о поражении, вместе встречать горе и смерть. Мы были готовы ко всему. Знали: еще будет много трудного. Но многое уже исполнилось: наконец-то я очутился в городе, на свободе, графы Савенэ бежали, их замок взяли штурмом, землю поделили...»

Во времена Конвента кто-то помог Антуану получить работу писца у одного важного чиновника по фамилии Буве. Тот устроил его в управление вест-индских островов. После термидорианского переворота и казни Робеспьера Буве пришлось скрыться: все знали, что он был школьным товарищем Робеспьера. Об Антуане же не знали ничего. Он остался на прежней должности. Оставался он на ней и при Директории.

Правда, стали было поговаривать, что Антуана видели однажды вместе с Буве в квартире Робеспьера и что он посещал с женой Клуб якобинцев. Однако новый начальник Антуана Сервэн взял его под защиту и даже отправил его работать на свою виллу, когда толки такого рода стали особенно опасны. После 18 брюмера тот же Сервэн посоветовал ему поскорее скрыться: Антуан ненавидел консула и не скрывал этого, а сдержанный, язвительный Сервэн, который раньше высмеивал каждое новое правительство, вдруг стал восторженным сторонником Бонапарта.

«Диву даешься,— думал теперь Антуан, идя домой,— от чего могут вдруг прийти в восторг такие сдержанные и насмешливые люди. Мы еще были в прекрасных отношениях, когда к нам зашли те двое, о которых говорится в письме — Саспортас и Дебюиссон. Когда же это было? В начале девяносто восьмого? Или немного раньше? И почему они пришли к нам? Ах, да! Директория отправляла тогда на Антильские острова новых комиссаров. С войсками, со штатом служащих. Мы готовили им документы. Потому-то и пришли в наше бюро Дебюиссон и Саспортас.

Я сказал тогда Сервэну, что знаю Саспортаса. В одной из вечерних школ, учрежденных Конвентом, он был моим учеником и сам одновременно преподавал в другой вечерней школе. Это был еще совсем молодой, смысленный и остроумный паренек, кажется из испанских евреев. Хотел стать врачом, но вдруг прекратил занятия, вступил в нашу армию. Я потерял его из виду и позабыл о нем. И вот он явился к нам вместе с Дебюиссоном. Тот был врачом и взял его помощником. Они поехали в свите комиссара, назначенного на Гаити. Этот комиссар Эдувилль был человек известный — он нанес решительное поражение Вандее. Мы подумали: таким всегда поручают только трудные дела. Видно, на Антильских островах неспокойно».

Как ни устал Антуан, его ум бодрствовал. Тонули в тумане мрачные переулки, по которым он шел, воспоминания же его становились все более отчетливыми и ясными.

...Пока те двое ждали оформления своих документов, подвергавшихся проверке, регистрации, заверению печатью и всему прочему, что только можно проделать с бумагами,— гражданин Сервэн рассказывал гражданину Антуану о том, что ему известно о Дебюиссоне. Он служил в английской армии военным врачом. Юность провел на Ямайке. Когда англичане пытались захватить французский остров Гваделупу, он перебежал, точнее сказать,— вернулся к французам, ибо по рождению был наполовину француз. Антуан думал тогда, что Дебюиссон едет врачом при важных чиновниках.

Саспортас говорил горячо, как в старые времена в вечерней школе, когда он бывал чем-то взволнован. С увлечением молодости он убеждал Антуана, как будто тот сам этого не понимал, что всегда мечтал попасть на Антильские острова потому, что освобождение негров имеет огромное значение для Франции и может сразу же изменить положение во всем западном мире.

«Этому малому,— подумал тогда Антуан,— и в самом деле повезло. Дебюиссон берет его с собой на Гаити, богатейший из наших островов, и правит там Туссен Лувертюр, о котором везде только и говорят».

Ему было понятно желание Саспортаса увидеть своими глазами негритянскую республику, недавно созданную Туссенем, а может быть, и самого Туссена... Конечно же, Туссен — незаурядная личность, не только самый умный негр, но и один из тех необыкновенных талантов, которые возрастают лишь на плодородной почве революции, щедро рождающей замечательных людей.

Они ушли, и Антуан больше о них не вспоминал — ни о Дебюиссоне, ни о Саспортасе. И никогда он о них больше ничего не слышал. Молодого Саспортаса он вторично позабыл — ни секунды о нем больше не думал. Да и зачем бы ему было о нем вспоминать? О чем думать? Что Саспортас когда-нибудь вернется во Францию? Объявится в Париже? Или в каком-нибудь другом городе? Что он, быть может, умер на Гаити от ран или желтой лихорадки?.. Но он не подумал о нем даже тогда, когда Бонапарт послал на этот несчастный остров свою карательную экспедицию на восьмидесяти кораблях.

И даже сейчас ему прежде всего пришло на ум, что Саспортас и Дебюиссон были лишь двумя людьми из бесчисленного множества, промелькнувших перед ним за последние годы, а тогда они были двумя среди сотен, входивших в двери его учреждения.

В памяти тоже есть словно бы горизонт, за которым исчезают люди, переступившие его черту, как исчезают уходящие корабли между морем и небом... Но Антуан вспомнил теперь, как будто это произошло совсем недавно, что Дебюиссон, уходя, положил руку на плечо своего юного спутника. Саспортас ответил ему взглядом, полным доверия.

«Я почувствовал тогда,—вспоминал Антуан,—даже какую-то ревность, замегив улыбку Саспортаса и его взгляд. Чувство это, правда, быстро исчезло — оно было просто глупым. Ведь одного из них я знал очень мало, другого совсем не знал. Но почему юноша так доверял этому человеку? Чем тот сумел его так привлечь к себе? Я забыл, однако, обоих, как только за ними закрылась дверь...»

Лишь сегодня вечером благодаря письму, доставленному Мальбеком, они всплыли на горизонте памяти Антуана, как всплывают возвращающиеся к родным берегам корабли. И сейчас, в сырой осенней ночи, они подходили все ближе и ближе. Антуан видел их так же ясно и отчетливо, как тогда, в минуту прощания. Он даже снова почувствовал ревность, вспомнив доверчивый взгляд, который юноша бросил на своего товарища. «Вот ты и ошибся»,— с горечью подумал Антуан.

Идя по мосту, он нашупал в кармане письмо. На какое-то мгновение задумался: а не лучше ли бросить его в Сену? Но ему вдруг стало совестно. Он подумал: «Покойный друг этого Мальбека — как его звали? Галлудек? — был прав. Такое письмо — большая ценность, хотя оно и адресовано учреждению, которое давно уже не существует, и человеку, который давно уже перестал быть должностным лицом. Это письмо — правдивое свидетельство о случившемся. Можно легко забыть этого молодого человека, как чуть не забыл его я. А скольких уже позабыли. Менее достойным ставят памятники. От него остался лишь клочок бумаги».

3

При свете свечей по лицу Моника, его жены, нельзя было заметить, что с того самого дня, как он ее увидел и побежал за ней, прошло тринадцать совместно прожитых лет. Он удивился, заметив, что Моника пришла к своему серому шелковому, немного поношенному платью кружевной воротник. На ногах у нее были туфли из того же шелка, что и платье; эти туфли и кружева давно уже лежали в сундуке вместе с другими редко употребляемыми вещами. Две новые витые восковые свечи горели в начищенных до блеска подсвечниках. Увидев вино и хлеб, белую скатерть, почувствовав запах жаркого, Антуан понял, что все это устроено ради необычного гостя.

Мальбек сидел в темном углу. Вытянув ноги, он равнодушно смотрел на хлопчущую женщину, на ее большую тень, как он смотрел, наверно, всякий раз, когда корабль прибывал в порт, на суету, поднимающуюся на набережной.

Он придвинулся к столу и сел рядом с Антуаном. Моника принесла ужин. У нее было весело на душе с той минуты, как появился Мальбек с запиской от мужа. Посетители у них стали редкими, а вынужденное одиночество она переносила тяжелее, чем тревоги и облавы. Она спросила Мальбека, нравится ли ему еда.

— Спасибо,— ответил он,— очень вкусно.— И, помолчав, добавил:— У вас здесь, кажется, есть все.

— Не каждый день,— заметил Антуан.

Мальбек сказал:

— Похоже, в городе нет ни в чем недостатка. Магазины и рынки полны всем, чего ни пожелаешь. Стоит взглянуть на парижан, сразу видно, как они рады, что кончилась война и блокада. Сами они войны не чувствуют, вот и думают, что ее вообще нет.

Моника ждала, что скажет на это Антуан, но он молчал. Она налила еще вина. Вдруг Мальбек заговорил снова, негромко, но яростно:

— Там, откуда я прибыл, все в дыму, в пожарах. Льется кровь. Лучшие из нас погибли. Солдаты, пережившие Вальми и Флери, немало удивились, когда негры, которых считали грубой и тупой скотиной, встретили их «Марсельезой». Если консул после стольких лет заключил с Англией мир, то вы, может быть, думаете, что никаких войн больше нет? Он заключил мир, потому что англичане ему теперь нужны. Они не должны ему мешать, пока он не расправится с Гаити. Да они и не собираются ему мешать там.

Он повел плечом, будто остров, о котором он говорил, был у него за спиной.

— Они ему только благодарны,— продолжал он,— эти англичане, за то, что он громит негритянскую республику. Говорят, что Бонапарт ненавидит негров. Может, и так, почему я знаю? Знаю только, что они ему нужны. Ему нужны рабы в колониях.

Мальбек отвернулся от Антуана, который слушал его в каком-то тоскливом оцепенении.

— Вы понимаете, гражданин? Понимаете, почему они повесили Саспортаса?

— А кто такой Саспортас? — спросила Моника.

Только сейчас она как следует разглядела гостя, для которого все так старательно приготовила. Его спокойные серые глаза, которые, видно, редко загорались, были подернуты сейчас пеленой печали, навеянной воспоминаниями.

— Так звали молодого человека, которого казнили на Ямайке англичане. Когда он попытался сделать их рабов свободными, как тогда у нас на Гаити. Они тряслись от страха, эти англичане, когда в Карибском море появились первые корабли с трехцветным флагом.— Он снова повел плечом в ту же сторону, словно там находилось Карибское море.— Вскоре вся Ямайка наводнилась эмигрантами. Каким-то образом они пробирались на английский остров. По воде не проедешь в дилижансе, как в Кобленц, но они предпочли бы пуститься вплавь среди акул, лишь бы не оставаться на Гаити, где негры стали свободными. Англичане день и ночь выслеживали французских агентов. В страхе перед нашей революцией они то и дело поднимали ложную тревогу. Наконец поймали двух настоящих республиканцев. Впрочем, потом выяснилось, что только один был настоящим. Ваш консул здесь, в Париже, уже зажал республику в кулак, когда они поймали их там. В конце девяносто девятого года...— Мальбек вдруг обратился к Антуану:— Я вам уже объяснял, почему это письмо шло так долго. Ну, да ничего. Ведь это не любовное послание, невеста не постарела, а мертвый навсегда останется молодым... Хорошо хоть Саспортас так и не узнает, что Туссена бросили в тюрьму, что Гаити выжгли, что Бонапарт отменил эдикт об освобождении. Этого ему уже никогда не узнать. А оставшийся в живых Дебюиссон, тот, конечно, занимает теперь какой-нибудь очень важный пост, ведь он отлично умеет предавать. Саспортаса сожрали рыбы. Да, Антуан, не коршуны, а рыбы. Так принято на Ямайке поступать с повешенными. Виселица установлена в Порт-Ройале на утесе. Едва успев отправить кого-то на тот свет, веревку перерезают и тело падает

в море. Кровь стынет в жилах, когда видишь такое зрелище. Но я бы не испугался, нет! Я бы сказал себе: раз человек мертв, то все уже позади. А если бы мне пришлось умереть там, то я бы сказал: это были земные ужасы, теперь все кончено.

— Вы видели его казнь? — спросил Антуан.

— Я? Откуда? — удивился Мальбек. — Разве я вам не говорил, что обо всем этом рассказал мне мой друг Галлудек? Он умер на моих глазах на Кубе. Я еще в своем первом плавании был вместе с ним. Потом мы плавали вместе на эскортном корабле, сопровождавшем комиссара на Кубу. Какое счастье, что в конце концов мы встретились на Кубе, в той конюшне, где нас обоих заперли! Он мне все рассказал. Чувствовал, что не вернется домой. Понадеялся на меня.

Мальбек осушил свой стакан. Хотел налить себе еще, но отвел руку от бутылки и, вытащив кошелек, сказал Монике:

— Принесите нам еще, гражданинка.

Моника сердито покачала головой. Она отстранила кошелек и выбежала из комнаты. Вернулась торопливая, похожая на боязливую ночную бабочку с мягкими серыми крыльями, словно неодолимая сила влекла ее на огонь свечей, к мужчинам, сидевшим за столом.

Антуан наполнил стаканы. Мальбек продолжал свой рассказ с того места, на котором остановил его в харчевне Антуан.

4

...Он отплыл из Бреста на одном корабле вместе с Дебюиссоном и Саспортасом зимой 1798/99 года. Время отплытия было выбрано с тем расчетом, чтобы избежать весенних бурь, которые очень рано начинаются в Бискайском заливе. Кроме того, надо было избегать и встречи с англичанами, с которыми Франция уже шесть лет была в войне. Весь экипаж, от капитана до юнги, на каждом эскортном судне был готов сделать все возможное, чтобы своевременно прийти на Гаити. Суровые холода и те были им в пользу: они примерзли бы к снастям, если бы не работали как одержимые. Как и предсказывали некоторые матросы, не раз совершавшие за последние годы такие путешествия, холода кончились чуть ли не за одну ночь. Слово по заказу подул попутный ветер. Они быстро доплыли до Азорских островов, пополнили запасы питьевой воды, закупили продовольствие, произвели ремонт — и все это как бы на лету, в радостной спешке, наслаждаясь обилием тепла и света. Ветер насыщен был запахом апельсинов. Матросы говорили, что это лишь предвкушение того, что ждет их на Антильских островах.

Жители толпились в гавани и с удивлением глазели на незнакомые трехцветные флаги. Саспортас и Дебюиссон, окруженные матросами, и несколько людей с «Виктории» стояли, ожидая отплытия. К ним присоединился Мальбек. Пришел также Галлудек с «Франсуазы Марии» и несколько матросов из их команды. Тогда Мальбек еще не знал, что у Галлудека были какие-то дела с Дебюиссоном. За два дня до отплытия из Бреста Мальбек встретил Галлудека в одном из кабачков. Он подружился с ним еще несколько лет тому назад, во время своего первого плавания, и теперь, в кабачке, они выпили за дружбу.

Молодой Саспортас, понимавший по-португальски, переводил то, что говорилось вокруг них. «Во Франции все теперь равны, — заявляли одни, — вот видишь, даже здесь офицеры смешались с матросами, капитаны обмениваются шутками с командой». Другие утверждали, что в этой стране забыли бога и веру и что нужно держать своих детей подальше от приезжих нечестивцев. Детям они внушали, что на каждом из кораблей

есть складная гильотина, такая же, как та, которой французы обезглавили в Париже своего короля.

Матросы смеялись. Но Галлудек сказал, что даже Туссен, человек более разумный, чем многие белые, и тот перебрался в испанскую часть Гаити, когда в Париже казнили короля. Он тогда еще верил, что цари угодны богу — ведь один из трех царей, пришедших поклониться новорожденному Христу, был негром.

Матросам с «Виктории» захотелось узнать побольше о прошедших временах — так они называли то, что было лет шесть-семь назад, — и они пригласили к себе Галлудека. Ведь он был тогда на Гаити вместе с комиссаром, руководившим освобождением рабов.

В ту же ночь Галлудек отправился на лодке с «Франсуазы Марии» на «Викторию». Среди столпившихся слушателей было и несколько офицеров, не участвовавших в тех событиях.

Стоя плечом к плечу с Дебюиссоном, Саспортас весь превратился в слух. Мальбек слушал спокойно и равнодушно, будто то, о чем шла речь, его нисколько не касалось. События, о которых рассказывал Галлудек, как тени проплывали перед глазами Мальбека. А его друг говорил, как всегда, с трудом сдерживая волнение, глаза его сверкали.

— Рабы негры на Гаити, — рассказывал Галлудек, — хорошо знали, что происходило во Франции. Прислуживая за столом, они слышали, о чем говорили их господа: о манифестациях, о походе на Версаль, о штурме Бастилии, о решениях Национального собрания. И вот в августе тысяча семьсот девяносто первого года, как будто бы совсем неожиданно, все сто тысяч негров на Гаити взбунтовались: более двухсот сахарных, шестьсот кофейных, двести хлопковых и других плантаций были охвачены восстанием. Восставшие шли от фермы к ферме. Горел сахарный тростник, полыхали господские усадьбы. Весь остров пылал — от джунглей до городов. Долгое время казалось, что лучший, самый ценный остров потерян для Франции если не из-за пожаров, то из-за англичан, которые со дня на день могли напасть и захватить его.

Конвент послал на Гаити в сопровождении военного отряда трех комиссаров — один из них был Сонтонакс, — надежных и решительных людей, наделенных особыми полномочиями.

Корабли старых великих империй, Англии и Испании, ненавидевших молодую республику, бороздили океан от Бискайи до Вест-Индии, выслеживая их. Но комиссары прибыли на место.

— Я был с ними! — воскликнул Галлудек.

Глаза слушателей засветились необычным блеском — то был отблеск огня во взоре Галлудека: этот человек сам был там!

— Комиссары везли с собой диктаторские полномочия. Но кто мог помочь им водрузить трехцветное знамя на этом острове и защитить его? Разумеется, не помещики — они нас ненавидели. Если не все они сбежали, то лишь потому, что рассчитывали на скорые перемены, на приход англичан. И, конечно, помочь могла не многочисленная «белая мелкота» — торговцы, ремесленники, чиновники. Ведь они и за страх и за совесть служили своим клиентам — богачам. И не мулаты. Богатые и бедные, они одинаково ненавидели новые порядки, которые не давали им больших прав, чем неграм. А ведь они всю жизнь — может быть, даже на протяжении жизни целых поколений — стремились к тому, чтобы их отличали от негров. Комиссар Сонтонакс понял, что, кроме негров, у него нет других союзников. Но захотят ли они ему помочь? Ведь они не доверяли белым, не верили их речам о свободе. И хотя именно белые начали революцию, все равно негры, вероятно, думали, что это только революция белых, выгодная лишь белым, что она даст свободу и равенство

одним лишь белым. Туссена в то время почти не знали. Правда, не совсем так: Сонтонакс уже слышал, что этот негр — единственный человек, сумевший в безнадежном хаосе окружить себя твердыми сторонниками, притом солдатами, а не бандитами. Они не бродили по стране, не занимались грабежами. Они любили Туссена и повиновались ему. Но Туссен и его солдаты находились на испанской части острова. Сам Туссен тоже был когда-то рабом, прислуживающим по дому, затем кучером; перед началом восстания он отвез в город жену своего господина, а сам примкнул к восставшим. Потом он перешел к испанцам, почему — я вам уже рассказывал сегодня утром на берегу. Мы видели огни его лагеря по ту сторону демаркационной линии, а он видел наши огни. Мы направили ему послание. Туссен явился сам, чтобы поговорить с комиссаром. Они сидели вдвоем, потягивали вино; я подошел к ним как можно ближе. Они были серьезны, даже не улыбнулись ни разу. Говорили лишь о самом важном. Комиссар Сонтонакс обещал неграм права французских граждан. Сонтонакс действительно провозгласил освобождение негров. Конечно, он был наделен чрезвычайными полномочиями. Конечно, Туссен ему верил. Но оба они несли за все ответственность, обоим нужно было проявить решительность. А это было нелегко. Я говорю даже не о трудности поездки из Гаити во Францию. Надо было утвердить эдикт в Конvente, а после утверждения вернуться обратно...

Собравшиеся слушали Галлудека с увлечением, все как будто позабыли, что их плавание не менее опасно. Ведь англичане нападали на Гаити с Ямайки, и им предстояло прорвать английскую блокаду, чтобы добраться до цели.

— Когда я покидал Гаити, — продолжал Галлудек, — города были обращены там в груды пепла. Когда же через несколько лет я вернулся, города снова красовались во всем своем великолепии, с садами и фонтанами. В доках жизнь была ключом. Склады ломились от товаров. Даже из Америки приходили сюда торговые корабли. Все плантации были тщательно обработаны неграми, которые уже не были рабами. Все это сделал Туссен. Он был вождем. Он был судьей. Он издавал законы. Мундир французского генерала он носил с достоинством. Но часто, как это принято у его черных соотечественников, повязывал голову, иногда даже поверх парика, платком. Может быть, вы его скоро увидите. У него и черные и белые чувствуют себя счастливыми, у него все счастливы...

В эту ночь Галлудек остался на «Виктории». Он нес вахту и отдыхал вместе с Мальбеком. Мальбек все удивлялся, как сумел его друг так многому научиться за это время и так много узнать. И мог говорить не хуже комиссара.

Галлудек сказал ему на это: надо ведь объяснить другим то, что знаешь сам. Кто еще не побывал на Гаити, должен знать, что там происходит. Он сам побывал там уже дважды: в первом году правления Конвента — об этом он уже рассказывал — и еще через полтора года, на одном корабле с Дебюиссоном, который теперь тоже здесь, на «Виктории».

Он спросил Мальбека, что тот думает о Саспортасе, которого везет с собой Дебюиссон.

— Саспортас? — переспросил Мальбек. — Я о нем еще не думал. По моему, веселый малый. Нравится женщинам. Кажется, у него даже произошла из-за них какая-то ссора в Бресте, перед отплытием.

Галлудек сказал:

— Дебюиссон подружился с ним в бельгийском госпитале.

— Видимо, он с юга, — заметил Мальбек, — фамилия у него испан-

ская. Может быть, испанский еврей. Мы все к нему хорошо относимся. Он может вправить руку, если ты ее вывихнул, может чинить кости...

— Это он обязан уметь. За этим Дебюиссон и взял его с собой,— сказал Галлудек.

Слова эти прозвучали так решительно и серьезно, что Мальбек невольно улыбнулся.

Галлудек не раз рассказывал ему о Дебюиссоне. Мать Дебюиссона унаследовала там поместье. После смерти родителей у Дебюиссона никого не осталось, кроме полоумного деда, довольно противного старика. Тот спровадил мальчика подальше, а сам стал распоряжаться наследством, постепенно прикармливая его.

Много позднее, вспоминая об этом, Мальбек был почти уверен, что на «Виктории» его друг впервые упомянул о деде Дебюиссона. Мальбек не помнил хорошенько, говорил ли уже тогда Галлудек, что этого полоумного деда называли «доктором», «сумасшедшим ромовым доктором», что он славился на Ямайке своим особым методом очистки рома, зарабатывал кучу денег на роме, лечил своим ромом. Дед хотел, чтобы и внук его стал тоже врачом.

Виктор Дебюиссон участвовал в боях за французский остров Гваделупу. Он перешел на сторону французов при первой же возможности.

— Он не стал дожидаться,— рассказывал Галлудек,— удастся ли республиканцам прогнать англичан. Он увидел наш трехцветный флаг и понял, где его место. Потом он стал военным врачом в нашей армии. Он не только врач. Он человек образованный и очень нам полезен. В Париже он посещал со своим новым другом Жаном Саспортасом «Общество друзей чернокожих» и Клуб мулатов. Он прекрасно разобрался в тех вопросах, которые там обсуждались. Оба они — и тот, что постарше, и тот, что помоложе,— научились всем языкам, на которых говорят на Антильских островах. Виктор Дебюиссон с детских лет хорошо знает негров рабов. И что такое свобода, которую мы принесли на Гваделупу, он тоже знает из личного опыта.

5

Трехмачтовый корабль шел от Антильских островов на восток. Сначала он уклонялся от встречи с конвойными кораблями и на час пропал из виду, а потом разглядел их трехцветные флаги. Они отсалютовали друг другу. Подаваемые зеркалом сигналы засверкали в лучах утреннего солнца. Французский трехмачтовый сообщал: «Туссен одержал победу, англичане покидают Гаити».

Галлудек сказал тогда Мальбеку:

— До сих пор я боялся, что нам понадобится слишком много времени, чтобы пройти сквозь блокаду. Теперь я боюсь, что англичане уйдут прежде, чем мы придем.

— Почему же ты этого боишься? — спросил Мальбек.

Галлудек объяснил ему, что Дебюиссон хочет во что бы то ни стало вернуться на Ямайку. Он считает, что лучше всего было бы уехать с Гаити вместе с англичанами. Он мог бы скрыть от них свой переход на сторону республики, а свое исчезновение объяснить тем, что его будто бы захватили в плен.

— А ты? — спросил Мальбек. — Какое тебе до всего этого дело?

Галлудек не бы гордости сообщил ему, что он не случайно оказался сейчас на «Виктории». Ему поручено сопровождать Дебюиссона. У него есть знакомства в Кингстоне, в Гаване и других портовых городах — ведь он моряк! — и его обязанностью будет докладывать Парижу о выполнении их миссии.

— Саспортаса Дебюиссон взял к себе в помощники, — сказал он. — Когда мы трое завершим первый этап нашего дела, ты кое-что о нас услышишь. Ведь то, что мы задумали, не удержишь долто в тайне ни от тебя, ни от кого другого.

Мальбек был уверен, что он и без расспросов всегда будет знать обо всем, заслуживающем внимания, будь это тайна или что-то такое, о чем болтают на улицах и в кабаках. Многие охотно вступали с ним в разговор и были откровенны, хотя сам Мальбек был не из разговорчивых. Скорее даже молчаливый. «О чем мне рассказывать? — думал он. — Ничего особенного я не пережил, и ничего важного я не жду впереди». Он гордился своим другом, на которого «возложена миссия»...

Глаза истосковались по зелени. Первые крошечные островки походили на выступающие над водой кроны деревьев, корни которых вросли в морское дно. Некоторые были заселены птицами. Затем мимо кораблей начали проплывать кусочки суши с хижинами и полями, как будто прорвавшиеся через цепь островов, отделявших Мексиканский залив от Атлантического океана.

Если англичане еще оставались на северо-западе Гаити, отряду пришлось бы высаживаться на южном побережье, чтобы пробиться к Порт-о-Пренсу, который теперь назывался Пор-Републикэн. Но никто не думал пока о трудностях, которые, возможно, ожидают их завтра. Не думал никто и о том, что принесет им уже наступающий день. Глядя на восходящее солнце, люди испытывали беззаботное чувство, свойственное обычно лишь детям, как будто все могло оставаться таким, как в это мгновение. Скоро станет невыносимо жарко — но ведь сейчас еще прохладно, веет ветерок. Скоро солнце будет слепить глаза — но ведь сейчас все вокруг превратилось в чистый пурпур, им окрашено море и небо, паруса и люди, и ничто, казалось, не могло омрачить эту картину. Моряки и солдаты, перебраниваясь и смеясь, вылезали на палубу; голые и полуголые, они тащили кадки, наполняли их водой и обливались. Сверкали пурпурные брызги, и пурпурными казались капли в их бородах и на теле. Вдруг все притихло, будто заметили какие-то перемены в знакомом им мире, затаили дыхание: из воды, играя, выпрыгивали дельфины.

Жан Саспортас, забравшись в кадку, казался мальчиком рядом со своим волосатым широкоплечим другом. Вокруг матросы говорили о том, что на Мартинике им, быть может, позволят съехать на берег, а берег — это женщины. Вдруг все они накинулись на Саспортаса с расспросами и шутками — может быть, потому, что он был самым молодым, а может быть, и потому, что в нем было что-то такое, чего матросы не понимали. Саспортас не лез за словом в карман и отвечал быстро и дерзко. Он никогда не смущался. Только самому себе он мог бы со стыдом признаться, что его любовный опыт совсем не велик. Приключения у него обычно начинались удачно, но почему-то всегда мешала какая-нибудь случайность, и все заканчивалось безрезультатно. Он смеялся, обнажая свои крепкие зубы, но лицо его омрачилось.

Окружающий мир уже утратил пурпурную окраску. Все стало синим, и синева эта была мучительной. Солнце палило немилосердно. Люди изнемогали от зноя. Какой-то грузенный лесом корабль зашел в бухту и тут же, возвращаясь, проплыл мимо. Он не пришвартовывался к берегу, а начал выгружаться прямо в море. Десяток негров, держа в зубах канаты, плавали в бухте и связывали бревна в плоты.

Жан Саспортас следил за одним негром, поплывшим за бревном, далеко унесенным волнами. Тело у него было гибким и блестящим, как у рыбы. Повернув голову, он смотрел на флаг «Виктории». Улыбался ли

он? Жан не мог определить, что в его взгляде: тупое равнодушие или любопытство.

Жан вспомнил, как еще мальчишкой он стоял на галерее во время заседаний Конвента. Внизу, в зале, перед трибунами появилась делегация негров. Их руководитель, опоясанный трехцветным флагом, благодарил республику за предоставленные им гражданские права. В зале вспыхнули овации, будто сидевшие в нем были опьянены своим собственным великодушием. Раздавались восторженные крики, люди хлопали до боли в ладонях.

Теперь Дебюиссон и Саспортас, стоя рядом, смотрели на воду.

— Видит ли нас этот негр? — спросил Жан Саспортас. — Понял ли он, кто мы такие?

— Если еще не понял, то поймет. Для этого мы сюда и прибыли.

— Негры с Мартиники должны понимать, ведь отсюда недалеко до Гаити.

— Не так уж и близко, — сказал Дебюиссон. — Негры здесь еще недостаточно сильны, чтобы добиваться эдикта о свободе. Фермеры Мартиники отвергли этот эдикт. Поэтому Туссен и говорит, что на Ямайке еще не настало время для перемен, что еще слишком много дел у себя дома. Может быть, он хочет оторвать Гаити от Франции — ведь он отделялся поочередно от всех комиссаров. Вот увидишь, он еще отправит домой и Эдуилля, этого ловкого гражданина графа, которого мы везем сейчас к нему.

Саспортас молча слушал его, но скоро он забыл о своих раздумьях.

Прибыв в Пор-Републикэн, он своими глазами увидел то, ради чего сюда приехал. «Вот, значит, какое задание нам дали», — думал он. Все остальное по сравнению с этим казалось ему безразличным, несущественным и пустым.

Был один из апрельских дней. На главной улице толпились негры — жители города и окрестностей. Они пришли с женами и детьми. С уходом английских войск они стали свободными. На Жана Саспортаса никто не обращал внимания. В толпе, состоящей из черных и мулатов, изредка мелькали белые лица.

От собора двигалось шествие. Впереди несли крест, за ним шел хор мальчишек — черные лица и белые рубашки. Когда священнослужители, выйдя из храма, стали опускаться по ступеням, к ним подбегали на лошадах сыновья именитых горожан и фермеров. Вдоль улицы выстроились в ряд экипажи с женами и дочерьми — черными, коричневыми и белыми. Поднимая облака раскаленной пыли, прискакали офицеры. Туссена увидели лишь тогда, когда он слез с коня и опустился на колени перед крестом. Он был в генеральской форме, на голове — желтый платок. Туссен решительно пресек попытку нескольких горожан раскинуть над ним балдахин. Что он при этом сказал, расслышать было нельзя, хотя вся толпа затаила дыхание. Туссен сел на коня. Его взгляд медленно скользил по лицам людей разного цвета и оттенков кожи, которые стали наконец единым гражданским обществом. Жану показалось, что Туссен заметил его, но то же думали о себе многие.

Дебюиссон в это время сидел в одном из городских учреждений. Ему не советовали появляться на улице. Его план выдать себя за вернувшегося военнопленного был одобрен. Французский офицер Лекруа и английский офицер Гэлди производили обмен пленными. В освобожденных Туссеном районах оставалось немало белых, пожелавших уехать с англичанами. Этим запоздалым эмигрантам казалось невыносимым жить на равных правах со своими бывшими рабами. С Ямайки они надеялись попасть в Лондон. Англичане охотно отпускали пленных французов,

потому что Туссен освобождал англичан. Дебюиссон использовал эту возможность. Он прибыл как раз вовремя.

Дебюиссон провел весь вечер с Галлудеком и Саспортасом за обсуждением нестложных дел. Он мог взять их обоих с собой — одного как врача, другого как своего слугу. На Ямайке в различных местностях уже были люди, которые ждали их приезда. Установить с ними связь было первой задачей.

— Нелегкая задача, — сказал Дебюиссон, — имейте это в виду.

Он в упор посмотрел на Жана, словно желая узнать, понимает ли этот молодой человек, что его ждет. Жан выдержал взгляд и ничего не сказал.

В ту же ночь Галлудек еще раз навестил Мальбека. Он сообщил ему, что у них все уже готово. Расцеловался с ним и сказал:

— Бог знает, когда мы теперь свидимся.

Галлудек сильно волочил ногу.

— Теперь я буду раненый, — пояснил он, — я не могу быть матросом. Это для того, чтобы англичане не вздумали послать меня на какой-нибудь свой корабль.

Когда лейтенант Гэлди увидел Дебюиссона, он радостно воскликнул:

— Виктор! Да ты ли это?

Они были друзьями детства, вместе ходили в школу. Дебюиссона и двух его спутников он отправил на одном из первых кораблей, на котором возвращался на Ямайку сам.

Он был гораздо меньше огорчен понесенным поражением, чем изумлен победой чернокожего генерала. Довольно равнодушно, без тени недоверия, он выслушал рассказ Виктора о том, как его шлюпку, в которой находились раненые, захватил французский пират Гюг, как потом его перевозили с одного острова на другой. Лейтенанту Гэлди даже в голову не приходило подозревать Дебюиссона. Один из его знакомых мог стать приверженцем республиканской Франции, поддерживать хотя бы на словах, хотя бы даже мысленно освобождение негров! Это было столь же невероятно, как если бы его знакомый добровольно согласился заточить себя вместе с прокаженными.

В честь возвращения Дебюиссона он устроил пирушку сначала на острове, потом на корабле. За столом сидел и Жан Саспортас. Он молчал, а когда с ним заговаривали, отвечал быстро и дерзко. Галлудека сразу же с ними разлучили и поместили на баке. Англичане верили Дебюиссону и его рассказу о плене, они верили, что Саспортас так же, как он, ненавидит республику. Не вдаваясь в расспросы, они поверили и тому, что его преданный слуга Галлудек уже давно мечтает перебраться вместе со своим господином в Англию; однако это не давало основания выделять его из среды всех прочих слуг, лакеев и писарей.

Было на судне немало и негров рабов, которые вместе со своими французскими господами отправились воевать против Гаити и вместе с ними должны были или даже сами хотели вернуться на Ямайку. У некоторых господ было весело — танцы, музыка, — негры имели приличное жилье, их сытно и вкусно кормили. Останься они свободными на Гаити, им пришлось бы хуже — тяжелый, изнурительный труд, неуверенность в будущем.

В трюме английского корабля, где они сейчас ютились, было еще теснее и грязнее, чем в помещении, отведенном для белой прислуги. Но путь предстоял недолгий. Белых слуг, кроме того, строго отделили от всех военных, а последних особенно тщательно, хотя лишь и дощатыми перегородками, разделили по рангам.

Галлудек внимательно ко всему прислушивался и приглядывался. Он знал немного по-английски, умел рассказывать смешные анекдоты.

Скоро он прослыл компанейским парнем. Ни на секунду он не задумывался, какому риску себя подвергает, а может быть, уже подверг.

Лейтенант Гэлди, выйдя на палубу, беседовал со своим школьным другом.

— Твой дед Беринг, — говорил он Дебюиссону, — стал у нас знаменитостью. Думаю, он тебе обрадуется. Ты ему теперь не помеха. Он даже будет доволен, если ты освободишь его от докучных обязанностей врача. Его у нас прозвали «ромовым доктором». Свой винокуренный завод он отремонтировал, придумал даже какой-то новый способ дистилляции, который долго держал в секрете, но потом все это раскрылось. У нас только и разговору, что о ромовой деревне Беринга да о нашей последней войне с маронами... Разве не при тебе мы с ними разделились?

— С кем разделились? — спросил подошедший Саспортас.

Но Гэлди не ответил, увлекшись своим рассказом.

— Это произошло в рождественские дни девяносто пятого года. Так ты в это время был уже в плену? У нас тогда снова начали постреливать в глубинных местностях. А нам эта история уже давно и окончательно надоела. Хотелось на этот раз отпраздновать рождество спокойно. Кто-то на северном побережье подал нашему полковнику Кваррелу, ныне уже покойному, хорошую мысль доставить с Кубы егерей с собаками. Плантадоры на Кубе держат егерей, чтобы разыскивать своих беглых рабов. У егерей есть собаки. Эти собаки натасканы на чернокожих, они их не кусают, а, окружив всей оворой и оскалив клыки, удерживают на месте, пока не подойдет егерь...

Гэлди запнулся, поймав взгляд Саспортаса, и быстро добавил:

— Мне теперь католик испанец ближе, чем безбожный француз.

При этом он слегка поклонился Саспортасу. Тот опустил глаза, не заметив этого поклона.

— Объясни-ка ему лучше, что это за штука мароны, — сказал Дебюиссон.

— Боже мой! — воскликнул Гэлди. — Вот уже сто тридцать лет они отравляли нам на Ямайке жизнь. С тех пор, как адмирал Пенн прогнал испанцев. Но кое-кто из них укрылся в горах. А там скрывалось и немало рабов, которые не знали, куда деться от своих испанских господ. При соединились к ним и те, кто вообще не хотел работать — ни у англичан, ни у испанцев. К сожалению, среди них оказались и белые, всякие проходимцы, из тех, кого ждала виселица, поставленная нами на утесе в Порт-Ройале. С наших ферм тоже сбежали туда какие-то негры. Постепенно в центральной части острова собралась целая банда. Их прозвали маронами. Рабами они, в сущности, уже не были, но и свободными еще не стали. Их собиралось все больше и больше. Им нравилось бездельничать. Они обзавелись уже своими полями, своими деревнями. А у нас не было законов, чтобы запретить это безобразие, и не было еще достаточно оружия, чтобы их разогнать. Долгое время их никто не трогал, ведь мы народ добродушный. А они, если им что-нибудь не нравилось, устраивали набеги, нападали на фермы. Так было до тех пор, пока нас наконец не надоумили насчет собак. Конечно, и у нас были собаки. Но не так хорошо выдрессированные, как испанские. У них на Кубе есть также обученные охотники на рабов. Тогда полковник Кваррел привез оттуда, с Кубы, несколько таких егерей. Стоило теперь маронам слышать собачий лай, как они уже дрожали от страха. Испанские егеря носили кожаные костюмы и кресты на шее. Чернокожие и на наших фермах тряслись от ужаса, когда они проходили мимо со своими собаками. Мы не сразу **осправили** их в горы, сначала послали их патрулировать по нашей глав-

ной дороге. Собак мы кормили сырым мясом. Егеря пришли в ярость, когда полковник Кваррел сказал, что они ему уже не нужны. Ведь мароны боялись собачьего лая больше, чем ружейной стрельбы, и до настоящей охоты дело так и не дошло. Мы окружили маронов и вывезли в Кингстон. Там посадили на корабли и переправили в Галифакс. Может, ты думаешь, что на Ямайке стало теперь тихо? Нет, снова начались беспорядки, на этот раз в горах Трелевей. Там снова собралась разбойничья шайка... Такого ты еще не видал.

— Я много что видал,— заметил Дебюиссон.

— Охотно тебе верю,— сказал Гэлди.— И все же дома лучше. Там по крайней мере знаешь, ради чего терпишь.

6

Беринг, дед Дебюиссона, тот, кого Гэлди называл «ромовым доктором», был уже предупрежден об их возвращении первыми прибывшими. Он махал руками, будто был донельзя рад. А может быть, он и в самом деле был обрадован — врачевать ему стало обременительно, особенно с тех пор, как новые, слишком строгие власти стали придирчиво его контролировать и мешали ему заниматься любимым делом. Теперь Дебюиссон мог бы его заменить и вместо него объезжать окрестные поместья. К тому же Беринг любил общество и вечером впадал в меланхолию, если оставался один.

Огромного роста негр, сопровождавший Беринга, при виде Дебюиссона глухо вскрикнул и тут же распластался черной тенью у его ног. Он терся лбом о его колени и стонал от восторга:

— Молодой мистер Дебсон! Молодой мистер Дебсон!

— Это ты, Дуглас? — удивился Дебюиссон.— Встань же ради бога! — Обратившись к молча смотревшему на эту сцену Саспортасу, он пояснил: — Дуглас принадлежал моим родителям, а теперь принадлежит моему деду.

— Уверю тебя,— сказал Беринг,— он остался все тем же старым дуралеем. Но какое, однако, это было великолепное зрелище, когда такое чудовище сопровождало твою маленькую мамочку, мою дочурку...

Дебюиссон не помнил свою мать, знал ее только по рассказам. Он терпеть не мог, когда Беринг заводил о ней разговоры. Поэтому он поспешил представить ему своего спутника:

— Это мой молодой друг, мой товарищ по несчастью и незаменимый помощник Жан Саспортас.

Беринг ответил примерно в том же духе, что и Гэлди: он, мол, сейчас предпочитает испанца республиканцу. На это Саспортас со смехом возразил, что он не тот и не другой, а французский эмигрант. Хотя Беринг пытался соблюдать учтивость, он не мог скрыть, что недоволен. Его угрюмая морщинистая физиономия, торчавшая над высоким воротником, сморщилась еще больше. Он пожевал губами и сказал:

— Ну что ж, юноша, если мой внук считает, что вы ему так уж необходимы, то докажите это на деле.

Он повернулся к Саспортасу спиной и подошел к Дебюиссону:

— Откровенно говоря, наша потребность в эмигрантах полностью удовлетворена,— сказал он, обращаясь к внуку.— Мы позволили господам французам сесть на наши корабли и плыть с нами на Гапти, а они не смогли даже прогнать Туссена и вернуть себе свои собственные плантации. Теперь они снова здесь, эти эмигранты. В нашем городском совете я голосовал за то, чтобы их выпроводили отсюда, да поскорее.

Дебюиссон несколько раз пытался представить деду Галлудека. Но тот всякий раз отворачивался от него и наконец сказал:

— Нечего об этом говорить, я уже все знаю. Полковник Вильсон с первого судна мне все рассказал. Этот тебе уж совсем не нужен. Этот...

— Но Галлудек...

— Мне не нужен белый слуга. В моей усадьбе и без того околачивается достаточно чернокожих. Сплошь жулье. И еще белого в придачу? Порядочный? Преданный? Честный? Скажи мне еще, что он любит работать. Пусть тогда и останется в порту этот твой...

— Но Галлудек...

— Пусть Дуглас сразу же отведет его в мастерскую Ноулса. К этому мулату, в док...

— Но...

— Что еще? Что ему еще нужно?

Прежде чем Дебюиссон смог произнести хоть слово, Галлудек заявил веселым голосом:

— Ничего мне не нужно, сударь. Я всем доволен, сударь. Благодарю вас за помощь, сударь.

Беринг впервые взглянул на Галлудека.

— Ступай, Дуглас, отведи этого парня к Ноулсу!

— Дорогой господин Дебюиссон,— сказал по-французски Галлудек.— Прощайте. Теперь вы в своей семье. Я очень рад этому. Если господин ваш дед разрешит, я вас вскоре навешу. До свидания, господин Виктор, до свидания, господин Жан.

— Ну пошли. Следуйте за мной, вы двое! — сказал Беринг.

Старик энергично прокладывал себе локтями дорогу в толпе, заполнившей гавань. Его тшедушная фигура была такой же кривой и нескладной, как и его лицо. Однако коричневый шелковый фрак, в котором он обычно наносил в городе визиты, был сшит в обтяжку и туго облегал выпиравшие левое бедро и лопатку.

По обеим сторонам улицы, которая вела от гавани к рынку, размещались под открытым небом мастерские ремесленников. Шорники и плотники, портные и сапожники, горшечники, ткачи, плетельщики циновок выставляли напоказ свои изделия, они красовались у них над головами, как боевые трофеи или подобранные на берегу вещи с затонувшего корабля.

Беринг с силой размахивал руками, прокладывая себе дорогу. Наконец он пробил путь к рынку. На Дебюиссона нахлынул знакомый ему с детства дурманящий страх: он и боялся затеряться в толпе и желал этого. Наконец-то он снова ощутил неповторимый аромат плодов родной земли, запах рыб родного моря; и опять раскрылось перед ним все величие и многообразие красок, которых он себе уже не мог вообразить, да их и нельзя было вообразить, можно было только увидеть. А эти пронзительные и вкрадчивые голоса, которыми завлекали или запугивали покупателей, крики петухов, хрюканье и визг свиней, которых, купив, тут же убивали или уволакивали живьем, шумный торг, грохот ярмарочных барабанов! Все осталось прежним, даже нежная мелодия песенки, такая тонкая, что, кажется, вот-вот оборвется — но она не обрывалась с того дня, когда Дебюиссон стоял здесь в последний раз, готовясь отплыть на английском военном корабле, чтобы сражаться против республиканцев.

По сравнению с царящей на рынке шумной суматохой даже парижская жизнь казалась совсем тихой и бедной. А насколько беднее была она на островах, обескровленных восстаниями и войнами!

Беринг то и дело останавливался у какого-нибудь тира или лотерейного лотка. На рынке торговали только невольники: господа посылали их сюда продавать все, что произрастало или изготовлялось в их по-

местях. Так было заведено испокон веков, хотя рыночной выручки хватало на карманные расходы, она не могла идти ни в какое сравнение с прибылью от тех товаров, которые грузились в чрева судов, — сахара и какао, хлопка и кофе, рома, перца и красного дерева.

Было заведено также, что негритянки надсмотрщицы, сопровождавшие тележки с товаром, отдавали хозяину выручку тут же на рынке, чтобы он мог ее сразу же истратить. Беринг, не переставая расталкивать всех локтями, остановился ненадолго у своей палатки. Его экономка Люси быстро подсчитала и отдала ему деньги, и он устремился на другой конец рынка. Дебюиссон понял: дед ведет их в гостиницу «Адмирал Пенн», где он любил выпить, поиграть и переночевать.

Виктор Дебюиссон на какие-то секунды забыл о Саспортасе, но тот вдруг схватил его за руку.

— Что это? — спросил он.

Как ни шумно было, Беринг расслышал его вопрос и, когда они подошли к гостинице, сказал:

— Он сбежал от моего друга Дадли да еще прихватил револьвер, недавно подаренный хозяйскому сыну ко дню рождения. Бедняга Дадли лишился сразу трех парней — этого и еще двух, которых беглец ухлопал, прежде чем его схватили.

На самом солнцепеке стояла на цоколе высокая клетка без крыши. Чтобы увидеть, кто в ней находится, нужно было запрокинуть голову. Казалось, там сидит большая, ярко-блестящая черная птица, привязанная за шею к поперечной перекладине. Из клетки не слышалось ни звука, можно было подумать, что существо это умерло; но глаза его еще сверкали.

Гостиница была полна. Беринг быстро прошел в просторную комнату, где его ждали друзья: Дадли, владелец негра, посаженного в клетку, шупленький и тихий помещик сосед Беринга Коллингс, Светтенхем — один из богатейших плантаторов на острове, и два его сына, а также несколько членов семейства Рэли, немногим уступавшего по богатству Светтенхемам. Все мужчины Рэли походили друг на друга — рослые, с красивыми овальными лицами. С тех пор, как умерли старики Рэли, бразды правления и в доме и в поместье перешли к их единственной дочери Элизабет, высокой красивой девушке. Даже те, кто недоумевал, как можно примирить и в то же время использовать для дела такое множество родственников, понимая кивали головой, когда речь заходила об Элизабет — так ловко она умела держать в руках и людей и поместье.

Дебюиссона все встречали с удивлением, но приветливо. К Саспортасу, представленному им, они отнеслись учтиво, но весьма сдержанно. Ямайские помещики питали отвращение ко всем французам, на которых падала хотя бы малая вина за революцию, а к тем из них, кто не сумел предотвратить эту революцию, относились с презрительным сочувствием. Один лишь Коллингс проявил к Саспортасу участие. Ему было жаль юношу, оказавшегося на Ямайке без близких.

Они пили вино и играли в карты. Коллингс научил Саспортаса их любимой игре «бешеный дьявол». Дебюиссон долго рассказывал о своих удивительных приключениях. Вскоре он почувствовал, что вошел в роль и снова принят в круг старых знакомых.

Тщательно принаряженные и причесанные, пришли поздороваться с ним хозяева гостиницы с тремя племянницами, которые уже много лет прислуживали за столом только чиновникам, офицерам и кое-кому из богатых помещиков.

Дебюиссон вспомнил, что его дед, когда сильно напивался, пытался обнимать всех троих, и стал вспоминать также, какая из девиц при этом пищала, какая кусалась, а какая сердито поджимала губы; но две из них

стали невероятно толстыми, а третья превратилась в настоящий скелет. Впрочем, может быть, это были уже другие племянницы, приехавшие из Англии.

Когда Беринг начал пьянеть, Дебюиссон попросил разрешения удалиться со своим другом в спальню, чтобы отдохнуть с дороги.

Девушку, стелившую им постели, он едва узнал. Перед его отъездом она была еще ребенком. Теперь у нее появились груди, она нарочно повернулась так, чтобы он их видел. Она была такой белокурой, эта младшая племянница хозяйки, такой голубоглазой, что Дебюиссону стало даже досадно, когда он заметил, что она глядит на его друга.

Жан, однако, не обратил на нее никакого внимания и нетерпеливо ждал, когда она, присев в реверансе, уйдет. Он улегся рядом с Дебюиссоном, и они стали тихонько шептаться на ухо, чтобы никто их не подслушал.

— Теперь мы остались одни, — сказал Дебюиссон. — Галлудека от нас оторвали. Насколько я знаю деда, он будет неохотно подпускать его к нам. Но мы должны поддерживать с Галлудеком постоянную связь. Ему будет, видимо, легче, чем нам, связаться с Крокрофтом, которого нам рекомендовали как надежного человека. Бедны наши связи и редки надежные люди. С Гаити помощи не будет. Опорные пункты в глубине Ямайки потеряны, ты ведь сам слышал, а в нашу задачу входило установить связь с маронами, потому что в Париже думают, что значительные их силы до сих пор еще укрываются в горах; мне же кажется, что их уже всех истребили. Ни на миг не забывай, Жан, о том, что нам предстоит сделать в ближайшее время, что бы тут ни было. Комиссар, о котором рассказывал Галлудек, действовал на Гаити, когда там вспыхнуло восстание, а он не имел опыта и не получал ни от кого совета. Ты должен понимать меня с полуслова. Все мои указания исполнять немедленно.

— Конечно, — ответил Саспортас. Он почувствовал, как натянулась у него на скулах кожа, будто его знобило.

Дебюиссон вскоре заснул. Саспортас еще долго не мог сомкнуть глаз. Собственные думы докучали ему больше, чем неумолчный гам на рыночной площади и в нижнем этаже гостиницы.

Когда наутро они спустились вниз, старик Беринг неподвижно лежал на столе. Щупленький Коллингс, который, видимо, всегда испытывал потребность приходить людям на помощь, растерянно вертелся вокруг стола. Остальные гости уже уехали в город. Хозяйка сказала Дебюиссону, что только его и дожидается, и послала за Дугласом Мэри, свою младшую племянницу.

Ежемесячные поездки в город доставляли большую радость и Дугласу. Правда, хозяин, когда бывал не совсем пьян, имел обыкновение яростно набрасываться на него с кулаками, швырять в него кружки, тарелки и стулья, но Дугласу, человеку могучего телосложения, удары эти не причиняли боли, а в городе у него было больше свободного времени, чем в поместье, и здесь его ждала уйма развлечений.

Мэри была проворной и ко всему равнодушной девицей. Она знала, что будет с негром, если он хоть пальцем до нее дотронется. К тому же негры смотрели на нее скорее с насмешкой, чем с вождением.

Рыночная площадь тем временем опустела. Невольники отправились по домам, большинство в тележках, на которых привозили товар, остальные пешком, с поклажей на голове или за плечами. Несколько негрятенок подметали площадь. От нескончаемых взмахов их пальмовых веников воздух, уже успевший накалиться под лучами солнца, наполнялся пылью и вонью, вихрем вздымались листья и перья. Городские стражники в зеленых мундирах наблюдали за уборкой, поглядывая то на веники, то на обнаженные груди негрятенок. Два солдата,

как предписывалось приказом, патрулировали вдоль улицы, где находились мастерские ремесленников, от гавани до «Адмирала Пенна».

На негра, повисшего в клетке на железном ошейнике, теперь никто не обращал внимания. Он закрыл глаза. Кругом было тихо. Когда Мэри в поисках Дугласа проходила мимо клетки, она услышала какой-то странный звук. Звук этот не был похож ни на хрипенье, ни на стон, скорее на последний скрип колеса остановившейся повозки.

Дугласа Мэри нашла в ближайшем кабаке для мулатов, где с черного хода обслуживали и негров. Едва она произнесла имя Беринга, как Дуглас вскочил и помчался в гостиницу. Старик все еще лежал на столе, как труп, и даже не сопротивлялся, когда Дуглас взвалил его себе на спину и понес к коляске.

Беринга старательно укрыли. Ноги его свисали с коляски. Дебюиссон и его друг сели на заднее сиденье. Дуглас вспрыгнул на свое обычное место — на ступеньку. Кучер негр тарасил глаза на двух незнакомцев, о которых уже слышал от Дугласа. Хозяева «Адмирала Пенна» и их племянницы, провожая, махали вслед руками. Коляска тронулась.

Между холмами часто проглядывало море. Бухта, где они вчера высадились, вскоре осталась далеко внизу, в призрачном мареве, будто и вовсе не было ни ее, ни кораблей и вчерашний приезд им только пригрезился. Рыночная площадь превратилась в ничтожное белое пятнышко. В доках и на верфях что-то двигалось. Готовые к отплытию — которое было долгожданным возвращением домой для одних и разлукой навеки для других, — стояли четыре одинаковых белых английских корабля, так заостренных с носа и с кормы, как будто с них срезали все, до стружки, дерево. Верткая бригантина, которая, быть может, брала на абордаж испанские корабли в минувшей войне, свернула свои скромные треугольные паруса. Голландский трехмачтовый фрегат уходил в море с удивительной быстротой. Мелкие островки, казалось, легко уплывали вдаль, подобно кораблям, и парили между небом и землей.

Дуглас пожирал глазами Дебюиссона, непрерывно повторяя:

— Мистер Дебсон, мистер Дебсон.

Иногда он добавлял:

— Дуглас очень счастливый человек, совсем счастливый. Мистер Дебсон вернулся.

Полуденную жару они переждали на постоялом дворе, на полпути к дому. Хозяевами его были три свободных мулата. Дуглас караулил коляску, поставленную в тень под деревья. К вечеру они снова тронулись в путь.

Участок земли, полукругом примыкавший к городу, оставался невозделанным. Здесь находились склады, винные погреба, кузницы, столярные и каретные мастерские. Сюда стекалось с гор множество дорог.

Дорога, по которой ехали Дебюиссон и его спутники, все круче и круче взбиралась вверх. Холмы громоздились друг на друга. Небо сияло ослепительной голубизной, единственное темно-синее облачко было, вероятно, далеким горным кряжем. Пологие склоны были засажены сахарным тростником, над ними виднелись полосы пастбищ. Местность стала безлюдной. Лишь изредка попадались сбившиеся в кучку хижины — деревеньки или поселки; оттуда доносились крики, смех — там пели, стирали, танцевали. Яркими цветами вспыхнула крона какого-то дерева. Черный поросенок промчался прямо под колесами экипажа. Старик Беринг все еще не приходил в себя. Время от времени Дуглас повторял: «Мистер Дебсон вернулся». Потом, показывая на поля, говорил:

— Вот та земля принадлежит мистеру Рэли, вон та земля принадлежит мистеру Берингу.

Дебюиссон рассмеялся и сказал по-французски Жану:

— Значит, она принадлежала моей матери.

Саспортас со смехом заметил:

— Значит, она, в сущности, принадлежит тебе.

Приехали они поздно вечером. Дуглас отнес спящего Беринга в дом, раздел его и уложил в постель.

7

Галлудека, как ни старался он быть учтивым, сперва немало обескуражил отказ Беринга принять его к себе в дом вместе с друзьями. Но уже по дороге в мастерскую Ноулса, куда вел его Дуглас, он решил, что это место более подходящее для выполнения их задачи, чем поместье Беринга.

Если он правильно понял полоумного доктора, Ноулс был свободным мулатом. Большинство мулатов поддерживало между собой знакомство: ведь они хотели отгородиться от негров, а белые считали их людьми второго сорта. С помощью Ноулса ему, вероятно, удастся вскоре связаться с теми людьми, которых им настойчиво рекомендовали перед отъездом из Франции. Ведь они тоже были мулатами и имели какое-то отношение к кораблестроению. Фамилия их была Крокрофт. Жили они в северной части острова, в Аннота-Бей.

Один из сыновей Крокрофта, Роберт, казался Галлудеку настолько знакомым, словно он долго с ним проплавал вместе, так подробно ему рассказали все о его жизни. Еще незадолго до отплытия матросы в Бресте, рекомендуя ему Роберта Крокрофта, хорошо отзывались о его уме и о его взглядах. Они утверждали, что он почти республиканец, всей душой ненавидит английских рабовладельцев и в отличие от многих мулатов убежден в том, что позор рабства можно уничтожить лишь соединенными усилиями.

Обо всем этом размышлял Галлудек, следуя за Дугласом, который легко прокладывал ему в толпе дорогу боками и грудью, словно тараня

Ноулс сначала не поверил ушам, когда Дуглас передал ему поручение дать работу белому французцу Галлудеку. Потом он вспомнил про новый закон, о котором кто-то ему рассказывал: французские эмигранты имели право жить на острове, лишь если у них были здесь родственники или постоянная работа.

Когда Дуглас ушел в кабачок, откуда его на следующее утро выудила Мэри, племянница гостиничной хозяйки, Ноулс уже знал, что Галлудек — человек с головой и чистая находка для него. Правда, он был единственным белым, живущим на этой улице; но его пример тут же оказал свое воздействие: какой-то белый бедняк, полуслуга-полуписец, чей хозяин был убит на Гаити, поступил по соседству на работу в контору, владельцем которой был тоже мулат.

Неделей позднее Галлудек узнал, что в мастерскую Ноулса в скором времени приедет сын Крокрофта, и даже запел от радости. Он пропел все песни своей родины, так что и черные и белые заглядывали к нему. Француз писец, бедняга, так растрогался, что заплакал и бросился ему на шею.

Джек Крокрофт, старший брат того самого Роберта, о котором Галлудек так много слышал, был светлокожим, с шелковистыми гладкими темно-каштановыми волосами и походил на потомка испанского гранда. В Кингстон он приехал по делам. Знал ли он о нем от Роберта, Галлудек не мог понять. Но Джек стал упрашивать Ноулса отпустить к ним

на несколько недель француза, если тот ничего не имеет против. Джека ждал срочный заказ, а его главный помощник лежал чуть живой — его лягнула лошадь.

«Ноулс согласился до странности охотно», — подумал Галлудек. Почему — он понял уже по дороге. Его, как и Джека Крокрофта и всех мулатов, к которым они заходили по пути, волновали последние события на Гаити. Оказывается, вождь мулатов Риго восстал там против Туссена. Он привлек на свою сторону мулатов, составлявших большинство населения в Пор-Републикэн и в других районах Гаити, отвлек их от войны и мира, который хотя и давал им равноправие, однако под господством негров.

Задачей Джека была доставка оружия для Риго. Семья его работала частью на ближайшей верфи, частью в собственной маленькой судостроительной мастерской. Но основные доходы они получали прежде всего от незаконной торговли оружием. Губернатор смотрел на это сквозь пальцы. После своего неудачного нападения англичане надеялись использовать против Туссена Риго и снабжали его с Ямайки всем необходимым.

— Англичане, — сказал Галлудек, — вернутся, когда и тот и другой истекнут кровью, и расправятся с обоими.

Он пожалел о своих словах, когда Джек решительно возразил:

— Нет, Туссен первым напал на нашего Риго, едва ушли англичане.

Дом Крокрофта стоял у маленькой бухты к западу от Аннота-Бей. Крутой северный склон горы нависал здесь над самым селением. Лесные испарения проникали в жилища и в мастерские. Полосы то золотого, то зеленоватого тумана на долгие часы затмевали людям свет. Жители побережья расчистили и засеяли только ближайшие участки земли. Более высокие взгорья оставались еще не тронутыми. В глубине гор, окружавших деревню, прежде жили мароны, там были их поселки, и, возможно, теперь там снова начинали собираться беглецы различного происхождения.

За столом первым заговорил папаша Крокрофт — широкоплечий, коренастый и темнокожий мулат. Он рассказал, что вокруг его мастерской еще в дедовские времена быстро вырос поселок. Большинство поселенцев были мулаты. Прижилось здесь и несколько белых. Первые белые, прибывшие сюда со своими рабами, были вконец разорившейся семьей. У этих белых отняли последний кусок земли. У них ничего не осталось, кроме одной семьи невольников и столового серебра. Они, однако, не продали своих рабов, а отпустили их на свободу. Сначала они все вместе рыбачили взятыми внаймы лодками и сетями, а потом работали на верфях, тоже все вместе.

— На нашем побережье, — продолжал он рассказывать, — есть всякие люди. Остались еще и испанцы. Правда, их мало, и живут они подалее к западу — видно, чтобы чувствовать себя ближе к Кубе, хотя и не очень-то хотят туда вернуться. Полковник Кваррел, — заметил Джек Крокрофт, — обязан одному из этих испанцев советом пригласить кубинских егерей, чтобы окончательно разделаться с маронами в глубине гор.

Он подробно рассказал об этой истории, отвечая на вопросы Галлудека, который, сидя на баке, не слышал, о чем разглагольствовал тогда на офицерской палубе лейтенант Гэлди. Джек говорил холодно, не высказывая своего мнения, будто речь шла о каких-то давних и далеких событиях, которые никак не касались его самого.

Вглядываясь в лица некоторых из членов семьи, сидевших за столом, Галлудек увидел на них следы испанского происхождения. Особенно

походили на испанцев сам Джек и его мать, еще красивая женщина с желтоватой кожей. Сестры с их будто отлитыми из матового темного золота лицами показались ему недоступными красавицами.

Лишь к концу обеда в комнату вошел Роберт Крокрофт — высокий молодой человек с длинным и острым носом. Ладони у него были розовыми, но руки смуглыми, как лицо.

Джек сообщил ему, что Галлудек согласен перейти к ним от Ноулса. Может быть, Роберт и догадывался, кто этот француз, и ждал его прибытия, но все же едва поздоровался с ним и молча принялся за еду. Лишь два-три раза он поднимал глаза, и их взгляды скрещивались, как световые сигналы.

Они окончательно уверились друг в друге, когда Роберт провожал Галлудека в отведенную ему хижину. Она выглядела убогой и заброшенной. Галлудек решил привести ее поскорее в порядок. Это место казалось ему вполне подходящим для жилья. В случае же крайней опасности, с чем ему следовало считаться, хотя он об этом ни на минуту не хотел задумываться, отсюда было легче добраться до Кубы.

Роберт Крокрофт прежде всего сказал ему, что отец часто посылал его по делам на Кубу. Уже много лет повсюду на острове с ненавистью говорят о Франции и особенно о Гаити. Но иногда — правда, очень редко — кто-нибудь при этом да промолчит. Это молчание произвело на Роберта впечатление. Он решил, что ему надо увидеть все своими глазами. Он тайком пробрался с Кубы на Гаити, на мыс Святого Николая.

— Там, — сказал Роберт, и глаза его загорелись, — я встретил ваших матросов. Никогда еще я не встречал таких людей. И я сказал себе: если они республиканцы, я тоже хочу стать одним из них... Я повстречался с этими матросами еще раз. А вскоре после моего первого возвращения с Кубы увидел охоту кубинских егерей с собаками на маронов. Ты думаешь, кто-нибудь на всем этом побережье возмутился этим? Думаешь, хоть один человек испытывал угрызения совести? Сколько себя помню, нас всегда пугали маронами: они-де могут спуститься с гор и украсть наши лодки. Сушая чепуха, но мы верили. Когда прибыла эта банда, все обрадовались — и не только англичане, не только офицеры и помещики: даже мои сестры, милые девушки, были этим довольны. Если бы я через некоторое время снова не повстречал французских матросов у мыса Святого Николая — ведь я не мог рискнуть на то, чтобы сразу же отправиться в глубь Гаити, — я мог бы подумать, что тяжело заболел или помешался, так я задыхался от гнева, так у меня сжималось сердце.

Галлудек с удивлением заметил, что Роберт, рассказывая это, весь задрожал от волнения.

— Если ты этого не терпишь, — сказал Галлудек, — так помоги нам.

Он расспросил его о тех, кого ему назвали, отправляя его сюда. Одного из них звали Свеби. У него был незавидный участок земли в ущелье, рядом с поместьем Коллингса. Свеби так увяз в долгах, что ему приходилось отдавать управляющему Коллингса значительную часть своего урожая, и он был уже скорее арендатором, чем землевладельцем.

С этим Свеби Крокрофт был хорошо знаком. Он свел Галлудека также с Бедфордом — молодым невольником из поместья Коллингса. С помощью этих двух людей, белого арендатора Свеби и невольника негра Бедфорда, Галлудеку можно было поддерживать связь со своими друзьями, оставшимися в поместье Беринга.

Крокрофт удивленно вскинул брови, когда Галлудек спросил его о негре по имени Куффе.

— Он из поместья Рэли, — ответил он, — но его там уже нет.

— А где же он?

— В горах. Они думали,— пояснил он,— что если выслать мароно́в, то все успокоится. Но Куффе, видно, опять соберет вскоре сотни людей. Ты хотел с ним встретиться? В таком случае ты немного запоздал. Он бежал, не дождавшись тебя. Человек он честолюбивый и, наверно, хочет стать ямайским Туссеном.

— Правда ли,— спросил Галлудек,— что Куффе умеет читать и писать?

— Кажется, его кое-чему научил священник. Бедфорд тоже кое-чему научился в поместье Коллингса.

Галлудек искал случая рассказать Дебюиссону обо всем, что узнал. Вскоре кто-то захватил его с собой в Порт-Антонио. Оттуда он добрался через южный мыс до Кингстона. Из предосторожности он взял поручение к Ноулсу.

Всем было известно, что Беринг ночевал в «Адмирале Пенне». Старик был уже изрядно пьян. Галлудек отыскал Дугласа и спросил его, как побыстрее добраться до их поместья. Но тот только пожал плечами: он знал, что его хозяин не любит этого чужеземца. В конце концов Галлудек пристроился на одну из рыночных повозок Коллингса и доехал до усадьбы Беринга.

Дебюиссон был рад с ним встретиться. Однако он тут же предупредил Галлудека, что Беринг запретил ему с ним встречаться, опасаясь пересудов и толков. К Жану Саспортасу дед уже привык и не считает его французом.

По его словам, выполнять задание им во многом помогало то, что Дебюиссон с Саспортасом могли разъезжать по окружным поместьям. Они лечили господ, выявляли очаги болезней в негритянских поселках, регистрировали рождения и смерти, как это предписывалось новыми властями. Доктор Беринг знал толк лишь в том, что относилось к его винокуренному и дистилляционному делу.

Галлудек рассказал Дебюиссону о своем разговоре с Робертом Крокрофтом. Они решили, что Саспортас, как только им представится случай побывать на соседней ферме Коллингса, свяжется с Бедфордом. Дебюиссон хотел узнать, как можно установить связь с Куффе, собирающим людей в горах.

— Куффе не допускает к себе ни одного белого,— сказал Галлудек.— Из предосторожности или из ненависти — мы не знаем. Не знаем и того, будет ли он так поступать всегда или только теперь. Роберт Крокрофт полагает, что молодой Бедфорд тайком посещает его. Хотя этот Куффе совсем недавно ушел с фермы Рэли, он уже пользуется большим уважением среди рабов.

Дебюиссон и Галлудек решили, что необходимо найти в крупных поместьях надежных людей и установить связь между ними и Куффе, чтобы подготовиться к совместным действиям. Все разрозненные выступления будут тут же подавлены — так получилось даже с сильной группой маронов, не говоря уже о стихийных волнениях в отдельных усадьбах. Никто даже не узнает о том, что эти волнения были; даже здесь, на Ямайке, едва ли кто-нибудь об этом знает.

Дебюиссон снова предостерег Галлудека, чтобы тот не предпринимал никаких решительных шагов без его указаний.

Их разговор был прерван неожиданным возвращением Беринга: в «Адмирале Пенне» вспыхнула ссора, кончившаяся стрельбой, туда явилась городская стража, и старик поспешно выехал оттуда — он предпочитал держаться подальше от полицейских расследований.

Точно так же, как при их прибытии в гавань, Беринг сделал вид, будто не замечает Галлудека. Он лишь подал знак Дугласу, и тот отвел Галлудека к надсмотрщику Блумфильду.

В поместье Беринга было два надсмотрщика. Того, кто ведал полевыми работами, звали Миртль. Блумфильд же присматривал за всем, что относилось к приготовлению рома — от доставки сахарного тростника до отправки бочек.

Блумфильд привел Галлудека к себе в дом. Стол был уже накрыт, жена с двумя маленькими дочками ожидала мужа. Ее отец был трактирщиком из Корнуэла, и она одевалась хорошо и здесь. По ее приказанию единственный их невольник подал Галлудеку обед в соседней комнате.

Блумфильд был грубоватым и суровым малым, который бог весть как оказался на Ямайке, в поместье Беринга, после бурно проведенной молодости. Хоть он и очень гордился своими тремя разряженными дамами, ему хотелось поболтать с приезжим. От этого француза шел запах моря и многого такого, от чего Блумфильду давно пришлось отказаться.

Воспользовавшись тем, что Беринг обычно в это время спал, Блумфильд, взяв Галлудека под руку, прошелся с ним по усадьбе. Усадьба была скрыта от посторонних глаз высокой оградой, как монастырь. Здесь находились винокурня, погреб, мельница и складские помещения. Он показал ему недавно купленного огромного вола, ходившего по кругу: негритенок подгонял его кнутом, а Блумфильд, проходя мимо, подхлестнул самого негритенка. Он то и дело повторял: «наш вол», «наша мельница» и «наша винокурня», он говорил: «У нас теперь только чугунные трубы, у нас деревянных больше нет, у нас медные котлы и сквороды». Он говорил о «нашем негре, который может следить за градусником». То и дело он подстегивал хлыстом рабов, сновавших взад и вперед или начищавших какие-то медные предметы.

В помещении для очистки рома, которое примыкало к бродильне, была такая тишина, что Галлудек невольно вошел туда так же осторожно и тихо, как Блумфильд.

— Наш ром прозрачен, как мадера,— прошептал Блумфильд.

Он рассказал, что при изготовлении рома необходимо соблюдать определенную температуру, добавлять известь и тщательно снимать пену. Потом, по методу доктора Беринга, надо дать рому отстояться, тогда маслянистые частицы и всякие соринки оседут. Нужно лишь точно знать, когда это сделать, некоторые так и не могут этому научиться.

Вдруг раздался голос Беринга:

— Блумфильд!

Надсмотрщик страшно испугался и втокнул Галлудека в какой-то сарай. Вечером доктор Беринг сказал своему внуку:

— Чтобы духу его здесь больше не было.

Галлудек переночевал в Кингстоне. В американском доке он встретился с помощником лоцмана, о котором ему говорили еще в Пор-Републикэн. Этот человек передавал вести на Гаити, а оттуда во Францию и обратно на Ямайку. Это был смысленный и веселый парень. Они выпили, Галлудек чувствовал себя несколько часов почти так же хорошо, как в Бресте.

Уже более ста лет помещицы дома на Ямайке обычно строились с бойницами. Теперь несколько помещиков из глубинной части острова обратились к губернатору за военной помощью: прошел слух, что беглый раб Куффе вновь собрал банду.

Дебюиссон и Саспортас обсуждали это событие по пути к Коллингсу. Кем считали помещики Туссена в начале восстания на Гаити? Опасным главарем разбойничьей шайки, только всего. Ну, а кто были сами белые землевладельцы? Разве мало было среди их предков отчаянных пиратов?

Коллингс обрадовался молодым людям; он доверял им больше, чем местным врачам. Этот небогатый помещик не был ни жесток, ни суров с рабами и строго соблюдал все законы, даже обычаи, которые шли на пользу неграм. Но у него осталась в Англии молодая красивая дочь, которую хотелось получше выдать замуж, а ему, мелкому землевладельцу, трудно было тягаться со своими соседями и знакомыми. Поэтому Коллингс во всем доверился своему управляющему Глэвишу, которого он нанял по рекомендации одного своего друга. А Глэвиш хотел подняться повыше. Получая от Коллингса приличное жалованье, он стал вскоре ссужать деньги под проценты и посторонним людям и самому Коллингсу. Дети Глэвиша были в Англии, на Запад он уехал лишь временно, чтобы помочь своим сыновьям выйти в люди. Он добивался своего поначалу на должности наемного служащего и был жесток и беспощаден.

В поместье Коллингса жила невольничья семья Бедфордов — их называли так по фамилии их первого владельца, который купил их с аукциона сразу же после приезда на остров, но вскоре перепродал отцу Коллингса. В семье этой никогда не умирало воспоминание о свободной жизни. Большинство их единоплеменников отупело от долголетнего рабского труда. Бедфорды же ни на секунду не теряли надежды. Они ловили каждый туманный слух, суливший им свободу. Их прошлое еще не отделилось пропастью от будущего, в нем не будет ничего похожего на нынешнюю бессмысленную жизнь. Они не понимали того, что произошло во Франции, но довольно быстро узнали, что случилось на Гаити и Гваделупе. Ведь господа не могли скрыть от них своей злобы, особенно после недавнего поражения.

Мистер Коллингс был слишком добросердечным, чтобы переселением, продажей или еще как-либо разлучать семьи своих рабов. Бедфорды жили все вместе, дружно, и, когда по вечерам собирались в своей хижине, старики рассказывали молодым истории из давнего прошлого. Молодежь слушала, и ей казалось, что собственная ее жизнь бессмысленно и бесславно загублена в лесах и пустынях, в доках и морях.

— Жадный до наживы вождь племени, — рассказывали старики, — хитростью заманил однажды нашу семью и продал белым работорговцам.

Об этом злодее они говорили с таким же гневом, как об управляющем Глэвише.

Младший из Бедфордов родился на Ямайке. Но он жил с дедом и бабкой, которых привезли сюда еще из Африки на невольничьем корабле. На теле его отца уже были рубцы от ударов бича Глэвиша или, что еще горше, от бича негра, исполнявшего приказание Глэвиша.

Об этом негре часто думал молодой Бедфорд: никогда и никто не заставил бы его так поступить! Он думал также и о жадном, вероломном вожде. Его братья делили всех людей лишь на черных и белых. Но в душу юного Бедфорда рано запало зерно сознания, что существует еще различие между справедливостью и несправедливостью.

С разрешения Глэвиша священник с фермы Коллингса стал обучать его грамоте; Глэвиш считал, что буквы и цифры, выученные Бедфордом, пригодятся, можно будет выжимать из него еще больше.

В поместье Коллингса была кузница с примыкавшей к ней каретной мастерской. Кузница стояла у большой дороги, которая спиралью изви-

валась по склонам голубоватых, в глубине не проходимых гор: самый нижний и широкий виток ее, охватывающий почти все подножье горы, проходил на севере по берегу до Аннота-Бей, соединяя многие селенья; на юге спираль вилась над бухтой Кингстона и отделяла владения Коллингса и Беринга от большого поместья Рэли.

Дорога эта была оживленной, поэтому кузницей пользовались многие: и одинокие всадники, и воинские части, и торговцы, возившие свои товары на рынки и в гавани. Из поколения в поколение, чуть ли не со времен изгнания испанцев, в этой кузнице работала семья белых. Но недавно помер старик, а его сын — последний в семье мужчина — ушел в море, как ни отговаривал его Глэвиш, как ни соблазнял деньгами. Бедфорд, которого с недавнего времени Глэвиш приставил к кузнецу, молча и, как они думали, ничего не понимая, слушал их яростный спор. Белым и в голову не приходило, что именно тогда он с особенной силой почувствовал унижительность своего положения.

Он, однако, притворился преданным Глэвишу, скрывая свою ненависть к нему. Глэвиш доверил ему кузницу. Полагающееся Бедфорду жалованье — кузнецы доселе были платными ремесленниками — Глэвиш клал к себе в карман. Правда, весь год он делал вид, будто ждет приезда нового кузнеца из Порт-Ройала.

Бедфорд был работником хоть куда; у мехов сменялись двое его племянников, веселых мальчишек, которых он умел держать в узде.

Роберт Крокрофт, мулат, часто ездил верхом на побережье по делам. Дорога эта была самой длинной, но он выбирал именно ее ради Бедфорда, а может быть, отчасти и ради собственного удовольствия. Горящие жаждой знания, удивленно глядящие на мир глаза молодого негра проливали свет и в его сомневающуюся, одинокую душу. Остановившись у кузницы, Роберт рассказывал о своей поездке на Кубу и на Гаити и втолковывал Бедфорду то, что сам узнал от французских матросов.

Примерно в эти же дни Бедфорд услышал, как какие-то рабы, появившиеся в поместье Коллингса, рассказывали о Куффе — негре, бежавшем от Рэли в горы и уже окруженном сторонниками. Бедфорд восхищался этим Куффе, и в сердце его горело желание увидеть собственными глазами этого человека. Однако у него отнюдь не было при этом желания самому убежать в горы. Было нечто такое — он сам не мог бы сказать, что именно, — что удерживало его в своей семье, в своем селении, в поместье, в кузнице у этой дороги, в этой беспокойной, подневольной, ненавистной жизни. И это «нечто» удерживало его здесь с большей силой, чем та, с которой манили к себе горы.

Иногда в кузницу заходил Свеби. Его долги становились все больше, и Глэвиш отнимал у него все большую часть урожая. Бедфорд бесплатно подковывал ему лошадь, чинил тележку, делал всякие поделки, хотя Глэвиш его наказал бы, если бы про это узнал. Однажды Бедфорду пришлось на ум, как можно связаться с Куффе. Участок Свеби расположен был на краю владений Коллингса, оттуда легко было пробраться в глубь Баголийского ущелья. А там уже рукой подать и до Трелевейских гор, где скрывается Куффе.

Всякий раз, проходя к Бедфорду, Роберт Крокрофт рассказывал о том, что произошло во Франции, что случилось на Гаити. Но как далеко от Ямайки до Франции — Бедфорд не понимал. И уж совсем не понимал он, что такое время, которое течет и течет и никогда не иссякнет, как водопад в Баголийском ущелье.

Однажды Крокрофт привел в кузницу Галлудека. Бедфорд принял его за одного из французских матросов, которых Крокрофт встретил на мысе Святого Николая. Крокрофт так много рассказывал о них, что по-

явление француза хотя и показалось Бедфорду чудом, однако вполне возможным.

Галлудек, окинув молодого раба внимательным, пронизательным взглядом, стал расспрашивать его, как бы угадывая вопросы, которые лишь зарождались у Бедфорда в уме и еще не нашли себе словесного выражения.

Такого белого, как Галлудек, молодой негр никогда еще не встречал. Он понимал теперь, почему мог измениться Крокрофт. Речи Галлудека многое ему открыли. Бедфорд вдруг понял, какая связь между ненавистью рабов Коллингса к управляющему, несправедливостью, от которой страдал Свеби, и бегством Куффе в горы. Он понял также, что за человек гантянин Туссен, сумевший извечную несправедливость, бесчисленные грехи и мучения превратить в революционную силу. Бедфорд как будто начал понимать язык большого барабана, о котором ему рассказывал дед. И отец ведь тоже понимал язык этого барабана, который звал к войне или перемирию, к походам или боям, к посту или пиршеству, к охоте или молебнам. Барабан мог призывать к действиям и отдельных людей; непосвященным же его призывы казались просто глухими ударами. Теперь Бедфорд стал посвященным.

Галлудек, убедясь, что Бедфорд может протянуть нужные для них нити, сказал, чтобы он ждал к себе друзей.

Как-то раз управляющий зашел в кузницу с Саспортасом; Дебюиссон остался с Коллингсом в усадьбе. Саспортас посетил кузницу под предлогом, что ему надо получить колесные ободья, закаленные Берингом. Пока Глэвиш осматривал ободья, Саспортас улучил несколько минут, чтобы поговорить с глазу на глаз с Бедфордом. Жан дал понять Бедфорду, кто он такой, но и сам Бедфорд по его манерам, по тону голоса и пожатию руки узнал в нем друга Галлудека.

Мальчик, возившийся с мехами, был в этот день невеселым и вялым, у него загноилась рана от ожога. Саспортас подозвал его к себе, осмотрел рану и наложил повязку. Он разговаривал с ним, а мальчик удивленно тарачил на этого белого глаза. Бедфорд тоже смотрел на него с изумлением. Когда вошел Глэвиш, Саспортас снова заговорил про ободья.

— Я зайду завтра на рассвете,— сказал он.— Все должно быть в порядке к тому времени.

Еще не рассвело, когда они встретились снова. В свете луны лицо Саспортаса было едва различимо. Бедфорд напряженно и беспокойно старался угадать его выражение.

Дебюиссон поручил Саспортасу выяснить, так ли надежен Бедфорд, как полагали Крокрофт и Галлудек. Когда взаимное доверие стало несомненным, Саспортас и Бедфорд решили начать поиски верных людей среди рабов в поместье Коллингса, потом в поместье Рэли, а затем уж и в других поместьях.

В Лондоне некоторые депутаты парламента уже выступали против работорговли. Хотя ответом им пока были лишь гнев и насмешки, хотя их подозревали в том, что они заражены французскими революционными идеями, правительство поняло, как важно вовремя распознать и предупредить опасность. Чтобы предотвратить восстание, было решено, не прибегая к официальным запретам, ограничить на некоторое время работорговлю и постепенно прекратить ее. Слухи об этом приходили с кораблями и обсуждались за столом у помещиков. Все, у кого водились деньги, кинулись скупать рабов до начала жатвы. Во многих поместьях появились только что привезенные из Африки негры, разноплеменные и разноязыкие. Английский язык понимали лишь те, что жили тут долгое время. В семье Бедфордов все понимали по-английски. Старый Бед-

форд, однако, мог еще объясниться и с некоторыми из новых рабов на их языке.

После встречи с Саспортасом молодой Бедфорд первым делом поделился своей тайной с дедом, которого считал самым умным и хитрым в семье. Старик горячо одобрил намерения внука и сам начал ходить к баракам, вступал там в разговоры, балагурил, пел песни. По вечерам к ним чаще, чем прежде, стали заходить соседи. Более обеспеченные рабы жили, как и он, в поселке, окруженном забором, в крытых амарантом хижинах с земляным полом. Пока мужчины постарше курили и болтали, молодой Бедфорд внимательно присматривался к ним, стараясь догадаться, о чем кто думает. Нередко он зазывал то одного, то другого к себе на кузницу и осторожно выспрашивал.

Мистер Коллингс заметил, что у его рабов поднялось настроение. Они стали веселее, пели песни, и он не мог нарадоваться на своего управляющего. Он даже упрекнул себя как-то: «Я считал Глэвиша бессердечным и суровым человеком. Видно, я был к нему несправедлив».

В один из своих приездов Роберт Крокрофт из предосторожности сказал Бедфорду, что Галлудек будто бы уехал. Бедфорд невольно почувствовал себя после этого связанным с одним только Саспортасом. Он старательно выполнял его задание и вскоре сумел созвать в Баголийское ущелье довольно много негров из окрестных поместий. Он уже установил, кто из рабов Дадли и из рабов Светтенхема подходит для их дела.

И все же он не расставался с мыслью повидать Куффе. Недавно Куффе удалось совершить нападение на поместье Светтенхема, и с того дня разговоры о нем не прекращались. Это был отважный шаг: ведь усадьба Светтенхема, окруженная высокой стеной с башнями, походила на крепость и не раз успешно отбивалась от маронов.

Рабы Коллингса знали, что, если бы рабы Светтенхема не помогли Куффе, он не смог бы захватить столь богатую добычу и оружие.

Солдаты, охранявшие поместье, были застигнуты врасплох.

Одну негритянку, спавшую с двумя маленькими детьми в амбаре, вдруг разбудил какой-то незнакомый негр, который тут же заставил ее выйти вместе с детьми на улицу. После этого амбар загорелся. Говорили, что этот негр и был сам Куффе.

Как выяснилось, Светтенхем, самый богатый помещик на острове, купил недавно большую партию рабов, едва их успели высадить с корабля. Нанятые им новые надсмотрщики еще не знали ни людей, ни поместья. Куффе воспользовался этой неразберихой, и его люди, смешавшись с рабами Светтенхема, проникли в усадьбу. Склады и амбары запылали так внезапно, что пожар невозможно было потушить сразу. Солдаты, охваченные паникой, даже не знали толком, в кого стрелять. Надсмотрщики и сыновья Светтенхема тоже боялись прибегнуть к оружию, чтобы не лишиться своей дорогой покупки.

Рабы Коллингса ликовали и даже сложили песню об этих событиях. Бедфорду теперь, как никогда, необходимо было встретиться с Куффе. Он понимал, насколько важно установить связь между Куффе и надежными неграми из крупных поместий.

Бедфорд понимал также, что его друг Саспортас — тот сам сказал ему: «Называй меня другом» — выполняет чьи-то поручения. Но чьи — Бедфорд не знал. Эта тайна внушала ему почтение и страх. Иногда при нем упоминали о внуке «ромового доктора», который вернулся и лечит больных в окрестных поместьях. Но Бедфорду даже в голову не приходило, что этот человек, у которого работает его друг, мог давать подобные поручения.

Отправляясь по своим делам, Крокрофт нередко заезжал в кузницу, и всегда это случалось в то время, когда там был Саспортас. С помощью Крокрофта, а иногда и Свеби Галлудек узнавал обо всем, что происходило на острове, и потом через своих американских друзей передавал эти вести на Гаити. Оттуда они попадали во Францию. Галлудек даже получил из Франции ответ. Их хвалили и одобряли. Это был счастливый день для всех троих.

Как-то раз Саспортас, зайдя в кузницу, застал там одного Свеби. Тот сказал, что Бедфорд, воспользовавшись отсутствием Глэвиша, тайком ушел на целые сутки, пробрался в горы через Баголийское ущелье. На обратном пути он едва добрал до его дома и тут же свалился без сил.

В свой следующий приезд Саспортас по поручению Дебюиссона спросил Бедфорда:

— Значит, ты теперь знаешь, как найти Куффе?

— Нет,— ответил Бедфорд,— он в последнее время, говорят, изменился, стал еще молчаливее и мрачнее, никто не знает, где его найти.

— Почему ты мне не доверяешь? Я же знаю, что ты виделся с ним.

— Неправда, я виделся лишь с одним человеком, который встречался с ним.

— Тогда тебе надо снова повидаться с этим человеком, Бедфорд. Куффе должен поскорее узнать, что успели сделать мы, а мы должны знать, как обстоят дела у него. Обещай мне, что ты снова отыщешь этого человека.

— Попытаюсь,— сказал Бедфорд,— но не обещаю. Это нелегкое дело.

Они долго молчали. Он рассказал Саспортасу, что, как он ни торопился вернуться в кузницу до приезда Глэвиша, это ему не удалось. Правда, он объяснил свое отсутствие тем, что ходил к Свеби чинить плуг. Но Глэвиш не поверил ему и тотчас помчался к Свеби сам. Тот постарался выгородить Бедфорда и даже показал плуг, который он якобы починил; плуг этот Бедфорд починил Свеби бесплатно еще год тому назад, и теперь бедняге Свеби пришлось заплатить Глэвишу за ремонт последние гроши.

Вернувшись, Глэвиш сказал ему:

— Как ты посмел пойти к Свеби? Если ты еще раз самовольно уйдешь из кузницы, тебя так выпорют, что кузнецом тебе уже не быть. И вообще ты мне здесь больше не нужен. На днях приезжают кузнецы из Порт-Ройала.

Бедфорд вдруг рассмеялся, словно рассказав это, облегчил себе душу, и сказал:

— Не верю ни одному его слову. Я все равно останусь здесь, в кузнице. А Свеби — хороший человек, правда?

9

Галлудек не появлялся в поместье Беринга с тех пор, как Дебюиссон запретил ему туда ходить. Он позволял себе лишь иногда приезжать в Кингстон, один или с кем-либо из Крокрофтов, чтобы передать, как все думали, заказ Ноулсу. Случалось, он встречал там Дугласа, сопровождавшего своего господина. Однажды доктор Беринг остался выпить в «Адмирале Пенне», а его отправил обратно в поместье. Встретив на улице Галлудека, Дуглас спросил:

— Что передать мистеру Дебсону?

Галлудек черкнул несколько слов, которые для постороннего человека не представляли интереса: речь шла о благодарности друзей за полученную весточку.

Передав эту записку Дебюиссону, Дуглас видел, как он обрадовался ей. Дугласу тоже стало весело, он начал потирать от удовольствия руки, смеяться и спросил, не нужно ли чего передать тому чужому господину. Дебюиссон написал три слова, совсем незначительных на посторонний взгляд, но для Галлудека они имели большой смысл. Эту записку Дуглас сразу же сунул Галлудеку, как только встретил его в Кингстоне. Хотя Дугласа никто не просил скрывать все это от своего хозяина, он решил, что так будет лучше.

Еще раз Дугласу случилось встретить Галлудека, но тот ничего не передал для Дебюиссона. И когда Дуглас с видом заговорщика сказал молодому хозяину об этой встрече, тот лишь ответил вполне равнодушно:

— Ладно.

Прошло несколько недель, в течение которых Дуглас не встречал Галлудека. Но как-то раз маленькая острогрудая племянница хозяйки вызвала Дугласа из кабачка, расположенного по соседству с мастерской Ноулса. Дуглас не слишком торопился: он знал, что его господин уже настолько пьян, что его не ждет. Из праздного любопытства Дуглас заглянул в мастерскую и увидел там Галлудека, который помахал ему рукой. Негр подождал, пока Галлудек писал что-то на клочке бумаги. Дугласу почему-то показалось, что белый написал о чем-то очень спешном, тревожном, необыкновенном. Он охотно показал бы эту записку Берингу, но поборол свое желание; чувство привязанности к сыну прежнего хозяина требовало от него, чтобы записка была доставлена Дебюиссону.

На следующее утро, при первой возможности, Дуглас передал записку по адресу, красноречивыми жестами хваля себя за то, что никому ничего не разболтал, и подмигнул в сторону доктора Беринга, дремавшего в кресле.

Дебюиссон ушел к себе, прочитал записку и тут же, смяв ее, сунул в рот. Он так яростно жевал ее, будто хотел разгрызть кость. Потом зашел к Саспортасу. Тот собирал в дорогу их обычную поклажу.

— Галлудек пишет...— сказал Дебюиссон, так тяжело дыша от волнения, что Саспортас насторожился и удивленно взглянул на друга.— Вот, читай сам... Ах, да! Я ведь проглотил это письмо. Оно было совсем коротким. Генерал Бонапарт неожиданно вернулся в Париж и девятого ноября объявил себя консулом. Директории уже нет...

Саспортас молча увязывал вещи Дебюиссона. Вошел Дуглас и спросил, не собираются ли господа ехать. Саспортас передал ему дорожные сумы. Когда Дуглас вышел, Дебюиссон сказал:

— Это было десять лет назад.

— Что?

— Революция. У Бонапарта на это нюх. Сейчас такое время — людям хочется чего-то нового, особенного, старым они по горло сыты.

Глядя на белых господ, Дуглас сразу понял, что записка действительно была очень важной и тревожной. Но что она означала, он не мог узнать ни из произнесенных слов, ни по выражению лиц. Любопытство жгло его так, что сердце сжималось. Теперь он жалел, что не положил записку на стол в «Адмирале Пенне», тогда и ему стало бы известно ее содержание из восклицаний и по выражению лиц, когда начался бы переполох. И он злился на Саспортаса, который мог знать все, что сообщали сыну его прежнего хозяина.

Саспортас заговорил лишь тогда, когда они уже подъезжали к поместью Рэли.

— Устрой так, чтобы мы здесь заночевали.

— Зачем? — спросил Дебюиссон.

— Чтобы я мог встретиться ночью с Бедфордом. Мы уже условились.

— Нет, только не сегодня,— быстро ответил Дебюиссон.

— Как же так, не сегодня? Говорю тебе, мы уже условились. Бедфорд придет.

— Ну и пусть себе придет твой Бедфорд, подождет, да и отправится не солоно хлебавши.

— Это невозможно! — горячо воскликнул Саспортас. — Это будет страшное разочарование. Так нельзя!

— Нельзя? — спокойно переспросил Дебюиссон. — О каком это разочаровании ты говоришь? Кто будет разочарован?

— Дело не только в этом. Если узнают, что Бедфорд самовольно отлучался ночью из поместья... Ведь у Коллингса с рабами не так церемонятся, как у твоего деда, — ты ведь знаешь его управляющего. Если Глэвиш дознается, что Бедфорд опять уходил...

— Послушай-ка, — перебил его Дебюиссон, — мы тоже рискуем своей шкурой. Я ведь приехал сюда не за тем, чтобы трястись по дорогам и вскрывать старику Рэли его чирья. Ты здесь тоже не просто помощник врача, даже если тебе этого иногда и хочется...

— Чего хочется?

— Ничего, — сказал Дебюиссон. — Мы здесь для того, чтобы помочь рабам. Бедфорд — один из них. Мы рискуем ради него. Пусть он тоже рискнет кое-чем ради нас. Теперь ты меня понял?

— Нет, не понял! — сказал Саспортас. — Может, Бедфорд и сумеет еще раз отвертеться, не знаю только как: он даст себя убить, но ничего не скажет. Но зачем же зря подвергать его такой опасности? Почему бы мне с ним сегодня не встретиться? Ведь так было решено: мы должны с ним встречаться. Надо ведь узнать от него, кто и из какого поместья придет на встречу, которую он готовит по твоему же заданию.

— Знаю, Жан, — как можно спокойнее сказал Дебюиссон. — Но в этом-то и дело. Я не хочу этой встречи с той минуты, когда узнал о том, что произошло в Париже, и думаю о том, что там, возможно, еще произойдет. Я не хочу торопиться.

— Торопиться! — воскликнул Саспортас. — Мы долго и кропотливо готовили эту встречу... В сущности, ее подготовил Бедфорд. Трудился много недель. Ты не можешь себе представить, какую работу взял на себя он один именно потому, что понимал, что значит наша первая попытка выяснить, на сколько людей мы можем рассчитывать уже сейчас.

— Конечно, именно в этом и состояла суть дела, — сказал Дебюиссон так же невозмутимо. — Но я, знаешь ли, постарше тебя и понимаю, что такое ответственность. Поэтому я хочу поразмыслить над известием от Галлудека. Разве мы знаем, что теперь будет? При новом правительстве? Нужно ли нам заходить в наших действиях дальше? Не откажется ли правительство от старого плана? У него могут быть свои планы.

— От какого плана? О чем ты говоришь?

Дебюиссон, даже не заметив, как побледнело смуглое лицо Саспортаса, спокойно ответил:

— Ты же сам сейчас о нем говорил, об этой встрече и о том, что за ней последует.

— О встрече нескольких рабов из пяти поместий? О том, что мы сможем расчесть, сколько человек готовы выступить, если дойдет до дела?

— Вот эту встречу и надо отложить.

— И как же то, что должно за ней последовать?

— И это тоже. Нужно выждать, что нам скажут новые известия.

— О чем? Об освобождении рабов на этом острове? О нашем плане?

— Наш план может оказаться несостоятельным. Такое задание без поддержки нашего правительства...

Саспортас резко пришпорил коня и ускакал.

Дебюиссон вновь увидел его, когда тот был уже на противоположном склоне горы; дорога пролежала там почти на той же высоте, как здесь, и извивалась плавной спиралью. Дебюиссон, едва скользнув взглядом по фигуре всадника на повороте, невольно стал смотреть на самую дорогу, а потом перевел глаза на долину, отливавшую синевой там, где она переходила в лесистое взгорье. Тени гор падали до самого ущелья по желтым и зеленым склонам.

«Эти склоны,— подумал Дебюиссон,— обрабатывают после изгнания испанцев уже три или четыре поколения». Он думал при этом об англичанах; негры как-то не пришли ему на ум.

Лишь в узких ущельях между горными отрогами теснился еще не покоренный, девственный лес.

«Вон этот участок,— вспоминал Дебюиссон с мимолетным и невольным удовольствием,— корчевал еще Джонатан Светтенхем, дядя моей матери. Потом все снова пришло в запустение. А еще позднее за эту длинную узкую полосу земли взялся отец Коллингса. Это был человек совсем другого склада — не то что его мягкосердечный сын. У него, правда, был еще один сын, внебрачный, от какой-то ирландки. Об этом знали все и никто. Ирландских католиков, которых Кромвель сослал когда-то в Вест-Индию, здесь называли белыми рабами: их презирали и использовали лишь на самой тяжелой работе. Старик Коллингс с лицемерным великодушием предоставил своему незаконнорожденному сыну самый запущенный участок земли. Тот работал на нем, как каторжный. Сын его и есть тот самый Свеби, которого теперь истязает надсмотрщик Глэвиш. Бедняга отдает весь свой урожай и все еще надеется, что избавится от долга...»

Владения Рэли, Беринга и Коллингса сходились здесь, образуя треугольник. Перед самой усадьбой Рэли большая дорога сворачивала к побережью.

С той минуты, как Саспортас скрылся с его глаз, Дебюиссон не вспоминал больше ни о нем, ни об их кратком и резком разговоре, ни об известии, полученном от Галлудека. Множество случайных мыслей роилось в его голове. Подумал он, между прочим, и о том, как выгодно Рэли, что дорога поворачивает именно здесь — ведь это значительно сокращает путь к гавани. Потом он забыл и о земле и урожаях, о транспорте и гаванях...

Может быть, впервые с тех пор, как он прибыл на Ямайку, Дебюиссон бездумно наслаждался видом родных мест. О, если бы можно было продлить эту минуту! Как счастлив был бы он с радостью и удовлетворением, не думая ни о каких заданиях и планах, любоваться красотой этой широкой плодородной долины! Но надолго ли хотелось ему продлить эту блаженную минуту? В душе его вдруг, преодолев барьер республиканских убеждений, требовательно прозвучал лукавый голос: «Навсегда!» Тогда он не был бы здесь больше чужим, прибывшим с тайным и очень трудным заданием, тогда он сам стал бы частью этой плодородной долины с ее плантациями, шумящими сейчас не совсем еще спелым тростником, тогда он стал бы наследником Беринга и поместье матери снова вернулось бы к нему. Он стал бы серьезнее относиться к намекам, которые иногда делал ему дед относительно их соседки мисс Элизабет Рэли — высокой стройной девушки с дерзкими глазами, которая, в сущности, нравилась ему больше, чем все парижанки, вместе взятые. И сегодняшний визит к ее больному дяде был бы выполнением профессио-

нального долга, а не ширмой, скрывающей действительные цели, как все его визиты к больным.

Он услышал цокот копыт и увидел Саспортаса. Потом все стихло. Саспортас ждал его у последнего поворота дороги.

Он сказал ему:

— Мой друг, не сердись на меня. Я был просто вне себя, не мог с собой сладить.

— Ладно,— сказал Дебюиссон.

— Я был в отчаянье,— признался Саспортас.

Они медленно ехали рядом, направляясь к воротам усадьбы Рэли.

— Ведь ты меня просто сбил с ног своими словами. Так же, как и тогда в «Адмирале Пенне». Впрочем, ты тогда, в темноте, наверное, и не заметил, как взволновали меня твои слова...

— Какие?

— «С этой минуты мы одни,— сказал ты.— Предоставлены самим себе. Мы должны действовать быстро и решительно. На свой страх и риск. Как тот комиссар на Гаити, о котором нам рассказывал Галлудек». Твои губы касались моего уха. А я, хотя и понимал важность нашего дела, только услышав эти твои слова, впервые почувствовал, что значит — остаться одному. И вспомнил, что ты сказал еще на корабле: «На Туссена мы рассчитывать не можем...»

— У тебя хорошая память,— заметил Дебюиссон.— Теперь ты сам видишь, что я был прав. Едва Туссен отбил от англичан, как напал на мулатов...

— Англичанам это было на руку, они надеялись, что мулаты и негры перебьют друг друга. Галлудек не зря живет у Крокрофта. Он много сумел узнать...— сказал Саспортас, но вдруг осекся.

Он и сам не знал, почему вдруг замолчал, почему не сказал того, что хотел еще сказать. Не приди Дебюиссон к нему несколько часов назад с тревожной вестью, Жан рассказал бы ему о том, что узнал вчера, и они всё ослепительно обсудили бы в пути. Ведь вчера, возвращаясь из поместья Коллингса, где ему пришлось засвидетельствовать смерть одного невольника, он заехал к Свеби, а там повстречал Галлудека.

Когда они плыли сюда на корабле, Галлудек относился к Саспортасу сдержанно, даже недоверчиво. Он был слишком привязан к Дебюиссону и испытывал нечто вроде ревности к каждому, кого тот приближал к себе. Галлудек проверял втайне, достоин ли этот человек такой дружбы. Но запрет появляться в поместье Беринга, одинокая жизнь в деревне на северном побережье острова, в чужой семье мулатов, трудность порученного ему дела, необходимость взвешивать каждый свой шаг, каждое слово — все это привело к тому, что Галлудек стал радоваться встречам с Жаном Саспортасом. Он ждал его не только ради вестей от Дебюиссона: юный Саспортас нравился ему уже сам. Вот почему он доверил ему вчера важную новость о тайном складе оружия, оставшемся после победы Туссена и бегства в Европу предводителя мулатов Риго. Об этой новости Саспортас умолчал.

— Я не мог поверить, что ты хочешь все отменить, объявить наши приготовления ненужными,— сказал немного погодя Саспортас.— Неужели надо дожидаться указаний нового правительства из Парижа?

Уже видны были ворота усадьбы, как бы преграждающие дорогу, хотя нетрудно было перескочить рядом с ними через низкую ограду из кирпича-сырца. Каменная арка ворот, богато украшенных в стиле испанского барокко, была, может быть, единственным, что сохранилось от старинного дворца времен завоевания, времен Колумба, который выса-

дился сперва на этом острове. Два негра, которые то ли охраняли вход в усадьбу, то ли просто спали, мигом вскочили на ноги.

Дебюиссон вскрыл еще один чирий дядюшке Рэли. Старик чуть ли не каждую неделю посылал к нему гонца, призывая на помощь.

Оставив Жана дежурить у постели больного, Дебюиссон прошел в столовую.

Накрытый по всем правилам стол, мебель и картины — все это, наверно, было совершенно таким же, как в загородном доме лондонских Рэли. Шелковые сетки, защищающие от москитов, смягчали свет вечерней зари, внезапно вспыхнувшей за окнами.

Элизабет Рэли выросла среди мальчиков. Да и теперь за столом, если не считать ее тетки, жены больного, сидели только мужчины — ее братья и кузены. В начале обеда за каждым стулом стоял негр. Потом всех негров удалили из комнаты.

«Этих события на Гаити кое-чему научили, — подумал Дебюиссон. — Поняли, что негры не глухонемые и по ночам обсуждают то, о чем при них говорят за столом».

«Этими» Дебюиссон называл после своего перехода на сторону революции помещиков и рабовладельцев.

В столовой осталась лишь одна молоденькая тоненькая негритянка, которая прислуживала Элизабет и ее тетке. Дебюиссон сперва принял ее за девочку, но, когда она наклонилась, увидел ее девическую грудь. Элизабет отдавала приказания без слов, легким движением руки или бровей.

Дебюиссон сидел в конце стола, рядом с пожилым худощавым кузеном Элизабет, которому, видно, редко выпадал случай поговорить.

— Эта малютка, — шепнул он Дебюиссону, — чуть ли не с рождения была в детской с Элизабет. Моя кузина души в ней не чаяла, а мать потворствовала ей во всем. Было очень забавно смотреть, как они возились — белый и черный клубочки.

— А как же потом? Ведь было трудно...

— Что трудно?

— Объяснить девочке, что она здесь не для забавы.

— Негритянки быстро взрослеют. Сама еще ребенок, а глядишь — у нее уже свой ребенок. Их надо вовремя удалять из детской. Правда, Элизабет потом снова приблизила к себе эту Энн. Она без слов понимает свою хозяйку.

Когда застольный сосед произнес имя Энн, Дебюиссон вспомнил, что недавно слышал это имя от старика Беринга. Управляющему из поместья Рэли нужно было выяснить что-то у Блумфильда, надсмотрщика Беринга. Воспользовавшись этим случаем, он привез своего сынишку, чтобы ему наложили повязку на сломанную руку. Энн внесла мальчика в дом, а потом вынесла и уложила его в повозку. Когда повозка отъехала, девушка взяла корзину с овощами для тетки Элизабет и понесла ее на голове в поместье Рэли.

Дебюиссон с отвращением слушал своего соседа. Испитое лицо, провинциальная чопорность этого человека, которого явно третировали в семье Рэли, фатовская небрежность, видимо казавшаяся пожилому господину вполне уместной в тропиках, вызывали у Дебюиссона чувство неприязни и гадливости. Но он совладал с собой и сказал:

— Я мало что в этом смыслю. Я не жил в семье. Сестер у меня нет.

— Элизабет будет не так воспитывать своих дочерей, как ее воспитывала мать. Не знаю, видели ли вы ее, она была еще красивее и любезнее, чем Элизабет. Теперь уже никто не относится к черным так легкомысленно, как раньше. Уроки, полученные нами за последние годы, до-

рого нам стоили. Уж наших-то негров гаитянские мерзавцы не развратят. Элизабет умеет с ними обращаться.

Вечерняя заря угасала, надвигались сумерки. Двое рабов ходили по комнате и зажигали свечи. Их огромные тени падали на стол, словно в гости пришли исполины.

Вошел Саспортас. Увидев его, Энн, безмолвно прислуживавшая своей госпоже, застыла в той позе, в какой он ее застал: слегка наклонившись, подняв голову, в руке салфетка, упавшая со стола. Она даже не заметила повелительного жеста своей хозяйки, и Элизабет отчетливо произнесла:

— Поставь прибор!

Ужин подходил к концу, господа стали поспешно подниматься со своих мест и переходить в соседнюю комнату, где были расставлены ломберные столы. Вероятно, они так заторопились, потому что неясно было, рядом с кем посадят Саспортаса, который был всего лишь помощником врача. Присутствие Дебюиссона, внука Беринга, никого не шокировало. Его уже считали своим. В этом он с удовольствием еще раз убедился в этот вечер. «Только бы Жан всего не испортил,— подумал Дебюиссон.— Выкинет мальчишка какую-нибудь глупость да еще будет считать это республиканской доблестью! Ведь, наверно, он сам уговорил черного кузнеца устроить поскорее это сборище. И тот, может быть, уже мчится с фермы на ферму, скликая негров. Бог его знает, что у него на уме...»

Когда все вставали из-за стола, Дебюиссону вдруг показалось, что рядом с ним появился другой Дебюиссон и прошептал ему на ухо: «Нам нужно начинать как можно скорее. Пусть они не думают, что, выслав побежденных маронов, они сделали невозможным восстание на Ямайке». Ему показалось, что Саспортас тоже слышит этот голос, и Дебюиссон взглянул на его лицо.

Но лицо Саспортаса ничего не выражало. Он в это время здоровался с двумя женщинами, оставшимися за столом, и объяснял им, что не отходил от больного, пока не подействовало снотворное. Тетка вышла из столовой. Дебюиссон понял по взгляду Саспортаса, что тот хочет с ним поговорить наедине, и очень обрадовался, когда Элизабет, пренебрегая этикетом и обычаями, обошла вокруг стола и без всяких церемоний взяла его под руку.

Она провела его в круглую гостиную, расположенную в нижнем этаже башни, служившей когда-то сторожевой вышкой. Теперь стены и мебель были обтянуты белым, затканым золотом атласом. От хрусталя и множества свечей в комнате было светло, как днем.

Дебюиссон с удивлением смотрел на Элизабет, сидевшую так близко от него. Ее белое лицо было нежным и гладким, лишь в уголках рта притаились тонкие, как нити, морщинки от почти не сходящей с ее губ слегка насмешливой улыбки.

— Пусть ваш юный друг Саспортас — ведь он вам друг, друг и помощник? — сказала Элизабет. — Пусть он ест и пьет на здоровье. Потом Энн проводит его в спальню. Ведь вы у нас заночуете?

— Таково было желание вашей тетушки, — ответил Дебюиссон.

— Для своего возраста Энн немного отстала в росте и разуме, — со строгой улыбкой сказала Элизабет.

Дебюиссон надеялся, что Жан откажется от своего намерения встретиться ночью с Бедфордом на ферме Коллинга. Обстоятельства сложились сейчас так, что лучше всего было бы на время забыть об этих связях — тогда они вскоре сами распались бы...

Вдруг в комнату вошел один из братьев Элизабет. Он извинился, что помешал их беседе, но та новость, которую он узнал, настолько порази-

тельна и важна, что ему захотелось сразу же поделиться ею: генерал Бонапарт вернулся из Африки во Францию, он сверг правительство и стал консулом.

— Чем же это так важно и поразительно? — спросила Элизабет. — Уже давно во Франции властители свергают друг друга.

Брат признал, что она отчасти права; но речь идет сейчас об офицере, который уже достаточно прославился, если вообще можно называть этих французов офицерами: ведь чины там даются кому угодно и многие их генералы — попросту главари банд, их назначают и смещают по мере надобности.

Дебюиссон, ожидавший, что услышит в доме Рэли эту новость, изобразил крайнее изумление, покачал головой и пробормотал что-то невнятное.

Молодой Рэли ушел, обещая их больше не беспокоить, если только не придет еще какое-нибудь удивительное известие.

Когда дверь за ним закрылась, Элизабет сказала:

— Вы, Дебюиссон, только моим братьям рассказали о том, что вам пришлось пережить у французов. А я тоже хочу все знать.

Энн не впервые встретила Жану Саспортаса. Она не раз видела его и раньше. Едва Дебюиссон прибыл на Ямайку, прислуживавшие в доме невольники уже трезвонили, что с внуком «ромового доктора» прибыл помощник, молодой, сильный и, конечно, гораздо более искусный, чем сам врач. Когда Дебюиссон с Саспортасом проезжали верхом мимо их усадьбы, Энн подбежала к воротам. Она подсматривала в щелочку, когда они поднимались по лестнице в господский дом. А недавно она помогала вносить больного сына управляющего в дом Беринга, и Жан, осторожно принимая с ее рук парнишку, заговорил с ней. Сначала она подумала, что он обращается к белому мальчику. Но нет, он говорил с ней! Он говорил спокойно, ласково, думая, что она растерялась от страха:

— Я крепко держу ребенка. Не бойся!

Еще никто никогда не говорил с ней так.

Энн часто, когда только у нее оставалось время на раздумье, вспоминала его голос, его слова, вспоминала, как его лицо коснулось ее лица.

И Жан часто вызывал в своей памяти лицо этой девушки, дрожащей от испуга, ее руки, грустный взгляд на мгновение поднявшихся на него глаз, но он жил среди тревог и волнений, к тому же был слишком застенчив, чтобы разыскивать ее или хотя бы расспрашивать о ней.

Всякую работу, которую ей поручали, Энн всегда исполняла спокойно, умело и проворно. Ее еще никогда не наказывали. Но она уже не раз видела, как жестоко истязали негров в усадьбе Рэли. Одного исполосовали плетью, другого так долго продержали в глубоком погребе, что он стал с тех пор сморщенным и высохшим, как лежалый овощ. Поэтому Энн жила в постоянном страхе. А с тех пор, как кубинские егеря со своими собаками отправились в горы охотиться на маронов, ее сердце давил свинцовый ужас.

Элизабет Рэли ни днем, ни ночью не давала ей покоя, требуя от нее то одного, то другого, вся жизнь служанки была заполнена заботами и протекала однообразно и уединенно. Иногда работа ее была нетрудной: одеть или раздеть свою госпожу, расстелить или застелить постель, накрыть на стол. Случалась и работа изнурительная: в палящий зной ее посылали в другие усадьбы, нагруженную подарками, а то с какой-нибудь вестью или гоняли с одного конца поместья Рэли на другой: ведь все знали, что Энн легка на ногу и терпелива.

Сегодня Элизабет хотела оказать любезность своим гостям. Старший постарается подольше остаться с ней наедине, а младший вряд ли захочет поскорее отослать служанку.

Энн проводила Саспортаса в назначенную ему комнату. Оба надеялись, что здесь или в другом месте случится то, чего они хотели. Саспортас стоял и ждал, глядя на ее руки, пока она натягивала на окне сеть от москитов. Потом она опустила сеть над кроватью и приподняла ее край, чтобы Саспортас мог лечь. Он улегся и, тоже приподняв сетку, держал ее, пока девушка не легла с ним рядом.

Здесь было тихо, как в горном ущелье. Все словно скрылось за пеленой густого тумана.

Осторожно, чтобы не испугать девушку, Саспортас вскоре поднялся и сказал:

— Слушай меня внимательно. Я должен уйти. А ты оставайся здесь как можно дольше. Если часа через три ты спустишься вниз и тебя спросят, где я, скажешь, что я только что ушел. Можешь ты это сделать для меня?

— Конечно, — сказала Энн. — Я сделаю все, что ты захочешь.

Саспортас спросил:

— Как выйти на дорогу, чтобы меня никто не увидел?

— Куда ты пойдешь?

— В имение Коллингса.

— Тогда вылезти в окно. Вон там, где акация, есть глубокий овраг. По нему ты гораздо скорее дойдешь до Коллингсов, чем по дороге.

Она не проявила ни любопытства, ни страха. Помогла ему вылезти в окно.

Элизабет и Дебюиссон еще долго болтали в гостиной и пили вино. Элизабет сидела прямо, не меняя позы, лицо ее не подобрело и не казалось усталым. Время от времени Дебюиссон придумывал новое проклятье, которое мысленно обрушивал на ее голову. Потом снова погружался в тупое молчание, без единой мысли. Элизабет, усмехнувшись, будто она все поняла, сказала:

— Ну, пора спать.

Свечи догорели. На хрустале мерцали розовые блики зари.

Растянувшись наконец в постели, Дебюиссон вспомнил о своем друге, который так и не зашел к нему. «Ему-то, видно, здесь неплохо».

10

Дебюиссон только в полдень узнал, что Саспортас уехал. Вечером, когда они встретились дома, он сразу же спросил:

— Значит, ты все же виделся с Бедфордом?

— Да, — ответил Саспортас, — все идет хорошо. Его пока еще не застигли.

— Видишь, нечего тебе было терзать свою совесть.

Саспортас промолчал. Он наклонился к Дебюиссону, положил ему на плечо руку и, как обычно в таких случаях делая вид, будто они вдвоем читают книгу, стал рассказывать:

— У Коллингса есть два надежных человека. Не из семейства Бедфорда, а из новых, но он за них ручается как за себя. Он узнал также, на кого можно рассчитывать на ферме Дадли. Пробрался он и в усадьбу Светтенхема. Кто придет из поместья Рэли, известно было еще раньше.

— Разве я тебе не сказал, чтобы ты оставил все это? — с трудом сдерживая гнев, проговорил Дебюиссон.

— Сказал. Но уже поздно. Даже если бы я не повидался с Бедфордом. Даже если бы мы все трое — ты, Галлудек и я — исчезли с этого острова. Движение началось и будет перебрасываться с фермы на ферму. Поэтому я тебя спрашиваю: имеем ли мы право бросить на произвол судьбы то, что начали сами?

— Имеем ли право? Это наш долг.

— Бросить все на произвол судьбы?

— Отменить. Отложить. Когда нам давали задание, все обстояло иначе и здесь, и у нас на родине. В горах уже нет непокоренных жителей, которые оказали бы поддержку восстанию.

— Что ж, по-твоему, и рабов на острове больше нет? — прервал его Жан хриплым от волнения голосом, стараясь говорить как можно тише.

— Почему же? — спокойно возразил Дебюиссон. — Их много и здесь, и во многих других местах. Вопрос об их освобождении стоит и здесь, и в других местах. Но неужели ты вправду думаешь, что мы одни справимся с такой задачей? Не мы бросаем дело на произвол судьбы. Нас самих бросили на произвол судьбы те, на чью помощь мы рассчитывали. Поэтому нам лучше ни во что не ввязываться, пока правительство не подтвердит или, что тоже возможно, не отменит данного нам поручения.

Саспортас не сводил с него глаз. Потом тоже ровным голосом, как будто давно овладев собой, сказал:

— Можно, пожалуй, отменить какое-нибудь задание, отозвать того или иного человека. Но нельзя отменить народные волнения и движения. До сих пор, если народ поднимался против аристократов и помещиков, против господ и королей, даже если мы и не ожидали этого, мы всегда и везде были с ним, помогали ему, становились во главе...

— Далеко не всегда, — возразил Дебюиссон, но потом, сдвинув брови, будто уже устал от наивных и противоречивых доводов взволнованного Жана, спросил: — Так что же ты предлагаешь?

— Я поеду к Галлудеку, если ты не возражаешь, — почти прежним дружеским тоном сказал Саспортас. — Ему надо знать, как далеко зашло дело с подготовкой встречи в Баголийском ущелье. И он должен знать, что ты требуешь все это отменить.

Он ждал ответа, но Дебюиссон не проронил ни слова.

Ночью Саспортас долго размышлял, лежа с открытыми глазами. Впервые в жизни он почувствовал себя совсем одиноким. Но это было не то одиночество, о котором говорил ему Дебюиссон, когда они прибыли на Ямайку. Тогда Саспортас лишь впервые по-настоящему понял всю необычность их положения: они должны были исполнять свой долг, связанные с родиной лишь тонкой нитью полученного задания. Теперь и эта нить оборвалась: ведь Дебюиссон утверждает, что задание может быть отменено.

В своем старшем друге Жан видел пример для подражания. Теперь он понял, что и без примера, и без задания он должен сам найти правильный путь и пойти по нему.

Это не казалось ему трудным. Жан даже не задумывался над тем, как он это сделает. С радостью и гордостью он говорил себе, что с этой минуты будет действовать самостоятельно, по велению своей совести. Ему было все равно, что скажет новое правительство в Париже, что скажет Бонапарт, этот дерзкий и честолюбивый генерал.

Все это ошеломило Саспортаса. Но задача, поставленная перед ним, оставалась неизменной. Так он по крайней мере думал. Иначе

зачем бы посылали сюда его с Дебюиссоном и Галлудеком? Надо было подготовить освобождение английских рабов.

Теперь Дебюиссон хочет, чтобы начатое ими дело было предано забвению: все равно надеяться сейчас не на что. Так считает Дебюиссон. Но Саспортас думал иначе: «Мы установили связи с людьми в нескольких поместьях. Если мы их поднимем, а Куффе выступит со своими людьми... Пример Гаити заразителен! Там тоже все началось внезапно».

Ему хотелось как можно скорее увидеть Галлудека.

Дебюиссон лежал в соседней комнате и тоже не спал, ворочаясь с боку на бок. Послушается ли его Жан? Будет ли держать себя в руках, как он ему приказал? Дебюиссон чувствовал, что молодой человек уходит из-под его влияния. Жану кружило голову то, что он видел на Гаити — великое чудо свободы. Он уверен, что и здесь можно сделать то же самое. Но правительство в Париже еще недавно было заинтересовано в восстании негров прежде всего потому, что оно вело войну с Англией, и потому, что хотело вынудить Туссена, который казался французскому правительству слишком уж независимым, ввязаться в дело, когда здесь, на Ямайке, начнется восстание.

«Но здесь ничего не начнется,— думал Дебюиссон, глядя в темноту.— Время для таких восстаний, как на Гваделупе и на Гаити, уже прошло. Те, что еще не поднялись, теперь уже не скоро поднимутся. Рабы изрядно повышаются в цене, говорит мой дед, потому что прошел слух, будто правительство запретит привозить их сюда из Африки. Хитрецы же они, однако, соотечественники моей матери! Они вовремя предвидят опасность».

Мне нужно повидаться с Галлудеком, прежде чем Жан успеет заморочить ему голову. Нужно написать ему несколько слов. Только мои распоряжения должны исполняться. Ведь старшим назначили меня. Но что теперь значит «старший»? Что значит «назначили»? Ведь Бонапарт, наверно, не только сверг правительство, он, конечно, разогнал и всех начальников, все департаменты и службы?»

В эту минуту Дебюиссон и Саспортас, лежа и думая врозь, еще раз пустились мысленно в один путь — в то парижское учреждение, куда они ходили перед отъездом. И они оба увидели перед собой один и тот же письменный стол в одном из отделов этого учреждения и сидящего за столом человека. Человек поставил печать на их бумаги. Потом он поднялся и пожелал им счастливого пути.

Саспортас отчетливо помнил лицо Антуана. Он очень удивился тогда этой встрече и обрадовался ей. Но последняя печать, поставленная Антуаном на их бумагах, была для них, вероятно, прощанием навсегда.

«Даже этого человека,— думал Дебюиссон,— который выдал нам тогда документы, конечно, уже нет в учреждении. Мы не имеем права рисковать здесь жизнью — ни своей, ни чужой — ради дела, которое, может быть, давно уже сдано в архив. Упорствовать в его продолжении — значит, может быть, действовать против собственного правительства».

На следующее утро, когда Жан совершал прогулку по владениям Беринга, какая-то молодая рабыня, работавшая на поле, стала делать ему знаки. Сначала он не обратил на нее внимания, но она бросилась за ним вслед и догнала его. Саспортас плохо разбирал, что она говорит, и только услышав имя Энн, понял, что это она посылает ему какую-то

весть. Потом он узнал, что семья молодой рабыни жила в усадьбе Рэли и только недавно ее продали доктору Берингу — вернее, один из сыновей Рэли проиграл ее Берингу в Кингстоне в карты. Эта рабыня с детских лет знала Энн. Они сумели как-то переговорить через забор, отделявший усадьбы. Энн ждет его ночью неподалеку от хижины, где живет ее семья.

Утром того же дня — это был базарный день — Беринг с Дугласом отправились в гавань, а Дебюиссон поехал один к своему пациенту в усадьбу Рэли. Потом Элизабет уговорила его совершить совместную прогулку верхом в соседнюю усадьбу Дадли. Дом Дадли стоял не среди плантаций, а на высоком плато, с которого можно было обозревать все имение.

Их окружил целый выводок дочек хозяина, смешливых девчонок, которым Элизабет любила покровительствовать, — еще почти дети, но уже начинающие взрослеть. Они по-детски болтали без умолку, но в манере держаться у них проглядывали уже девические повадки. Это был веселый и шумный дом.

За обедом отец и братья Дадли выпытывали у Дебюиссона, что за новшества ввел его дед в своей винокурне. Однако Дебюиссон строго хранил семейную тайну, а может быть, и не знал ее. Дадли во всяком случае считали, что он притворяется, и подтрунивали над ним. Все смеялись. На целый час Дебюиссону удалось забыть о том, зачем он приехал на Ямайку. Потом он вдруг вспомнил рассказ Саспорта, что и здесь, в поместье Дадли, есть негр, который должен прийти на встречу в Баголийское ущелье. До этой минуты он не обращал внимания на рабов, стоящих за стульями — здесь еще соблюдались старые обычаи, — теперь же ему стало казаться, что его подслушивают, что за ним наблюдают.

Он сделал знак Элизабет, что пора уезжать. Она немедленно согласилась.

Когда они вернулись в усадьбу, вся семья Рэли — тетка, братья и кузены — уже собралась в столовой. Свечи были зажжены и в круглой белой гостиной. Но Дебюиссон вдруг решил не оставаться здесь дольше, поблагодарил хозяев и откланялся.

Дома он наткнулся на Дугласа, спящего у входа. Не нагибаясь, он стал будить негра — не то чтобы грубыми пинками, но легонько толкнув его несколько раз в бок носком сапога. Дуглас вскочил и выразил свою радость громкими восклицаниями. Дебюиссон был доволен: дед остался развлекаться в городе, Дугласа он отправил на рыночной повозке Люси домой с покупками для Блумфильда.

— В порту страшная суматоха, — рассказал Дуглас. — Прибыл большой корабль.

«Значит, дед, — подумал Дебюиссон, — привезет целый короб новостей, и многое прояснится».

— Пока же ничего нельзя предпринимать, ни малейшего шага! — произнес он вслух с таким жаром, будто ему кто-то возражал.

Необходимо было предупредить Галлудека, он, наверное, сейчас в мастерской Ноулса. Дебюиссон решил немедленно послать Дугласа в город под предлогом покупки лекарств, которые срочно понадобились Рэли.

Дуглас, хотя и не пришел в восторг от того, что придется потерять прекрасные часы, когда он мог полентяйничать, все же был готов услужить Дебюиссону. Не отличаясь большим умом, негр все же сразу сообразил, что самое важное в поручении молодого господина не лекарства, а записка, которую он должен передать в мастерскую Ноулса. Не выдав ничем своей догадки, он обещал выполнить все в точности.

Пользуясь отсутствием своих повелителей, Дуглас до прихода Дебюссона долго болтался без дела, лакомился на кухне у Люси, выпивал, судачил. Случайно он узнал, что молоденькая негритянка, прислуживающая Элизабет, улучив минуту, когда ее госпожа ушла из дому, пробралась к ним в усадьбу, наверное, к кому-то на свидание. Дуглас не мог успокоиться, пока не отыскал у стены, через которую перелезла девушка, ее след и пошел по нему. След привел его на самый край негритянского поселка. Дуглас страшно удивился, увидев в ложбине среди агав молодого белого господина с негритянкой. Старик зажмурил глаза, словно боялся, что их блеск может его выдать. К его досаде, девушка вскоре ушла. Она побежала домой, но не самым коротким путем, а через кусты, избегая залитых лунным светом лужаек. Маленькая и быстрая, как птица, она почти мгновенно исчезла в долине, где сходились границы трех поместий. Дуглас был очень раздосадован, хотя и не испытывал зависти. Угрюмо поплелся он обратно к усадьбе.

«Глупая девчонка,— думал он,— к ней так хорошо относятся Рэли, а она бежит сюда. Зачем напрасно рискует? Почему она слушается этого молодого господина, который ведь сам во всем слушается нашего господина Дебсона, сына моего прежнего хозяина?» Неудовольствие Дугласа дошло постепенно до ярости, когда он вернулся в усадьбу Беринга и улегся перед дверью, чтобы охранять дом. Он не смог бы объяснить, что его так сердит, если бы даже нашелся на земле человек, который спросил бы его об этом. Когда его разбудил Дебюссон, Дуглас уже почти все забыл — может быть, потому, что слишком крепко спал.

Доктор Беринг был его третьим хозяином. Первого — Джонатана Светтенхема — он почти не помнил. Тот был главой большого рода, известного и на Антильских островах, и в Англии. Его сыновья и внуки с их женами и детьми ездили в Лондон на праздники при дворе; предрассудки там были давно отброшены. Король знал, чем его корона обязана этой семье. Дочери Светтенхема, дерзкие и красивые, выросли в Вест-Индии; в Лондоне они не скрывали, что гордятся своими предками-пиратами, и даже похвалялись тремя родственниками, повешенными за морской разбой.

Доктор Беринг прибыл на Ямайку с кораблем, где он служил врачом. Он решил остаться здесь навсегда. Вскоре он стал лейб-медиком самых крупных помещиков. Молодой и предприимчивый, он задался целью стать таким же богатым, как и его пациенты.

Он вскружил голову молоденькой девушке, родственнице Светтенхема, приехавшей сюда из Лондона погостить. Она была не очень умной, хилой, болезненной и умерла при родах. Новорожденную дочь отправили в Лондон, к родным Беринга.

С тех пор Беринг вел холостяцкий образ жизни. Как он говорил, «погрузился в науку». Вскоре его ром приобрел известность, о его методах винокуренния говорили на всех плантациях. Постепенно увеличивалось выделенное ему Светтенхемом имение, на котором он хозяйничал от имени своей дочери.

Беринг вскоре забыл обеих — и жену и дочь. Но вдруг его дочь с мужем по фамилии Дебюссон вернулась на остров, который она покинула через несколько недель после своего рождения. В Лондоне она влюбилась в одного француза. Он занимал какую-то незначительную должность в посольстве, но не мог на ней удержаться, так как играл в карты, проигрывался и не платил долгов.

Дочь стала такой же красивой, дерзкой и лукавой, как все женщины из рода Светтенхемов. И, не затевая долгих объяснений со своим отцом,

«ромовым доктором», она тут же обратилась за советом и помощью к старику Джонатану Светтенхему.

Тот велел Берингу вернуть землю, выделенную для его дочери. Молодой чете одолжили немного денег, дали лошадей и мулов, немного скота, утвари, дом, мебель и семью рабов. Дебюиссону внушили, что он должен будет все это оплатить, но мало-мальски дельный человек здесь быстро оправдывает все свои расходы.

Дуглас был из невольничьей семьи, которую Джонатан Светтенхем подарил молодой чете. Он был сильным и рослым парнем. Прежде он почти целыми днями слонялся без дела — в поместье Светтенхема было слишком много негров. Но Дебюиссон выжимал из Дугласа все соки, потому что хотел использовать его силу, чтобы поскорее разбогатеть, а кроме того, обладание невольниками было ему внове, и он с радостью и удивлением испытывал не знакомую ему прежде неограниченную власть над человеком.

Молодая чета жила в любви, радости и довольстве. У них родился сын. Урожая сахарного тростника в винокурне Беринга превращались в огненную жидкость, и молодые люди удивлялись, как легко здесь зарабатывать большие деньги.

Начал ли Дебюиссон снова играть и проигрался ли опять — этого никто так и не узнал. Однажды после очередной пирушки они не вернулись из города. Землетрясение разрушило гостиницу. Из-под развалин вытаскивали гостей. Многие еще были живы, но тяжело изувечены и лежали в окровавленных праздничных одеждах. Пятерых задавило насмерть: старика Джонатана Светтенхема, его любимую внучку, отца Элизабет Рэли и молодую чету Дебюиссонов. Доктор Беринг, кутивший вместе с ними, один остался невредим и возвратился домой в глубокой задумчивости.

Теперь его владения снова округлились. Имение погибшей дочери снова попало под его опеку. Он внушил наследникам Светтенхема — старик Джонатан поднял бы его на смех, — что молодая чета заняла у него много денег на покупку мебели, одежды и повозок и поэтому их имущество должно остаться ему, Берингу.

С той поры Дуглас стал собственностью Беринга. Он нравился доктору своим высоким ростом и тем, что годился для роли привратника и лакея, сопровождавшего его в деловых поездках.

Тем временем мать Дугласа умерла. Его брата и отца Беринг отдал одному купцу в счет каких-то спорных долгов; купцу нужны были ловкие носильщики для поездок в гавань.

Дуглас был доволен своим новым хозяином, особенно когда сравнивал его с погибшим. Тот не давал ему передохнуть, не раз сажал на цепь и порол. Беринг же, когда заставлял его пьяным на полу у двери, орал: «Вот пристрелю тебя, так ты уж никогда не встанешь!» А когда Дуглас, бывало, выводил из себя Беринга за обедом своей непонятливостью, тот кричал: «Нагнись!» — и бил его кулаком в лицо.

Работа Дугласу выпадала чаще всего легкая. На острове был закон, обязывающий врача каждого церковного прихода лечить больных и общаться об умерших, черных и белых. Когда Беринг выезжал в город, Дуглас стоял на запятках, возвышаясь, как башня, над экипажем и лошадью.

Слыша разговоры о маронах, о нападениях и стычках в глубине острова, Дуглас радовался, что их усадьба расположена на побережье. Он цепенел от ужаса, когда кубинские егеря с собаками, лай которых доносился до господского дома, проходили по дороге. Особенно он боялся, как бы какая-нибудь собака не убежала и не перескочила через ограду их усадьбы. Он с облегчением вздохнул, когда доктор Беринг

сказал, что с маронами покончено. Борьба рабов на Гаити казалась Дугласу похожей на набег маронов. Он думал, что там весь остров разграблен «дикарями».

Его снова охватил страх, когда он услышал о недавнем нападении отряда Куффе на поместье Светтенхема. Но он не сомневался, что, терпя иногда неудачи, белые в конце концов справятся со всеми: с маронами, с бандой Куффе и с Гаити.

И хотя Дуглас, слоняясь повсюду и болтая с разными людьми, считал себя очень осведомленным человеком, на самом деле свои тяжелые думы невольники от него благозвучно скрывали.

Надсмотрщик Миртль приказал однажды выпороть какого-то негра; вскоре этот негр бежал. Говорили, что ему помог какой-то чернокожий, но свободный торговец, который разъезжал по всей округе и продавал самодельную посуду. «Если он успел добраться до маронов,— думал Дуглас,— значит, его прикончили вместе с ними. Если же он бежал к Куффе, тогда его, значит, скоро прикончат».

Своего бывшего хозяина Дебюиссона Дуглас ненавидел, но его сынишку любил всем сердцем. Доктор Беринг сердился, когда маленький Виктор, хотя тот и был его внуком, ползал у него под ногами. Дуглас вовремя уносил ребенка подальше и играл с ним; он ложился у двери, и мальчик взбирался ему на спину, подобную могучей спине буйвола.

Белый мальчик оставался веселым и приветливым и тогда, когда стал старше. Он приезжал в усадьбу на каникулы — правда, все реже и реже. И каждый его приезд был для Дугласа праздником. Услышав, что французы расстреляли молодого мистера Дебсона, Дуглас залился безутешными слезами. А когда хозяин сказал, что молодой господин жив и скоро вернется, Дуглас запрыгал от радости.

И вот мистер Дебсон приехал — и уже не в гости. Он привез какого-то странного молодого белого — не настоящего слугу и не настоящего барина. Мистер Дебсон всегда говорил с Дугласом на понятном языке господ: «Дуглас, сделай то!», «Дуглас, сделай это!» — и все было ясно. Чужой белый говорил так тихо, словно боялся, что у него заболит горло, если он хоть чуточку повысит голос. Дебсон всегда бывает с ним вместе, они шепчутся, вместе читают книгу, вместе ездят верхом, вместе лечат больных. Хотя Дебсон был по-прежнему приветлив с Дугласом, но уже не так к нему привязан, Дуглас это чувствовал. Дебсон теперь ни шагу не делает без этого молодого белого. И как ему только удалось так быстро завоевать сердце Дебсона?! И не только его, а даже негритянки из поместья Рэли...

А Дуглас был по-прежнему привязан к Дебсону, который когда-то ездил на нем, как на буйволе. И хотя теперь его господином стал мистер Беринг — хороший господин, — он ничего не рассказывал мистеру Берингу, например, о том, что Дебсон посылал его в мастерскую Ноулса. И если человек, которого мистер Беринг не желал больше видеть у себя в поместье, передавал ему там письма для мистера Дебсона, Дуглас тоже ничего про это не рассказывал, хотя никто не приказывал ему молчать.

О времени, его мере и течении Жан Саспортас знал почти так же мало, как и его возлюбленная. Правда, он научился здесь ориентироваться по звездам: взглянет на них — и знает, какая часть ночи уже прошла. Но он не помнил, давно ли они с Энн сошлись, и не знал, прошло ли с той поры несколько дней или недель.

Ничуть не удивившись просьбе Жана, Энн собралась в путь. Дело было спешное, и ей некогда было подумать о том, что путь долог и ей никак не удастся вовремя вернуться домой.

Галлудек немного задержался в мастерской Ноулса, думая, что Дебюиссон, получив от него известия, попытается с ним связаться. Когда появился Дуглас, Галлудек пробежал глазами письмо и сказал: «Ну что ж». И ни слова больше. Потом ушел.

Долгие годы с того дня, как Дебюиссон перешел на сторону республиканцев, он относился к нему с безграничным уважением: ведь исход борьбы был тогда не ясен... Его уважение к Дебюиссону еще возросло, когда тот решил вернуться на Ямайку, чтобы подготавливать там освобождение рабов. Он ревновал его к Саспортасу, потому что этот неопытный молодой человек повсюду сопровождал Дебюиссона и жил с ним в одном доме.

Теперь же, возвращаясь в Аннота-Бей, он вспомнил о записке Дебюиссона: он почувствовал, что тот колеблется и не хочет идти по избранному пути до конца. Правда, Дебюиссону приходилось остерегаться, как бы письмо не попало в чужие руки, и поэтому он лишь напомнил Галлудеку, о чем они условились, — это могло относиться к запрету Беринга появляться в его поместье. Потом Галлудек вспомнил об их последней встрече и о тех указаниях, которые Дебюиссон, как тогда он считал, давал ради осторожности. Но сейчас у Галлудека мелькнуло подозрение: а не попал ли Дебюиссон под влияние прежней своей среды? Может быть, в душе он был бы рад, если бы дело тормозили из Парижа?

Галлудек проклинал длинный путь до верфи, по которому ему пришлось тащиться с мулами, взятыми с собой для отвода глаз. Когда он наконец добрался до верфи, Джек, старший из Крокрофтов, сообщил ему с игривой улыбкой, что его дожидается молоденькая негритянка, и прехорошенькая.

В письме, которое ему незаметно сунула Энн, Саспортас сообщал о времени и месте встречи и просил Галлудека сразу же послать Роберта Крокрофта в кузницу к Бедфорду. Размышляя над письмом, Галлудек гладил девушку по голове. Энн так устала, что даже не улыбнулась ему.

Тем временем в усадьбе Рэли разыскивали Энн. На другое утро ее нашли в саду, в самом дальнем конце поместья. Она с плачем рассказала, что вывихнула себе ногу и всю ночь звала на помощь. Ее принесли к мисс Элизабет. Та сразу же заявила, что не верит ни одному ее слову и что, если она тотчас не встанет на обе ноги, ее хорошенько выпорют. Энн созналась во лжи. Ее посадили в вонючий подвал с решетками на окне, служивший тюрьмой.

Этого подвала Энн боялась всю жизнь. Но, очутившись в нем, она подумала, что это пустяк по сравнению с тем, чего она ждала, и заснула, свернувшись калачиком, — в этой норе нельзя было ни встать, ни лечь во весь рост. В подвале было душно, как в джунглях. Зато она могла сколько угодно вспоминать о последней встрече с Жаном, вспоминать без страха, с радостью.

Разгневанная Элизабет решила подарить молоденькую негритянку одной из дочек Дадли.



Многому и в короткий срок научился юный невольник Бедфорд, работавший по приказанию надсмотрщика Глэвиша на уединенной кузнице.

Любому другому показалось бы немислимым собрать всех верных, готовых действовать рабов в Баголийском ущелье. Нужно было сохранить в тайне не только место встречи, но и имена этих негров; каждый шаг был опасным, смертельно опасным, опасными были и уход и возвра-

шение: ведь он самовольно отлучался из поместья. Но Бедфорд даже не представлял себе, как велика его роль в этом деле. Лишь немногие люди, наделенные выдержкой и умением разбираться в человеческих душах, обладающие сильным умом и мужеством, способны были бы на такой подвиг,— он был одним из этих немногих. Он не знал, что почти все события, которые навсегда остаются в памяти людей, начинались с таких тайных встреч, и если даже они ни к чему не приводили, все равно они сообщали жизни течение, не давая ей застояться.

По поручению Дебюиссона Саспортас в ту ночь, когда они остались в усадьбе Рэли, передал Бедфорду, что намеченную встречу лучше отложить. Бедфорд возразил, что откладывать уже поздно. Он не сводил с Саспортаса глаз, ему было больно. Он сразу же почувствовал, что белые начинают медлить. Медлил, конечно, тот, главный, которого он и в глаза не видел, а Саспортас — в этом Бедфорд не сомневался — послушно исполнял все приказания. С той ночи Бедфорд стал опасаться, что белые бросят его на произвол судьбы. Ему чаще, чем прежде, приходила в голову мысль о смерти. Правда, он всегда знал, что может быть убит, смерть подстерегала его и во время отважных и запретных предприятий, и каждый день его мог погубить необдуманый приказ,— и он кончил тем, что совсем перестал думать о смерти. Только мысль, что Саспортас может его покинуть, возмущала его сердце.

За это время ему наконец удалось повидаться с Куффе. Сколько раз он пытался встретиться с ним! Но напрасно он перебирался через водопады, преграждавшие путь в Баголийское ущелье,— встреча их произошла совсем иначе.

Однажды ранним утром к кузнице подъехали несколько человек, которых он принял за белых господ, и с ними трое черных рабов. Они велели Бедфорду подковать их лошадей. Не дождавшись, когда он закончит работу, они поспешно удалились, оставив с двумя лошадьми негра. Вдруг негр спросил:

— Это ты Бедфорд?

— Да, я.

— Ты искал Куффе?

— Да.

— Зачем?

— Он мне нравится, он смелый негр.

— А ты смелый негр?

— Да.

— Хочешь знать, как выглядит Куффе?

— Да.

— Он выглядит так же, как я.

Бедфорд почтительно поклонился. Куффе был ниже его ростом, казался изнуренным, затравленным. Лицо у него было злое и изуродованное. Бедфорд знал, как жестоко его били плетью перед тем, как он бежал. Глаза его горели.

— Не медли, Бедфорд, не то будет слишком поздно! Чего ты ждешь? Не доверяй белым, иди скорее к нам или мы придем сюда, к тебе. Можешь не сомневаться, придем.

— И среди белых есть хорошие люди. Я знаю одного белого, который помогает нам.

— Белый? Чем же он помогает? Почему?

— Берегись, идет управляющий.

В дверях кузницы появился Глэвиш. С минуту смотрел он на них.

— Ты чей?

— Молодого мистера Светтенхема, сударь.

— Что ты здесь делаешь?

— Господа уехали в город, сударь.

— Так поторопись и ты. Чего ухмыляешься, негр?

— Ах, сударь,— смиренно сказал Куффе, блестя глазами,— я не ухмыляюсь, мне разорвали рот.

— Маловато разорвали, не до уха, притом с одной стороны,— буркнул Глэвиш и пошел своей дорогой.

— Как ты терпишь такую гадину? — тихо сказал Куффе.— Идем к нам.

— Не могу,— возразил Бедфорд.— Очень много негров меня ждут. Я обещал встретиться с ними. Мы все поднимемся, все в одно время. Так началось на Гаити. И ты, Куффе, ты тоже придешь тогда с гор...

— Я скоро приду сюда, и кто захочет, пусть уйдет со мной в горы.

— А мы, как те на Гаити, двинемся по всем поместьям.

Один из мальчиков свистнул, подавая знак. И тут же в дверях кузницы снова появился Глэвиш. Прежде чем он успел разразиться бранью, Куффе вывел лошадей и мгновенно исчез. Глэвиш вытарашил глаза на деньги, которые тот положил в последнюю минуту. Глэвиш сунул их себе в карман и ухмыльнулся: денег было больше, чем следовало за работу.

Доктор Беринг узнал в Кингстоне одно: что Бонапарт намерен покончить с прежними порядками. Поговаривали, что теперь, возможно, будет мир с французами. Но большинство — огромное большинство — считало, что там у них один другого не лучше. Пусть себе сворачивают друг другу шею — это для нас совсем неплохо.

Виктор Дебюиссон лишь качал головой: ведь теперь не было даже писем, которые им прежде регулярно доставлял с Гаити американский корабль.

— Неужели он притворяется? Зачем он так лицемерит? — недоумевал Саспортас.

Вместо прежних четких указаний теперь оставался один, да и то, в сущности, не высказанный до конца совет: заботься о себе сам и поступи, как знаешь.

Доктор Беринг привез из города французскую газету, которую выклянчил у какого-то эмигранта, нашедшего себе, по примеру Галлудека, работу у одного мулата-ремесленника. В газете напечатаны были списки вновь назначенных чиновников. В одном из таких списков Дебюиссон и Саспортас обнаружили на высокой должности знакомое имя — Сервэн. Они вспомнили, что именно он проверял перед отъездом их документы. Учреждение, в котором он работал вместе с Антуаном, видимо, больше не существовало. Вообще все упразднили или изменяли, всюду были иные люди, иные названия.

«Если бы Дебюиссон был честен,— думал Саспортас,— он бы сказал: «У меня есть возможность остаться здесь. Оставайся и ты со мной. Если же не хочешь, то уезжай через Кубу во Флориду, а оттуда во Францию. Через Гаити ехать не надо. Этим ты только нанесешь мне вред, поскольку я собираюсь здесь остаться».

Но Дебюиссон сказал:

— Нас забыли и на Гаити. Комиссар Эдувилль, который плыл с нами на Антильские острова, наверняка уже давно вернулся во Францию. Этот Туссен спроваживает одного французского комиссара за другим. Он не терпит ничьих указаний. Для него главное — его остров.

Закон, обязывающий помещиков сообщать о случаях смерти в их владениях, помог Саспортасу встретиться с Галлудеком скорее, чем он надеялся.

Одна из плантаций Светтенхема находилась в стороне от основной части имения, на северном побережье. Там была даже небольшая гавань для отправки товаров на Кубу. В негритянских бараках этой плантации вспыхнула эпидемия, унесшая множество жизней, особенно много погибло детей. Саспортас, как всегда, сопровождал Дебюиссона в поездке туда.

Тем временем Роберт Крокрофт по просьбе Галлудека несколько раз наведывался в кузницу, чтобы узнать, нет ли письма от Саспортаса. Хотя Галлудек по-прежнему считал благоразумным самому в кузницу не показываться, однако, как сказал Крокрофт Бедфорду, он ни на минуту не терял из виду своих друзей.

Едва они отправились в путь, Саспортас нашел повод остановиться у кузницы, чтобы расспросить кое о чем Бедфорда. Тот с непроницаемым лицом, втихомолку поглядывая по сторонам, рассказал ему, что Коллингс, готовясь к уборке урожая, купил себе трех рабов. Они еще в порту, но, как только сюда прибудут — их можно ждать с минуты на минуту, — наверняка примут участие в восстании: ведь они совсем недавно потеряли свободу.

Саспортас спросил, какое решение они приняли в Баголийском ущелье. Бедфорд медлил с ответом, и по его колебанию Жан почувствовал, что он уже не так охотно прислушивается к его советам и даже не так уж в них нуждается.

— Мы добьемся свободы, как на Гаити, — сказал Бедфорд и добавил: — Что мы решили, это ты сам увидишь.

Больше ничего, к великому огорчению и разочарованию Саспортаса, он так и не сказал.

На той северной плантации Светтенхема, куда они ехали, назначено было отслужить молебен по настойчивой просьбе священника. Негры, работавшие здесь, были рабами уже второго поколения; при появлении на свет их всех крестили. «Но если они, — говорил священник, — не найдут в церкви утешения в своем отчаянии, то вскоре они вернуться к языческим обрядам и будут убегать по ночам в горы, чтобы тайно молиться своим идолам».

Приехал сюда и мистер Светтенхем, внук старого Джонатана. Вместо погибших от эпидемии негров он приобрел новых и теперь опасался, что поступил слишком опрометчиво. Рабов ему хватало, даже перед жатвой он не собирался никого покупать. И вот такой случай... Издержки велики, а самых сильных негров еще до аукциона распределили между собой несколько плантаторов. Дадли достались все крепкие парни, а ему все маленькие и хилые.

Дебюиссон в утешение ему сказал, что больные есть и в поместье Беринга и наверняка будут и смертные случаи, хотя его дед, как он ни скуп, не пожалеет для них рома, который он считает лучшим средством от желтой лихорадки и любой другой болезни.

Упомянув о роме, они захотели выпить и просидели за рюмкой до глубокой ночи. О Саспортасе как-то позабыли. Пользуясь этим, он вскоре ушел и, взяв лодку, добрался до мыса, к месту встречи с Галлудеком: мыс этот входил в светтенхемские владения, но был заброшен и необитаем. Галлудек пришел туда из соседней деревни Сен-Энджел, называвшейся так по имени разрушенного испанского города Сан-Анхело, на месте которого ее построили.

Оба сразу признались друг другу напрямик — времени на поиски смягчающих обстоятельств у них не было, — что, узнав о захвате власти

Бонапартом, каждый из них с опаской подумал, как поведет себя теперь Дебюиссон: будет ли он действовать быстро и решительно, чтобы поставить новое правительство перед совершившимся фактом, или станет выжидать, чтобы избежать риска?

Они установили также, что после долгих одиноких размышлений оба они пришли к одной мысли: очевидно, мужество бывает двух видов (Галлудек даже утверждал, что трех или четырех, а может, и более). Ведь тот же Дебюиссон под впечатлением решительных действий республиканцев и восстания Хупеса на Гваделупе решительно порвал со своей прежней средой. А теперь он ищет самого легкого, самого безопасного пути и снова тянется к помещикам, возобновляет родственные связи...

Саспортас сказал Галлудеку, что Бедфорд чувствует себя обманутым и не рассчитывает больше на их помощь.

Это не значит, возразил Галлудек, что мы должны предоставить его собственным силам и медлить с подготовкой восстания. Гораздо разумнее вернуть себе доверие Бедфорда, поскорее передав Куффе склад оружия, который мулаты спрятали в Баголийском ущелье для Риго. Уж кому-кому, а Куффе это оружие пригодится. А Бедфорд найдет способ известить его, где это оружие взято.

Надо остаться с неграми — это их долг. Саспортас и Галлудек были единодушны в этом. Если же с одним из них приключится беда, то пусть другой сообщит на родину, что его друг, пока было возможно, выполнял свое задание.

Саспортас сказал:

— Если что случится со мной, походи в то учреждение, где нам выдавали перед отъездом документы. Ты найдешь там Антуана, моего друга и хорошего гражданина. Уж он-то, конечно, не изменил своим взглядам.

Как ни коротка была их встреча, каждый из них, возвращаясь домой, испытывал прилив новых сил и благодарность за то, что у него есть настоящий друг на свете.

Саспортас и Дебюиссон потратили еще несколько дней на посещение усадеб и поселков, расположенных на пути, которым они возвращались домой. Почти везде были умершие от желтой лихорадки. В поместье Коллингса доставили только что купленных рабов.

Напоследок они побывали в имении Рэли. Один из кузенов Элизабет лежал в жару. Возможно, он заразился желтой лихорадкой, а может быть, это была другая болезнь.

Элизабет отозвала Дебюиссона в сторону и сказала:

— Передайте, пожалуйста, вашему помощнику, чтобы он не смел больше отвлекать от работы мою служанку. Скажите ему, что она умчалась сегодня на ферму Коллингса, а может быть, и еще дальше. Мне это совсем не нравится. Я обещала подарить ее мисс Дадли.

12

Это случилось через неделю после их возвращения. Доктор Беринг ворвался ночью в комнату, где спал Дебюиссон, с криком: «Пожар!» Надсмотрщик Миртль, объезжая плантации, заметил зарево на границе трех поместий.

Старик велел Дебюиссону немедленно ехать к Миртлю и проследить, как тушат огонь. Участок, откуда шла опасность — клин, где сходились три владения, — приказано было окопать канавой. Беринг распорядился окопать и центральную часть своего поместья, которую все называли «Ромовой деревней», где находились мельница, винокурня и очиститель-

ный завод. Там не видно было огня, но и оттуда несясь набат, и там затрубили в рога тревогу. Все негры, их жены и ребятишки сразу же с криком и шумом высыпали из своих хижин.

Беринг остановил Саспортаса и сказал:

— Вы будете помогать Блумфильду!

Свои приказания старик отдавал тонким, пронзительным голосом. Он был трезв, хотя пил в тот день очень много: опасность его отрезвила.

Беринг всегда ценил Блумфильда, управлявшего «Ромовой деревней». Этой ночью он еще раз убедился, что Блумфильд отлично справляется со своим делом. Хотя никаких признаков пожара здесь еще не было, Блумфильд внушал неграм, что огонь к ним приближается:

— Дойдет и до вас, если не будете быстрее копать. Вот я запрю вас всех в сарае, а то и погоню за канаву, прямо в огонь.

Он приказал выкатить бочки с ромом, расставить вдоль линии, где наметил противопожарный ров, и обещал открывать их по очереди, как только до бочки дойдет ров. Сидя на коне, он хлестал негров плеткой и покрикивал:

— Чем быстрее будете работать, тем скорей получите свою бочку!

Дуглас бежал от Беринга к Блумфильду и обратно, передавая приказания. Он пыхтел и задыхался, но очень нравился себе самому в этой роли. Он отбегал, когда Блумфильд замахивался на него плетью, но всегда первым оказывался на месте, как только открывали очередную бочку.

Когда женщины и дети стали выбиваться из сил и работа замедлилась, Блумфильд стал еще быстрее объезжать ряды землекопов. Увидев Саспортаса, он крикнул ему:

— Хлещите же их, сударь!

Он подождал минуту. Саспортас не шевельнулся.

— Так вот оно что! — сказал Блумфильд и щелкнул плетью, окинув Саспортаса презрительным взглядом.

Дебюиссон, еще не доскакав до Миртля, увидел бушующее пламя. Ему казалось, что весь воздух заполняется вихрем горящей соломы, которая, разлетаясь во все стороны, окрашивает ночь багровой краской. Миртль, подъехав к нему, крикнул:

— Охраняйте этот участок! — И поскакал в другую сторону.

Но отъехав немного, он остановился и крикнул:

— Глэвиша нет в живых!

Ошеломленный Дебюиссон прокричал ему вслед:

— Какого Глэвиша?

— Управляющего Коллингса, — выкрикнул, обернувшись еще раз, Миртль. — Его убили в кузнице!

Казалось, что от усадьбы Коллингса надвигается сплошное облако раскаленной пыли. Какой-то пожилой негр, охваченный ужасом и яростью, ударил молодого, крича во все горло:

— Копай быстрее!

Вернулся Миртль и сказал Дебюиссону:

— Вот вам и репетиция, сударь!

«Репетиция? — удивился Дебюиссон. — Что он называет репетицией?»

Откуда-то возник маленький мистер Коллингс. Он умолял Миртля присмотреть и за его участком противопожарного рва: ведь сам Коллингс теперь остался без управляющего.

— Конечно, сударь, конечно, — успокоил его Миртль. — Можете на меня положиться.

— Здесь-то мы справимся,— сказал молодой мистер Рэли, следивший за работой.— Но знаете ли, мистер Дебюиссон, ведь у Светтенхемов тоже горит.

— Да? Подумать только, я был там лишь на прошлой неделе,— растерянно воскликнул Дебюиссон.

— От этого ничего не меняется,— с улыбкой заметил Рэли. Всегда спокойный, он и теперь владел собой.

— Идите домой, мистер Коллингс,— сказал Миртль.— Мы присмотрим за всем клином — господу Рэли, Дебюиссон и я.

Рэли спокойно и сильно хлестал плеткой каждого, кто, по его мнению, копал без усердия. Вдруг он насторожился, увидев трех огромных негров, которых, как ему было известно, купил недавно для своего хозяина Глэвиш. Они стояли на противоположной стороне рва плечом к плечу. Один из них, взяв лопату в обе руки, держал ее наперевес, двое других небрежно опирались на свои лопаты. Рэли крикнул одному из своих рабов:

— Объясни этим парням, что они сгорят, если не будут работать вместе со всеми.

Тот перелез через ров и что-то сказал чужим неграм; неизвестно, поняли они его или нет, только они засмеялись. Рэли подозвал Миртля, они о чем-то посоветовались. Еще несколько негров вдруг прекратили работу и замерли в ожидании. Миртль вынул пистолет. Мистер Коллингс, стоявший рядом, начал упрашивать:

— Нет, нет... не надо!

Миртль был взбешен, но все-таки подумал, что эти три парня стоили Коллингсу кучу денег, и выстрелил в воздух над их головами. Все трое ухмыльнулись блеснув зубами, но все же взялись за работу, хотя и без всякого рвения. Еще один огненный столб поднялся над усадьбой Коллингса. Пахло гарью. Миртль крикнул Дебюиссону:

— Ради бога, сударь, действуйте!

И опять поскакал вдоль рва, орудуя что было сил плетью. Дебюиссон одно мгновение смотрел, оцепенев, на пожар, потом встрепенулся и стал делать то же, что делал Миртль. Он ударил хлыстом негра, остановившегося перевести дух.

Солнце еще не успело взойти, как они вернулись в усадьбу. Повсюду лежали на земле негры — то ли пьяные, то ли убитые или загнанные на работе. Все, что они сделали, оказалось ненужным — огонь заглох, не дойдя даже до рва на границе поместий.

Носилось множество слухов. В городе говорили, что горели все три усадьбы. Где возник пожар, установить не удалось: видимо, маленький очаг огня, который заметил надсмотрщик Миртль, не был единственным.

Самая большая беда свалилась на Коллингса. Что произошло с его управляющим, с Глэвишем? Никто этого толком еще не знал.

Молодой Рэли пришел в усадьбу Беринга, которую обычно он объезжал стороной. Все белые господа и даже надсмотрщики собрались в столовой подкрепиться. Рэли уже знал некоторые подробности того, что они называли несчастьем Коллингса.

— Как волка ни корми, он все в лес глядит,— рассказывал Рэли.— Так и любимчик Глэвиша черномазый кузнец Бедфорд убил его в припадке безумной ярости, а сам скрылся в зарослях.

В усадьбе Дадли тоже вспыхнул было пожар, но его сразу же потушили.

Рэли, сообщив новости, не стал слушать всякие догадки; он даже не сел за стол и гут же уехал.

Вдруг словно чья-то могучая рука сдернула с неба темный полог — и на землю хлынул яркий солнечный свет. Усталые, потные, полупьяные люди, сидевшие в комнате, зажмурились, ослепленные им. Но напрасно: хотя ярко, палящее солнце еще только поднималось над горизонтом, оно затопило своим беспощадным светом всю комнату, от него некуда было скрыться.

Старик Беринг поднялся и сказал:

— А не попробовать ли немного поспать?

Но он тотчас же вернулся и показал бумажку, найденную им у себя на кровати. На ней было нацарапано: «Скоро мы будем здесь. Куффе». Все онемело от ужаса. Но Беринг рассмеялся:

— Бахвальство! Я сперва пойду выплюсь, а потом отвезу эту записку в город, губернатору.

Все успокоились и стали обсуждать, что может означать эта записка. Блумфильд считал ее просто скверной шуткой, не более. Никто не верил, чтобы эту записку мог написать сам Куффе, главарь банды. Он засел слишком далеко отсюда, в горах, и не представляет опасности даже для Светхенема — ведь его плантации теперь надежно охранялись отрядом недавно прибывших на остров солдат, а прежний гарнизон строго наказали за нерасторопность во время последнего набега Куффе. К тому же теперь через водопады Баголийского ущелья переправили пушки и установили их в укрытиях на самом высоком плато.

Когда наконец Дебюиссон остался наедине с Саспортасом, он, поблуднев от гнева, спросил:

— Уж не ты ли это сделал, глупец?

— Я ничего об этом не знал,— спокойно ответил Саспортас,— и я ничего не писал.

— А кто же тогда? — спросил Дебюиссон, схватив его за ворот.

Саспортас посмотрел на него — Дебюиссон весь трясся от злости. Он пожал плечами и ответил:

— Кроме меня, здесь есть еще немало людей, которые, как мне кажется, способны на это. Иначе чего бы мы стоили? Есть тут несколько мулатов, двое белых и негры...

Дебюиссон едва слышно, будто у него слиплись губы, прошипел:

— Что? Какие белые?

Саспортас с улыбкой ответил:

— Если не я и не ты — значит, двое других. Может быть, Свеби, который выручил Бедфорда, когда тот опоздал вернуться из Баголийского ущелья и ему угрожал расправой Глэвиш. Не думаешь ли ты, что арендатор Свеби любит помещика Коллингса? И разве Галлудек зря встречался с ним? И среди негров... да ведь и сам Бедфорд умеет читать и писать...

— Значит, это сделал Бедфорд перед тем, как убить Глэвиша. Но кто ему помогал? В нашей усадьбе! Боже мой, кто же ему помогал? И где он теперь, этот Бедфорд?

— К счастью, он убежал,— ответил Саспортас.

Дебюиссон задумался, потом сказал:

— Я тоже попытаюсь уснуть.

Вскоре Дебюиссона разбудили: пришло известие, доставленное гонцами по эстафете, что внезапно заболел один из Дадли, брат веселых девушек. Когда Дебюиссон вошел в комнату Саспортаса, тот все еще стоял, прислонившись к стене, на том самом месте, где Дебюиссон его оставил. Погруженный в свои думы, Жан даже не заметил, как пролетело время. По его лицу было видно, что он не переставал чего-то ждать, к чему-то прислушиваться, на что-то надеяться.

— Пошли,— сказал Дебюиссон,— собирайся! Нас ждут.

Саспортас облегченно вздохнул, когда они выехали из усадьбы Беринга, направляясь в центральную часть острова. Но лицо юноши осталось по-прежнему напряженным и сосредоточенным. Они проехали мимо ворот усадьбы Рэли, мрачных каменных испанских ворот в низкой кирпичной стене, и вскоре оказались высоко над усадьбой, на крутом подъеме, куда оскорбленный и растерянный Саспортас — сколько дней или недель прошло с той минуты? — ускакал от своего друга, а потом, ища примирения, вернулся к нему обратно. Сейчас вся эта долина также купалась в лучах солнца. Казалось, не было ни событий прошедшей ночи, ни пожара, бушевавшего совсем близко отсюда. Чистый воздух, напоенный запахом земли и моря, пробуждал бесчисленные желания и страсти, волнения и надежды.

Дебюиссон вдруг сказал:

— До жатвы осталось всего лишь несколько дней.

До этой минуты оба они молчали. Саспортас и теперь не проронил ни слова.

— Здесь могло произойти то же, что на Гаити, — сказал Дебюиссон.

«Еще может произойти», — хотел было добавить Саспортас, но промолчал. Он вдруг понял, что сейчас здесь нечего ждать. Когда они объехали вершину, поднявшись еще на один виток спирали, он понял и другое: красота этой долины, где созревал урожай, — вот та ужасающая цена, которую нужно было уплатить. И не когда-нибудь, а сейчас, без промедления, без отсрочки. Но этой цены не уплатили, и поэтому все осталось таким же, как было прежде.

Они ехали мимо лимонной роши Коллингса. Вдруг их кто-то окликнул. Это был новый управляющий, тоже Глэвиш, племянник убитого. Он лишь недавно прибыл в Кингстон. Дядя, возмущенный его приездом, оказал ему самый холодный прием. Этот парень еще в Англии доставил ему немало хлопот своими наглыми вымогательствами и долгами, своими сомнительными коммерческими делами и серьезными неприятностями с полицией. Но племянник твердо решил: где бы дядюшка ни поселился, если ему там повезет — он последует за ним.

Молодой Глэвиш прибыл в Кингстон в базарный день и сразу же встретил дядюшку. Тот приветствовал его заявлением, что, если он когда-нибудь появится в усадьбе Коллингса, его немедленно арестуют и вышлют с острова. Однако такое радушие не напугало племянника. «Рано или поздно, — подумал он, — и я выйду в люди». И вот до постоянного двора, где он приютился, долетел слух об убийстве в кузнице Коллингса.

Он тут же принялся действовать со всей энергией. В ловкости ему нельзя было отказать. Беспомощному в беде Коллингсу показалось, что само провидение послало ему молодого Глэвиша — ведь надвигалась жатва. А рабам показалось, что они видят перед собой призрак убитого, который так же дерзко и бесстрашно разъезжает верхом, вырядившись в одежду своего дяди и с дядиным патронташем.

— Меня зовут Фред Глэвиш, — представился он, подъехав к воротам. — А вы, вероятно, доктор Дебюиссон? А вы — Саспортас? Знаете ли вы, господа, что убийца моего дяди Бедфорд уже схвачен? Его поймал какой-то мулат на северном побережье. Тот хотел угнать его лодку. Наверное, вообразил, что доберется на ней до Гаити. Говорят, он всегда держался нагло с моим дядей, этот Бедфорд. А когда однажды дядя приказал высечь его, чтобы приучить вовремя являться в кузницу, он просто рассвирепел.

Хотя молодой Глэвиш говорил мрачным тоном, глаза его сияли — ведь такая удача, как его, выпадает не каждому приехавшему на остров!

— Вы едете в усадьбу Дадли? — спросил он. — Какая беда, что это случилось с молодым господином Дадли перед самой жатвой! Просто ужасно. Мой дядя, как говорил мне мистер Коллингс, всегда утверждал, что уборка урожая — это великое испытание. Чернокожим выдают тогда мачете — иначе чем бы они работали? — и тогда становится ясно, что им больше нравится — резать сахарный тростник или наши головы. Тогда же выясняется, на что способен управляющий. «Ваш дядя, — сказал мне мистер Коллингс, — знал свое дело, теперь покажите, на что способны вы».

— Завтра, когда мы будем возвращаться, — прервал его Дебюиссон, — вы нам доскажете!

Они умчались галопом. Дорога спускалась отсюда прямо в горную долину, где находилась усадьба Дадли. Дом походил на замок с бойницами, как в старину. Лесистые горы здесь подступали совсем близко и казались непроходимыми.

Когда Дебюиссон приезжал сюда с Элизабет Рэли, он не чувствовал угрозы, таящейся в этих горах. И дорога казалась ему тогда гораздо короче. И веселые девушки, заполнявшие своим смехом весь дом, теперь ходили опечаленные: их любимый брат был тяжело болен.

В семье Дадли боялись, как бы желтая лихорадка, свалившаяся у них пока лишь нескольких негров, не поразила весь поселок ко времени жатвы. Барышни Дадли рассказывали, что позавчера у них в усадьбе чуть не возник по неосторожности пожар. Виновных высекли и посадили под замок — пусть посидят до уборки урожая. Секли их не очень сильно и держали взаперти не так уж строго: ведь их руки скоро понадобятся. Какое счастье, что работавшие в поле рабы сами потушили пламя раньше, чем появился надсмотрщик!

Дебюиссон и Саспортас провели весь день в усадьбе Дадли. Когда больному стало лучше, сестры его повеселели. До поздней ночи они болтали без умолку. Рассказывали, как здесь, в горах, искали с собаками беглого раба Бедфорда. Но он оказался ловким и сильным и бог весть каким способом быстро добрался до северного побережья. Его и там не нашли бы, если бы он не попытался украсть лодку.

Имен Крокрофта и Галлудека в разговоре никто не упомянул. Вероятно, так и осталось бы неизвестным, имел ли кто из них отношение к этому побегу. Но под утро, когда все еще сидели в зале, старшая из сестер кликнула свою рабыню. Это была Энн. Она принесла еду и вино. Приезда Саспортаса она ждала с того дня, как заболел молодой Дадли и в усадьбу Беринга послали гонца. От одной из рабынь, работавших в поле, Саспортас уже знал, что Энн находится теперь у новых хозяев, далеко от него, и это его горе сливалось с волнениями, которые он пережил в последние дни...

Увидев друг друга, Энн и Саспортас опустили глаза. Энн растерянно поглаживала пальцами ручку кувшина.

— Наливай же! — нетерпеливо приказала новая хозяйка. — И ступай к брату!

Саспортас вышел вслед за Энн. Они на минуту задержались за дверью. Белый слуга семейства Рэли, пробегая мимо, с любопытством оглянулся на них. Руки Энн были заняты посудой. Ее ресницы коснулись ладони Саспортаса, когда он провел рукой по ее волосам, по лицу и глазам.

— Бедфорда укрыл младший Крокрофт, — шепнула Энн.

Она только не знает, помогал ли ему брат или из страха сам выдал беглеца. Бедфорда, вероятно, уже нет в живых, но если он еще жив, то все равно никого не выдаст.

Энн обещала выяснить, что с Галлудеком, и устроить им встречу, если удастся. Она была почти уверена, что это ей удастся. Ведь тут ей жить гораздо привольнее, чем у Рэли, сказала она к удивлению Саспор-таса.

В это время доктор Беринг находился в городе, в кабинете у губернатора. Тот выслушал его рассказ и тоже посмеялся над запиской, которую старик нашел у себя на кровати.

— Еще при моем предшественнике, — сказал он, — если у кого-нибудь пропала свинья или курица, поднимали крик, что это дело французских агентов. Но, уверяю вас, наши неприятности не имели никакого отношения к революции. Они начались еще задолго до тысяча семьсот восемьдесят девятого года, когда в глубине острова обосновались наши постояльцы — мароны и всякий сброд из беглых рабов и арестантов. Достаточно было, однако, немного полаять собакам, чтобы приструнить их. Я и тогда действовал под свою ответственность, хотя некоторые наши господа и утверждали, что я не имею на это права. Это, мол, нарушение договора — как будто можно говорить о договорах, когда идет о лесных разбойниках! Я попросту погрузил их всех на корабль и отправил в Галифакс... Но и теперь стоит где-нибудь вспыхнуть пожару по вине подслеповой кухарки или неосторожного курильщика, как поднимается крик: «Агенты!» А если еще на той же неделе какой-то свихнувшийся негр стукнет молотком по голове своего надсмотрщика, тут уж все вопяет: «Революция!» А теперь еще эта записка, которую какой-то озорник подложил вам в постель... Правда, на нашем острове слишком много эмигрантов. Нужно снова устроить чистку и выслать несколько десятков на Кубу или в Лондон.

Беринг заметил на это, что он по натуре не слишком боязлив. Он просто считал нужным как можно скорее доложить обо всем губернатору, тем более что он сам приютил в своем доме людей французского происхождения. Правда, люди они глубоко порядочные, но при таком наплыве чужеземцев могут незаслуженно пострадать.

Потом они поговорили о беринговских способах приготовления рома, принесших Ямайке немалую пользу, об уборке урожая, о ценах, об ограничениях на ввоз негров. В заключение губернатор завел речь о Туссене, шуплом негре в белом парике, который разделался с самым сильным своим противником, мулатом Риго.

— Теперь Туссен у себя на Гаити крепко держит вожжи в руках. Но у нас с ним договор, и он не засылает к нам своих агентов. Да и у генерала Бонапарта есть немало забот, более настоятельных, чем освобождение негров.

Вернувшись домой, доктор Беринг подробно рассказал о своей беседе с губернатором и о новостях, услышанных в «Адмирале Пенне» и на рынке.

— В той самой клетке, — сказал он Дебюиссону, — в которой в день вашего приезда сидел раб, бежавший от Дадли, поддыхает теперь Бедфорд, раб Коллингса. Он уже еле дышит.

Дважды в году, в пору уборки, Беринг бывал на удивление трезвым. «Чтобы набраться сил на будущее», как объяснял он сам. Он настоял, чтобы его внук прекратил сейчас поездки к больным, а посылал своего помощника: пришло, мол, время поучиться ему у Блумфильда, да и сам он хочет раскрыть ему некоторые свои хозяйственные секреты.

За поместьем Дадли находился участок заброшенной земли. Его когда-то обрабатывали, но теперь он порастал деревьями. Лес стремительно наступал на него со всех сторон. Ближайшая гора заросла так

густо, что лес казался каким-то зеленым монолитом, и лишь немногие из местных жителей знали, что гора прорезана узким, извилистым ущельем. Хотя Энн недавно появилась в поместье Дадли, негры показали ей это укромное местечко для встреч, которым они сами давно уже пользовались. Энн подготовила там встречу Галлудека с Саспортасом.

Времени у них было мало, им некогда было делиться печалью. Галлудек рассказал, что Бедфорда никто не выдавал. Просто ребяташки, игравшие у причала, увидели, что Бедфорд хочет угнать лодку, и с криком помчались в деревню. Роберту Крокрофту ничего не оставалось, как прикинуться незнакомым Бедфорду человеком.

— Убивая Глэвиша, Бедфорд был убежден, что он подаст этим знак к восстанию. Он думал, что причиненную ему обиду все воспримут как собственную и что в этом убийстве увидят не только месть, но акт справедливости. Но ничего за его поступком не последовало, если не считать нескольких происшествий, по видимости даже не имеющих между собой связи. Если бы Бедфорд держал себя в руках и продолжал собирать людей, то в каждом поместье у нас была бы своя группа и наладилась бы связь между ними.

— Что же теперь делать? — спросил Саспортас.

— То, что надо было делать Бедфорду, — ответил Галлудек. — Но теперь уже без него. Надо найти человека, который сможет, как Бедфорд, соединять людей. Но более выдержанного, рассудительного.

Галлудек сказал, что у него на примете есть один невольник, которого Свеби взял у этого негодяя Глэвиша на время полевых работ. Это пожилой человек, он старше, чем Свеби, немногословный, без семьи, что не так уж часто встречается. Галлудек предполагал, что он тоже был на встрече в Баголийском ущелье.

Расставаясь, Саспортас пообещал сходить к Свеби. Однако он не застал его дома: Свеби в это время в усадьбе Коллингса вместе с младшим Глэвишем подсчитывал свои долги. Глэвиш прижимал его изо всех сил, стараясь выслужиться перед хозяином.

Раб, гостеприимно встретивший Саспортаса в доме Свеби, казался тут полным хозяином. Держался он скромно и учтиво. Все припасы, имеющиеся в этом убогом жилище, были в его распоряжении. За столом он рассказал Саспортасу, что упросил Свеби не отпускать его. Вместе они как-нибудь выбьются из долгов, работая день и ночь, и тогда Свеби сможет вскоре его выкупить. Но если бы он работал здесь как свободный, то, по новым законам, бедняге Свеби прибавились бы новые долги. Ведь, уж конечно, эти законы выгодны только Коллингсу и его управляющему.

Саспортас осторожно завел речь о Бедфорде. Негр глядел на него в упор, и видно было, что он знал, с кем имеет дело.

— Бедфорд умрет в клетке, — сказал он, и его круглые, непроницаемые глаза заблестели. — А где-то совсем близко отсюда, если плыть на корабле, все негры в городах и в деревнях радуются жизни, танцуют и поют.

«На сегодня хватит, — решил Саспортас, — знакомство состоялось». Он был доволен своим посещением. Он подумал также, что участок Свеби — самое подходящее место, откуда отряд Куффе может, сойдя с гор, начать нападение на три соседних поместья.

И в этот вечер Энн вернулась в усадьбу поздно. Ее давно уже разыскивали. Новая госпожа решила больше с ней не церемониться и поскорее продать ее кому-нибудь. Она с насмешкой подумала, какой заботливой и щедрой прикинулась Элизабет Рэли, лишь бы избавиться от этой маленькой дряни.

Но об этом Саспортас так и не узнал.

Он узнал лишь, и то окольными путями — иногда новости с северного побережья доходили до Кингстона быстрее, чем из одной усадьбы в другую, — что специальный полк горных егерей разгромил отряд Куффе.

Куффе уже знал от Бедфорда, что предназначенный для Риго склад оружия находится в одной мулатской деревушке, неподалеку от Аннота-Бей. Но то ли потому, что он не мог больше прибегнуть к посредничеству Бедфорда, то ли потому, что вообще предпочитал действовать всегда самостоятельно, ненавидя белых и не доверяя мулатам, Куффе однажды ночью напал на эту деревушку. Подобно стае хищных птиц, его отряд обрушился со скал на берег. Жителей охватил ужас.

Каждый шаг, каждое движение было рассчитано заранее, поэтому люди Куффе быстро нашли склад и, захватив добычу, молниеносно взобрались на скалы. Им помог утренний туман, золотисто-зелеными полосами лежащий здесь между морем и горами еще долго после восхода солнца. Но Куффе не знал, что рядом, в гавани Светтенхема, были расквартированы войска. Он не знал и о пушках, которые были тайно доставлены в горы. Его безрассудный набег лишь выдал местонахождение его лагеря. Против разрывающихся ядер неграм не могло помочь и захваченное ими оружие. Те, кто остался в живых и, оглушенный, попал в плен, утверждали, что англичане вели стрельбу бережными ядрами, из которых каждое рождало на свет бесчисленное множество маленьких ядер.

Куффе среди пленных не оказалось. Не был найден и его труп.

13

Вскоре после того, как был убран сахарный тростник, в усадьбу Беринга прибыл воинский отряд. Солдаты сопровождали экипаж, в котором восседали два губернских чиновника в мундирах. Третий, одетый в штатское, был судебным писарем и ехал верхом вслед за экипажем.

Поля опустели. В «Ромовой деревне» приступили к работе. Негры недоумевали, что мог бы означать приезд этих важных господ. Доктор Беринг, по горло занятый своими делами, совсем не ждал гостей. О своем донесении губернатору он уже давно успел забыть. Он поручил Блумфильду, который в таких случаях всегда приходил ему на помощь, позаботиться о приезжих. Но Блумфильду хватало сейчас и своих забот, и он вовсе не пришел в восторг от такого поручения.

Старший из чиновников выглядел человеком хладнокровным, строгим и неподкупным. На его одежде не видно было ни пылинки. Беринга позабавила мысль, что этот чиновник и в Лондоне выглядел бы так же. Другой чиновник, помоложе, был человеком общительным и рассказывал за столом, что учился в Англии, но родился здесь, на Ямайке.

Приезжие принялись втроем изучать список обитателей поместья. Против некоторых имен старший чиновник ставил галочки — об этих людях он хотел знать поподробнее. Среди них были надсмотрщики Миртль и Блумфильд, Дебюиссон и Саспортас, чернокожая кухарка и ее сыновья мулаты.

Берингу начинала досаждать вся эта канитель. Он уже сожалел о своей поездке к губернатору. Но, конечно, он не замедлил рассказать чиновникам все, что знал об этих людях. Выяснилось, что молодой чиновник еще со школьной скамьи был знаком с Виктором Дебюиссоном и часто встречался с ним в студенческие годы. Беринг послал Дугласа за Дебюиссоном. Что касалось Жана Саспортаса, родившегося во

Франции от родителей испанцев, то старший чиновник высказал по поводу него то, что почти всегда думали и говорили здесь в таких случаях:

— По нынешним временам человек испанского происхождения мне приятнее, чем французский эмигрант.

Дуглас отправился на поиски Дебюиссона, которого ждал молодой чиновник, друг его школьных лет. Дуглас никогда не считал приказы господ такими уж срочными, если они давались ему между прочим — за выпивкой, за разговорами или прочими многообразными и непонятными занятиями, которыми все белые убивали время; ведь все они только и делали, что старались убить время, вместо того чтобы пользоваться им. Как всегда в таких случаях, Дуглас заглянул к кухарке Люси, уже давно осуществлявшей верховный надзор над рынком и кухней. В усадьбе для чиновников готовился особый обед, а солдат кормили на дворе у костров. Но кое-кто успел уже пронюхать, где можно полакомиться куском получше, и вокруг толстухи Люси собралась целая толпа; солдаты давали ей всякие диковинки в обмен на угощение.

Люси дала Дугласу выпить и закусить и рассказала ему, насколько поняла это сама, что означает приезд губернаторских чиновников. Несмотря на свою дородность и солидный возраст, Люси была еще неутомима в танцах. Глаза ее задорно блестели, а длинный гибкий язык, гораздо краснее ее губ, то и дело высывался изо рта, словно она не изрекала новости, а ловила их в воздухе, как мух. Слушая ее и опрокидывая стаканчик за стаканчиком, Дуглас в который раз вспомнил, как его господин требовал, чтобы он женился на этой Люси. Но ему совсем этого не хотелось. Всем, что можно было взять у Люси — у нее самой и на кухне, — он давно уже пользовался. Он думал о ее сыновьях мулатах, о том, как она уединялась с белыми господами, быть может, даже с самим доктором Берингом, еще в те времена, когда не была такой толстой и пожилой, как сейчас, а свежей и гибкой, как цветок на хрупком стебельке, — и вдруг вспомнил о молодой Энн, которая пряталась в ложбине с молодым белым господином, другом мистера Дебсона. Дуглас почти всегда забывал о том, чего не видел и о чем не слышал. А об Энн он ничего не слышал и не видел ее с тех пор, как ее отправили из усадьбы Рэли. Но теперь, словно наваждение, словно лист, принесенный порывом ветра, в голове у него завертелась мысль о хорошенькой негрятянке. Почему она так слушалась этого чужеземца Саспорта? Вероятно, и Люси когда-то слушалась так белых господ, а теперь доктор Беринг требует от него, чтобы он на ней женился.

Дуглас рассвирепел.

Вначале он пропускал мимо ушей болтовню Люси. Но постепенно он начал понимать то, что ей объяснил какой-то английский солдат. Они прибыли, чтобы выследить подозрительных французов. Французы эти, дескать, пробрались сюда, чтобы все здесь перевернуть вверх дном, чтобы Ямайку охватило пламя пожаров, как Гаити. Солдат сказал, что эти французы уже подкупили негров. Дали им водки и рома, чтобы те помогали грабить и убивать.

— Глупые негры, — сказала Люси. — Они, наверное, думали, что станут свободными, если все пойдет вверх дном. Как люди Куффе в горах, как прежде мароны — те уже заплатились за это. Давно ч нас ищут французских смутьянов, но теперь, говорят, напали на верный след.

Дуглас насторожился. Не много он понял из услышанного. Про свободу и освобождение совсем ничего не понял. Но одна мысль запала ему в голову. Почему — он и сам не знал. Мысль все острее, все мучительнее

сверлила ему мозг. Дугласу казалось, что голова у него вот-вот лопнет. Люси угощала его почти не тронутым гнилым манго, для стола Беринга уже негодным, позволила ему выпить сок и обглодать косточку. А Дугласу в это время пришло на ум, не подозревают ли приезжие чиновники молодого господина, друга мистера Дебсона? Если они подозревают его — значит, подозревают и мистера Дебсона тоже. Дуглас почувствовал это.

Ему недоставало ума, чтобы сопоставить факты, но все они слились воедино в его тревоге, и он знал: разыскивают их обоих. Он вспомнил, что чувствовал, когда молодые господа шептались о чем-то непонятном и замолкали, как только кто-нибудь входил, как склонялись они над одной книгой, как он, Дуглас, относил записки в мастерскую Ноулса и видел хитрое лицо незнакомого француза, читавшего эти записки. А мистер Дебсон? Он говорил с ним ласково, как раньше, но уже не так искренне. В последнее время он казался встревоженным. Иногда молодой белый что-то быстро шептал, и лицо мистера Дебсона становилось каким-то чужим. И совсем чужим стало его лицо, когда Дуглас принес ему последнюю записку из мастерской Ноулса. С той минуты лицо Дебсона вообще ничего не выражало. И оба белых господина, Дебсон и его помощник, стали иначе относиться друг к другу и вообще ко всем, к белым и к черным, стали вспыльчивыми, подозрительными и чего-то ждали. У них была какая-то тайна. Они замыслили что-то запретное. Вот из-за них-то и приехали чиновники. Дуглас так был уверен в этом, как если бы прочитал привезенное ими предписание.

Но Дебсона он знал еще совсем маленьким, ведь это его он подхватывал когда-то на руки и уносил, чтобы он не путался под ногами у доктора Беринга. Его Дуглас хотел спасти. Если бы только можно было отделаться от одного и предостеречь другого! Это нелегко. Но все-таки Дуглас хотел помочь Дебсону.

Вдруг он встал и ушел. Люси от удивления спрятала свой ослепительно красный язык и уставилась ему вслед.

Сегодня утром Дуглас слышал, что доктор Дебсон пошел к Миртлю. Тот жил в собственном бунгало, там, где сходились границы трех поместий. Миртль не был семейным, как Блумфильд, и жил с матерью, к которой был очень привязан. Злые языки болтали, что он ее незаконный сын и что кто-то за постельные услуги матери оплатил ее переезд на Ямайку и разрешил взять с собой ребенка. Другие утверждали, что отец Миртля оставил после своей смерти огромные долги, и молодому Миртлю, мелкому чиновнику морского ведомства, пришлось взять здесь в порту первую попавшуюся работу, от которой он сразу же отказался, как только ему предложили место управляющего. Говорили, что его до сих пор ждет в Лондоне невеста, что человек он бережливый и добросовестный и не мечтает ни о чем другом, кроме возвращения домой.

У входной двери лежала большая собака с гладкой блестящей шерстью. Дуглас испугался, но мать Миртля быстро привязала ее на цепь. Где находится Дебюиссон, она не знала. Сына ее Дуглас увидел из окна дома. Он стоял вдалеке, на пологом склоне, возвышаясь над рядами сгибающихся к земле, работавших негров. Дуглас пошел к нему. Но и Миртль тоже не видел сегодня Дебюиссона.

Дуглас, надеясь, что Дебсон уже обо всем прослышал и скрылся, отправился домой.

Между тем оба чиновника решили произвести проверку в поместье Коллингса. Беринг сказал, что Дуглас покажет им кратчайший путь туда. Выглянув в окно, он позвал негра.

Дуглас вошел весь взмокший от пота и довольно дерзко заявил:

— Его уже нет у Миртля, извините, господа, но он уехал.

— О ком ты говоришь, болван? — спросил Беринг.

— О мистере Дебсоне. Его сегодня не было у мистера Миртля. Его там уже нет. Возможно, он в усадьбе Рэли или Коллингса. А может быть, и у мистера Дадли или еще дальше. Извините, господа, но мистера Дебсона уже не найти.

Беринг, смеясь, объяснил, что Дуглас служил еще в доме родителей Дебюиссона и называет его так, как в детстве. Потом крикнул:

— Ступай, Дуглас! Покажи этим господам дорогу в усадьбу Коллингса! — А сам пошел к Блумфильду, чтобы распорядиться отъездом.

Дуглас остался в комнате с глазу на глаз с чиновниками. Их парики, галуны, пуговицы и шпаги производили на него странное впечатление, какое производит государственная власть, армия или суд на человека, никогда не имевшего с ними дела. Дуглас задрожал всем телом. Он весь покрылся испариной, выпучил глаза, но, собравшись с духом, повторил: — Мистера Дебсона найти нельзя. Конечно, его уже не найти.

Пожилой чиновник внимательно посмотрел на Дугласа.

— Подойди-ка сюда,— вдруг произнес он.— Почему ты все время твердишь, что мистера Дебюиссона нельзя найти?

— Он уехал, он уехал,— сказал Дуглас,— далеко уехал. Конечно.

Пожилой чиновник строго взглянул на него и спросил:

— Почему ты уверен, что он уехал далеко? Почему ты так уверен, что его уже не найти?

Дуглас окончательно растерялся под строгим и злым взглядом этого чиновника, чьи глаза ослепляли его, как ярко-голубое небо. Колени у него задрожали, и он пролепетал:

— Далеко уехал мистер Дебсон, я в этом не виноват.

— В чем ты не виноват? — спросил чиновник.

— Его отец был раньше моим господином,— сказал Дуглас.— Мистер Дебсон вернулся с войны, я был рад, я делал все, что он хотел.

Молодой чиновник сначала с улыбкой, потом все с большим удивлением слушал, как его начальник разговаривает с рабом.

— Да. Он был твоим господином. Теперь твой господин — доктор Беринг. А губернатор нашего острова — господин над всеми господами. Он господин и мистера Дебюиссона. Он и мой господин. Он посадит тебя в клетку на рыночной площади, если ты сейчас же мне все не расскажешь.

Эта угроза привела Дугласа в невыразимый ужас, он рухнул на колени.

— Стой, когда я тебя спрашиваю,— сказал пожилой чиновник.

Дуглас сделал вид, что ему страшно трудно отвечать стоя. С каждой минутой страх перед неминуемой ужасной смертью пересиливал в нем любовь к Дебюиссону, сыну его прежнего господина. Куда можно скрыться в действительности или хоть в мыслях, если тот господин, о котором говорил страшный белоголовый чиновник, в самом деле господин над всеми господами? Дуглас пробормотал, что два, нет, три раза он кое-что делал по требованию мистера Дебсона, без разрешения господина доктора Беринга, относил что-то в мастерскую Ноулса для одного француза и принес сюда от него письмо.

Он уже рассказал все, что знал, и даже больше, чем знал, когда в комнату вошел Дебюиссон. Он был в «Ромовой деревне» на винокурне, где Блумфильд обучал его новому способу приготовления рома. Кто-то прибежал и сказал ему, что в усадьбе находится друг его юношеских лет. Подходя к дому, Дебюиссон с удивлением заметил, что кругом полно солдат и оседланных лошадей. Войдя в гостиную, он сразу же узнал молодого чиновника и остановился в недоумении, когда тот холодно ответил на его приветствие

В это время судебный писарь обедал с Блумфильдом, за одним столом с его семьей, поскольку их положение в обществе было примерно равным. Писаря вызвали в господский дом. Он устроился со своими письменными принадлежностями и печатью за отдельным столиком, рядом с большим столом, за которым чиновники разговаривали с Дебюиссоном.

На первые заданные ему вопросы Дебюиссон отвечал слегка насмешливо, что, дескать, каждому понятно, что он время от времени посылал негра проводить Галлудека, которому он обязан своей жизнью. Ведь доктор Беринг не разрешил ему появляться в своем поместье.

— Скажите, Дебюиссон,— начал молодой чиновник,— все ли действительно обстояло с вами так, как рассказывает ваш дед? Он говорил — и я убежден в том, что господин доктор Беринг верит этому,— что вы долго были в плену у французов. Вас будто бы, как это часто случилось в те годы, возили с острова на остров по всему Карибскому морю. Вы оказались на Гаити в то время, когда бои кончились там для нас неблагоприятно. Тогда, как говорит ваш дед, вы, Дебюиссон, нашли возможность вернуться домой вместе с нашими. Ну, а как обстояло дело с Саспортасом? Он учился медицине? Вы подружились с ним в плену? Он стал вашей правой рукой?

— Да, это именно так,— ответил Дебюиссон.

Пожилой чиновник, долго сверливший его взглядом, сказал:

— Вы и этот человек не останетесь здесь ни одного дня.

Дебюиссон раскрыл рот, но не смог произнести ни слова.

— Живей, живей, сударь! Но говорите все и откровенно. Помните: либо вы завтра же отправитесь живым на нашем корабле в Лондон, либо ваш труп будет плавать в бухте под скалой с виселицей.

Час спустя, когда Жан Саспортас вошел в гостиную, Дебюиссон — виден был только его затылок — все еще сидел перед чиновниками, а писарь — за своим столиком. Саспортас перевел взгляд с одного из присутствующих на другого. Дебюиссон был в полном изнеможении. Чиновники же казались довольными.

Молодой чиновник с издевкой кивнул Саспортасу и преувеличенно вежливым жестом указал на стул. Пожилой предложил Саспортасу рассказать о некоторых деталях, известных им из показаний Дебюиссона, но нуждавшихся в кое-каком уточнении. Прежде всего, с кем из белых и цветных они поддерживали связь, кого им рекомендовали, отправляя сюда с заданием, с кем они потом сами установили связь?

— Я не понимаю вопроса,— ответил Саспортас.

— Если вам удастся все же кое-что вспомнить,— вмешался младший чиновник,— вы сможете, как Дебюиссон, избежать суда и тотчас покинуть остров.

— Я не Дебюиссон,— ответил Саспортас.

Поначалу с ним разговаривали спокойно, даже учтиво. Но теперь чиновники стали на него кричать, угрожая, что поступят с ним, как с негром, раз он прибыл сюда ради негров.

Саспортас молчал. Его радовало, что они так кричат. Он знал, что их слова слышны за стенами дома и что они с быстротой молнии распространятся среди негров. Он надеялся, что весть о его аресте еще до ночи достигнет усадьбы Дадли. Тогда Энн поймет, почему он не пришел, как обещал ей, и предупредит Галлудека.

Их обоих повезли в город на гелеге под сильной охраной. Саспортаса заковали. Тем временем доктор Беринг наслаждался с чиновниками обедом, приготовленным Люси,— ведь теперь его гостям не было необходимости ехать в другие поместья. Время от времени на Беринга

накатывали приступы то возмущения, то ярости. Но в глубине души у него зарождалось чувство торжества: он снова, хотя и самым невероятным образом, избавился от единственного наследника. Почему ему так хотелось заграбастать побольше добра и не иметь наследников — этого он и сам не мог бы объяснить.

На другое утро чиновники доложили обо всем губернатору. По его распоряжению Дебюиссона в награду за чистосердечное признание отправили на первом же корабле в Лондон. Саспортаса посадили в тюрьму, построенную еще испанцами. Подтянувшись на решетке, он мог видеть через крохотное оконце море. Оно вызывало у него чувство радостного удивления — пусть только на мгновение, но ему становилось доступным все, что только может дать жизнь. Подобное этому чувство охватило его однажды на Гаити, когда он видел торжественный въезд Туссена. Он вспоминал это в каждую из коротких и душных ночей, проведенных в темнице.

Изредка какой-то выживший из ума сморщенный старикашка, приносящий ему немного воды и кусок кукурузной лепешки. Вероятно, его кожа когда-то была белой; теперь она стала грязно-желтой. Однажды вместо него пришел негр. По выражению его глаз и осторожному знаку Саспортас понял, что их подслушивают и негр просит его молчать. Впрочем, бросая незаметно взгляд на «глазок» в двери, он и сам не раз замечал, что за ним следят. Терять ему было уже нечего, и он сказал:

— Продолжайте без меня!

— Сегодня отплывает в Англию твой друг Дебюиссон, — сказал, зайдя к нему однажды, молодой чиновник в мундире служащего военного суда.

Чиновник дал знак своему помощнику — тому самому сморщенному старикашке — поставить к зарешеченному окошку деревянный чурбан. Теперь Саспортасу не пришлось подтягиваться на руках. Ему даже приказали встать на чурбан и вдоволь смотреть на море, пока трехмачтовый фрегат не скроется за горизонтом. Но чиновник так и не прочел на лице узника ни надежды на бегство, ни страха умереть за бытым.

Однако Саспортас вовсе не думал о том, правда или не правда, что именно на этом корабле, исчезновение которого за бескрайним вечерним горизонтом его заставили наблюдать, Дебюиссон покинул остров.

Свое отплытие, окончательное и бесповоротное, Саспортас давно уже пережил в душе. Он рассмеялся, когда еще раз потребовали, чтобы он назвал сообщников, и лица чиновников сморщились в уродливой гримасе — то ли от отвратительной вони в камере, то ли от злобы против узника, чье упорство им было непонятно.

Жара стояла страшная, и суд в Кингстоне назначили в ночное время. Саспортасу снова предложили выбор: отправиться на виселицу или — после полного признания — в гавань, чтобы покинуть остров. Из этого он понял, что от Дебюиссона они узнали меньше имен, чем им хотелось. «Какое счастье, — подумал Саспортас, — что я с некоторого дня не был до конца откровенным с сотоварищем. Благодаря этому остались на свободе Свеби, его негр и те негры, с которыми был связан Бедфорд».

Саспортас отказался давать показания, и его приговорили к смерти. Вся островная знать съехалась к месту казни, кто верхом, кто в экипажах. Они пригнали сюда и своих рабов, чтобы негры кое-чему на-

учились, глядя на это. Светтенхем и другие помещики из центральной части острова опоздали к началу казни. Мистер Коллингс, который не был любителем таких зрелищ, остался дома, хотя Рэли, через владения которого пролегла кратчайшая дорога в город, предложил ему место в своей карете. Элизабет послала гонца за барышнями Дадли — они прибыли сюда в праздничных платьях, их братья явились в орденах и при шпагах. Кучера и зеваки толпились поодаль от места казни, чтобы лучше разглядеть все, что здесь будет. Как всегда в таких случаях, вокруг наставили много разных балаганов и ларьков — ведь главное зрелище было слишком коротким. К скале в Порт-Ройале, где стояла виселица, пригнали и несколько сотен негров, работавших в городе, в порту или на верфях. Перед тем как палач накинул на Саспортаса веревку, выступил вперед один из судейских чиновников и еще раз потребовал, чтобы узник назвал имена своих сообщников и тем спас свою жизнь.

— У меня много сообщников, — сказал Саспортас. — Я вижу их здесь, они повсюду.

Когда ему накинули петлю на шею, он крикнул:

— Негры, действуйте так, как на Гаити!

Через минуту палач обрезал веревку. Труп камнем упал в море, но в шуме прибоя не слышно было всплеска.

Галлудек бежал. Как и надеялся Саспортас, Энн предупредила его. Удивительно проворная и легкая на ногу, она бесстрашно обегала все окрестные фермы, чтобы узнать все о Саспортасе. Своей жизнью она не дорожила. Ей было все равно, заперют ее до смерти или нет, когда она вернется домой. Она знала, что ее уже продали кому-то за бесценок, знала, что ее ждет тяжкая, непосильная работа. Так поступили с ней не только для того, чтобы наказать ее, но еще чтобы досадить мисс Рэли. Скоро ее новый хозяин заберет ее. Ее новым господином — этого, конечно, она тогда еще не знала — стал арендатор Свеби. Не знала она и того, что станет женой раба Свеби, которого рекомендовал ему Галлудек, что жизнь ее будет суровой, что суровым и мрачным будет ее муж и она часто будет оплакивать погибшего молодого белого. Но ее муж не был плохим человеком.

Роберт Крокрофт убежал в горы, как бегали до него сотни негров, мулатов и немногие белые, которым приходилось спасаться от властей на Ямайке, испанских или английских. Роберт надеялся, что ему удастся, как только схлынет первая волна преследований, добраться на лодке до Гаити. У Галлудека сперва было такое же намерение, но он решил, что на этом пути его и будут подкарауливать преследователи. Они могли пользоваться всем, что дает власть, у него же была только лодочка, которую дал ему Крокрофт, бесстрашный и верный до конца. И Галлудек поплыл к южному побережью Кубы. Он скоро выбился из сил. Ветер оказался неблагоприятным и погнал лодку на юго-запад, чего никак нельзя было ждать в это время года. Галлудек опасался, что его отнесет обратно к Ямайке. Он решил плыть к ближайшему птичьему острову, о котором ему рассказывали моряки.

Остров был похож на крону могучего дерева, растущего из морской пучины. Галлудек вспомнил, что по пути на Гаити он видел эти маленькие, лишь птицами населенные островки, но воспоминание это было таким смутным и далеким, будто с той поры прошли десятки лет, а может быть, он видел эти островки во сне или слышал о них рассказ в каком-нибудь кабаке.

Оглушенный несмолкаемым гомоном и писком, он подумал, что птицы могут напасть на него и заклевать до смерти. Но птицы вскоре

успокоились и мирно зашебетали в ветвях. Галлудек тоже успокоился и стал обдумывать, как быть дальше. Он решил ждать, пока переменит ветер, и затем, набравшись сил, плыть в Сант-Яго, на Кубу. По пути он мог бы повстречать испанский, а то и французский корабль. Ведь Испания была в мире с Францией, они торговали между собой.

Потом ему показалось, что рассчитывать на это глупо. «И все же,— думал он,— лучше погибнуть в море, чем попасть в руки англичанам. То, что от меня требовалось, я сделал. Мы могли бы сделать и больше, если бы Дебюиссон не сломался».

К гомону птиц он уже привык, как к шуму прибора. Он смотрел в сторону Порт-Ройала и думал: «Энн сказала, что сегодня казнят Саспортаса». Ему казалось даже, будто он видит, как на перекладине виселицы загорелся свет.

«Год тому назад,— думал Галлудек,— я не очень-то на него рассчитывал. Встречаясь с ним живым, я не представлял себе, что он за человек. Свет вспыхнул лишь в конце его жизни».

Недели через две Галлудек был уже на Кубе и рассказывал обо всем своему старому другу Мальбеку. Тот вскричал от радости, увидев его в толпе людей, которых привели в крепость, куда собирали всех подозрительных людей, чтобы выяснить, кто они. Эта крепость, нечто вроде тюрьмы или лазарета, стала временным прибежищем Галлудека.

Испанцы, подобравшие его в море, приняли сначала его бессвязную речь за признак болезненного бреда от истощения. Они так и не разобрались, кем был потерпевший кораблекрушение — французским эмигрантом или гражданином новой республики. Они предпочли бы спасти эмигранта, хотя война между Францией и Испанией давно уже закончилась. К счастью для Галлудека, никому из них не пришла в голову мысль, что он мог быть беглецом с Ямайки. Его доставили в форт Сант-Яго. Сперва он притворялся отупевшим от истощения, но еще до того, как его доставили в форт, его, словно для того, чтобы сделать обман правдой, свалила с ног жестокая лихорадка.

Мальбек, человек не одаренный чувствительностью, был растроган неожиданной встречей с другом. Но Галлудека эта встреча как будто даже не удивила. Может быть, лишь тогда он вспомнил о просьбе Саспортаса, а может, и в самом деле совершил побег с Ямайки только ради того, чтобы сообщить правду о своем друге, как утверждал Мальбек,— так или иначе, он только и говорил об этом, заклинал Мальбека доставить на родину донесение.

Иногда, в минуты прояснения, Галлудеку приходила в голову мысль, что в Париже уже нет никого, кто хотел бы знать, выполнено ли данное им поручение. Но иногда он совсем забывал, что в Париже некому ждать от них вестей или требовать отчета. Он говорил о гражданине Антуане, который, как ему казалось, обязательно будет ждать и должен узнать, что случилось с Саспортасом.

Как ни слаб был Галлудек, он приходил в ярость, когда Мальбек пытался заставить его молчать и удерживал в постели. Он написал несколько строк на клочке бумаги и внимательно следил за тем, как Мальбек зашивал письмо в подкладку своей куртки.

— Вот я вам его и доставил,— сказал Мальбек.— Днем и ночью он только об этом и твердил. И я подумал: пусть его говорит. Этот человек много пережил. Первое время мне казалось, что он притворяется больным, чтобы избежать допросов. Мы и не предполагали, что он так

скоро умрет. Я во всяком случае не думал. А он, может быть, знал уже с самого начала. Не угадаешь. Я позабыл о всех своих бедах, когда вдруг увидел Галлудека в Сант-Яго. Мой корабль по пути во Флориду задержали на Кубе. Испанцы подозревали, что мы занимаемся контрабандой. Когда им не удалось это доказать, они сказали, что мы можем завезти желтую лихорадку. Нас всех посадили в какую-то дыру, которую только в насмешку можно было назвать лазаретом. Не будь этого скверного случая, я никогда бы не смог сообщить вам о том, что рассказал мне Галлудек. Теперь я понимаю, что имел он в виду, говоря о свете. Этот свет освещает не только жизнь самого Саспортаса, он падает на всех, кто с ним был, чтобы они не исчезли без следа в морской пучине или в джунглях. Имен их не найдешь ни в одной книге и ни на одном памятнике; может быть, никто и не знал их настоящих имен. Бедфорд, Куффе — кто знает, настоящие ли это имена? Но они делали настоящее и важное дело, такое же настоящее и важное, как то, что было раньше сделано в Париже. Мой бедный друг был прав, когда взял с меня слово доставить вам это известие. Вот так, через несколько лет, мы и вспомнили о Жане Саспортасе, хотя бы и осторожно и тихо. То, что мы с вами помним о нем, это еще не салют в его честь. Но это отзвук его жизни, это продлевает, удерживает ее на земле.

Мальбек вдруг поднялся и сказал:

— Ну, мне пора. А то еще уедут мои купцы. Спасибо вам, друзья. Прощайте!

Антуан и его жена смотрели из окна, как Мальбек перешел двор и, не оглядываясь, скрылся за воротами.

С улицы доносились крики, похожие на карканье. Осенняя ночь незаметно растворилась в молочной рассветной мгле. День поздно приходил в эту маленькую комнатку, затерянную в глубине двора.

Перевел с немецкого В. СТЕЖЕНСКИЙ.



В МИРЕ НАУКИ

Д. ЦУКЕРНИК

★

КАК БЫЛА ОТКРЫТА АМЕРИКА

Не так давно в нашей печати появилось сообщение о первой карте Кубы, составленной еще до открытия Америки Христофором Колумбом

В связи с этим сообщением упоминалось, что действительный член Всесоюзного географического общества Д. Я. Цукерник, проживающий в Алма-Ате, в результате нового прочтения исторических документов выдвинул предположение, что, отправляясь искать «путь в Индию», Колумб располагал картами и логиями, которые он хранил в строгой тайне и которые составлены были мореходами, прошедшими тот же путь до него и оставшимися в неизвестности.

Надо полагать, что гипотезы и выводы Д. Я. Цукерника вызовут споры. Однако эти гипотезы представляются нам достаточно интересными, чтобы дать им место на страницах журнала.

Еще в XVI веке испанские летописцы обратили внимание на то, что в документах, относящихся к личности Христофора Колумба и его плаваниям, имеются неясности, неточности и явные противоречия. Это породило немало споров среди исследователей. Много спорили даже о времени рождения прославленного генуэзского мореплавателя.

В начале XX века возникла дискуссия по поводу достоверности переписки Колумба и Тосканелли, которой отводилась чуть не решающая роль в предыстории плаваний Колумба.

Наше исследование устанавливает, что противоречивые данные документов, относящихся к плаваниям Колумба, на самом деле образуют определенную систему. За этой системой несоответствий проступает совершенно иная картина открытия Америки.

1

Вспомним общепринятую версию о плаваниях Колумба и открытии Нового Света. Она сводится, как известно, к следующему. Настойчивые усилия европейцев установить прямые торговые связи с Индией, Китаем и «Островами пряностей» приводят к тому, что Португалия в XV веке открывает путь в Индию вокруг Африки (восточный путь).

Испанцы, конкурируя с португальцами, принимают план Колумба достичь Индии, плывя на запад, через Атлантический океан. Результатом движения в западном направлении было открытие Колумбом островов, а затем и нового материка, которые испанцы вслед за Колумбом ошибочно сочли частью Индии, или крайней восточной оконечностью Азии, далеко лежащей в западном полушарии. Из этой ошибки происходят названия «Вест-Индия», «индейцы» и т. д. Иными словами, Америка была открыта случайно.

Таким образом, традиционный взгляд основывается на двух взаимосвязанных положениях:

1. Географическая цель плаваний Колумба — Восточная Азия.
2. Коммерческая цель этих устремлений — приобретение пряностей, благовоний, драгоценных камней, драгоценных металлов и других привлекавших европейца товаров Востока.

Оба гезиса встречаются в документах эпохи: письмах Колумба, официальных предписаниях испанской королевской четы и других.

Между тем в письменных памятниках той же эпохи, даже в документах тех же лет мы находим сведения, противоречащие этим положениям.

Обратимся к фактам. Действительно, в королевской грамоте 1493 года о цели первого плавания Колумба говорится следующее: «Мы послали вас, дон Христофор Колумб, открыть острова и материк, находящиеся у Индий».

То же мы находим в официальных документах, связанных с подготовкой второй экспедиции Колумба.

Сообщая о готовящейся третьей экспедиции, испанский двор в предписании от 22 июня 1497 года уведомлял: «Знайте, что мы поручили дону Христофору Колумбу, нашему адмиралу, чтобы он вернулся на остров Эспаньола и на другие острова и материк, которые находятся в указанных Индиях». Аналогичные выражения встречаются и в документах королевской канцелярии последующих лет.

С не меньшей определенностью ту же мысль высказывает сам Колумб. В дневнике первого плавания цели экспедиции сформулированы следующим образом: «Я осведомил ваши высочества о землях Индий¹ и об одном государе, который зовется «Великий Хан»², что означает на нашем языке «царь царей». Этот государь и предки его много раз отправляли послов в Рим с просьбой направить к ним людей, сведущих в делах веры, дабы они наставляли в ней; святой же отец никогда не удовлетворял эти просьбы... и поэтому ваши высочества... решили отправить меня, Христофора Колумба, в указанные земли Индий с тем, чтобы повидал я этих государей и эти народы... И повелили [ваши высочества], чтобы я направился туда не сушей, следуя на восток, как обычно ходят в ту сторону, но западным путем, каковым, насколько мы это достоверно знаем, не проходил еще никто. Я... взял путь на принадлежащие вашим высочествам Канарские острова, что лежат в том же море-океане, чтобы оттуда идти моим направлением и плыть до тех пор, пока не прибуду я в Индии. А прибыв на место, отправить от имени ваших высочеств послов к тем государям и выполнить все, что мне было велено».

Позднее, в завещании от 22 февраля 1498 года, Колумб клянется: «Во имя святейшей Троицы, которая внушила мне [то, что] стало мне совершенно ясным, [а именно], что я смогу идти из Испании морским путем в Индии в западном направлении через море-океан. И так я это сообщил королю дону Фердинанду и королеве донье Изабелле».

Подобных заявлений Колумба можно привести множество.

Однако эти утверждения находятся в вопиющем противоречии с действиями того же Колумба. Выше приводились слова Колумба из дневника первого плавания о том, что цель его — достичь Китая и установить связь с верховным правителем этой страны.

Однако флотилия Колумба двигалась на запад через океан на широте Канарских островов; в пути корабли несколько отклонились к югу и достигли первого острова примерно на двадцать пятой широте. Между тем на средневековых картах Южный Китай помещался примерно на широте Средиземного моря.

Если в первом плавании Колумб действительно преследовал цель достичь Китая, о чем упоминается в прологе дневника, то следовало бы ожидать, что, встретив первые острова, он поведет корабли на северо-запад, чтобы достичь азиатского материка. Однако он действовал прямо противоположным образом: его корабли пошли от Багамских островов на юг, юго-восток, а затем восточным курсом.

Такой маршрут кораблей невозможно примирить с целью плавания, как она сформулирована в прологе дневника. Более того, когда корабли подошли к северному берегу Кубы, в дневнике появляется запись о том, будто Колумб полагал, что он в тот

¹ Индиями во времена Колумба именовались земли Восточной и Юго-Восточной Азии.

² Великими ханами именовали в Западной Европе императоров Китая.

момент находился в ста лигах (около 600 км) от знаменитых китайских портов «Саито и Кисай». Казалось, наступил момент, когда Колумб попытается выполнить те задачи, которые указаны в прологе дневника. Следовало ожидать, что он немедленно направится на запад (точнее, на северо-запад), дабы при благоприятном ветре за два-три дня преодолеть сто лиг, отделяющие его, по его же словам, от Китая. Но Колумб так не поступил. Вместо этого он повел корабли в обратном направлении, то есть строго восточным курсом. Почему?

Может быть, навигационные условия препятствовали движению на северо-запад, в «Китай», и поэтому Колумб решил использовать время для исследования островов, находящихся в противоположном, восточном и юго-восточном, направлении? Однако известно (и это отмечалось в дневнике Колумба), что на тех широтах, где находилась флотилия Колумба, дуют постоянные восточные ветры и имеется постоянное восточное течение — два фактора, очень благоприятных для движения на запад и северо-запад и крайне неблагоприятных для курса, избранного Колумбом.

Однако на протяжении месяца, преодолевая встречный ветер, корабли с огромными трудностями продвигались восточным курсом от Кубы к Эспаньоле (Гаити). Затем Колумб шел еще месяц на восток, вдоль северного берега Эспаньолы, все время преодолевая восточный ветер и противное течение.

Таким образом, весь маршрут кораблей, в особенности с момента подхода к первому острову, полностью противоречит цели, указанной в прологе к дневнику.

И наконец накануне отправки в обратный путь, 9 января 1493 года, в дневнике сделана запись, гласящая, что Колумб решил вернуться в Испанию, «потому что нашел он то, что искал».

Попробуйте ответить на вопрос: какова была географическая цель первого путешествия Колумба, если судить по дневнику плавания? Ответить на этот вопрос невозможно.

Перейдем ко второму пункту традиционной версии — к коммерческой цели плаваний Колумба. Принято считать, что она заключалась в получении товаров, ввозимых в Европу из Юго-Восточной и Восточной Азии: пряностей, благовоний, драгоценных металлов и камней.

Действительно, в многочисленных высказываниях Колумба и испанских властей утверждается, что ими обнаружены богатейшие страны Азии и что мореплаватели заняты приобретением этих дорогих товаров для вывоза их в Европу. Об этом, например, пишет Колумб в 1493 году, по возвращении из первого плавания: «Эспаньола — чудо: тут... реки многочисленные и широкие, с вкусной водой, причем большая часть этих рек несет золото... На этом острове много пряностей, а также залежи золота и других металлов... На Эспаньоле в самом выгодном пункте и в наилучшем для добычи золота месте, где всего удобнее вести торговлю как с этой материковой землей, так и с той, что лежит по ту сторону, землей Великого Хана (то есть Китая.— Д. Ц.), сулящей великий торг и наживу, я принял во владение одно большое поселение...

Я дам им (их высочествам.— Д. Ц.) столько золота, сколько им нужно... кроме того, пряностей и хлопка — сколько соизволят их высочества повелеть, равно как благовонную смолу... я дам также алоэ и рабов сколько им будет угодно и сколько мне повелят отправить... Я уверен, что нашел также ремень и корицу и тысячу других ценных предметов, которые откроют люди, оставленные мною там (на Эспаньоле.— Д. Ц.)».

Подобных документов сохранилось великое множество. Читая их, нельзя не проникнуться уверенностью в том, что Колумб и его подчиненные деятельно занимаются сбором и погрузкой на корабли золота, пряностей, благовоний и т. д. для отправки в Испанию.

Однако тщательное изучение документов показывает, что в трюмах кораблей, отправленных Колумбом из «Индий» в Европу, находились только... рабы.

Так, в сентябре 1493 года после первого, по существу рекогносцировочного, плавания из Испании к новым землям отправилась крупная флотилия в составе семнадцати кораблей. Суда прибыли на Эспаньолу, и мореплаватели выгрузили людей и имущество. В начале февраля 1494 года двенадцать кораблей направились обратно в Испанию.

Какой ценный груз везла флотилия? В письмах современников говорится, что в Испанию прибыли корабли с рабами. Да и сам Колумб в секретном мемориале от 30 января 1494 года пишет, что на двенадцати каравеллах отправлены рабы из числа индейцев, захваченных на Карибских (Малых Антильских) островах и на Эспаньоле.

В мемориале Колумб развертывает план деятельности для основанной им фактории. На первое место Колумб выдвигает использование новых земель в целях работоторговли. Он пишет: «На мой взгляд, хорошо будет брать их с этих и тех островов и отправлять их в Кастилию». И далее: «Чем больше их туда увезут, тем [будет] лучше». Тут же излагается детально разработанный план работоторговли.

Обращает на себя внимание, что единственно реальный план, имеющийся в мемориале, — работоторговля. О золоте говорится как о непроверенной возможности. О пряностях, благовониях и т. п. в мемориале вообще не упоминается.

В начале января 1495 года из Испании прибыли новые суда, и Колумбу следовало отправить их обратно. Кунео, фактор одного итальянского торгового дома, сопровождавший адмирала во втором плавании, сообщает в письме своему патрону: «Когда каравеллы, на которых и я должен был вернуться на родину, были готовы к отплытию, мы согнали к нашему селению 1550 мужчин и женщин — индейцев. Из них мы отобрали лучших и 17 февраля 1495 года погрузили на указанные каравеллы 550 душ».

Следует сказать, что в реализации планов работоторговли Колумб и испанские власти натолкнулись на непреодолимые трудности. Рабы, отправленные из новых земель, в большой массе погибали в пути, а прибывшие в Испанию были нетрудоспособны и вскоре умирали. Так, после прибытия первой крупной партии рабов в апреле 1494 года итальянские купцы писали, что индейцы очень хилы и непригодны к работе. Эти рабы даже не поступили на невольничьи рынки.

В лучшем состоянии были рабы второй крупной партии, так как их отбирали особенно тщательно. В пути корабли находились около пятидесяти дней. Участник плавания пишет: «Когда мы прибыли в Испанское море (Испанским, или Иберийским, морем в то время называли воды Атлантического океана, омывающие западное побережье Пиренейского полуострова и часть Средиземного моря, омывающую южное и юго-восточное побережье Испании.— Д. Ц.), умерло около двухсот индейцев. Мы их выбросили в море». Когда суда прибыли в Кадис, оставшиеся в живых рабы оказались «полубольными». Далее Кунео сообщает своему патрону более определенно: «К вашему сведению, они невыносимы и очень чувствительны к холоду. К тому же они недолговечны».

О дальнейшей судьбе оставшихся в живых индейцев известно следующее. Узнав о прибытии очередной партии рабов, испанские короли немедленно дали указание продать их. В седуле на имя епископа Фонсеки они пишут: «Ваше преосвященство отец епископ во Христе... что касается того, что вы нам сообщили об индейцах, прибывающих на каравеллах, то нам представляется, что их можно дороже продать в Андалузии, чем где-либо в другом месте. Вам надлежит распорядиться продать их по вашему усмотрению».

Тут же королевский двор торопит Фонсеку снова отправить суда на Эспаньолу. По-видимому, на этот раз рабы были в лучшем состоянии, чем в первой партии.

Однако и на этих рабов не было покупателей. Они быстро погибали, и через два месяца после прибытия кораблей в Испанию в живых осталось лишь семьдесят два человека. Чтобы даром не кормить привезенных индейцев, католические государи решили направить их гребцами на галеры.

О колоссальной смертности среди привезенных индейцев свидетельствуют и современники. Бернальдес сообщает: «И он (Колумб.— Д. Ц.) вступил в страну и захватил очень много [индейцев]... И пользы от них было мало, так как почти все умерли». Другой современник, говоря о невольниках, привезенных в Испанию из вновь открытых земель, сообщает, что к концу года пребывания в неволе на чужбине погибло более девяноста процентов от общего числа доставленных.

Сведения о гибели первых партий рабов не изменили планов Колумба. В 1496 году в донесении испанским королям он указывает, что в Кастилии, Арагоне, Сицилии, на Канарских островах, где широко применяется труд рабов, их число уменьшается. Следовательно, заключает Колумб, сбыт доставленных индейцев будет обеспечен. И Колумб

снова стал «охотиться» за рабами. Вскоре европейцы пригнали в факторию шестьсот индейцев Их погрузили на корабли. Налетевший шторм потопил суда, не успевшие даже выйти в океан.

В 1496 году Колумб вернулся в Кадис, там стояли три судна, готовые к отплытию на Эспаньолу. И Колумб дает указание своему брату Варфоломею Колумбу, который остался его замешать на острове, чтобы тот немедленно по прибытии судов погрузил на них рабов и отправил в Испанию. По свидетельству хрониста Мартира, во исполнение этого приказа «триста островитян вместе со своими старейшинами были таким образом захвачены и переправлены в Испанию». Судьба этой партии рабов оказалась такой же, как и предыдущих.

В октябре 1498 года Колумб возвращается на Эспаньолу. Прежде чем отправить корабли обратно в Испанию, конкистадоры организовали новую охоту на индейцев. Захваченных погрузили на суда и отправили в Испанию. В своем донесении королям Колумб доказывает, что работорговля имеет богатые перспективы «потому, что в Кастилии, Португалии, в Арагоне, Италии, Сицилии и на островах Португалии и Арагонии (по-видимому, Колумб имеет в виду Балеарские и Питиусские острова.— Д. Ц.) и на Канарских островах используют много рабов... И я полагаю, что из Гвинеи прибывает недостаточно и если даже их прибывает достаточно, то один здешний явно стоит грех тамошних».

Таким образом, и к концу 1498 года Колумб видел в работорговле источник доходов и на будущее время. Этому он уделяет почти все внимание в своих донесениях. Что же касается надежды на золото, то сам Колумб ожидает его лишь, как он пишет, «когда бог пошлет».

Достоверность сведений о грузах, которыми Колумб заполнял трюмы кораблей, не вызывает сомнений, так как они почерпнуты из самых различных источников: из документов Колумба, из официальных седул, сообщений купцов и других современников в Испании, Италии и Португалии.

Лишь один раз, а именно в 1494 году, Колумб отправил из новых земель в Европу образчики хлопка. В письмах купцов мы находим выразительную характеристику качества этого хлопка, который «пригоден лишь на тюфяки». Несомненно, что этот хлопок не мог стать предметом экспорта. Что касается золота, о котором неоднократно упоминается в документах Колумба и испанских властей, то, по сообщениям современников, на островах этот металл был обнаружен в мизерных количествах, а пряностей, благовоний и т. п. на новых островах не было вовсе.

В таком случае возникают вопросы: почему Колумб и испанские чиновники в качестве очевидцев утверждали, что в новых землях в изобилии имеются все эти товары? Что здесь — честное заблуждение или сознательный обман? Один только анализ документов не дает ответа на эти вопросы.

Ознакомление с географическими представлениями эпохи позволит разрешить противоречия, наблюдаемые в источниках. Если в те времена действительно считали, что Восточная Азия лежит ближе к Европе с западной стороны, тогда испанский двор и Колумб, естественно, ставили своей задачей установить торговые связи со странами Востока и по этой же причине приняли новые острова и материк за земли, примыкающие к Азии. В этом случае они, в соответствии с представлениями эпохи, могли считать, что эти страны богаты пряностями, благовониями и т. д. и т. п., но отсутствие опыта и незнание языка не позволили им установить сезон созревания плодов и процессы их обработки для превращения в драгоценные товары. Общепринятое в средневековой Европе мнение о богатстве стран Восточной и Юго-Восточной Азии драгоценными металлами и камнями могло повлиять на вывод испанских властей и Колумба о том, что новые страны изобилуют этими сокровищами. Что же касается отмеченных выше нелогичностей в поступках Колумба, то в этом случае они могли быть обусловлены какими-то обстоятельствами, которые не известны современным исследователям.

Если же географические представления эпохи Колумба не были столь ошибочны, тогда можно с полной уверенностью сказать, что настойчивые утверждения Колумба и испанских властей о том, что новые земли — Азия и т. д. и т. п., являются сознательным обманом.

2

В современной исторической и географической литературе принято считать, что в десятилетия, предшествовавшие плаваниям Колумба, существовали ошибочные географические воззрения, побуждавшие к поискам Восточной Азии именно западным путем (взять хотя бы неверное представление о размерах Старого Света).

Общепринятым считается также мнение, что эти взгляды разделял Колумб; отсюда его план плавания в Азию западным путем, заблуждения относительно новых земель и т. д. Это мнение о географических воззрениях той эпохи положено в основу традиционной концепции открытия Америки Колумбом.

Однако отмеченная выше «нелогичность» и непоследовательность в действиях Колумба и испанцев и невозможность найти им объяснение заставили нас усомниться в справедливости оценки географической науки эпохи Колумба. Это обстоятельство побудило нас обратиться к документам, чтобы проверить факты, на которых современная наука основывает свои выводы о географических представлениях того времени.

Предпочтение мы отдаем географическим картам, так как они в большей степени отражают результаты практики, повседневного опыта, чем трактаты средневековых ученых. Для удобства мы будем рассматривать памятники картографии по двум этапам, линией размежевания которых условимся считать семидесятые годы XV века.

Картографический материал первого этапа, охватывающего несколько столетий, убедительно доказывает, что средневековая географическая наука имела в общем правильное представление о размерах Старого Света в долготах и, следовательно, о пространстве, отделяющем Западную Европу от Восточной и Юго-Восточной Азии.

Прежде всего следует отметить так называемые Макробиевские карты (X — начало XVI века), многие десятки которых дошли до нас. На этих картах воспроизводилась гипотеза, выдвинутая еще во II веке до н. э. пергамским ученым Кратесом Малосским. По этой концепции на земном шаре имеются четыре огромные суши, отделенные друг от друга океанами; Старый Свет (ойкумена) — лишь одна из них и занимает северную часть восточного полушария. Еще одна суша, примерно равная ойкумене, расположена в южной части восточного полушария. Симметрично этим двум в западном полушарии расположены еще две аналогичные суши. Таким образом, по этой концепции поверхность земного шара состоит из четырех огромных суш, отделенных друг от друга обширным водным пространством. Каждая суша занимает в долготах меньше 180°, так как на каждой четверти поверхности земного шара, помимо суши, имеются еще опоясывающие ее широкие полосы единого мирового океана.

Известные в те века страны Старого Света занимают на этих картах примерно 130°—140° (по нынешним подсчетам материковая часть Евразии занимает на широте Лиссабона, например, 131°).

Еще более замечательные результаты дает ознакомление с так называемыми ойкуменическими картами XIV—XV веков, на которых изображался лишь Старый Свет. Подобные карты составлялись в те времена в странах Средиземноморья в большом количестве.

Прежде всего эти карты поражают верным изображением не только стран западной части Старого Света, но и сравнительно верными сведениями о побережье Восточной и Юго-Восточной Азии¹.

Надписи на картах свидетельствуют о том, что в Западной Европе были известны: расположение стран Востока, нравы их обитателей, растительный и животный мир, производимые там товары. Эти карты не имеют градусной сетки, но существуют надежные способы, дающие возможность определить, каково было мнение составителей этих карт о размере ойкумены в долготах. По расчетам английского исследователя Равенстейна, на Каталонской карте 1375 года размер Старого Света по 38 параллели (Лиссабон) составляет 116° (действительный размер — 131°), а по Генуэзской карте 1457 года — 136°. К аналогичным выводам пришли и другие исследователи этих памятников

¹ Разумеется, не всей Восточной Азии. Территория, лежащая к северу от Центральной Азии и Монголии, была в Западной Европе неизвестна. Исследование этих обширных земель — заслуга русских землепроходцев и ученых.

Правда, перечисленные карты являются самыми полными и точными из дошедших до нас ойкуменических карт того времени. Другие памятники XIV—XV веков этого же типа значительно уступают по точности сведений об отдаленных от Европы странах. Таковы, например, две карты Далорте-Дульчерта от 1325 до 1329 года, так называемая Лаврентиевская карта 1351 года, карты братьев Пицигани 1367 и 1373 годов, планисфер Андреа Бианко 1436 года. Однако на них размер Старого Света в долготах примерно такой же, как и на упомянутых выше картах.

Представление о размере Старого Света в долготах на этих картах восходит, с одной стороны, к географическим воззрениям античности (в частности, римских ученых), а с другой — складывалось под влиянием опыта торговли средневековой Европы с Востоком.

Известно, что начиная со второй половины XIII века купцы Западной Европы, в частности итальянцы, вели оживленную торговлю с Китаем, а в связи с этим они посещали и страны Юго-Восточной и Южной Азии.

Во второй половине XIV века связи Западной Европы с Китаем прерываются, но в памятниках картографии XV века сохраняется традиция. И обозначения стран Восточной Азии остаются неизменными. Все же правильные географические представления не были безраздельно господствующими в науке того времени. В XV веке в странах Западной Европы получает распространение географический труд знаменитого астронома античности Птолемея, считавшего, что ойкумена (Старый Свет) составляет около 180°.

Однако картографы, которые, как известно, более связаны с практическим опытом, не восприняли тогда концепции Птолемея. Об этом свидетельствуют в первую очередь сами карты и, кроме того, прямое высказывание знаменитого итальянского картографа середины XV века Фра-Мауро.

Приведенные факты позволяют сделать следующий вывод. Путешественники, мореплаватели, купцы пользовались картами, основанными на опытных данных, а географические представления Птолемея и других античных авторитетов разделялись средневековыми учеными, игнорировавшими практический опыт.

Мог ли казаться в свете географических воззрений эпохи целесообразным западный путь в Азию?

Совершенно очевидно, что географы и мореплаватели знали, что, плывя западным путем до стран Восточной Азии, пришлось бы покрыть расстояние, примерно равное 230°, то есть почти двум третям окружности земного шара.

Был ли вообще реален в то время план установления торговых связей с Восточной Азией западным путем? Позволяла ли существовавшая в то время техника судостроения и кораблевождения осуществлять подобные планы?

Для решения этих вопросов нет надобности прибегать к детальным исследованиям. Достаточно сказать, что первая флотилия, достигшая Восточной Азии западным путем — экспедиция Магеллана (1519—1521), — выполнила свою задачу, потеряв в пути почти весь личный состав. А ведь флотилия Магеллана отправилась в путь тогда, когда были уже известны земли, именуемые ныне Америкой, где мореплаватели могли пополнить запасы свежей воды и провизии.

Результаты экспедиции Магеллана убедительно показывают, что в то время преодоление одного такого огромного водного пространства, как Тихий океан, было чрезвычайно трудным делом. Даже позднее, после завоевания Мексики, терпели неудачу многочисленные попытки испанцев наладить регулярные сношения между западным берегом Мексики и странами Восточной и Юго-Восточной Азии. Можно ли было в XV веке, еще до наличия промежуточных баз, всерьез говорить о реальности подобного плавания?

Естественный вывод, что при существовании правильных взглядов на размеры Старого Света, о чем свидетельствуют карты XIV—XV веков (включая пятидесятые годы XV века), установление торговых связей Европы с Восточной Азией западным путем, безусловно, должно было казаться утопией.

Однако, по единодушному мнению историков географии и исследователей картографии, в семидесятых—восемидесятых годах XV века, то есть в десятилетия, предше-

ствовавшие плавания Колумба, географические воззрения претерпели серьезнейшие изменения, произошел внезапный переход с правильных взглядов на неправильные. На географических картах наблюдаются поистине удивительные превращения: страны Восточной и Юго-Восточной Азии на картах непомерно увеличиваются и их перемещают все далее на восток, все более приближая к берегам Западной Европы. Вместе с чудовищным изменением конфигурации стран Азии меняются русла известных рек, приобретая гигантские размеры и зигзагообразную форму. На картах появились совсем не существующие реки, озера, горы и какие-то фантастические страны.

Все эти изменения, естественно, привели к увеличению размера Старого Света в долготах. Вместо средней цифры в 130° на широте, например, Лиссабона, характерной для прежних карт, позднейшие памятники картографии показывают 225° — 230° , а позднее даже 250° — 260° . Раз начавшись, этот процесс продолжался почти до конца XVI века.

«Странная глава о развитии человеческих представлений о Земле» — так называл это загадочное явление англичанин Бизли. Польский ученый Лелевель выразительно охарактеризовал то же явление «плачевной деградацией» географических воззрений человечества.

В чем дело? Какова причина такой катастрофической ломки географических воззрений?

Загадка происшедшего привлекла внимание исследователей XIX—XX веков. Мнения разошлись. Одни приписывали все влиянию античного ученого Птолемея, другие — воздействию концепции другого античного географа, Марина Тирского. Оба объяснения, по нашему мнению, неубедительны.

Действительно, если бы здесь сказалось влияние авторитета Птолемея, то была бы принята его цифра 180° для размера Старого Света, между тем, как мы видели, при ломке географических воззрений толковали о 225° — 230° , а затем 250° . На первый взгляд может показаться правильным объяснение, что всему виной Марин Тирский. Он по крайней мере считал, что Европа — Азия — Африка занимают в долготах 225° — цифра, которая действительно иногда встречается на первом этапе ломки географических воззрений.

Однако более близкое ознакомление с фактами заставляет отбросить подобное допущение. Дело в том, что сочинение Марина не дошло до средневековой науки. Точно известно, что сведения о его концепции появились только благодаря «Географии» Птолемея, который гут же убедительно доказал, что Марин ошибочно истолковал сведения путешественников, которые легли в основу его мнения, и, кроме того, допустил грубые промахи при расчетах. Спрашивается, могла ли быть воспринята концепция, если она дошла лишь в изложении другого автора, убедительно доказавшего ее ошибочность? Безусловно, нет. И далее, можно ли объяснить искажение географических представлений влиянием Марина, если он считал, что ойкумена имеет 225° , а при ломке мы обнаруживаем и иные цифры — 230° , 250° , 260° ?

Впрочем, основное соображение, которое заставило нас не согласиться с объяснениями историков средневековой географии и картографии, носит методологический характер. Наблюдения над историей картографии приводят к твердому заключению: картография — наука, тесно связанная с практикой, и ориентировалась она на непосредственный опыт, а не на концепции древних авторитетов. Поэтому причину ломки географических воззрений следует искать в целом ряде каких-то сообщений путешественников. Результаты одного похода вряд ли могли оказаться сильнее прочно сложившейся традиции.

Однако все попытки обнаружить сведения о путешествиях, которые могли бы обусловить ломку географических воззрений ранее семидесятых — восьмидесятых годов XV века или в эти десятилетия, оказались безуспешными.

Представляется невероятным, чтобы о путешествиях, заставивших всех картографов столь радикально изменить свои взгляды, до нас не дошло никаких сведений. Между тем, повторяем, их нет.

Это заставляет усомниться в справедливости мнения науки о том, что в период, предшествующий плаваниям Колумба, действительно возможна была неожиданная и

необъяснимая ломка географических представлений. Остается подвергнуть новому анализу факты, на основании которых географы утверждают, что деградация географических представлений произошла в XV веке.

В хронологическом порядке эти факты располагаются следующим образом: письмо и карта Тосканелли — 1474 год, глобус Бегайма — 1492 год, после чего следуют географические воззрения Колумба.

3

Карта Тосканелли обычно датируется 1474 годом. Эта карта до нас не дошла. Самые ранние сведения о ней дошли от испанских хронистов XVI века; они ее видели среди бумаг Колумба. Современная наука располагает письмом Тосканелли, адресованным португальцу Мартинесу, а также Христофору Колумбу; к письму для иллюстрации была приложена интересующая нас карта. Сведения, имеющиеся в письме, позволяют восстановить карту. Эта работа была осуществлена еще в XIX веке, и оснований для того, чтобы ее отвергнуть, нет.

В письме говорится, что расстояние от Лиссабона до восточных берегов Азии (западным путем) равно приблизительно одной трети земного шара. В градусах это расстояние не выражено. Но на основании утверждения автора письма о том, что на карте расстояние Лиссабон — Китай поделено на двадцать шесть спаций, исследователи пришли к единодушному мнению, что каждая спация равняется 5°. Следовательно, расстояние от Лиссабона до восточного побережья Азии (западным путем) на карте равнялось 130°. Это значит, что Старый Свет на широте Лиссабона занимал 230° (вместо примерно 130° в действительности, как это изображалось на картах мира до «деградации» географических взглядов). Поэтому автор письма настоятельно рекомендовал не восточный, а западный путь в Восточную Азию как «наиболее короткий и легкий».

В письме в восторженных тонах описываются богатства стран Восточной Азии. Сказано, что эти богатства лежат нетронутыми только потому, что европейцы не знают дороги в эти страны, хотя «туда весьма легко проникнуть». Кроме того, автор утверждает, что местные жители встретят европейцев с распростертыми объятиями.

Но общепринятой версии, письмо и карта Тосканелли оказали на Колумба огромное влияние и определили его решение идти в Азию западным путем, что и привело к открытию Америки. Именно поэтому в конце XIX века во Флоренции был воздвигнут памятник в честь Тосканелли — «вдохновителя открытия Америки», как гласит надпись на постаменте.

Исследования показали, что письмо Тосканелли (а следовательно, и карта) не аутентично. Прежде всего в письме встречается фраза, которая могла быть сказана минимум двадцать пять лет спустя после даты, стоящей на письме (1474 год), и семнадцать лет после смерти знаменитого ученого (Тосканелли умер в 1482 году). Далее документы личного архива Тосканелли доказывают, что флорентийский ученый не придерживался выраженных в пресловутом «письме Тосканелли» ошибочных взглядов на размер земного шара и на размер Старого Света. Кроме того, нами выяснено, что были люди, заинтересованные в изготовлении писем Тосканелли, и что первое письмо было составлено в начале XVI века, спустя минимум два десятилетия после смерти флорентийского ученого.

Что касается второго памятника, где проявляется упомянутая точка зрения на размер Старого Света — глобус Бегайма, — то документами подтверждается, что глобус действительно был изготовлен в 1492 году. Однако изображение, имеющееся на глобусе, выдает, что он впоследствии подвергся коренной переделке. Так, например, на глобусе чмеется надпись с датой — 1506 год. Далее, на глобусе впадающие в Каспийское море реки именуются Емба, Сир, Аму. Между тем известно, что в Западной Европе в XV веке и в начале XVI века эти реки принято было именовать Дайкс, Яксартес, Оксус. Наконец, как явствует из описания этого глобуса знаменитым нюрнбергским хронистом Гартманном Шеделем, в момент изготовления этого памятника на нем была изображена макробиевская концепция, а не мариновская.

Стало быть, нет ни одного картографического памятника, который бы давал осно-

вание утверждать, что до первого плавания Колумба в Западной Европе существовало мнение о том, что Восточная Азия находится близко на западе.

Нам остается рассмотреть географические воззрения Колумба. Самое определенное, выраженное в точных цифрах, высказывание Колумба о размере Старого Света в долготях обнаруживается в написанном незадолго до смерти донесении о четвертом, и последнем, плавании (1502—1504). В нем Колумб определенно и категорически согласился с мнением Марина Тирского: размер Старого Света равен 225°.

Однако значит ли это, что такого мнения Колумб придерживался и раньше? Отнюдь нет. Дело в том, что в донесении о третьем плавании, написанном не позднее 1498 года, Колумб разделяет в этом вопросе точку зрения Птолемея, а этот античный ученый, как известно, определял размер Старого Света примерно в 180°.

Известно, что Колумб читал «Географию» Птолемея. Экземпляр этой книги с его пометками дошел до нас. Спрашивается: как же мог Колумб признать справедливость концепции Марина, если ему была известна работа Птолемея, в которой тот убедительно показывает ошибки Марина в расчетах?

Таким образом, прямые высказывания Колумба о размере Старого Света обнаруживают непримиримое противоречие.

Попытка разрешить это противоречие с помощью других высказываний, содержащих косвенные данные о его мнении по интересующему вопросу, дали неожиданные результаты.

Обратимся к некоторым фактам второго плавания Колумба.

В 1494 году три корабля Колумба направились от берегов Эспаньолы на запад, к Кубе и следовали затем вдоль южного берега этого острова западным курсом.

Достигнув восточной части Кубы, Колумб объявил экипажу, что корабли находятся у Савской страны. Следует подчеркнуть, что и в античную эпоху, и в средневековые местоположением этой страны считался Аравийский полуостров; иное мнение ни в литературе, ни в картографии не встречается. Раз это так, то мы вправе заключить, что Колумб, пройдя расстояние от Испании до Кубы (около 70°), считал, что он не только пересек океан, но прошел также мимо всей Азии и достиг ее западной части.

Затем от Савской страны корабли Колумба двинулись вдоль южного берега Кубы далее на запад, и вскоре Колумб сообщил, что они достигли Восточной Азии. Мало того, Колумб потребовал, чтобы его мнение разделили все участники плавания, и обязал их поклясться в этом.

Спрашивается: как же могло случиться, что, двигаясь в западном направлении, Колумб вначале подумал, что он достиг Западной Азии, а затем Восточной?

Однако это еще не самое удивительное. Через два года Колумб объявил, что на острове Эспаньола (Гаити) находится Офир. Это страна, которая, по Ветхому Завету, исключительно богата драгоценными металлами, помещалась на картах до XVI века либо в Восточной, либо в Юго-Восточной Африке.

Итак, если верить словам Колумба, на западе от Европы сперва находится Восточная Африка (Офир), затем далее на западе — Западная Азия (Савское царство), и наконец далее в этом направлении — Восточная Азия.

Вот в какой тупик завела нас попытка установить мнение Колумба о размере Старого Света по прямым и косвенным данным. Какие причины заставили Колумба высказать столь парадоксальные суждения о расположении стран, славившихся своими баснословными богатствами? Обратимся снова к документам о втором плавании Колумба и попытаемся обнаружить эти причины.

4

Подготовка второй экспедиции началась сразу же после возвращения Колумба из первого путешествия. В ряде городов Испании было издано письмо за подписью адмирала с описанием результатов первого плавания.

В письме в восторженных тонах рассказывалось о сказочных богатствах, якобы обнаруженных Колумбом на островах «Индий». В письме также сообщалось, что плавание в Индии не представляет никакой опасности. Кроме того, читатели извещались

о том, что в удобном для торговли с Китаем месте испанцы основали селение и построили крепость.

Благодаря многочисленным изданиям это письмо было широко распространено по всей Испании. Кроме того, герольды зачитывали в городах и селениях страны королевские седулы. В них сообщалось о снаряжении королевской флотилии, которая во главе с «адмиралом Индий» Колумбом должна направиться «в Индию».

Пропагандистские усилия дали свои результаты.

Желающие участвовать в экспедиции буквально осаждали Колумба. Предполагалось набрать тысячу двести человек. Около четырехсот человек, не попавших в списки, тайком пробрались на суда. Они отплыли с флотилией.

Колумб сообщил королевской чете: «Всех я их принял на службу после назойливых ходатайств». Всех их привлекали сказочно богатые страны Востока. «Они отправились,— писал Колумб,— с верой в то, что золото, о котором говорилось, и пряности можно будет загребать лопатами... прямо на побережье».

В океане флотилия попала в жестокий шторм; вскоре к страху перед грозным океаном прибавился голод. Поставщики погрузили на корабль испорченный провиант, и в последние недели плавания людей перевели на голодный паек.

Наконец корабли подошли к Эспаньоле. Тщетно прибывшие разыскивали крепость и селение, о которых говорилось в письме Колумба. Их не оказалось по той простой причине, что они там никогда и не существовали. Вскоре выяснилось, что отряд моряков, оставленный на острове, погиб. Свыше месяца флотилия с голодающими испанцами шла вдоль северного побережья Эспаньолы в поисках удобного места для закладки селения. Рационы непрерывно сокращались. Наконец Колумб приказал причалить к берегу, выгрузить имущество и соорудить шалаши. Обрадованные колонисты с энтузиазмом взялись за дело, но вскоре они столкнулись со страшными трудностями. Голодные испанцы набросились на местную пищу. Она оказалась неудоваримой для европейцев. Началась эпидемия желудочных заболеваний. К тому же и этой пищи было мало, так как туземцы не имели запасов. В поисках пищи европейцы стали пробовать плоды и ягоды дикорастущих растений. Многие из них оказались ядовитыми.

Тропические ливни ухудшили и без того тяжелое положение голодающих испанцев. Непривычный климат влажного тропического леса Эспаньолы (Гаити), назойливые москиты вызвали тропическую лихорадку и другие загадочные в то время болезни. Врач не знал, как их лечить. Эпидемии косили испанцев.

Некоторое представление о положении испанцев на новой земле дает мемориал, написанный Колумбом в первые же месяцы пребывания на Эспаньоле и врученный капитану кораблей, отправлявшихся обратно в Испанию. То был вопль о помощи. Колумб писал о загадочных болезнях, которые обрушились на испанцев, и умолял королевскую чету позаботиться о возможно быстрой присылке провианта: от хлеба и мяса до патоки и уксуса. Особый упор адмирал делал на мясо и скот. Свежее мясо, заверяет Колумб, поставит больных на ноги.

Прошли недели, и никаких богатств прибывшие все еще не видели в тропических лесах Эспаньолы. Убедившись, что их обманули, озлобленные колонисты потребовали, чтобы им разрешили вернуться на родину. Колумб, естественно, отказал им. Вскоре Колумб раскрыл заговор среди участников экспедиции. Заговорщики хотели захватить суда и самовольно вернуться в Испанию. Колумб круто расправился с ними: некоторые из них были повешены, многие подверглись аресту. Одновременно глава экспедиции принял меры предосторожности. По его распоряжению со всех судов сняли оснастку и навигационные приборы и перенесли на один из кораблей под охрану надежных людей.

Обстановка накалялась. Произошел конфликт и между Колумбом и духовенством, сопровождавшим экспедицию. Дело в том, что в заговоре оказались замешанными люди, близкие к монаху Буилью. Последний потребовал, чтобы их не казнили, и пригрозил Колумбу крайней мерой — прекращением церковных служб. На Колумба эта угроза не действовала, и заговорщики были повешены. Тогда монах Буиль привел в исполнение свою угрозу. В ответ на это Колумб прекратил выдачу монахам провианта. Духовен-

ство смирилось, но взаимоотношения были вконец испорчены. Недовольство нарастало с каждым днем.

И тогда, как сообщает участник событий Кунео, Колумб объявил, что на Эспаньоле, в глубине острова, находится страна «Сибоа», в которой, «как сообщает Птолемей, много золота в реках». Колумб, несомненно, имел в виду «Сипанго» (Японию), о которой писал Марко Поло. У Птолемея об этой стране нет ни слова, так как этот античный географ не имел никаких сведений о странах к востоку от азиатского материка.

Вскоре Колумб, дав «точный маршрут», отправил отряд на поиски этой страны. Прокладывая себе дорогу через девственные леса, отряд с трудом пробирался, пока путь не преградила разлившаяся от дождей река. Отряд ни с чем вернулся в селение. Тогда Колумб заявил испанцам, что отряд еще не дошел до Сибоа, о которой якобы писал Птолемей. Адмирал далее сообщил, будто индейцы Эспаньолы подтвердили «все сведения Птолемея: действительно в указанной стране Сибоа имеется золото в огромном количестве».

По этому поводу адмирал устроил «большое празднество». Испанцы видели собственными глазами донесение адмирала королевской чете. Колумб сообщал, что им обнаружена богатейшая страна Сибоа, где реки катят золото в огромном количестве. Поэтому, заверял Колумб далее, он в короткий срок вывезет в Испанию столько же золота, сколько Бискайя поставляет железа.

Это донесение произвело чудесное воздействие на больных испанцев. Участник событий Кунео пишет: «Несмотря на ужасающую погоду, плохую пищу и еще худшее питье», в селении царил ликование. Все это, говорит Кунео, сделала жадность к золоту.

Переждав сезон дождей, Колумб сам повел в Сибоа крупный отряд. По прибытии туда он велел построить форт. Испанцы выкраивали каждую свободную минуту и лихорадочно искали золото в реках и ручьях. Кунео сообщает: «Много раз мы обшарили указанные реки, но ни единого зернышка [золота] не нашли»¹.

Тогда Колумб объявил колонистам Эспаньолы, что согласно сообщениям индейцев Сибоа «золотоносная область» лежит в другой стороне от Сибоа. Колумб, однако, не повел испанцев в золотоносную страну, с которой ему якобы сообщили индейцы. Он вернулся в факторию, где свирепствовали голод и болезни. Колумб вскоре покинул Эспаньолу и на трех кораблях направился на запад, к берегам Кубы. Именно в этом рекогносцировочном плавании адмирал «обнаружил» Савскую страну и восточный берег Азии.

Один из участников этих событий рассказывает, что условия плавания были чрезвычайно тяжелы: хлеба выдавали по семь унций в день на человека, остальную пищу — рыбу — моряки добывали сами. Корабли медленно шли вдоль берега незнакомой земли. Южный берег Кубы болотист и пустынен. кое-где встречались редкие поселения индейцев-рыболовов. Но чем безрадостней была картина, тем удивительнее были «открытия» Колумба. Когда корабли решили подойти к берегу в виду селения, Колумб объявил, что это и есть знаменитая страна Сава (Савское царство). Колумб спросил местного жителя, как называлась эта земля. И, как уверял адмирал своих попутчиков, тот ответил «Сово», что означало, как разъяснил Колумб, Савское государство. Однако углубляясь в эту страну Колумб не стал, а отправился морем дальше на запад. Затем корабли пошли на юг, к острову Ямайка, и снова вернулись к Кубе. Корабли шли вдоль южного болотистого берега этого острова. Участник плавания меланхолически отмечает: «Всюду одно и то же».

В одном месте после длительных переговоров с местными жителями европейцы узнали, что Куба является островом, омываемым со всех сторон морем. И Колумб

¹ В Испанию, однако, пошло письмо чиновника Чанка, в котором сообщалось: «Капитан, побывавший в Сибоа, нашел золото в столь многих местах, что невозможно об этом передать человеческими словами. Золото было найдено более чем в пятидесяти ручьях и реках, немного нашли его и на суше». В письме далее говорилось, что вскоре кастильские корабли «смогут забрать с собою такое количество золота, которое приведет в изумление всякого, кто об этом узнает...» Это письмо широко распространилось в Испании.

записал эти сведения в своем дневнике. Однако, когда адмирал решил вернуться к фактории, оставленной на Эспаньоле, он объявил экипажу, что Куба и есть берег Азии и что корабли находятся недалеко от Китая.

Участники плавания возражали и, ссылаясь на слова туземцев, утверждали, что это остров. Рассвирепевший адмирал объявил, что туземцы — «неразумные скоты, они знают лишь свой клочок земли, на котором находится их селение», и не представляют себе, что находится в десяти лигах (около шестидесяти километров) от них.

Из письма рядового участника событий мы узнаем, что «ученейший человек», некий де Луксерна, упорно не хотел согласиться с Колумбом и что большинство участников плавания были того же мнения, что и де Луксерна. Колумб прибег к прямым угрозам. Он объявил, что не разрешит Луксерна вернуться в Испанию.

Затем адмирал решил применить более эффективные меры; о них мы узнаем из официальных актов, составленных нотариусом экспедиции. Они весьма любопытны: «Июнь 1494 на борту каравеллы «Нинья»... дон Христофор Колумб, великий адмирал океана... приказал мне, означенному нотариусу... отправиться вместе со свидетелями на каждую из трех каравелл и уведомить... экипажи и остальных лиц, находящихся на борту, что эта земля является материком — началом Индии...» Нотариус далее сообщает, что он в точности выполнил требование адмирала, предупредив, что «всякий, кто когда-либо скажет обратное тому, что он (нотариус) объявляет сейчас, будет подвергнут штрафу в размере 10 000 мараведи или получит 100 ударов розгами и, кроме того, ему отрежут язык».

Когда упоминавшийся ранее Кунео остался наедине с Колумбом, он спросил его, чем вызваны подобные действия. Адмирал доверительно сообщил своему другу детства, что эти меры необходимы, иначе в Испании перестанут интересоваться новооткрытыми землями.

Затем адмирал решил вернуться на Эспаньолу. Когда Колумб прибыл в факторию, там царило отчаяние. Оказалось, что в отсутствие Колумба королевские чиновники и духовенство захватили корабль и бежали в Испанию. По словам Кунео, в фактории тогда «было много больных и лишенных пищи людей».

И Колумб сообщил им, что ему удалось наконец обнаружить берега Азии и что он вскоре отправит туда две каравеллы под командой своего брата Варфоломея. «Господин адмирал заявил, — сообщает присутствовавший при этом Кунео, — что найдет Китай». Кораблей он, однако, никуда не послал; правда, вскоре он «нашел» на Эспаньоле золотonosный Офир, и об этом поторопились сообщить в Испанию. Но и эту страну он, подобно Савскому царству и Восточной Азии, оставил без внимания.

А в это время Кунео по возвращении из новых земель в Европу доносит своему патрону, что новые земли не представляют коммерческого интереса, так как рабы, привезенные оттуда в Испанию, хилы и недолговечны. О других возможностях использования новых земель он даже не упоминает. Кунео заканчивает свой отчет следующим выводом: «Если Колумб и впредь ничего лучшего не обнаружит, новые земли придется оставить».

Обстоятельства «обнаружения» в 1494 году азиатского материка и других стран Азии, известных своими богатствами (Сибоа, то есть Сипанго — Япония, Савское царство и т. п.), совершенно определенно показывают, что в основе утверждений Колумба лежали не географические соображения, а стремление преодолеть отрицательное мнение современников относительно новооткрытых земель. Короче говоря, сведения об Азии и ее богатствах, якобы обнаруженных недалеко на западе, были мистификацией.

Приведенные факты показывают, какими мотивами руководствовались испанские власти и Колумб, идя на обман. Мистификация вызывалась необходимостью привлечь людей к заморской экспансии.

Это оказалось самой сложной задачей, которая встала перед испанскими властями еще при снаряжении первой флотилии Колумба, когда надо было привлечь всего лишь одну сотню моряков. По свидетельству жителей Палоса, Колумб долгие месяцы не мог набрать людей для трех маленьких каравелл. Участник событий А. Велес Алид сообщает: «И так как земли (о которых говорил Колумб) не были известны и о них ничего

не знали, он не находил людей, которые пошли бы с ним». Моряки не желали отправляться в опасное плавание через незнакомый океан к каким-то неизвестным землям. Выгода от участия в столь рискованном предприятии представлялась морякам весьма сомнительной, а опасность реальной. И тогда, чтобы обеспечить вербовку людей, решили действовать обманом. Было объявлено, что корабли направляются в богатейшие страны Азии, славившиеся в средние века несметными богатствами: драгоценными металлами, пряностями, благовониями и т. п. Участникам плавания посулили быстрое обогащение в странах Востока.

Эта уловка оказалась удачной, и нужное количество людей было завербовано.

Когда первые корабли Колумба побывали на островах Карибского моря, участники плавания были разочарованы тем, что они там увидели. Они нашли там девственные субтропические леса, в которых жили племена, находившиеся на низшей ступени варварства. Наиболее многочисленными были арауакские, или таинские племена, населявшие Большие Антиллы — Эспаньолу (Гаити), Кубу, Пуэрто-Рико и Ямайку.

Основным видом хозяйства у них было примитивное земледелие: они возделывали юкку, бататы и т. п. Орудиями производства служили деревянные палки с обожженными для твердости наконечниками, а иногда с каменными насадками. Фауна островов отличалась чрезвычайной скудостью, поэтому охота играла незначительную роль в хозяйстве туземцев; скотоводство им не было известно. Мясной рацион туземцев состоял из грызунов, червей, пауков и ящериц.

Европейцы не обнаружили там никаких богатств. Испанцы с удивлением разглядывали обнаженных людей, ютившихся в шалашах из веток и листьев, питавшихся невкусными и малопитательными корнями. Все увиденное повергло участников первого плавания в уныние.

В январе 1493 года произошел общий бунт против Колумба, и флотилия раньше срока отправилась обратно в Испанию.

По возвращении в Испанию участники плавания отрицательно отзывались о новых землях.

Испанские власти надеялись, однако, на то, что в дальнейшем будут обнаружены и богатые страны. Поэтому было принято решение послать крупную экспедицию и прочно обосноваться в новых землях. Предстояло набрать большое количество людей, готовых пересечь грозный и незнакомый океан.

Рассказы участников первого плавания о своих впечатлениях о новых землях оказались серьезным препятствием. И уже тогда испанские власти учли, что распространение правды о новых землях явится серьезной помехой для широкого развертывания колониальной деятельности.

Дабы положить конец «вредным» слухам и привлечь к рискованному предприятию новых людей и средства, испанский двор использовал и развил дальше прием, примененный перед отправкой первой флотилии. Было объявлено, что корабли Колумба открыли «Индию», в которой обнаружено баснословное количество золота, пряностей и т. д. Эта мистификация, как мы видели, действительно сослужила свою службу при подготовке второй экспедиции (1493 год).

Власти полагали, что люди, прибывшие на вновь открытые земли и не нашедшие там обещанных богатств, сохранят, однако, надежду на скорое обогащение: ведь рядом сказочно богатая Азия.

Мы уже видели, что в 1494 году по прибытии второй экспедиции на Эспаньолу, когда на пришельцев обрушились неожиданные бедствия, а богатств они не обнаружили, Колумб применил различные приемы, чтобы поднять дух своих людей.

Следует признать, что эти приемы были не лишены остроумия: «свидетельства местных жителей» (благо, испанцы, как и сам Колумб, не понимали их языка), мнимые донесения Колумба на имя королевской четы, клятвопринятия, подменявшие свидетельства очевидцев — участников плавания у Кубы, — и т. п. Какое-то время эти приемы действовали. Однако ужасающие условия, в которые попали переселенцы на Эспаньоле, загадочные болезни, жестокий голод, москиты и прочие напасти тоже делали свое дело.

В Испанию попали письма с Эспаньолы. В них сообщалось о бедственном положении испанских переселенцев и содержались просьбы о разрешении вернуться на родину.

В 1494—1496 годах кое-кому удалось вернуться с Эспаньолы на родину. По словам очевидца, вернувшиеся «ничего не привезли, кроме рассказов о бедствиях, страданиях и обманутых надеждах». Вид их был ужасен и поразил современников. Очевидец пишет: «Они вернулись больными, разбитыми и напоминали скорее мертвецов, чем живых людей... Если бы король подарил мне Индию, но это привело бы к тому, что я стал бы похожим на этих людей, то я бы никогда не решился туда отправиться».

К 1496 году мистификация испанских властей дала осечку и в самой Испании. Колумб, вернувшийся в 1496 году в Испанию, писал своему брату Варфоломею: «Все это предприятие столь обесславлено, что диву даешься».

В результате после указанного года никто больше не хотел отправляться в новые открытые земли. Трудности, с которыми сталкивался Колумб при вербовке личного состава, были поистине непреодолимы. Решение об отправке третьей флотилии было принято еще летом 1496 года, когда стояла задача пополнения сильно поредевшего личного состава основанных на Эспаньоле факторий. После шестимесячных бесплодных усилий Колумб убедился в том, что эта задача невыполнима. «Все дело пользуется столь дурной славой,— доносил он испанскому двору,— что никто не хочет ехать».

И тогда Колумб решил прибегнуть к следующей уловке. Он щедро оплатил некоторых моряков, плававших уже ранее к землям Нового Света, с тем чтобы они публично рассказывали, будто они согласились переселиться в «Индию». Адмирал полагал, что это будет хорошей приманкой для неосведомленных людей.

Кроме того, Колумб устраивал специальные «рекламные» прогулки. Он водил по улицам Севильи и других городов Испании индейца, увешанного золотыми безделушками. Вид этого индейца и особенно его украшения должны были, по-видимому, действовать на воображение испанцев. Но все эти уловки не помогли. Прошло еще полгода, и Колумб решил прибегнуть к крайней мере, а именно к вербовке преступников на выгодных для них условиях.

Король Фердинанд и Изабелла дали свое согласие на это предложение Колумба: 22 июня 1497 года были опубликованы два королевских предписания, которые были доведены до сведения заключенных и каторжников. Приговоренным к смертной казни обещали, что два года пребывания в «Индии» дадут им помилование и прощение, и они смогут вернуться в Испанию, а осужденным к каторжным работам каждый год пребывания в «Индиях» засчитывается за год каторги. Этот факт по существу свидетельствует, что в глазах народа пребывание в «Индиях» было не лучше каторги. Прошел еще год, прежде чем удалось хотя бы частично комплектовать состав третьей экспедиции.

Испанские власти оказались перед дилеммой: либо отказаться от новых земель и заморской экспансии только из-за невозможности привлечь людей для поездки туда, либо еще более усилить мистификацию, усовершенствовать ее, сделать более действенной. И испанский двор, который надеялся на то, что в дальнейшем будут обнаружены богатые страны (как известно, впоследствии эти надежды оправдались), согласился с мнением Колумба о целесообразности продолжить усилия по захвату новых земель. Колумб постоянно приводил пример соседней Португалии, которая лишь после длительных попыток, казавшихся вначале бесплодными, стала получать баснословные барыши от своих заморских владений.

После 1496 года испанские власти принимают различные меры для развертывания заморской экспансии. Усиление мистификации было важной составной частью этой политики. Прежде всего увеличился поток королевских седул, в которых назойливо внушалось, что новые земли и есть Индия, а жители этих земель именовались индейцами.

В качестве примера приведем несколько фраз из документа королевской канцелярии, подлежавшего опубликованию летом 1497 года: «Также следует отправить в указанные **И н д и** инструменты и орудия **т р у**да, которые вы, адмирал, сочтете **н у**жными для **р а**боты в указанных **И н д и** я х, а **т а**кже **к и**рки, **м о**тыги... (следует перечисление инстру-

ментов.— Д. Ц.), которые пригодятся в указанных Индиях. А также к уже имеющимся в указанных Индиях коровам следует добавить еще двадцать запряжек коров и кобыл для работы в указанных Индиях».

Легко заметить, что слово «Индии» здесь употребляется и тогда, когда в нем нет никакой надобности. Эти и подобные им документы оглашались герольдами в городах и селах Испании. Сила их воздействия для внушения мысли, что открытые земли — Азия, была огромна, так как эти документы были многочисленны, под ними стояла подпись королей и они обязательно зачитывались во всех селениях страны.

Далее, при описании новооткрытых земель их делали еще более привлекательными, чем раньше. Так, в документе от имени Колумба от конца 1498 года, распространяв шемся в Испании, внушалось и доказывалось, что новооткрытые земли находятся у врат земного рая.

На чем строили мистификаторы свои расчеты, утверждая, что новые земли — Азия? Они опирались на общепринятые в науке того времени воззрения о сферичности Земли. Отсюда вытекала теоретическая возможность достичь Азии западным путем.

Но, как мы видели, географические представления того времени противоречили утверждению, что Азия находится недалеко на западе. Поэтому в Испании сведущие люди, располагавшие данными о примерном расстоянии, пройденном кораблями Колумба, высмеивали его утверждение, будто бы он достиг Азии.

Любопытный спор произошел в Севилье в 1496 году между Колумбом и тамошним жителем Бернальдесом. Последний рассказывает, что в 1496 году у него в доме гостил Христофор Колумб. В оставленных ему на хранение документах Бернальдес прочел, что адмирал убежден, будто остров Куба является началом Азиатского материка, побережьем Китая.

Бернальдес сообщает, что в документах Колумба сказано, будто это «побережье Китая» находится в 1200 лигах (около семи тысяч километров) на запад от Испании. На это он замечает: «Мое мнение, что пройди он еще 1200 лиг по сфере морем и сушей, он все равно туда (в «Китай».— Д. Ц.) не доберется, — и это я ему (Колумбу.— Д. Ц.) сказал и объяснил в 1496 г., когда он прибыл в Кастилию... так как он был моим гостем».

Образованные люди скептически относились к заявлениям испанских властей, будто открытые Колумбом земли и есть Азия, ибо эта версия противоречила положению тогдашней науки. Скептическое мнение образованных людей весьма усложняло задачи властей, а иногда сводило на нет все их усилия. Вспомним, что большинство участников второго плавания согласилось не с Колумбом, а с «ученейшим человеком» де Луксерна. Адмиралу пришлось прибегнуть к суровым угрозам, дабы предотвратить распространение неугодного ему мнения. Короче, мистификаторам мешало мнение географической науки о размерах Старого Света. Поэтому для испанских властей было важно доводам науки противопоставить определенные научнообразные доводы и этим хотя бы нейтрализовать или ослабить «вредные» последствия суждения образованных людей.

Такие сколько-нибудь убедительные доводы были найдены. Они впервые обнаруживаются в донесении Колумба о четвертом плавании, опубликованном в Испании и Италии в 1505 году. В этом донесении Колумб ополчается на мнение Птолемея о размерах Старого Света и утверждает, что правильной является концепция Марина Тирского.

Колумб заявляет самым категорическим образом: «Птолемей полагал, что он исправил Марича, а теперь обнаружено, что его слова очень близки к действительности. Птолемей помещает Каттигара в 12 линиях и $2\frac{1}{2}^\circ$ ($182\frac{1}{2}^\circ$) от своего Запада (то есть от нулевого меридиана на западе.— Д. Ц.), от мыса Сан Висенте в Португалии. Марин установил размер Земли (здесь в смысле Старого Света.— Д. Ц.) в 15 линиях (225°)».

Таким образом, Колумб утверждает, что именно «теперь обнаружено», то есть практика показала правоту Марина. И он подтверждает правоту Марина, ссылаясь на

свой опыт, опыт мореплавателя. Он говорит, будто в 1494 году прошел на своих кораблях расстояние в девять астрономических часов, то есть недостающие 135°.

Обратим внимание на то, что в качестве единственного довода в пользу мнения Марина о размере ойкумены Колумб приводит только свой опыт, свою практику. Мы полагаем, что если бы Колумбу, когда он писал это донесение, было известно, что кто-нибудь другой тоже придерживается этого мнения, то он упомянул бы об этом. Его настойчивость и ссылки только на собственный опыт, по нашему мнению, проистекали из невозможности найти другие доказательства.

Так Колумб «опроверг» Птолемея и «доказал», что концепция Марина верна. Таким образом, по утверждению Колумба, Азия находится в 135° к западу от Европы. Какое же это расстояние? Произведем расчет на широте Канарских островов, ибо именно на этой широте двигались на запад испанские экспедиции. 135° равняется 13 275 километрам (на 28-й широте 1° равен 98 $\frac{1}{3}$ км). Между тем новооткрытые земли, если считать даже самые дальние (Панамский перешеек, к которому пристали корабли в четвертой экспедиции Колумба), находятся в 70° западнее Канарских островов (Куба, принятая за Азию, и того меньше — в 60°).

Итак, земли Центральной Америки удалены от меридиана Канарских островов лишь на 6900 километров. Разница между 13 275 и 6900 колоссальна. И даже тот, кто поверит в справедливость концепции Марина, еще не поверит, что земли Нового Света — Азия. Что же нужно для того, чтобы этому все-таки поверили? Необходимо установить новый размер градуса. Но как быть, если еще со времен античности известен размер Земли, размер земного градуса? Остается лишь объявить, что прежние представления о величине земного градуса, а следовательно, и земного шара было ошибочным. Именно так и поступает Колумб. Он объявляет: «Я утверждаю, что Мир не так велик, как обычно считают, что градус на экваторе равняется 56 $\frac{2}{3}$ мили (безусловно, имеются в виду римские мили; это значит около 84 километров.— Д. Ц.). Скоро это будет видно, как на ладони».

Такова географическая «теория», которая была пущена в ход для того, чтобы обосновать версию, будто новые земли — Азия¹.

Документы, с помощью которых испанские власти распространяли нужные им мнения и сведения о новых землях, были искусно составлены. Они внушали доверие благодаря своему серьезному деловому тону и многочисленным, будто невзначай разбросанным там и сям географическим и этнографическим деталям и ссылкам на авторитеты науки.

Метод использования «донесений» руководителя флотилии в адрес королевской четы, нельзя не признать, был весьма удачен. Кому могло прийти в голову, что Колумб позволит себе лгать в донесении королю Фердинанду и королеве Изабелле?

Книгопечатание позволяло распространять мистификационные документы в большом количестве.

Наряду с печатными «донесениями» широко практиковалось распространение рукописных мистификационных документов. Среди них наиболее известными являются

¹ Следует отметить, что эти уловки, впервые примененные в 1503 году, приобрели впоследствии неожиданное значение — историки и географы сочли эти «колумбовские географические воззрения» теоретическими основами проекта Колумба достичь Азии западным путем. Этими теоретическими положениями обосновывается взгляд, согласно которому Колумб мог отправиться в Восточную Азию только через Атлантику. Таким же образом доказывается, что адмирал принял новые земли за Азию. Эти «теоретические воззрения Колумба» стали основанием традиционной версии о первых испанских экспедициях в Америку. При этом исследователи, однако, забывают, что указанные географические воззрения не могли лечь в основу ни проекта Колумба, ни его «заблуждений» о местонахождении новых земель по той простой причине, что ранее он высказывал совершенно иные географические взгляды, чем те, что выражены в донесении о четвертом плавании. Известно, что еще в конце 1498 года он соглашался с мнением Птолемея о размере Старого Света, а в 1494—1495 годах он соглашался с мнением того же Птолемея о величине земного градуса. Оба эти обстоятельства (не говоря о прочих) исключают мнение, будто до своего первого плавания Колумб придерживался «колумбовских географических воззрений».

«письмо доктора Чанка к властям Севильи» и «письмо Колумба на имя папы Римского».

Но наибольшее значение в то время имели королевские седулы: их было много, и они оглашались герольдами почти ежедневно на площадях и рынках населенных пунктов Испании.

Одновременно были приняты меры к тому, чтобы письма от переселенцев из новых земель не проникли в Испанию. Вскоре мистификационные документы стали основным, чуть ли не единственным источником сведений о новых землях.

К 1502 году настоячивые усилия испанских властей дали определенные результаты. К этому времени, как пишет севилянец Родриго де Сантаэлья, «многие из простонародья и даже люди более значительные думают, что Антилья, или эти острова, недавно открытые по поручению наших благочестивейших короля... и королевы, находятся в Индии».

Этот же современник свидетельствует, что и в 1503 году недоверие образованных людей к утверждениям Колумба сохранялось (еще ранее оно проявилось во время спора Колумба и де Луксерна в 1494 году и с Бернальдесом в 1496 году). Да и сам Колумб говорил о недоверии к нему в Испании. Он писал в 1500 году: «Обо мне идет такая молва, что, если бы я воздвигал церкви и госпитали, их все равно называли бы логовищем зверя... Ныне нет человека, который не поносил бы меня».

Вернемся теперь к основным научным доводам, выдвинутым Колумбом в пользу мнения о том, что Азия находится недалеко на западе: 1) к концепции Марина Тирского о размере Старого Света; 2) к размеру земного градуса.

Ссылку на точку зрения античного географа Марина вряд ли можно признать удачной, так как мнение этого ученого стало известно только из «Географии» Птолемея, где оно убедительно опровергается. Книга Птолемея была в конце XV и начале XVI века весьма читаемым географическим трактатом. Кроме того, как мы видели, опыт, практика XIII—XVI веков противоречили цифрам Марина.

В этих условиях мистификаторы, естественно, сочли целесообразным, чтобы «научные» взгляды исходили от авторитетов современной им науки. И вполне естественно, что для этой цели годились только... покойники. В противном случае грозили неприятности.

Вспомним письмо и карту Тосканелли, где фигурируют географические положения, полностью совпадающие с теми, что Колумб выразил в донесении о четвертом плавании. Письмо Тосканелли как две капли воды похоже на документы Колумба, которые предназначались для широкого распространения (письма Колумба на имя Сантанхеля и Санчеса и других), где без всякой меры расписывались сказочные богатства стран Азии, якобы открытых Колумбом на западе; множество рек, несущих золото, обилие пряностей, благовоний и т. п. и т. п.

Установление характера мистификации испанских властей, выяснение основных тезисов и приемов мистификационных документов, а также установление факта совпадения письма Тосканелли по духу и по форме с документами Колумба убедительно показывают, кто их изготовил. Исследование показывает, что письмо и карта Тосканелли написаны между 1503 и 1506 годами кем-то из ближайшего окружения адмирала.

Особое значение приобрели картографические фальшивки, на которых зрим-, осязаемо, со ссылками на опыт мореплавания доказывалось, что Старый Свет занимает 230°, а новые земли на западе близко примыкают к Восточной Азии. Известно, что Варфоломеем Колумб, брат адмирала, активно занимался распространением подобных карт.

В широком потоке фантастических измышлений потонули правдивые сообщения рядовых участников плавания. Существенную роль при этом сыграло новое мощное средство пропаганды — книгопечатание. Испанские власти широко воспользовались этой возможностью в своих целях. Доступность изложения «донесений» и «писем» испанских путешественников, удивительные приключения в далеких чудесных странах сделали эту литературу очень ходкой уже в те времена (она и теперь постоянно переиздается). Мистификационные документы быстро распространялись в Европе.

Выше ставился вопрос: почему произошла ломка географических представлений?

Какие путешествия, какой опыт, какие новые факты заставили картографов единодушно отказаться от прежних близких к истине воззрений на размер Старого Света в долготях?

Утверждения Колумба, а вслед за ним и других испанских мореплавателей о том, что они обнаружили страны Восточной Азии недалеко на западе от Европы, заставили картографов призадуматься и пересмотреть свои взгляды.

Из писаний Колумба начала XVI века картографы узнали, что он нашел Азию в 135° к западу от Европы. За точность расчетов Колумб ручался, заявляя, что измерения сделаны во время затмений, когда можно правильно определить долготы. Кроме того, расписывая прелести новых земель, адмирал рассказывал не о собственных впечатлениях, а излагал сведения о Восточной Азии, почерпнутые из книг Птолемея, Марко Поло и других авторов, писавших об этих странах (на источники он, разумеется, не ссылался)¹. И европейские картографы, увидев совпадение сведений о землях, открытых Колумбом, по его словам, в 135° на западе от Европы, с тем, что им было известно из описаний географов, а также путешественников, действительно побывавших в Азии (например, того же Марко Поло), не могли сомневаться в достоверности утверждений Колумба.

Так поступил, например, Сильванус в 1511 году. По его карте, приложенной к римскому изданию «Географии» Птолемея, Китай тянется на восток до 225°. Сильванус объясняет, почему он так поступил: «Я убедился, что текст Птолемея почти полностью совпадает с описаниями, имеющимися у мореплавателей, числа же весьма расходятся. Увидев это, я исправил числа, которые (в текстах Птолемея) легко могли исказиться, как это обычно бывает». Сильванус поправил Птолемея, основываясь на тех данных, которые исходили от современных ему мореплавателей, то есть на сведениях, которые охотно распространяли испанские власти, и таким образом оказался жертвой обмана. Естественно, что аналогично Сильванусу поступили, как об этом свидетельствуют карты, и картографы других стран.

Позднее испанские мистификаторы усилили обман, и в распространяемых ими сообщениях, а также картах Старый Свет стал занимать 240° и даже 260°, а Америка изображалась как продолжение Азии. Следы эволюции мистификации мы обнаруживаем в картографии двадцатых—шестидесятых годов XVI века.

5

Как указывалось, в двадцатых и пятидесятых годах XVI века в европейской картографии господствует мнение, будто земли Нового Света являлись ранее неизвестной частью Азии.

Это обстоятельство сыграло исключительно важную роль в формировании традиционной концепции открытия Америки, так как оно оказало сильнейшее влияние даже на наиболее информированных хронистов. Пример сына мореплавателя Фердинанда Колумба и хрониста Лас Касаса весьма характерен. В то время, когда они писали свои хроники (тридцатые—пятидесятые годы XVI века), в географической науке безраздельно господствовал взгляд, по которому Старый Свет занимает в долготях свыше 250° и восточный берег Азии смыкается с Новым Светом.

Знакомясь с документами Колумба, они обнаружили «письмо и карту Тосканелли», где говорилось о целесообразности западного пути в Азию, так как он равен примерно одной трети окружности земного шара. На письме стояла дата — 25 июня 1474 года.

Из этого факта хронисты, естественно, заключили, что мнение о протяженности Старого Света, равной двум третям окружности земного шара, существовало в XV веке до Колумба. Читая далее документы Колумба, в которых упорно повторялось, будто цель его усилий — достичь Азии западным путем, хронисты считали это естественным. А познакомившись с донесением Колумба о четвертом плавании, где изложены те же

¹ Сохранились экземпляры этих книг, принадлежавшие самому Христофору Колумбу. Их страницы испещрены заметками и выписками. Оказалось, что многие отмеченные Колумбом фразы были использованы им в «донесениях» и т. п. Благодаря выпискам удалось, в частности, установить, из каких материалов было сфабриковано письмо Тосканелли.

географические взгляды, что и в письме Тосканелли, вплоть до совпадения в деталях, естественно было сделать вывод: главную роль в решениях Колумба искать западный путь в Азию сыграл Тосканелли, Колумб воспринял его воззрения, вдохновился ими и предложил Испании свой план.

В гораздо лучшем положении оказались хронисты, которые не имели доступа к фамильному архиву Колумба, как, например, Овьедо и Гомара. В их летописях обнаружено меньше следов влияния мистификации Колумба. Но сведения о плаваниях Колумба у них весьма отрывочны, изобилуют неточностями и грубыми ошибками. Поэтому на последующих исследователей плаваний Колумба и открытия Америки эти авторы оказали мало влияния.

Исследователям нового и новейшего времени попали в руки в первую очередь донесения Колумба, королевские седулы и т. п., то есть мистификационные документы. Это вполне закономерно: они предназначались для распространения и поэтому, естественно, сохранились во многих архивах. И когда в XIX веке началась публикация исторических документов по открытию Америки, именно официальные документы были раньше обнаружены и изданы. Между тем частные письма, а также другие свидетельства современников дошли в единичных экземплярах, да им и не придавалось особого значения. Они были изданы лишь в конце XIX века. Тут оказалось, что многие свидетельства современников резко контрастировали с документами испанских властей, Колумба и других руководителей заморских экспедиций.

При сопоставлении, естественно, вставал вопрос, кому верить: официальному документу королевской канцелярии, руководителю флотилии или какому-то неизвестному современнику? Кто был лучше информирован? Ответ казался простым. Исследователи неизменно отдавали предпочтение документам Колумба и других официальных лиц, а письма их современников попросту игнорировались. Тем более что в летописях наиболее информированных хронистов наблюдается в основных звеньях совпадение с тем, что сказано в документах королевской канцелярии и в донесениях Колумба.

* * *

Значит ли это, что современная наука не в состоянии восстановить подлинную картину открытия Америки? Мы полагаем, что для такого вывода нет оснований. Дело в том, что после тщательного анализа содержания мистификации и приемов, с помощью которых она осуществлялась, предстали в новом свете многие источники по открытию Америки: в них выступили новые черты, новое содержание.

В частности, это относится к таким важнейшим источникам, какими являются дневники плаваний Колумба. С одной стороны, в них наблюдаются обширные, бесспорно мистификационные пласты, внесенные после описываемых событий. Специфические ошибки языка, встречающиеся упоминания о событиях, имевших место позже, дают основания утверждать, что дневники подверглись обработке, притом основательной. Анализ показал, что эта правка производилась самим Колумбом в начале пятидесятых годов и что целью ее было внедрение мистификационных элементов. Эти документы подготавливались для печати. Кроме того, из дневников тщательно удалялись сведения, которые были неблагоприятны Колумбу, такие, которые выпячивали заслуги других лиц в ходе плавания и умаляли заслуги адмирала.

Известно, что в периоды вынужденного бездействия, например после смещения (1500—1502) и после возвращения из последнего плавания (1504—1506), Колумб был занят подготовкой большой книги. Он говорил, что она будет похожей на «Комментарии» Юлия Цезаря. И действительно, в дневниках Колумба мы находим следы влияния знаменитой книги этого римского полководца.

С другой стороны, в дневниках выступают факты, позволяющие утверждать, что обработка не была доведена до конца. Во-первых, в различных частях каждого дневника встречаются исключают друг друга утверждения (с некоторыми из них мы познакомимся выше, при попытке установить географическую цель первого плавания). Между тем в мистификационных документах подобные противоречия не встречаются. Природа этих документов исключает внутренние противоречия. Во-вторых, в дневниках сохранились многочисленные сведения, которые были в те времена, да и позднее

совершенно секретными (например, точное расположение некоторых островов, курс кораблей и т. п.).

Подобные факты показывают, что мы имеем дело с не до конца обработанными, то есть не до конца испорченными документами. Тщательный анализ дневников, отделение позднейших вставок от достоверных частей потребовали больших усилий; но они себя оправдали, так как дали бесценный материал для восстановления подлинной картины плаваний Колумба, в частности одного из самых драматических эпизодов мировой истории — его первого плавания.

Установление факта мистификации, ее характера и средств, с помощью которых она осуществлялась Колумбом и испанскими властями, позволило понять по-новому содержание и других источников, относящихся к открытию Америки.

Проанализируем с этой точки зрения мотивы, которыми руководствовался Колумб, отправляясь в первое плавание. Знакомясь с его донесениями и другими документами, вышедшими из-под его пера, нельзя не прийти к выводу, что в основе его плана лежали пресловутые «колумбовские географические воззрения» (точнее, заблуждения). То же самое, но выраженное в еще более убедительной форме, мы находим у наиболее авторитетных испанских летописцев.

Поскольку мы знаем происхождение этой версии, мы ее отбрасываем и ищем другие причины для его решения пойти на запад через океан.

У испанских же летописцев мы находим наряду с «теоретическими» причинами, основными, по их мнению, сведения о каких-то других мотивах, побудивших адмирала принять свое решение. Летописцы говорят о каких-то смутных слухах, по которым Колумб получил сведения о землях на западе от каких-то моряков, побывавших там до него.

Наиболее обстоятельное изложение этих слухов мы встречали у Лас Касаса. Он о них сообщает, как о предании, курьезе: хочешь — верь, хочешь — не верь. Он пишет, что согласно слухам однажды, когда Колумб жил еще на острове Мадейра (восьмидесятые годы XV века), к этому острову пристал португальский корабль, на котором находились полумертвые от истощения люди. Они рассказали, что их корабль отнесло бурей далеко на запад, в Атлантику, к каким-то островам, что им удалось лишь после длительных блужданий по океану попасть на Мадейру. Лас Касас пишет далее, что кормчий этого корабля жил в доме Колумба и передал ему перед смертью заметки, сделанные во время злополучного плавания, и карту, на которую были нанесены земли, где он побывал.

Изложив эти факты, Лас Касас добавляет: «Вот что говорилось, и вот каково было мнение, и вот что среди нас, участников первых экспедиций, в то время... считалось достоверным, и что, говорят, действительно побудило Христофора Колумба решиться на это, как на верное дело».

Приведенная версия хрониста, который ссылается на мнения современников, не была принята в расчет позднейшими исследователями, так как сам Лас Касас не был в ней уверен. В сущности, это сообщение хрониста представляет рассказ о непроверенном слухе, и мы бы его отбросили, если бы ход первого плавания Колумба не подтвердил основные его пункты.

Обратимся к анализу этого плавания. В дневнике плавания мы прежде всего обнаруживаем отсутствие колебаний при выборе маршрута, а также при самом передвижении в огромном, казалось бы, совершенно неизвестном океане. Корабли Колумба пошли от Пиренейского полуострова к Канарским островам и оттуда направились на запад от Старого Света именно на широте Канарских островов. Выбор этой широты для движения на запад позволил первой флотилии Колумба на всем пути следования вплоть до островов Карибского моря воспользоваться постоянно дующими восточными пассатами и образованным ими течением в океане. То был оптимальный для парусного флота маршрут движения к землям Нового Света. И позднее в течение ряда столетий парусные суда, двигавшиеся в Южную и Центральную Америку через Английские острова, пользовались именно этим маршрутом.

Естествен вопрос: случаен ли выбор оптимального маршрута?

Далее следовало ожидать, что в совершенно неизвестном океане флотилия будет

двигаться только в светлые часы суток, а ночью либо будет делать остановки, либо замедлять плавание, принимая все меры предосторожности, чтобы не натолкнуться на неизвестные земли или острова. В действительности же до определенного момента, а именно до самого подхода к берегам «неведомой» земли, корабли двигались на предельной скорости и днем и ночью, словно мореплаватели были уверены, что никаких неожиданностей опасаться не надобно.

Фердинанд Колумб, сын мореплавателя, и хронист Лас Касас нашли среди бумаг покойного адмирала инструкции, которые тот вручил капитанам судов, перед тем как суда покинули Канарские острова. На пакетах указывалось, что их можно вскрыть только в том случае, если суда будут разъединены бурей. В этих инструкциях, пишет сын адмирала и Лас Касас, предлагалось, чтобы суда, после того как они отдалятся от Канарских островов на 700 лиг, не двигались ночью.

Цифра, фигурирующая в этой инструкции,— 700 лиг (около 4150 километров) к западу от Канарских островов, оказывается, была вперед рассчитана. Фердинанд Колумб объясняет ее следующим образом. Отец его «не ожидал встретить землю до тех пор, пока они не пройдут 750 лиг (около 4450 километров.— Д. Ц.) на запад от Канарских [островов]». Аналогичное объяснение находим и у Лас Касаса.

Обращает на себя внимание тот факт, что оба хрониста, пользовавшиеся архивом Колумба, говорят, что в секретных инструкциях капитанам фигурирует цифра в 700 лиг. и оба они утверждают: Колумб был уверен, что земля будет обнаружена в 750 лигах к западу от Канарских островов. Замечается лишь весьма незначительное расхождение в цифрах. Но оно и понятно. В инструкциях капитанам Колумб уменьшил цифру на 50 лиг (около 300 километров) из предосторожности. Не исключалась возможность ошибки при подсчете расстояния, пройденного кораблями в океане. Ведь в инструкциях говорилось, что после 700 лиг следует продолжать движение, но только в светлые часы суток и не двигаться после полуночи.

Цифра 750 лиг весьма примечательна. Дело в том, что подсчет расстояния, отделяющего восточные острова Карибского моря от западных островов Канарской группы, откуда отправилась флотилия Колумба, и дает примерно эту цифру. Нельзя предположить тут случайное совпадение.

Мысль относительно наличия у Колумба каких-то достоверных данных о землях, к которым он двигался, находит подтверждение и в том, что, как выясняется из дневника первого плавания, у руководителей флотилии была карта, на которой, как сказано в дневнике, были нанесены острова «в этом море».

Сведения о неизвестной карте появляются при драматических обстоятельствах. На этом стоит остановиться.

В двадцатых числах сентября 1492 года, то есть вскоре после отплытия флотилии от Канарских островов, на кораблях среди экипажа начались волнения. Моряки выражали беспокойство и даже требовали возвращения в Испанию. В дневнике плавания об этом говорится: «Люди стали роптать, говоря, что море тут странное и никогда не подуют ветры, которые помогли бы им возвратиться в Испанию...»

Волнения на кораблях, судя по дневнику, имели место 22 и 23 сентября, но тогда же прекратились. В дневнике мы не находим объяснения, почему бунт прекратился.

Зато участники плаваний и другие современники единодушно говорят, что решили дело братья Пинсоны, и в особенности старший — Мартин Алонсо Пинсон. В решающий момент за Колумба стал горой М. А. Пинсон. Он предотвратил расправу с Колумбом. Он убедил моряков продолжать плавание.

Следует учесть, что Пинсоны действительно сыграли огромную роль в подготовке и осуществлении первого плавания Колумба. На двух кораблях из трех капитанами были братья М. А. Пинсон и В. Я. Пинсон; третий брат Ф. М. Пинсон был «маэстрем», то есть вторым лицом после капитана. Особенным авторитетом и влиянием пользовался старший из братьев — М. А. Пинсон. Об исключительном влиянии этого человека говорят участники плавания и прочие современники. Это же чувствуется при чтении дневника плавания.

В записях дневника под датой 25 сентября мы находим упоминание о том, что как раз в те дни, когда происходили волнения среди моряков, Колумб передал Пинсону

какую-то карту, о которой только сказано, что на ней были нанесены острова «в этом море».

Передача карты Пинсону имеет, как нам кажется, прямое отношение к волнениям на кораблях. Во время бунта Колумб решил, воздействуя на влиятельных членов экипажа, продолжать плавание и таким образом предотвратить крах экспедиции. Он стал доказывать, что у него есть материалы, заслуживающие доверия, что у него даже имеется карта, на которой нанесены острова «в этом море». Естественно, что эта карта была показана наиболее авторитетному из спутников Колумба — М. А. Пинсону, тем более что и другие два брата Пинсона занимали важные посты во флотилии.

Что было на этой карте? Из приведенного источника мы знаем только, что там были нанесены острова «в этом море», а судя по разговору между Колумбом и Пинсоном при возвращении карты эти острова находятся западнее и южнее тех мест, где находилась в то время флотилия.

Многими исследователями плаваний Колумба был вычерчен маршрут первого плавания по этапам. Местонахождение флотилии Колумба к 25 сентября действительно было севернее и восточнее восточных островов Карибского моря¹.

После того, как командование справилось с мятежом на кораблях, флотилия продолжала движение на запад, частично на юго-запад.

Теперь обратим внимание на обстоятельства, связанные с открытием первого острова после тридцати трех дней непрерывного плавания в океане. Здесь мы располагаем чрезвычайно ценным свидетельством участника плавания. Он сообщает о событиях, имевших место накануне подхода флотилии к первому острову Нового Света: «...В четверг 10 октября (тут ошибка в тексте; это произошло 11 октября.— Д. Ц.) заговорил кормчий Педро Ниньо и сказал так адмиралу: «Сеньор, не будем двигаться сегодня ночью, потому что согласно вашей книге (читай: согласно принадлежащим вам записям.— Д. Ц.) я нахожусь в 16 лигах от земли или самое большее в 20», отчего адмирал весьма обрадовался и сказал, чтобы он сообщил это Кристобалу Гарсия Хальмьенто — кормчему «Пинты»... И вот в тот четверг ночью показалась луна, и моряк по имени Хуан Родриго Бермехо, житель Молиноса, в Севильской земле, когда показалась луна, увидел с упомянутого корабля Мартина Алонсо Пинсона белую песчаную отмель,

¹ Исследователи не придали должного значения карте, упоминаемой в дневнике, так как считалось, что Колумб руководствовался теоретическими соображениями, в частности письмом и картой Тосканелли. Считалось, что в дневнике речь шла об этой карте. Выше отмечалось, что письмо и карта Тосканелли — фальшивка, изготовленная после 1492 года.

Впрочем, если считать письмо и карту Тосканелли аутентичными, то анализ первого плавания Колумба доказывает, что адмирал руководствовался картой совершенно иного содержания, чем карта Тосканелли.

Как известно, на карте, приписываемой флорентийскому ученому, был показан путь в «Катай» (Северный Китай) и «Манджи» (Южный Китай). По этой карте Южный Китай расположен на широте Лиссабона и отстоит от него на расстоянии в 6500 итальянских миль (около 10 000 км). Корабли Колумба пошли на запад от Старого Света в более южных широтах, а именно на параллели Канарских островов. В океане корабли отклонились к югу и достигли новых земель примерно на 25° северной широты. Если бы Колумб руководствовался картой Тосканелли, он отклонился бы не к юго-западу, а к северо-западу.

Далее, подойдя к первой земле, ему надлежало, если бы он следовал письму и карте Тосканелли, повернуть на северо-запад, чтобы достичь широты Лиссабона (38° северной широты). Ведь Южный Китай, путь к которому показывала карта Тосканелли, лежит в этом направлении. В действительности же от первых земель Колумб взял противоположный курс и пошел сперва на юг и юго-восток, а затем он все время упорно двигался восточным курсом.

Может быть, навигационные условия препятствовали кораблям пойти от новых земель на северо-запад, а принудили его двигаться в обратном направлении?

Увы, наоборот. У новых земель корабли Колумба имели постоянный восточный ветер и постоянное восточное течение, которые благоприятствовали движению на северо-запад. Колумб же, с трудом преодолевая противный ветер и течение, упорно двигается в обратном направлении.

Как же может идти речь о том, что какой-то человек руководствуется определенным документом, если он упорно поступает противоположным образом?

и он, подняв глаза, увидел землю и тотчас же бросился к баллисте и выстрелил. «Земля! Земля!» И они остановили суда до наступления дня пятницы: 11 октября (12 октября.— Д. Ц.)».

Итак, от участника первой экспедиции мы узнаем, что руководители флотилии имели записи и что в этих записях оказались сведения о расположении островов, к которым первая экспедиция подошла. Эти принадлежащие Колумбу записи, естественно, находились у кормчего флагманской каравеллы.

Как видим, вся обстановка движения на запад от Старого Света до новых земель дает основания для вывода о том, что флотилия Колумба не двигалась наугад, что у нее имелись какие-то сведения о расположении островов, к которым она направлялась, а также о маршруте туда.

Теперь обратим внимание на обратный маршрут первой экспедиции. Проблема возвращения, как указано выше, стала занимать рядовых участников экспедиции еще тогда, когда флотилия покинула берега Старого Света и двинулась на запад через океан. Благодаря курсу, взятому на широте Канарских островов, флотилия пользовалась постоянно дующими в тех местах пассатами, а также образованным ими постоянным морским течением. Это благоприятное обстоятельство породило для Колумба непредвиденные неприятности. Когда флотилия отдалилась от Канарских островов, участники плавания решили (и совершенно справедливо), что постоянные восточные ветры и морское течение, благоприятные для движения на запад, явятся непреодолимым препятствием для движения в обратную сторону, при возвращении домой. Движение в обратную сторону против ветра и течения представлялось им столь длительным, что это могло привести к нехватке пищи и воды.

Единственным человеком, сохранявшим спокойствие и невозмутимость, был Колумб. Ему угрожали расправой, если он не повернет немедленно обратно; Колумб, по свидетельству современника, успокаивал моряков, уверяя, что на обратном пути флотилия поплывет тоже с попутным ветром. И действительно, пожалуй, важнейшим секретом успеха Колумба является именно это обстоятельство: он знал обратный маршрут с запада на восток, который тоже оказался оптимальным при навигационных условиях того времени.

Флотилия даже не пыталась двигаться на восток в тех широтах, какими она шла на запад. Вместо этого она уверенно взяла курс на северо-восток и в течение двух недель с лишком (с 16 января до 2 февраля) при противном северо-восточном ветре и лишь при изредка дующем юго-восточном ветре упорно пробивалась на северо-восток. Благодаря этому курсу она после двух недель попала в зону постоянно дующих западных ветров и к образованному ими западному течению. Затем корабли круто повернули на восток и на большой скорости в кратчайший срок, с 2 февраля до 15 февраля, достигли Азорских островов, то есть обжитого к тому времени западного форпоста Старого Света.

И в данном случае, как видим, без колебаний и блужданий был использован оптимальный маршрут для возвращения на Пиренейский полуостров. Этот факт, пожалуй, наиболее любопытен во всем первом плавании Колумба. Прошли потом десятки лет, десятки, сотни и тысячи кораблей избородили Атлантический океан, но лучший маршрут для парусного флота обнаружен не был.

При анализе обратного движения флотилии Колумба из Нового Света в Европу поражает также уверенность руководителей флотилии в том, что корабли не натолкнутся на какую-нибудь неведомую землю. Как и при движении с востока на запад, каравеллы двигались с максимальной скоростью не только днем, но и в ночное время.

Мы подсчитали по дневнику расстояние, пройденное кораблями Колумба в ночное и в дневное время. Оказалось, что с 17 января до 13 февраля 1493 года суда прошли в дневные часы 1619 миль, а в ночные часы — 1896 миль, то есть в ночное время суда прошли на 277 миль больше, чем в дневное время.

Очевидно, Колумб настолько был информирован об избранном маршруте, что он считал излишними какие-либо предосторожности.

Итак, сведения, приведенные испанскими хронистами, о том, что важнейшей основой для задуманного Колумбом первого плавания явились сообщения каких-то моряков,

побывавших в неизвестных дотоле землях на западе Атлантики и передавших ему карту новых земель, а также записи, сделанные во время путешествия, находят подтверждение в дневнике Колумба и в свидетельстве участника его первого плавания. Обстоятельства этого плавания Колумба, в котором не было слепых поисков, колебаний при выборе маршрута и достигнута была максимальная скорость движения кораблей в океане в ночное время,— также приводят к заключению, что Колумб имел предшественников или предшественника, сведениями которого он пользовался, направляясь в Новый Свет.

Далее, из одного письма Фердинанда и Изабеллы видно, что еще до первого плавания Колумб имел довольно верные сведения о том, что будет обнаружено на островах Нового Света. Так, в секретном послании от 11 сентября 1494 года королевская чета писала Колумбу, в то время находившемуся на Вест-Индских островах, следующее: «Нам кажется, что все, о чем вы в самом начале нам сказали, что можно будет получить,— все это в большей части оказалось достоверным, словно вы сами это видели, прежде чем нам об этом сказали (то есть прежде чем был предложен проект плавания на запад.— Д. Ц.)».

Следует учесть, что это сказано через полтора года после возвращения первой флотилии в Испанию и через полгода после возвращения в Испанию части второй экспедиции (двенадцати судов из семнадцати). К тому времени испанские короли располагали обширными сведениями о том, что именно обнаружено на Малых и на Больших Антильских островах.

Следовательно, еще до отправки в первое плавание Колумб не только располагал сведениями о местоположении указанных островов, но и знал, что на этих землях будет обнаружено, как эти земли можно будет использовать. И об этом уже шла речь во время обсуждения его предложения при испанском дворе.

* * *

Все доказательства наличия предшественника у Колумба взяты из давно опубликованных источников. Мы не использовали в приведенном анализе ни одного документа, который бы не был известен всем сколько-нибудь серьезным исследователям начиная с конца XIX века. Наша точка зрения появилась благодаря иному прочтению известных текстов. Новое прочтение стало возможным после того, как было установлено, что многие важнейшие документы, связанные с путешествиями Колумба и других испанских мореплавателей,— плод хорошо продуманной и тщательно замаскированной мистификации.

Здесь приподнят только краешек завесы, скрывающей подлинную историю открытия и завоевания Америки. Мистификация отнюдь не ограничивалась кратким периодом, когда во главе заморских экспедиций стоял Колумб. Ознакомление с более поздними документами и летописями показывает, что мистификация продолжалась столетия. Но в ходе колониальной экспансии менялись задачи, а вместе с ними изменялось содержание мистификации и дискредитированные приемы замаскировались более усовершенствованными.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

М. ТУРОВСКАЯ

★

МИФОЛОГИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭРЫ

Чудеса в последнее время часто появляются на зарубежном экране: «Чудо в Милане», «Чудо отца Малахиса», «Призраки» и прочее, тому подобное. Лукавые сказочные чудеса, врывающиеся в прозаическую повседневность, чудеса — прозрачные аллегории, иронические чудеса, нужные авторам как утонченный прием, как трюк, как остроумная мистификация реальности...

В 1950 году в фильме Дзаваттини и Де Сика чудеса, совершающиеся на окраине современного индустриального города («в Милане», как точно указано в заглавии), были буффонно-сказочными и в то же время согласно логике социальных мотивов неореализма вполне человеческими.

Добряк Тото устанавливал мир и взаимопонимание среди нищих и сварливых обитателей игрушечного поселка безработных собственным терпеливым и самоотверженным примером. Напротив, злые и жадные богачи в пышных меховых горжетках — Мобби и Брамби — все время интриговали друг против друга и потому даже с помощью предателя Раппи (которому за это тоже жаловали горжетку) никак не могли завладеть нефтяным фонтаном, внезапно забившим на улице под названием «Пятью пять — двадцать пять». Дело при этом, разумеется, не обходилось без прямого волшебного вмешательства, и тогда полицейские вместо того, чтобы стрелять по безработным, заливались колоратурой, а традиционная Золушка-служанка шеголяла в одной нарядной туфельке, поскольку, заботясь об окружающих, она так и не удосужилась высказать до конца собственную скромную нужду... Одним словом, обыкновенные сказочные чудеса вмешивались в реальность современными обстоятельствами.

Но ирония, возникавшая на стыке этих двух стихий фильма, как раз и свидетельствовала, что только чудом в тех условиях можно было разрешить насущнейшие проблемы повседневного бытия — проблему хищенного у безработного велосипеда, пенсии для старика или крыши для влюбленных (вспомним «Похитителей велосипедов», «Умберто Д.», «Крышу» — фильмы тех же Дзаваттини и Де Сика).

С тех пор, как известно, в Италии совершилось так называемое «экономическое чудо», и иные из этих насущных проблем были тем самым решены. Но странно — мотив «чуда» не потерял на экране своей актуальности. Он лишь утратил оптимизм, столь очаровательный некогда в веселой иронической сказке Де Сика, и приобрел куда более тревожный оттенок...

1. МАДОННА И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Вот фильм, где «чудо» показано без всякой двусмысленности, помимо аллегории, так сказать, документально. Чудо как чудо, в точности, как оно происходит в реальной действительности современного большого города и как оно входит в нее.

Двум бедным детям с римской окраины обещала явиться мадонна. Дети рассказали об этом родителям, родители доверчиво поделились с соседями, весть облетела квартал, достигла мездесущих ушей репортеров. Явление мадонны среди прочих сенсаций дня решила заприходовать какая-то телевизионная компания. На место происшествия срочно были высланы машины с телекамерами, десятки кино-, фото- и просто репортеров ринулись вслед, сотни верующих, больных, жаждущих исцеления,

паралитиков, приташенных родными в надежде на чудо, запрудили темнеющую площадь...

Обстановка современного чуда в картине Феллини «Сладкая жизнь» деловита до цинизма и взвинчена до экзатичности. Странно, но одно не мешает другому.

Техники и операторы суетятся у камер, пробуют свет, озабоченные наилучшей видимостью предполагаемого зрелища (вдруг мадонна вздумает повторить свой выход: надо, чтобы телезрители могли хорошенько разглядеть небесную гостью); режиссер отработывает с одной из будущих участниц «массовки» традиционную мизансцену коленопреклонения; репортеры лениво переговариваются в ожидании дела. Девочка, торжественно разубранная ради такого случая, деловито указывает место божественного происшествия — нет, кажется, не то: она тащит ошалевшего и растерянного братца на другое...

А толпа, не обращая внимания на чудеса техники — на прожекторы, заливающие площадь мертвенным, мерцающим сиянием, на путаницу телевизионных кабелей под ногами, — не замечая проливного дождя и кошунственной пошлости происходящего, шахрается вслед за детьми в жадной надежде на чудо...

Но мадонна не является. Телепередача откладывается из-за плохой погоды. И только деревце, росшее на месте, указанном девочкой, разорвано верующими, растерзано в клочки, растасано по листочку на реликвии, да паралитик, в суматохе забытый родными, умирает на опустевшей площади под проливным дождем...

Для героя картины, журналиста Марчелло, явление мадонны — одна из сенсаций, которую он не вправе пропустить. Что до него лично, то как интеллеktуал, немножко скептик и порядочно циник, он не верит, конечно, в наивные, простонародные чудеса римских окраин. Он справляется у священника — на всякий случай, — верит ли тот рассказам детей? Интеллигентному пожилому священнику они тоже не кажутся чересчур достоверными. Для журналиста и для священника, как и для техников, операторов, режиссеров телевидения, чудо с мадонной — работа, которую они выполняют добросовестно, но без особой веры.

Глупенькая мешаночка Эмма, любовница Марчелло, ждет явления мадонны с

той же иступленной верой, что и простые женщины бедного квартала. Марчелло с трудом вытаскивает ее из толпы — растерзанную, с безумными глазами, с судорожно зажатым в кулаке обрывком измочаленной ветки...

В сущности, Эмма хочет немногого и простого — женить на себе Марчелло, народить детей, зажечь порядочным домом, как люди, — ей невдомек, что для Марчелло все это буржуазное счастье давно потеряло смысл, постыло, выродилось, что он живет среди развалин разрушенных идеалов и разорванных связей, в пустоте своего душевного одиночества...

Она хочет простого и доступного, как, вероятно, каждый в этой толпе. Но на что ей надеяться в мире, «вышедшем из колеи», кроме чуда?

О таком же простом и несбыточном чуде мечтают дешевенькая проститутка Кабирия и ее подруга Ванда, когда они отправляются на поклонение мадонне в предшествующей картине Феллини «Ночи Кабриии». И там цинизм обыденности — домовитый пикник проституток и сутенеров после молитвы, выкрики пьяных, игра в мяч — драматически и богохульно соседствует с недавним искренним экстазом, когда иступленные толпы молящихся — молодых, старых, здоровых и увечных, несчастливых — просили, требовали, фанатически жаждали хоть самого пустякового чуда...

Можно было бы сказать, что это излюбленный мотив Феллини, и вправду — для него он имеет свой особый смысл: у католика Феллини свои счета с богом. Но это еще и отражение действительного положения вещей, и отнюдь не в одной Италии.

В документальной польской ленте «Сувенир из Кальварии» женщины, ползущие на коленях по вязкой грязи, калеки, ковыляющие через шаткий мостик к святому озеру, — вся эта толпа фанатиков не выдуманна режиссером и не исполнена массовой.

А сектанты в громадной каменной, оборудованной по последнему слову техники молельне, с такой жестокой объективностью запечатленные в американском документальном фильме «Гневное око»? Тут уж не вымысел художника, а наиреальнейшая реальность сама создает контрасты, достигающие степени гротеска: деловитые утешения проповедника, нечленораздельное бормотание, переходящее в вой и ис-

ступленную тряску, пока вся толпа не сливается в зловещем экстазе...

Это действительность, и от нее не отмахнешься. Ведь не секрет, что после второй мировой войны церковь приобрела множество новых adeptов, не говоря уже о размножившихся религиозных сектах с их нелепыми и ужасными обрядами, запечатленными в том же фильме «Гневное око», — несть им числа...

И дело тут едва ли обстоит так просто, как кажется иногда, — трудно предположить столь массовое невежество в век радио и телевидения, кибернетики и полетов в космос.

Неужто «маленькому человеку» Запада недостаточно этих вполне реальных чудес?

Оказывается, недостаточно. Для Эммы или Кабирии чудо — вмешательство мадонны — это надежда. Единственная в мире, где законы здравого смысла, нормальной, житейской, обывательской, если хотите, логики в значительной степени утрачивают свою силу.

И действительно, в жизни Кабирии «чудо» едва не совершается. Чудо по всем правилам простонародных, ярмарочных чудес. На сцене маленького эстрадного театра старый гипнотизер — немножко клоун, немножко волшебник — заставляет Кабирию под любопытными взглядами зрителей высказать свою затаенную мечту — простодушную мечту о любви, о жене Оскаре. И Оскар является. Он поджидает Кабирию в опустевшем переулке и предлагает ей свою робкую и восторженную любовь.

Увы, Феллини, подобно Марчелло, не верит в убогие чудеса Эммы и Кабирии; он не склонен брать на себя слишком благодарную роль утешителя. Скромный и застенчивый Оскар грабит Кабирию гораздо более радикально, чем это сделал перед тем ее прежний возлюбленный — обычный сутенер. Нужды нет, что у него не хватает хамства столкнуть ее в воду и попытаться утопить, как это сделал прежний, — он убегает, трусливо оглядываясь и потев от страха. Зато у него хватает жестокости унести с собой все, что она успела накопить за свою жалкую жизнь уличной проститутки: все ее сбережения и деньги, вырванные за собственный домик, все ее мечты о любви, всю ее веру в людей.

Единственное «чудо», в которое предлагает нам поверить на этот раз Феллини, —

это прощальная улыбка Кабирии, возникающая, как последняя рифма в стихотворении, с той же неотвратимой и обязательной необязательностью...

Многие склонны видеть в этом уступку тому же утешительству. Но, может быть, как раз прощальная улыбка Кабирии, как финальный монолог чеховской Соии, положенный на музыку Рахманиновым, — эти иллюзорные, эстетические разрешения отнюдь не иллюзорных жизненных драм — они-то более всего свидетельствуют о безнадёжности.

На самом деле удивительная улыбка Джульетты Мазини — это всего лишь чудо искусства, горько неутешительное чудо, творимое большим художником:

Между тем публика в театрике, хохочущая над загипнотизированной Кабририей, в глубине души так же жаждет реального, видимого, а не иллюзорного чуда, как толпа богомольцев, спешащих на поклонение мадонне. Может быть, даже еще более наивно и нетребовательно. Пусть это будет, на худой конец, не явление мадонны, а сомнительные манипуляции ярмарочного гипнотизера...

Публика в театрике и богомольцы, ожидающие явления мадонны, хотят чуда не только эгоистически — здоровья, достатка, замужества, — чуда как личного выхода. Они еще хотят чуда бескорыстно, чуда как такового, как зрелища, не постижимого, не познаваемого разумом. Для каждого в отдельности в этой толпе телевизионная трубка — загадка, вероятно, почище сказочных волшебств. Но чудеса техники, доступные разуму, не могут удовлетворить их смутного духовного голода.

Давя и налетая друг на друга, они мечутся по площади под проливным дождем в шипящем призрачном свете юпитеров, толкаются, теснятся и потеют в бесконечной процессии. И в этой тесноте, давке, в этой всеобщей ходынке, где ничего не стоит невзначай затоптать какого-нибудь незадачливого калеку или разорвать в клочья живое дерево; в иступленных выкриках и коленопреклонениях, в душевных испарениях тел — в этом экстазе назло окружающей деловитой прозе телепередач и радиофицированных соборов; в этом антицинизме, иногда более жестоким и разрушительным в своих формах, чем самый циничный цинизм; в этих порывах духовной общности, вырастающих из физиологи-

ческого ощущения своей множественности,— они ищут какого-то катарсиса, пусть минутного, но освобождения от индивидуальных и логических неразрешенностей существования в общем акте нерассуждающей веры.

Не интимное чудо благовещения, в которое каждый волен верить или не верить, а всенародное, театрализованное — пусть даже грубое, с привкусом бутафории,— но зато видимое, само себя утверждающее и доказывающее диво, освобождающее от груза личной ответственности...

Вот почему, не обращая внимания на новоявленное чудо телевидения, толпа нетерпеливо ждет старомодного чуда явления мадонны...

2. ЧУДО ДЛЯ МАРЧЕЛЛО

— Тут дело касается летающих тарелок,— говорит один из героев фантастического рассказа польского писателя Станислава Лема своему приятелю.

— И... еще кое-чего. Йети, например.

— И еще... В общем, иногда пишут, что может произойти нашествие на Землю и могут сюда прилететь существа с какой-нибудь другой планеты...

Таков краткий и неполный перечень вопросов и проблем научного свойства, которые занимали в последние несколько лет умы критически настроенных современных Марчелло, в то время как Эммы и Кабирии простодушно и жадно уповали на мадонну.

Широта научных интересов современного человека, который хочет знать и о теории относительности, и о кибернетике, понять механизм упрямой устойчивости наследуемых признаков и оценить возможность разумной жизни на других планетах,— естественна в эпоху, когда наука и техника каждый день поражают воображение новыми открытиями и возможностями.

И, однако... И, однако, не надо быть слишком проникательным, чтобы уловить чуть-чуть ироническую закономерность, по которой польский писатель подбирает ассортимент проблем для своего немножко фантастического, немножко пародийного рассказа.

Летающие тарелки, йети — ужасный снежный человек из Гималаев, пришельцы

из космоса — эти сенсационные гипотезы, потрясшие умы наряду с вполне реальными достижениями кибернетики и ракетостроения, имеют один общий признак: до сегодняшнего дня во всяком случае они легендарны.

Я хочу сразу разъяснить одно могущее возникнуть недоразумение: речь в этой статье идет ни в коем случае не о реальном состоянии современной науки, а лишь о состоянии умов ее среднего потребителя на Западе — постольку, поскольку это состояние умов можно уловить из некоторых очень и очень косвенных данных, предоставляемых искусством, с одной стороны, и литературой, не составляющей собственно искусства, скорее документальной или даже научной,— с другой. Самая популярность и обширность подобной литературы на Западе — уже не раз отмеченная — очень показательна. Еще существеннее характер этой популярности у широкого читателя.

Повторяю: я не беру, разумеется, на себя смелость судить о научной стороне той или иной проблемы, будь то йети или пришельцы из космоса. Ведь наука то и дело вводит в обиход новые факты и представления, которые поначалу кажутся фантастичными, чтобы со временем стать привычной реальностью; и разве не естественно, например, что при начале космической эры обостряется внимание к возможности вторжения с других планет — бывшего или же будущего?

Время и прогресс науки ответят на вопросы, которые одним сегодня кажутся просто чепухой, других интересуют как серьезная научная проблема, третьих (их большинство, и о них-то, собственно, речь) занимают как интригующая и опасная загадка.

Итак, речь не о йети или летающих тарелках самих по себе,— речь о той мифологии, которую извлекает из этих научных гипотез современный Марчелло, не верящий в бога (во всяком случае сколько-нибудь серьезно), зато верящий в телевизор, телескоп, телепатию.

Тот колоссальный интерес, сенсация, ажиотаж, который сопровождает в последние годы всякий новый сколько-нибудь таинственный или непонятный факт — будь то опыты по передаче мыслей на расстоянии, находка в Сахарской пустыне древнейших фресок с изображением «марсианского бога» или нашу шумевшая история со странной

картой адмирала Пири Рейса, содержащей новейшие сведения об Антарктиде,— вызван не только естественным и всегдашним стремлением к научному познанию, но и явственно усилившейся тягой к «таинственному».

Несколько книг, переведенных у нас в последние годы,— «Потерянная пирамида» египетского археолога М. Э. Гонейма, «В поисках фресок Тассили» французского ученого Анри Лота, «По следам снежного человека» английского журналиста Ралфа Иззарда, «О летающих тарелках» американского астрофизика Дональда Мензела — извлечены из огромного потока литературы, так или иначе связанной с этого рода потребностью, и могут засвидетельствовать, сколь велика эта потребность.

Это не значит, что авторы названных книг стремятся к сенсации (такие книги тоже существуют, но не о них речь). Напротив. Сенсацию ищут и отыскивают в них сами читатели.

Открытие в Тассили сокровищницы первобытной культуры само по себе событие, которое трудно переоценить. Но, честно говоря, эта единственная в своем роде находка так и осталась бы, вероятно, достоянием ученых, искусствоведов, любителей древнейшей истории человечества, в лучшем случае — поклонников редких путешествий, если бы не удивительные круглоголовые фигуры с рожками, странно напоминающими современные антенны, если бы не большой бог из Джаббарена, получивший также название «марсианского бога» за свое действительно обескураживающее сходство с громадной фигурой в скафандре.

Надо отдать справедливость руководителю экспедиции и автору книги «В поисках фресок Тассили» Анри Лоту: он подробно описывает историю нахождения и расчистки каждой группы фресок, условия жизни маленького отряда в пустыне и судьбу вымирающего племени кочевых туарегов; он делает попытку хотя бы в первом приближении создать периодизацию фресок; он размышляет о стилях древней живописи и об уровне культуры первобытных народов. Но он воздерживается от спекулятивных теорий или поверхностных умозаключений по поводу странных людей в скафандрах. С этой точки зрения его в высшей степени интересная книга, пожалуй, даже разочарует читателя, заинтригованного таинственными марсианскими фигурами, украшающими многочисленные репродукции фресок.

И, однако, именно эта смутная, дразнящая воображение возможность «пришельцев из космоса» в незапамятные времена земной истории больше, чем действительная научная и художественная ценность первобытных фресок, питает любопытство публики к находке в Тассили.

Ралф Иззард, предпринявший на деньги «Дейли мейл» серьезно оснащенную попытку доказать существование в Гималаях снежного человека, тоже достаточно объективен в своих выводах вопреки распространенному мнению о журналистах. Репортаж о поисках неуловимого йети перемежается с описаниями обычаев и нравов шерпов, флоры и фауны высокогорной зоны Гималаев и обрядов буддийских монастырей — книга представляет собой столь распространенный в последнее время жанр путешествия.

Но атмосфера ажиотажа, окружавшая экспедицию, проглядывает сквозь скупые информационные строки: «3 декабря мы смогли опубликовать первое официальное сообщение о нашей экспедиции. То была сенсационная передовица на два полных столбца с огромными «шапками» подзаголовков...

На следующее утро по двум нашим телефонам беспрерывно звонили люди, жаждавшие принять участие в экспедиции... Та же история, что и с телефонными звонками, повторилась, когда нас стали засыпать телеграммами и письмами... Один из крупнейших цирков предложил нам поистине баснословную сумму за исключительное право демонстрации снежного человека, если мы привезем его живым в Европу...»

Легендарная сторона проблемы йети стала очевидна, когда «со всех концов света посыпались газетные заметки и сообщения телеграфных агентств, посвященные снежному человеку».

«...Хемиш Мак-Иннес, молодой шотландский альпинист, сегодня прибывший в Новую Зеландию, убежден, что снежный человек проходил мимо его палатки в базовом лагере в Гималаях на высоте 5500 метров».

«...Как сообщило сегодня вечером малайское радио, волосатые существа с клыками, по-видимому, являющиеся полулюдьми и полуобезьянами, появились из густых джунглей в Северной Малайе и напугали деревенских жителей...

Затем снежный человек покинул Малайю,

чтобы столь же внезапно появиться на далеком западе Канады.

Еще большим ажиотажем сопровождалось вскрытие усыпальницы доголе неизвестной пирамиды неизвестного фараона Сехемхета, найденной Гонеймом.

«Последние несколько дней были сплошной нервозностью. В газетах замелькали заголовки вроде «Сияние золота из гробницы фараона» или «Золотые россыпи недостроенной пирамиды»...»

Последняя стадия раскопок происходила под аккомпанемент газетной, радио- и телешумихи. И, однако, едва ли не больший интерес к книге Гонейма, чем, увы, тщетная надежда на сокровища фараона, вызвала тайна пустого саркофага, несчастный случай во время раскопок, а затем трагическая гибель автора, которая вкуче с легендой о «проклятии фараона» придала истории археологического открытия ореол таинственного и ужасного.

Каждая из этих историй не похожа на другую. Разные науки, разные проблемы, разные задачи. Но общее, что привлекает к ним жадное внимание публики, это «обаяние неизвестного», как пронизательно назвала свою статью об «ужасном снежном человеке» «Дейли мейл».

Обаяние неизвестного — это обаяние непознанного, которое должно быть познано; это тяга к раскрытию тайн природы, которая свойственна человеку вообще и кажется столь естественной в эпоху бурного развития науки и техники.

И в то же время обаяние неизвестного — это обаяние непознанного и «непознаваемого»; обаяние тайны, которую нельзя открыть ключом разума, которая не становится знанием, а, напротив, принимает очертания чуда.

«Многие, я знаю, будут радоваться нашей неудаче в достижении основной цели, — пишет в заключение своего отчета Иззард, — тому, что одна из последних великих тайн в нашем слишком хорошо изученном мире остается нераскрытой и по-прежнему бросает вызов любителям приключений. Это чувство в какой-то степени разделяю и я сам, ибо жизнь на нашей планете не будет более привлекательной после того, как на ней не останется ничего не изведенного».

Возрождение этого своеобразного романтизма, который присущ человеку всегда так же, как всегда ему присуще стремление

к точному знанию (все дело в том, что и почему в данный момент берет верх — а в данный момент берет верх именно романтизм), отразилось и в книге профессионального ученого-археолога Гонейма. «О раскопках древнеегипетских гробниц написано столько романтической чепухи, что теперь многие археологи, по-видимому в знак протеста, «замораживают» свои отчеты, стремясь быть строго научными...»

Стараясь писать холодно и бесстрастно, я изменил бы самому себе. Поэтому скажу честно: когда через две недели после катастрофы (обвал шахты с человеческими жертвами при раскопках пирамиды, который местные жители приписали сверхъестественным причинам. — М. Т.) я собрал рабочих и мы снова приступили к расчистке входной галереи, мне было как-то не по себе...

Тот, кто ни разу не ползал в одиночестве по безмолвным темным ходам под пирамидой, никогда не сумеет по-настоящему представить, какое ощущение временами охватывает тебя в этих подземельях. Мои слова могут прозвучать неправдоподобно, однако я знаю, что каждая пирамида имеет свою душу, в ней обитает дух фараона, который ее построил».

Здесь «тайна» совсем иного рода, но, кажется, загадки древних цивилизаций привлекают в последнее время не меньше внимания, чем загадки природы и Вселенной.

И вот на поверку оказывается, что какой-нибудь интеллигент вроде Марчелло так же нуждается в чуде, как дурочка Эмма и бедняжка Кабирия...

Конечно, ему нужна не мадонна в бумажных розах, не раскрашенные ангелочки, разляпистые подсвечники и деревянные спасители в лавчонках церковных принадлежностей — весь этот наивный реквизит, столь излюбленный Феллини в его фильмах (впрочем, то немаловажное обстоятельство, что Феллини, как и многие крупные художники Запада, католик, тоже надо иметь в виду).

Для того чтобы современный Марчелло согласился поверить в чудо, надо, чтобы оно было обставлено по всем правилам науки и техники: фотографиями, фактами, формулами, философией.

Только в этом случае он, которому смешны мешанские суеверия Эммы или невеже-

ственное легковое Кабири, со своей стороны готов поддаться гипнозу чуда. Но каковы бы ни были его условия, готовность от этого не становится меньше.

3. УБИЙЦА САНТА-КЛАУСА

...В одно прекрасное воскресенье американские радиослушатели, включив свои приемники, услышали внеочередное сообщение чрезвычайной важности: неподалеку от Гровер-Милл (штат Нью-Джерси) в 20 часов 50 минут приземлился странный летательный снаряд. На место происшествия срочно выехали специалисты. Из снаряда начали высаживаться неизвестные существа явно не земного происхождения.

Началась паника. Во все концы зазвонили телефоны. Кто кинулся звонить на радио в надежде получить какие-нибудь дополнительные сведения, кто справляться о судьбе своих родственников, на беду проживающих в указанном штате; одни бросились спасать свои вклады в банках, другие — жизнь своих близких. Дороги и телефонные линии были забиты до отказа.

По радио продолжали поступать тревожные сообщения. Вот уже первая жертва марсианского нашествия открыла недружелюбные намерения пришельцев. Паника, разрастаясь, охватила миллион американцев...

Что это — начало научно-фантастической повести? Нет, это факт, приведенный американским астрофизиком Дональдом Мензелом в его книге «О летающих тарелках».

То есть фактом является, конечно, паника, достигшая столь устрашающих размеров (миллион из шести миллионов радиослушателей — красноречивая цифра!). К научно-фантастическому жанру относилась лишь радиопередача, осуществленная режиссером Орсоном Уэллсом по роману Герберта Уэллса «Война миров».

Допустим даже, что радиопостановка по знаменитому роману была сделана автором знаменитого фильма «Гражданин Кейн» со свойственным ему размахом и силой. Но миллион американцев, без труда поверивших в нашествие межпланетных чудовищ? Тут есть над чем задуматься не только ученым-социологам...

Мензел бегло приводит результаты обследования, проведенного по этому случаю, и разнообразие мотивов от мелочных до великих оказывается безгранично — один ра-

дуется, что страх перед марсианами будет стоить его теша десяти лет жизни, другой думает поправит при этом свои пошатнувшиеся дела, третий надеется, что нападение с иной планеты объединит наконец жителей Земли, четвертый считает — пусть уж лучше марсиане, чем фашизм...

Но как бы ни были разнообразны индивидуальные мотивы, статистика обнаруживает скрытую готовность принять и поверить в чудо, которая носит уже не индивидуальный, а очевидно массовый характер. Тот несколько повышенный интерес ко всему таинственному, который угадывался за интересом познавательным в связи с йети или марсианскими фигурами фресок Тассили, приобретает здесь уже откровенно мифологический уклон.

Одному из современных мифов и посвящена книга Дональда Мензела:

«Первобытный человек верил в демонов, духов, эльфов, домовых, драконов, морских змеев и в другие сверхъестественные существа, созданные его фантазией... Мы больше не верим ни в духов, ни в драконов...

И вот теперь мы наблюдаем летающие тарелки! Что это за штуки?

...Средний американец хочет верить, что тарелки — это космические корабли и что целые стаи тарелок с экипажами на борту непрерывно носятся над Землей.

Тот, кто пытается разоблачить межпланетную теорию тарелок и разъясняет, что это просто явления природы, признания не получит. Мы, американцы, любим предаваться иллюзиям. И не любим, когда нам говорят, что Санта-Клаус — это сказка».

Так пишет профессор Мензел, как бы суммируя эту странную, но очевидно обнаружившуюся потребность современного образованного человека в чуде.

Книга имеет двойную задачу.

Внимание тех, кто хотел бы выяснить действительную научную подоплеку таинственных явлений, известных под названием летающих тарелок, Мензел предлагает свою гипотезу миражей и оптических обманов. «Автор вводит читателя в живой и популярной форме в мало кому известную область атмосферной оптики, — замечает в предисловии профессор Д. Франк-Каменецкий, — книга может служить примером объективного научного подхода к сложным и непонятным явлениям природы».

Но так ли уж многие читатели Мензела действительно хотели бы убедиться, что

летающие тарелки — миф, возникший из оптического обмана? И только ли из атмосферных миражей он возник?

Мензел сам подробно и обстоятельно отвечает на этот вопрос, ибо «своеобразный случай массового психоза» интересует его, по-видимому, не меньше, чем разнообразные случаи появления летающих тарелок. Его книга посвящена столько же исследованию оптических миражей, порожденных стечением атмосферных условий, сколько миражей, являющихся порождением определенных общественных условий. Снова, как и прежде, люди обращают (вынуждены обращать) свои надежды к небесам, не имея возможности реализовать их на земле, хотя небеса заселены теперь совсем иначе... Не оттого ли, что «для веселия планета наша» — все еще! — «мало оборудована», — как невесело шутил когда-то Маяковский.

Впрочем, понятно, отчего люди легко верят в чудеса в момент, когда наука из мира изученного и знакомого снова вывела их на рубеж неизвестного.

Вопрос в другом: почему многие люди сегодня так настаивают на чуде? Настолько, что для них Мензел, предлагающий прозаически-научную расшифровку мифа, — «почти убийца Санта-Клауса», по его собственному выражению?

«Уважаемый доктор Мензел!

Некоторое время я жила прекрасной мечтой и надеялась, что когда-нибудь она осуществится. И вот появились вы и развеяли в прах все мои надежды. Как можно быть таким жестоким!

Ведь вы знаете, что в Вашингтоне почти нет мужчин? Немногие стоящие мужчины все женаты, остаются только матросы и мальчишки, слишком молодые!

Для девушки, которая работает машинисткой в военно-морском министерстве, не так-то просто встретить в наши дни подходящего молодого человека, и единственное, что ей остается, — это мечтать. И вот я создала прекрасную романтическую мечту, основанную на многих прочитанных мною статьях о летающих тарелках, это мечта о человеке из другого мира, высоком брюнете, красивом, очень умном и обаятельном: он приземляется на летающей тарелке неподалеку от моего дома.

...Утверждая, что летающие тарелки — это просто отражение, поднятые в воздух клочки бумаги, воздушные шары и т. д., а вовсе не космические корабли с разумными

существами из других миров, вы разрушили мою прекрасную мечту».

Как до смешного легко узнать в этом горестном и трогательном письме молодой американки Ширли У. вопль души той же Эммы или Кабирии, ту же простодушную и отчаянную надежду на чудо!

Нужды нет, что там чудо представляется в виде благословляющей мадонны с улыбкой на устах, а здесь — в духе новейших достижений науки и техники: в виде межпланетного чудовища, управляемого неведомой силой. И то и другое сверхъестественное вмешательство нужно для исполнения мечты — самой простой, житейской, обыкновенной, для естественнейшей из человеческих надежд...

Увы, вера в чудеса науки и техники жидется подчас на той же элементарной человеческой надобности, что и просто вера. Парадоксально, но факт: она сама подчас превращается в свою противоположность — в подобие наукообразной религии.

«...Легенда о летающих тарелках держится не только на желании людей увидеть, как научная фантастика становится былью, — пишет Мензел. — К своему удивлению я обнаружил, что существует своего рода «культ летающих тарелок». Нам неизвестны имена верховных жрецов этой организации и как возникли догматы этой веры. Но тысячи людей, несколько ревностных теоретиков и множество истинно верующих, считают летающие тарелки настоящими космическими кораблями, которыми управляют их экипажи. И десятки весьма солидных журналов приобщили немало заблудших душ к новой вере.

Легенда о «маленьких человечках» (жителях Венеры. — М. Т.) таинственно оживает вновь и вновь. Пусть это неправда, но это должно быть правдой!»

И в другом месте: «Для каждого нового и непонятого явления мы просто придумываем нового бога... или предполагаем существование сверхразумных людей из другого мира».

Итак, летающие тарелки стали своего рода культом. Для многих нерелигиозных или не слишком религиозных людей гипотетические пришельцы из космоса фактически заменили собой мадонну и ангелов.

Не надо только представлять себе дело так, что Мензел просто консерватор от науки, старомодный чудак, брюзжащий по поводу новых и смелых гипотез. Как и

большинство современных ученых, он принимает вероятность жизни на других планетах, не отрицает и возможности появления космических кораблей в земной атмосфере. Речь идет лишь о том месте, которое занял в умах миф о летающих тарелках. Именно миф, если даже принять увлекательные теории ученых Агреста и Сагана о том, что космические корабли действительно появлялись на Земле (Агрест рассматривает в свете этого предположения библейские, Саган — шуммерийские легенды).

Но тут речь идет о наших днях, о легенде, создавшейся буквально на наших глазах, и если бы даже космическая станция «Марс-1» обнаружила на соседней планете очевидные следы разумной жизни (что, кажется, пока противоречит предположениям ученых), это ничего не изменило бы в мифологическом характере проблемы.

«Мы, живущие в век науки, знаем, что на мир нужно смотреть рационально и научно... Чем больше мы верим в науку, тем меньше придаем значения суевериям,— пишет Мензел, предлагая читателю свое — рациональное и научное — объяснение тайны летающих тарелок. Но множество неопровержимых фактов, приведенных им же самим, заставляет профессора тут же сделать неутешительную оговорку: «Хотя люди и претендуют на научность мышления, лишь немногие отдают себе отчет, в какой мере предрассудки все еще отравляют наше сознание».

Увы, современный парадокс (возникающий, впрочем, не впервые в истории) в том и состоит, что люди, живущие в век науки, не умеют или не хотят — что вернее — смотреть на мир «рационально и научно». И чем больше они верят в науку, тем больше в то же время склонны к суевериям. В известном смысле можно сказать, что само развитие науки питает эти суеверия.

«Развитие науки многократно приводило к разрушению привычных для человека иллюзий, начиная с утешительной веры в личное бессмертие,— замечает по этому поводу академик А. Н. Колмогоров.— На стадии полужнания и полупонимания эти разрушительные выводы науки становятся аргументами против самой науки, в пользу иррационализма и идеализма».

В этой связи ссылка Мензела на предрас-

судки, все еще отравляющие сознание как осадок былого невежества, выглядит по меньшей мере наивно.

Впрочем, иррационализм мышления и склонность к суевериям людей, живущих в век науки, имеют в основе не только затянувшийся гносеологический кризис (берущий исток в начале века), о котором говорит Колмогоров, но и мотивы отчасти социальные. Надо отдать справедливость Мензелу — эту социальную сторону дела он исследует и объясняет пронизательно.

Мензел называет три, по его мнению основные, причины, породившие тарелочную мифологию в умах современных американцев (европейцев, впрочем, тоже):

«Во-первых, летающие тарелки — нечто необычное. Мы привыкли к повседневности. И, естественно, все необычное кажется нам таинственным».

Во-вторых, мы все стали слишком нервными. Мы живем в мире, который вдруг стал небезопасным. Мы высвободили разрушительные силы, которые не можем контролировать; многие боятся, что мы идем к войне, которая уничтожит нас.

В-третьих, людей в какой-то степени завладевает этот страх. Им кажется, будто они играют в захватывающей пьесе из области научной фантастики».

Все это разные черты духовного кризиса, который носит, однако ж, более широкий и всеобщий характер. Как ни странно может показаться — в нем сливаются воедино радения сектантов в оборудованной по последнему слову техники молельне и культ летающих тарелок, — сходство здесь не только внешнее; откровенный религиозный экстаз и скептический интерес к таинственному — различие здесь лишь между двумя сторонами одного и того же явления.

Конечно, Марчелло из фильма Феллини раздражает и смешит энтузиазм некстати богомольной Эммы — он уже не верит в евангельские чудеса; а могут казаться дурачками и старомодными ее притязания на его духовную свободу.

Но что прикажете делать ему самому с этой свободой?

Куда ему податься, не удовлетворенному идеалом личного благополучия, разочарованному в идеале жизни общественной и — увы! — уже не способному верить в мадону в бумажных розах? На что ему надеяться в мире технических чудес, означаю-

ших возможность материальных благ, но и угрозу атомной войны? Так ли уж сладка эта «сладкая жизнь» в современном Вавилоне накануне атомного «страшного суда»?

И не является ли страх и неуверенность, о которых говорит Мензел, страхом не только перед возможностью атомной войны и тотального уничтожения, но и перед благополучной повседневностью с ее, однако ж, донельзя обострившимися противоречиями — социальными, моральными, экономическими, национальными, — превращающими будущее в сплошную неизвестность?..

Было время, когда духовная свобода — а значит, и свобода от власти чуда — была завоевана как высшее благо и надежда человечества. Просветители надеялись переустроить мир на основах человеческого разума; французская революция выдвинула девиз Свободы, Равенства и Братства. Могущество науки казалось безграничным, а цель — материальное благополучие для всех, за которым последует духовный расцвет, — ясна и непреложна.

Сейчас, на исходе эры капитализма, буржуазный человек переживает кризис всех своих устремлений и надежд. «Экономическое чудо», далеко не разрешившее все еще первейшую проблему человечества — материальную проблему, даже там, где оно принесло свои первые плоды, обнаружило и свое внутреннее противоречие. Вместо физического голода оно принесло с собой духовный голод, вместо братства — ужасающую разъединенность и одиночество, вместо ожидаемого торжества идеалов — безыдеальность, усталость, омертвление, цинизм.

Наука, создавшая невиданное могущество техники, позволяющей и даже диктующей разрешение иных вопросов в масштабе всей планеты, лишь усугубила противоречие между кажущейся взаимообусловленностью и взаимосвязанностью человеческих устремлений и воля и действительной властью случайности и хаоса. Человек, некогда живший в относительно упорядоченном мире устойчивых представлений, больше не верит в способность разума до конца подчинить себе силы природы так же, как разрешить социальные противоречия; ведь гонка вооружений, достигшая уже самоубийственных для всего человечества размеров, очевидно, противоречит разуму, а

кибернетические утопии переходят его видимые границы.

Индивидуалистическая духовная свобода, которая еще вчера оказалась до отчаяния безоружной перед чудовищно организованным террором фашизма, а сегодня бесплодна ввиду угрозы атомной бомбы, — уже не кажется ни надежной, ни даже желанной.

Современный человек, утративший свои идеалы, изверившийся в возможностях разума, подавленный и обезличенный собственной техникой, отчаявшийся, одинокий и несчастливый, ищет духовной опоры и единения с себе подобными в чем-то, что помимо разума — неважно, выше или ниже его, — в чем-то, что освободило бы его от непосильного груза личной ответственности, которую он не хочет принимать на себя, потому что все равно не в силах ее осуществить. Он ищет опоры в чем-то, что имело бы авторитет высшей и всеобщей силы, не подвластной суждениям разума и доступной лишь вере. Для одних — это религия. Но даже при видимом оживлении ее она выродилась и потеряла былую силу для всех: всяческое сектанство, разъедающее ее изнутри, с очевидностью свидетельствует об этом. Однако летающие тарелки — это ведь тоже, в сущности, надежда на небесное вмешательство, смутное упование на чей-то пусть не божественный, но сверхчеловеческий разум, который разом разрешил бы все до неразрешимости обострившиеся противоречия сегодняшней действительности. «Быть может, мы найдем народ, скажем на Венере, который давным-давно покончил с войнами и установил на своей планете мир, — приводит Мензел слова некоего мистера Ньютона. — Какая мечта!»

Духовный кризис охватывает, конечно, гораздо более широкую область явлений, чем те, о которых идет речь в этой статье. Современная «мифология» с разными ее аспектами — только симптом. Таких симптомов множество в самых отдаленных областях жизни и искусства. Кризис касается уже не только форм, но и самых целей современной цивилизации. Он перестал быть уделом высококолобых философов и ученых — в той или иной форме он касается всех и каждого, он стал бытом, повседневностью. Сама его широта и всеобщность — свидетельство необходимости разрешения.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Б. Рунин. Исповедь молодого современника.— **А. Леонтьев.** Черты поколения.— **Н. Кузьмин.** Книга о русском лубке.— **А. Образцова.** Что такое кинодраматургия? — **И. Верцман.** Гомер сегодня.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Левачев. Увлекательное путешествие.— **С. Смуглый.** Открытие Земли продолжается...— **С. Эпштейн.** Социология в народной Польше.

Литература и искусство

ИСПОВЕДЬ МОЛОДОГО СОВРЕМЕННОКА

Юстинас Марцинкявичюс. Сосна, которая смеялась. Повесть.
Перевел с литовского **Ф. Дектор.** «Дружба народов», № 8, 1962.

Имя автора повести «Сосна, которая смеялась» пока мало что говорит всесоюзному читателю, но уже широко известно в Литве, где весьма популярны стихи Ю. Марцинкявичюса — пожалуй, не столько его лирика, сколько поэма «Кровь и пепел», как и другие написанные им поэмы, еще ждущие своего перевода на русский язык.

Обычно стихотворец приносит в прозу повышенную эмоциональность фразы, отчетливость интонации, взыскательный отбор слов, пристрастие к тропам, свободу ассоциаций — всегда драгоценные навыки, обусловленные требованиями поэтической речи. Так случилось и на этот раз. Повествование Ю. Марцинкявичюса экспрессивно, беспокойно, богато подтекстом. В этом смысле оно как нельзя лучше отвечает избранной форме страстной исповеди с ее произвольной сменой настроений, капризами памяти, своеволием выпущенных на свободу чувств. И спешу сразу же отметить, что это выразительное своеобразие стиля Ю. Марцинкявичюса мы можем признательно оценить благодаря искусству молодого, не побоюсь сказать — талантливого переводчика Ф. Дектора.

Итак, лирическая проза? Герой выступает в качестве доверенного лица автора и становится для нас его вторым «я»? В том-то и дело, что нет! Больше того, настроившись по первым страницам именно на такое восприятие повести, поскольку она написана от первого лица и проникнута интонацией искренней доверительности, я по мере чтения с удивлением и интересом убеждался в том, что привычные в таких случаях определения здесь не пригодятся, что автор ведет меня по извилистой тропинке очень темпераментного, взволнованного и психологически насыщенного... саморазоблачения героя.

Полная неожиданность! Приятная или неприятная? Как сказать... Во всяком случае мы от этого в нашей литературе отвыкли. И как-то странно себя чувствуешь, что-то царапает тебе душу. Видимо, лиризм и саморазоблачение не так-то легко примирить в современном искусстве, тем более что герой повести Ромас Стаугайтис заходит очень далеко как в том, так и в другом. Его искренность безудержна, и, конечно, она подкупает. С другой стороны, его душевные пороки слишком очевидны, чтобы проникнуться к нему симпатией. И говорит он о

них со всей прямой и категоричностью, как бы даже не считая их пороками.

Разумеется, если бы он их сразу, по ходу дела признавал, то не было бы повести. Ведь пафос исповеди Ромаса Стаугайтиса — в преодолении себя, собственных заблуждений. И прозрение приходит к нему не позже, чем оно могло к нему прийти по логике вещей, даже, может быть, несколько быстрее, чем могло, но все-таки слишком поздно, чтобы мы успели его полюбить.

Однако, прежде чем делать выводы из этого противоречия, давайте установим, что же собой представляет Ромас Стаугайтис и о чем ему необходимо нам поведать. Студент-дипломник художественного вуза, он полон жизненных сил, но не может найти себя как живописец. Множество идей обрушает его, множество замыслов возникает у него в сознании, но ни один из них, даже, казалось бы, овладевший его воображением абстрактный «триптих чисел», не способен выразить его заветных чаяний. Почему же? Да потому, что никаких заветных чаяний у него и нет. И в этом он ценюю личных неудач и трагических потерь постепенно убеждается. Ему не с чем прийти к людям, нечем поделиться с ними, кроме своих мыслей о победе зла над добром и роковой обреченности всего сущего. А людям нужно другое.

История душевных терзаний и нравственных поисков Ромаса, его нелегкий путь к правде жизни, пониманию ее действительных ценностей, а также истинного назначения художника и составляет содержание повести.

Так что герой оказался вовсе не вторым «я» автора, как это можно было заключить на первых порах. Для этого Ромас слишком настойчиво демонстрирует свои душевные вывихи, свою опустошенность и презрительное высокомерие по отношению к окружающим. Нет, он не рисуется, не эпатирует нас. Просто он — такой. Полная откровенность и откровенный эгоизм. Социальный, бытовой, какой хотите. Энергия ума и равнодушная безучастность. К товарищам, к родственникам, к судьбам мира.

Ну, а бывают ли нравственные калеки столь задушевно восприимчивы к тончайшим проявлениям жизни, столь чутко внимательны к ее красоте, столь артистичны и талантливы? В этом смысле вопреки своей духовной изломанности, вопреки явственной идейной удаленности от автора Ромас

все же многое у него позаимствовал. Я имею в виду пытливость Ромаса, утонченность и разветвленность его переживаний, музыкальность и многоцветность восприятий мира. И, что очень важно, — неутолимую жажду познания.

Все это так. И, пожалуй, «нравственный калека» слишком сильно сказано. Но ведь художественный талант и обнаженный эгоизм — «вещи несовместные»? Словом, нет ли и здесь несоответствия, которое может увести за рамки реалистической диалектики сложного характера, разрушить достоверность образа?

Опасение, не лишенное оснований. Но Ю. Марцинкявичюс и не стремится к бытовому правдоподобию. Вернее, он готов им слегка поступиться ради насущной задачи. Ему важно выяснить, как относятся между собой — и не только в жизни, но и в творчестве — такие категории, как индивидуальность и индивидуализм.

Ему необходимо провести между ними отчетливую демаркационную линию. И то, что она в данном случае проходит через сознание двадцатитрехлетнего юноши, вступающего в жизнь, необычайно обостряет проблему. Мне даже кажется, что писатель сознательно пошел на издержки, связанные с тем, что конфликт этих двух начал может быть воспринят как раздвоение образа героя.

А кроме того, поэтика этой повести, весь ее образный строй таковы, что условное и безусловное здесь не только тесно соседствуют, но и переходят одно в другое. И далеко не все происходящее в повести может быть подтверждено простыми житейскими мотивировками. А некоторые прозаические подробности бытия вдруг вырастают до символа, приобретают неожиданную значительность.

Откуда же в Ромасе в его годы и в наше время этот «тотальный пессимизм», эта отчужденность от народной жизни, его антидемократическая эстетика — все те свойства и качества, которые мешают нам пойти ему навстречу?

Как и откуда возникли в нашем обществе подобные.. как бы это лучше выразиться, духовные одиночки, что ли? Вот вопрос, поставленный в повести. Почему среди интеллигентных юношей встречаются такие пресыщенные натуры? Каковы исторические или хотя бы только биографические предпосылки их стороннего иронического взгляда

на общественную мораль и общественные ценности?

Автор отвечает примерно так: скептические юнцы появились в нашей среде именно потому, что они пришли на готовое. Свобода досталась им в дар. И они не слишком дорожат ею, ибо не участвовали в прошлом и не знают, какой ценой заплачено за предоставленную им возможность размышлять о высоких материях, заниматься искусством и любить. Отцы приняли на себя грозные удары истории, прошли через неслыханные испытания второй мировой войны, через страдания и смерть, чтобы предоставить сыновьям иные условия существования.

Так устанавливается тематическая преемственность «Сосны, которая смеялась» с поэмой Ю. Марцинкявичюса «Кровь и перепел». Мотив гибели ради торжества бытия, явственно прозвучавший в поэме, слышится и здесь. Мать Ромаса умерла, дав ему жизнь. Только трагически осознав смерть отца, Ромас приходит к пониманию законов человеческого братства и демократических основ искусства. Ценой душевных потрясений находит он путь к людским сердцам.

Итак, беда Ромаса и подобных ему юношей в том, что они социально «избалованы». Допустим. Но чем же все-таки питаются его холодное недоверие, его убежденность скептика, его далеко идущая самоуверенность? На какой и де йной почве могли сложиться его взгляды на жизнь, на искусство, на любовь? Что позволяет ему столь решительно отвергать такие старомодные, с его точки зрения, понятия, как общественный долг, товарищеская солидарность и другие самоочевидные этические нормы? Ведь он отнюдь не безыдеен при всей его общественной индифферентности.

Надо сказать, что Ю. Марцинкявичюс пытается художественно исследовать весьма трудный случай. Перед нами мыслящий, образованный молодой человек с высокими духовными запросами, к тому же одаренный художник. Наивностью он никак не грешит, скорее он чрезмерно интеллектуален.

Ромас только тем и занимается, что мыслит, и интересен именно тем, как он мыслит. Да, в нем тоже немало наносного, но его самоанализ, его сознание превосходства над людьми, его высокомерие индивидуалиста, даже его откровенность во зло — все это не минутный каприз, не просто прихоть, не только поза, а скорее жизненный принцип.

Что же знает он такого, что дает ему

внутреннее право так вести себя и презирать окружающую действительность, полную, на его взгляд, пустых иллюзий и нелепых сентиментов?

На этот вопрос Ю. Марцинкявичюс, как мне кажется, не нашел убедительного ответа. Оказывается, его герой позаимствовал на Западе вовсе не узкие брючки и страсть к современным танцам, а некие философские системы. Дошедшие до Ромаса сведения о французских экзистенциалистах стали для него, как он сам признается, «обетованной землей». Но об этом упомянуто лишь вскользь. Зато другая система настолько завладела сознанием Ромаса, что заняла в его исповеди немало места.

Как это ни странно, юный Ромас Стаугайтис — едва ли не убежденный последователь Освальда Шпенглера. Во всяком случае он с жадностью прочел «Закат Европы» и проникся заключенными в этой книге идеями, в частности апокалиптическими идеями неизбежной гибели европейской цивилизации. Теперь он знает, к чему идет дело, ну, и соответственно утверждает себя перед лицом неминуемого.

Правда, у Ю. Марцинкявичюса Освальд Шпенглер почему-то зашифрован, и философ, чьи идеи исповедует Ромас, именуется Освальд Бадлер. Но закат Европы остался, остались и шпенглеровское толкование хода истории, и шпенглеровская философия культуры с ее восьмию замкнутыми в себе организмами. Отсюда и пессимизм и фатализм Ромаса, отсюда его умонастроения, которые так талантливо выражены в написанной им картине «Первый шаг»:

«...Настежь распахнутая дверь. Большой, прекрасный, манящий мир за нею. И золотая тропка от порога в бесконечность, и все так, как вы видите. Только вряд ли вы видите, как смеется этот валун у тропинки, как хохочет во все горло сосна на пригорке, как корчится, захлебывается от смеха дальний лес... Вы не видите этого, но зато вы видите тени всех предметов. А я отшвыриваю тени. Мне нужно, чтобы все, что я вижу, светилось. А предметы, излучающие свет, как известно, тени не имеют. Солнца нету. Светит все, что вы видите, и поэтому мир кажется нереальным, фантастическим, придуманным. Согласны? Хорошо. Так вот, теней нет, кроме одной — большой, черной, грозной и неизвестной тени у самого порога, которая тут же, под вашими ногами, словно неумолимый перст судьбы, пересекает золо-

тую тропку, ведущую в прекрасный, лучащийся мир.

В дверях стоит маленький, голый и светящийся ребенок, который и хочет, и никак не решится сделать роковой шаг в незнакомый и такой заманчивый мир, которого в сущности нет».

Черная тень, предсказанная Шпенглером, мешаает и Ромасу сделать первый шаг к людям, обрести душевный контакт с товарищами, с отцом, с любимой девушкой. И с действительностью.

Убедительно ли это? Мне кажется, нет. Я думаю, что Шпенглер в качестве властителя дум даже такого глухого к требованиям эпохи молодого человека, как Ромас, — очевидный анахронизм. Нет, он для Ромаса тоже был бы старомоден.

Освальд Шпенглер умер за четверть века до того, как Ромас Стаугайтис раскрылся нам в своей исповеди. Но дело даже не в календарных сроках. Дело в том, что категории, которыми оперировал Шпенглер, и выводы, к которым он пришел, даже на Западе считаются теперь безнадежно устаревшими. Вряд ли он мог ввести в соблазн такую духовно взыскательную, хотя и подверженную модным веяниям натуру.

«В целом Шпенглер представлял весьма плоский позитивизм, упрощающий трудную проблему несогласованности идеи и реальности, духа и действительности с помощью дешевых, эффектных средств». Такую безжалостную характеристику дает ему современная буржуазная философия (цитирую по философскому словарю, изданному пять лет назад в ФРГ).

Да, несогласованность идеи и реальности, духа и действительности — это к Ромасу подходит. Но весь он — дитя нынешнего века, и, подсунув ему Шпенглера, автор уклонился от выяснения сущности проблемы. Но даже если Шпенглер — почему прилипла к Ромасу эта философия безнадежности? Почему он набросился на нее с такой жадностью? Почему одряхлевший идеолог отчаяния с такой легкостью обратил его в свою веру? Ведь здесь корень вопроса.

Будем говорить начистоту. Причудливое растение, именуемое Ромас Стаугайтис, возникло не только на почве философских влияний Запада. Отнесем к нему как к общественному явлению — масштаб и уровень авторских размышлений позволяют именно так расценивать этот образ. Как же объяснить подверженность некоторой части нашей

интеллигентной молодежи чуждым западным влияниям, будь то устаревший Шпенглер или модный экзистенциализм? Очевидно, в условиях Литвы, если учесть особенности ее исторического пути, различные буржуазные влияния действительно могли подействовать на сознание такого юноши, как Ромас. Но я думаю, что нельзя здесь было не сказать и о некоторых противоречиях нашего общественного развития, связанных с последствиями культа личности Сталина. Эти противоречия вовсе не попали в поле зрения автора, но они тоже могли бы нам кое-что объяснить в происхождении его героя.

Я думаю, что образ Ромаса Стаугайтиса был бы значительно достовернее, если бы в основе его нравственного кризиса лежала не только отвлеченная философская теория, но и реальная земная практика. Я отчетливо себе представляю, как должны были отталкивать одаренного юношу прежние нормы помпезного искусства, затверженные формулы казенного словоговора, мертвящие догмы всяческих вульгаризаторов от живописи с их парадной бессодержательностью, — словом, все то, что имело место в недавнем прошлом и, конечно, болезненно сказалось на умонастроениях некоторой части нашей молодежи. Но эту сторону жизни своего героя автор старательно обошел, как бы лишив его тем самым реальной биографии.

Обособленность Ромаса от действительности наиболее выразительна именно в сфере искусства. Оно и понятно. Но, честное слово, его искреннее презрение к розовым занавесочкам, сквозь которые смотрят на мир, сидя в собственной «волге», некоторые художники, объясняет нам природу нигилизма Ромаса куда убедительнее, чем одни лишь философские влияния.

В конце концов герой повести избавился от наваждения и обрел душевное здоровье, потому что он искренне полюбил девушку и потому что он искренне любил искусство. Эти привязанности захватили его целиком, помогли ему преодолеть удары судьбы и поставили все на свое место.

Да, Ромас пережил душевный «взрыв». Но тут возникает вопрос: мог ли он так легко отделаться от своей органической сущности? Как-то не очень в это верится. А вот во что я действительно верю, это в то, что он никогда не придет к розовым занавесочкам в своем творчестве.

Пусть розовые занавесочки холодного оптимизма не слишком оригинальная метафора. Однако это символ убедительный и действенный. Ю. Марцинкявичюс вообще охотно прибегает к таким «овеществленным» иносказаниям. Правда, этим приемом надо, по-видимому, пользоваться с большим тактом, умереннее, что ли. А то иной раз по инерции невольно придаешь чрезмерную значительность какой-нибудь проходной детали, которая, как потом выясняется, вовсе и не содержит в себе никакого скрытого смысла.

Как бы там ни было, символы у Ю. Марцинкявичюса зачастую эффективнее отвлеченных рассуждений героя. Символична и в то же время образно конкретна картина, написанная Ромасом, «Первый шаг». Не менее конкретна символика картины «Земля» идейного антипода героя, молодого художника Галюнаса, убежденного сторонника народности в искусстве:

«Широкое свежеспаханное поле; слева, на переднем плане, во все полотно, даже не умещающаяся на нем, большое, серьезное лицо человека. И земля и человеческое лицо в чем-то очень схожи и уравнивают друг друга. Удивительная внутренняя связь».

Ромас по-хорошему завидует этой картине. Дойдя до последней черты, до полного

одиночества, потеряв отца, расставшись с любимой, рассорившись с товарищами, он впервые чувствует себя несчастным и начинает постигать объективные связи и требования действительности, сокровенный смысл истинного творчества.

«Бадлер (то есть Шпенглер.— *Б. Р.*) навалился на меня всей тяжестью, а жизнь, не считаясь с моей философией, больно трахнула по голове»,—признается Ромас. И мы постигаем любимую мысль автора: новое рождается в муках, как бы говорит он нам, и не надо закрывать на это глаза, не надо бояться противоречий и сложностей жизни. Надо активно участвовать в ней, и тогда через трудную правду откроется дорога вперед.

Такова эта талантливая повесть. И если моя рецензия представляет собой в большей мере спор с автором, нежели славословия по его адресу, то это никак не значит, что я хоть в какой-то мере ставлю под сомнение значение и ценность написанного им. Просто мне давно не было так интересно спорить. Не сомневаюсь, что «Сосна, которая смеялась» вызовет и у читателей много раздумий, настоятельно потребует от них собственных суждений о времени и о себе, о жизни и об искусстве.

А это не так часто бывает.

Б. РУНИН.

★

ЧЕРТЫ ПОКОЛЕНИЯ

Жил - был мальчишка... Из дневников Михаила Молочко. «Неман», № 4, 1962.

Семен Гудзенко. Армейские записные книжки. Редактор В. Острогорская. «Советский писатель». М. 1962. 116 стр.

Холодной, суровой зимой 1940 года двадцатилетний Миша Молочко ушел добровольцем на финскую войну. Молочко был чуть постарше Семена Гудзенко, учился вместе с ним в Институте истории, философии и литературы (ИФЛИ) в Москве. Уже в то время он писал стихи, прозу, очерки, рецензии. Его критические статьи под псевдонимом «Михаил Молочко» печатала «Литературная газета». Его очень любили.

В тесной комнатке общежития на Усачевке мы собрались проводить его. Расставались с ним беспечно, как будто он уезжал к маме на каникулы. Девчонки подарили

ему трубку, табак «золотое руно» и множество папирос.

Весть о гибели Миши Молочко потрясла нас. Это была первая смерть. Это было первое имя в длинном и скорбном списке ровесников, погибших на финской и на Великой Отечественной войне.

Миша Молочко говорил, что студентов конца тридцатых годов отличала «высокая незрелость». Он имел в виду высоту стремлений и помыслов. И еще не созревшие дела, как яблоки, которые рано собирать с дерева.

Чем только не был занят неутомимый

могилевский школьник! Вот четырнадцатилетний Миша записывает, что в школе были уроки геометрии, алгебры, русского языка и химии. Из школы «пошел на почту, отправил в редакцию «П. Б.» («Пионер Беларуси». — А. Л.) большой очерк «Фабрика хлеба» о результатах «путешествия» по колхозам. Пришел домой. Читал второй раз А. Дюма «Три мушкетера». Потом сел писать повесть «Молодость». Сейчас иду за хлебом. Приду и думаю снова садиться за «Молодость».

Миша был одним из лучших деткоров в Белоруссии. Он пишет очерки и заметки не только в «Пионер Беларуси», но и в «Коммунар Могилевщины», в «Пионерскую правду», в «Комсомольскую правду» и даже в «Правду». Вот одна из записей: «Сегодня получил письмо из «Комсомолки» от Юрия Жукова в ответ на мою статью о мешанстве и новых чувствах».

В школе Миша — пионерский вожак, отдает много сил и времени разнообразнейшим общественным делам. За «ударные показатели» в учебе его посылают в Артек. Ему присылает письмо секретарь ЦК ВКП(б) Постышев.

Хорошо жить! «Весело и интересно жить в такое время... — замечает Миша. — Очень весело, а когда заиграют «Интернационал» — легко и радостно становится на сердце за то, что живу в СССР».

Гордость своим временем, своей страной, где так хорошо учиться, строить, мечтать, переполняет его сердце. Но автор записок не ограничивается восторгami. Он вдруг становится не по летам серьезен.

С какой горячностью, хотя, может быть, и наивной, пятнадцатилетний Миша Молочко, огорченный обилием родных пятен прошлого у окружающих людей, восклицает: «Неужели вторая пятилетка сумеет изжить все пережитки капитализма из сознания людей?» В шестнадцать лет Миша пишет: «Выйдешь на улицу, шлепаешь по грязи и думаешь, что она не вечна, что скоро, скоро высохнет вся грязь. А сколько грязи в жизни! Сколько еще злопамятства, вражды между людьми — братьями по классу, по делу, по работе, сколько эгоизма, воровства, грабежей, убийств и свар... И вот против этой грязи... клянусь сам перед собой, — буду бороться всю жизнь, буду объединять всех в единое общество коммунаров».

«Михась Молочко», как он себя называет, дает клятву «выполнять заветы Ленина», «делать великое дело», жить так, как учил Ленин. Миша всей силой своей души ненавидит лжецов, трусов, подхалимов, эгоистов. «Я буду жить, — пишет он, — но жить не для себя... Если жить для себя, так лучше совсем не жить. А если жить для всех, то это значит жить и для себя, ибо воспоминания о тебе останутся у людей самые хорошие». Жить так, чтобы жизнь летела как вихрь, чтобы ветром хлестало в лицо, чтобы дух занимала скорость. Жить «отчаянно!» «Я, — замечает пятнадцатилетний Миша, — не представляю для себя жизни без такого «отчаяния». Ведь в том и состоит радость жизни, что ты живешь, преодолевая много опасностей, побеждая многих врагов, часто находишься на краю пропасти, но всегда выходишь победителем. Ты должен или преодолеть все опасности, или погибнуть, а жить трусом я бы ни за что не согласился».

Опасности же не заставляли себя ждать. В четырнадцать лет Миша с тревогой пишет о том, что в Берлине пришел к власти Гитлер и «сейчас там по спинам рабочих гуляет плеть». В пятнадцать лет — о революционных событиях в Испании, в семнадцать лет — о том, что японские войска перешли монгольскую границу и почти одновременно Германия вступила в Рейнскую зону. «У меня такое предчувствие, — записывает Миша, — что война разразится скоро и у наших границ. Поживем — увидим».

Ждать пришлось недолго..

«Я хочу, чтобы люди отмечали день моей смерти как праздник», — говорил Миша. Миша Молочко был романтиком, восторженным, смелым, юным. Но у него был и свой, зоркий, требовательный взгляд на жизнь, умение видеть трагические противоречия того времени.

Вот что записывает в своем дневнике шестнадцатилетний Миша Молочко: «Интересно читать газеты. Особенно интересные материалы VII съезда комсомола. Прочитал вдохновенную, красочную речь писателя А., посвященную т. Сталину. Сказать по правде, не нравится мне постоянное и ежеминутное расхваливание этого «великого стратега», «мудрого вождя» и пр. Это уже систематическая, ни на миг не прекращающаяся порча человека... Все речи на съезде проникнуты одним духом — духом прикрепления ко всем местам и участкам имени Сталина. Не пред-

ставляю и не могу представить, за что, почему так хвалят и любят все Сталина. Я лично не чувствую этой любви и даже большого уважения».

Эти слова написаны не сегодня, а 3 февраля 1935 года, рукой юноши, горячо любившего революцию, Ленина, отдавшего за советскую Родину самое дорогое, что у него было, — жизнь.

Семен Гудзенко эстафету своего поколения с честью пронес по дорогам Великой Отечественной войны. В своих фронтовых записях он вспоминает с горькой болью в сердце о Мише Молочко и Жоре Стружко — друзьях, погибших в финскую войну.

«Была зима 1939/40 г. За коробками обшежития висело красное обмороженное небо, в окнах горел синий свет — маскировка. Убиты в карельских снегах М. Молочко и Ж. Стружко. Они писали стихи. Они погибли с оружием в руках».

Семен ушел добровольцем на войну с фашистами девятнадцатилетним юношей. Но позади была память о погибших, о друзьях, оставшихся лежать в заснеженных финских лесах.

С началом Великой Отечественной войны настала иная жизнь для Семена Гудзенко, Павла Когана, всего нашего народа. Даже самые строки из старых песен звучали теперь фальшиво. На фронте Семен записывает:

«Лебедев-Кумач: «Широка страна», 1941 г.
«За нее мы кровь прольем с охотой».

Какая суконная, мертвая строка о крови свободных, гордых людей. Так писать — лучше промолчать».

Всей кровью и мукой, всем своим страшным грузом обрушилась на поколение Гудзенко война — самая жестокая из всех войн, какие знала история человечества. «Первые убитые, первые раненые, первые брошенные каски, кони без седоков, патроны в канавах у шоссе. Бойцы, вышедшие из окружения, пикирующие гады, автоматная стрельба...»

Три периода охватывают записи Гудзенко. Первый: 1941—1942 годы — бои под Москвой. Автор — боец парашютно-десантного отряда; госпиталь; отпуск для лечения. Второй: 1944—1945 годы — работа во фронтовой газете в Румынии, Венгрии, Чехословакии, Германии. Третий период: 1949—1950 годы — поездки в войска Туркестанского военного округа, работа над поэмой «Дальний гарнизон».

В записных книжках — сюжеты, заготовки стихов, поэтические замыслы, встречи с множеством людей, картины Будапешта, Вены, Праги (в первые дни после их освобождения Советской Армией), встречи Семена Гудзенко с героями его будущей поэмы «Дальний гарнизон» — солдатами и офицерами Советской Армии в послевоенные годы.

Умный, наблюдательный, зоркий поэт оставил много интересных записей — деталей войны. Запомнятся трое немцев под Москвой, что зашли в одну избу, плотно закрыли окно, двери и запели «Интернационал»; женщины-почтальоны, разнесившие извещения о гибели родных, первыми видевшие безумные глаза жен, слезы матерей, закушенные губы и сжатые кулаки отцов и братьев; переправа, которая была «торжественна и молчалива, как похороны»; вальсы Штрауса в освобожденной Вене; жена американского посланника в Чехословакии, что умела произносить только одну русскую фразу: «Смерть немецким захватчикам!» — с левитановским акцентом; белые флаги в Берлине; и то, как тяжело умирать в последние дни войны...

Семен Гудзенко и Михаил Молочко (к сожалению, изданы пока только школьные дневники его) принадлежат к тому поколению советских людей, которые встретили войну в семнадцать — двадцать лет. В дневниках обоих поэтов отразились черты этого поколения, его мужество и стойкость, его любовь к Родине.

А. ЛЕОНТЬЕВ.



КНИГА О РУССКОМ ЛУБКЕ

Русский лубок XVII—XIX вв. Авторы-составители альбома Вл. Бахтин и Дм. Молдавский. Под общей редакцией члена-корреспондента Академии наук СССР В. П. Адриановой-Перетц. Изогиз. М.—Л. 1962.

Весной 1962 года в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве была открыта выставка гравюры на дереве XV—XX веков. Русский отдел начинался лубочными листами XVIII века, среди которых центральное место занимал знаменитый «Кот казанский» — большой четырехлистовой эстамп. Этот лубок обладает всеми достоинствами шедевра: он монументален, лаконичен, великолепно «вписан» в раму и без ущерба для выразительности образа может быть увеличен до размеров стены и уменьшен до формата почтовой марки. Он примечателен и в другом качестве: этим эстампом (вместе с картинкой «Мыши кота погребают») начинается история русской изобразительной сатиры: по догадкам исследователей, «Кот казанский» — это карикатура на Петра Первого.

Были на выставке и другие замечательные лубки: «Славное побоище царя Александра Македонского с Пором, царем Индийским», «Поход славного рыцаря Коландра Лодвика» и «Погребение кота» — всё многолистовые гравюры. Рисунок их вырезался на нескольких досках, а затем отпечатки склеивались, и получалась обшая композиция большого формата. Такие народные эстампы в пушкинские времена украшали стены крестьянских изб, постоянных дворов и почтовых станций. Теперь, когда мы по-новому восхищаемся их декоративными качествами, почему бы Изогизу не издать их в формате оригиналов — в современном интерьере они были бы очень к месту.

Итак, два десятка народных русских лубков висели на выставке в почетном соседстве с великими мастерами Запада и Востока — рядом с Дюрером и Хокусай, и соседство это ни у кого не вызывало недоумения.

Когда-то молодой ученый И. Снегирев, дерзнувший взять темой для доклада в московском Обществе любителей русской словесности русский народный лубок, вызвал переполох среди членов почтенного общества неприличием столь «пошлого, площадного предмета, какой предоставлен в удел черни». Впрочем, и сам докладчик

отлично понимал, что лубочный сверчок должен знать свой шесток, и с сокрушением признавал, что рисунок в лубочных картинках «неправилен до уродливости, а раскраска похожа на малеванье».

В наше время уже никому не приходится в голову предъявлять к народным картинкам академические претензии. Наоборот, если сопоставить графическую продукцию питомцев Императорской Академии художеств в XVIII—XIX веках с современными им лубочными картинками, то выигрыш будет, бесспорно, на стороне безымянных мастеров народного эстампа. Здесь особенно отчетливо можно проследить два потока культуры, причем графика народная явно забивает «господскую» затейливостью фантазии, богатством графического языка и главное — национальным своеобразием, которого начисто лишены произведения дипломированных граверов.

Интерес к народному лубку у нас особенно возрос за последние годы, после организованной в 1958 году в залах Союза художников СССР выставки народных картинок, которая объединила в экспозиции лучшие образцы из музейных коллекций.

Выставка показала, как широко и многообразно проявилось в лубке народное творчество, а с другой стороны, обнаружила, что эта область не пользуется до сих пор должным вниманием советских искусствоведов.

Как это ни парадоксально, но, может быть, монументальный труд Ровинского «Русские народные картинки», вышедший в конце прошлого века, отпугивал исследователей от этой темы. Казалось, что пятью томами текста и тяжелым Атласом инфолио Ровинского полностью исчерпан материал о русском лубке и делать здесь больше нечего. Но, во-первых, Ровинский сознательно ограничил себя определенной эпохой, и весь последующий материал не вошел в его описание. А во-вторых, великолепный труд Ровинского, овеянный духом вольного дилетантизма, трактует о множестве вопросов, но совершенно не входит в оценку народных картинок как произведений искусства. В ту эпоху подобной постановки вопроса и быть не могло. Больше того, Ровин-

ский простодушно называет, например, листы к Библии мастера Кореня «топорной работой» и выражает пожелание, чтобы народные лубки перешли в руки настоящих «даровитых наших художников», не замечая, что вступает в противоречие с самим понятием «русская народная картинка».

В Атласе своем он так же, не мудрствуя лукаво, собирал все, что попадалось в руки, и современному исследователю предстоит задача отделить чистую пшеницу народного творчества от плевел ремесленничества. Пора признать за лубками право на серьезную оценку и усвоить наконец, что лучшие наши лубочные листы выдерживают критику по самому высокому счету и не боятся очной ставки с самыми прославленными образцами графического искусства.

Русский лубок находит свое признание и за рубежом. Кроме ряда статей, появившихся в разное время в иностранных журналах, в 1961 году в Париже вышла книга о русских народных картинках Пьера Луи Дюшартра — известного автора трудов по народному искусству и издателя серии монографий о народных картинках разных стран.

У этой книги была нелегкая судьба. Автор с 1928 года собирал для нее материалы, которые в 1940 году были разграблены при оккупации Франции фашистскими захватчиками. Только в 1945 году он мог снова вернуться к прерванной работе и довести ее до конца.

Французский ученый высоко ставит русский лубок в интернациональном ряду народных эстампов. Он отмечает, что по стилю и раскраске русские народные картинки не спутаешь ни с какими другими. Особенно характерно, по его мнению, для русского лубка поразительное чувство цвета. Смелые колористические сочетания русского лубка используют в своих работах многие современные художники. Дюшартр заявляет в своей книге: «Русские народные картинки, дошедшие до нас вопреки рвению светской цензуры и несмотря на непрочность этих листов, представляют, по моему убеждению, чрезвычайную общечеловеческую ценность».

Идя навстречу общему интересу, Государственное издательство изобразительного искусства выпустило в этом году альбом «Русский лубок XVII—XIX вв.», содержащий восемьдесят семь таблиц, из которых двадцать пять воспроизведены в цвете. Надо

оценить доброе намерение издательства дать большое количество цветных иллюстраций — цвет в русских народных картинках составляет существенную часть их очарования. Что сказать о выборе репродукций? Это задача головоломная — втиснуть богатейший материал музейных коллекций в ограниченное число снимков и соблюсти при этом соразмерность частей общего плана. Нам кажется, что следовало бы поместить хоть одну репродукцию из двадцати шести листов Библии Кореня — значительнейшего произведения древнерусской ксилографии, заслуживающего отдельного исследования. «Кота казанского» надо было, конечно, воспроизвести в его наиболее великолепном варианте — с четырехлистовой гравюры. Следовало бы избегать некоторых сложных композиций, памятуя, что они неизбежно очень пострадают от уменьшения.

Вообще формат издания полезно было бы увеличить, а иные лубки воспроизвести на выносных листах, как это уже практиковалось в книге Е. П. Иванова «Русский народный лубок», выпущенной Изогизом в 1937 году. Издание это, составленное на ограниченном материале личной коллекции автора, не могло, конечно, отразить всю историю русского лубка от его истоков, но качеством репродукций оно превосходит теперешнее издание, в котором многие листы отпечатаны слепо.

Серьезный упрек нам приходится адресовать художественной редакции издания. На некоторых репродукциях мы замечаем непохвальное поползновение «усовершенствовать» корявый, но живой штрих деревянной гравюры аккуратной ретушью, отчего ряд лубков приобрел несвойственный им сухой и приглаженный вид. Особенно досадно, что этой фальсификации подверглись самые древние листы из коллекции Штелина. Такое же снисходительно-панибратское отношение к народному искусству обнаруживается и в оформлении книги. Суперобложка представляет собою «исправленный и усовершенствованный» до неузнаваемости вариант известного лубка «Медведь на дереве», а исполненные в разухабистом стиле русс «под лубок» заставки и концовки уже совсем свободны от всяких связей с народным искусством. Почему же художник-оформитель предпочел практику бесцеремонного «соавторства» с безымянным на-

родным мастером? «Украшать» книгу о народном лубке отсебятиной «под лубок» — нескромная затея!

Краткий текст Дм. Молдавского является корректным пересказом уже известных ранее материалов о русском лубке. Правда, автор признает, что «перед нами стоит задача внимательного изучения художественных черт народного лубка...». «Предстоит большая исследовательская работа, которая выявит сложный путь развития художественной формы лубочной картинки на разных исторических этапах ее жизни». Это не очень обнадеживающее заявление, если принять во внимание, что со времени доклада Снегирева, о котором упоминалось в начале статьи, прошло сто сорок лет, а труд Ровинского был закончен печатанием более семидесяти лет тому назад. По-видимому, русская народная картинка все еще ждет у нас своего увлеченного исследователя, второго Ровинского, но вооруженного современной искусствоведческой методикой и способного эстетически осмыслить эту богатейшую область народного искусства.

Для «апологин» лубочных картинок Дм. Молдавский привлекает авторитетные имена от П. А. Федотова до Вл. Маяковского. Коллекция получается довольно внушительная, но думается, что иные имена включены в список без достаточных оснований. Можно ли утверждать столь категорически, что «с народной картинкой связано творчество В. М. Васнецова»? Попытка связать стихотворение Маяковского с гравюрой мастера Кореня к «Апокалипсису» также кажется нам натяжкой.

Два слова о комментариях Вл. Бахтина

к репродукциям. Составлены они по нехитрому способу: «Веревка — вервие простое» — и поясняют, что «Илья Муромец — один из наиболее популярных героев русского эпоса», а «Я. П. Кульнев — герой Отечественной войны 1812 года». Впрочем, встречаются и смелые домыслы. В нравоучительной картинке XVIII века «Трапеза благочестивых и нечестивых» комментатор усмотрел следы вольтерьянского вольномыслия и сделал поразительное открытие: «Неизвестный мастер сумел придать этому традиционному сюжету иронический (!) смысл: лица праведников постны и скучны; «кашунки», занятые интересной беседой, веселы, оживлены; даже антел, который, как сказано в тексте, отвратил от них лицо свое и «стоя плачет», на самом деле лукаво (!) усмехается (!)».

Подумать только! А ведь картинка эта свободно продавалась в самом центре Москвы, «у святых Кремля ворот», где и купил ее в 1766 году академик Штелин. Куда смотрела цензура, чего зевала полиция?

В четырнадцать (!) случаях комментатор ошибочно определяет технику воспроизведенных в книге картинок.

Книга о лубке разошлась буквально за несколько дней, что свидетельствует о большом интересе читателей к этой теме.

Не пора ли Изогизу подумать о капитальном издании русских лубочных картинок? Книги Ровинского стали библиографической редкостью, а разбираемый здесь альбом дает лишь малое представление о богатстве поистине неисчерпаемого материала.

Н. КУЗЬМИН.

★

ЧТО ТАКОЕ КИНОДРАМАТУРГИЯ?

С. Фрейлих. *Драматургия экрана.* Редактор Р. Соболев. «Искусство». М. 1961. 160 стр.

Если вы зададите этот вопрос нескольким киноведам или деятелям кино, то почти наверное получите разные ответы. Одни скажут, что драматургия кино — это сценарий, и обязательно не преминут добавить, что сценарий теперь стал законным видом литературы, так сказать, вполне вошел в большую литературу. Другие начнут говорить о специфике кино — специфике его языка, средств и приемов выразительности, о монтаже, режиссуре, и вы поймете, что

драматургия экрана для них — нечто близкое режиссерской партитуре фильма. Третьи займутся нелегким балансом: драматургия кино — это, мол, сценарий, но не только сценарий, здесь играет важную роль специфика кино, хотя и к ней не может быть сведено дело, и т. п.

Именно потому, что в кругах кинематографистов нет единства во взглядах на то, что представляет собой кинодраматургия, отродно появление небольшой по объему,

но свежей, умной, острой книжки С. Фрейлиха «Драматургия экрана», посвященной этой проблеме.

Было бы неверно думать, что автор решил в ней все спорные вопросы, подвел все итоги, поставил все точки над всеми «і». Достоинство книги в другом — в ее полемичности, в том, что она будит мысль, вызывает желание включиться в спор.

За сравнительно небольшой срок со времени своего рождения кино прошло путь поистине необычайных, разительных перемен. Плод не только эстетической, но и технической мысли человечества, кино шагало семимильными шагами. Из немого оно стало звуковым, от узкого экрана перешло к широкому, ярко заиграло всеми красками, попробовало свои силы в объемном изображении.

Наше время в искусстве — это время увлекательнейших и чрезвычайно значительных художественных синтезов. Синтезов, образующихся на стыке разных видов искусств, на стыке разных художественных направлений. С. Фрейлих делает интересное наблюдение в своей книге. Начальный период жизни кино был связан с решительным стремлением изображения освободиться от слова. Затем, как бы исчерпав свои прежние выразительные средства, немое кино само подвело к необходимости звукового. Слово стало важнейшим элементом кинематографического языка. И только в современном кино «произошло окончательное «примирение» слова и изображения; современный экран обладает пластической культурой 20-х годов, умноженной на силу слова, разнообразно примененного».

Книга вводит читателя в сферу дискуссии о природе современного экрана. Рассматривая процесс дальнейшего обособления экрана от сцены, автор спорит с теми, кто расценивает это как «дедраматизацию» кино. «Дедраматизация», родственная «теории бесконфликтности», для автора отнюдь не внутриэстетическое явление. Она «есть не что иное, как деидеологизация искусства, бегство его от действительности, неумение ее изобразить во всей сложности и противоречиях». Вместе с тем, учитывая своеобразие драматургии современного фильма, Фрейлих прибегает к понятию «киносюжет» в отличие от сюжета и литературного и сценического.

«Куда идет кино?» — называется послед-

няя глава книги. Но вопрос этот проницает, в сущности, все исследование.

С. Фрейлих выдвигает термин — «драматургия фильма», подчеркивая тем самым, что понятие драматургии в кино не исчерпывается для него сценарием. Он считает, что «необходимо поставить во взаимосвязь сценарий и постановку, работу сценариста и режиссера». Драматургия фильма рождается под пером сценариста, нередко соавтором сценариста с самого начала становится режиссер. Драматургия кино формируется также во время съемок в творческом союзе сценариста, режиссера, оператора и актеров и находит свое завершение на монтажном столе.

Немало верных и интересных наблюдений содержит та часть работы Фрейлиха, где говорится о специфике кино, его отличии от других видов искусств. Ох, уж эта пресловутая «специфика» киноискусства! Нередко ее использовали для противопоставления кино другим видам искусства. «Специфика» становилась ширмой. «Специфика» превращалась в фетиш. Этих опасностей избежал С. Фрейлих. Анализ образной природы кино подчинен у него раскрытию идейного смысла фильма. В своих рассуждениях автор конкретен, он привлекает разнообразные примеры из советского и зарубежного киноискусства (здесь и неоднократно возвращение к «Броненосцу «Потемкину», и вдумчивый поэтический анализ «Тихого Дона», «Сорок первого»).

В некоторых случаях круг привлекаемых примеров хотелось бы еще расширить. Так, например, С. Фрейлих справедливо пишет, что современное кино обращается к самым разнообразным формам звучащего с экрана слова (внутренние монологи, авторские повествования, диалог и т. д.), что синтез изображения и слова осуществляется весьма различными путями. Если сравнить хотя бы три недавних фильма — «9 дней одного года», «Иваново детство» и «Человек идет за солнцем», можно увидеть, какое разное — количественно и качественно — место занимает в них слово.

Диалог доминирует, диалог ведет действие, в диалогах, в страстной полемике раскрывается существо характеров в фильме «9 дней одного года», который по праву называли интеллектуальным. А разве может быть вообще интеллектуальным фильм, не вводящий активно зрителей в атмосферу жарких споров современников? Разве мож-

но показать интеллект современника, движение его мысли, не найдя точных, умных, целеустремленных слов — реплик, диалогов, монологов? Содержание, образный строй картины «Человек идет за солнцем», напротив, требует в первую очередь изобразительных образов, в частности символов. Начинают входить в обиход определения «поэтическое» и «прозаическое» кино. Но внутри того и другого также могут по-разному сочетаться, взаимопроникать изображение, слово, звук. А «Голый остров» — хотя он и уникальное явление в звуковом кино, не говорит ли он о неиспользованных возможностях сочетания звука и пластики?

Кое в чем хочется поспорить с автором. С. Фрейлих склонен противопоставлять искусство театра и кино. Он утверждает, что в отличие от драматических произведений сценарий как бы «умирает» в фильме. Он склонен радоваться окончательному освобождению кино от театра. А мне кажется, что для теории современного кино в первую очередь при рассмотрении вопросов, связанных с кинодраматургией, более важно не противопоставлять, а сопоставлять кино и театр с тем, чтобы выявить и тщательно проанализировать все общее, что у них есть. Законы драмы не так уж бесполезно знать при написании сценариев: законы построения, развития драматических характеров, конфликтов, диалога, сюжета и т. д.

Совершенно очевидно, что залог плодотворного развития советского киноискусства — приход в него многих зрелых литераторов, мастеров прозы, поэзии и, навер-

ное, в первую очередь драмы. При этом, конечно, качество хорошего сценария всегда определяет его кинематографичность, а специфика кино в самом деле приобретает с каждым годом все большее значение.

Очень точно об этом написано в книге там, где автор, рассматривая поэтику литературного сценария, раскрывает взаимосвязь его «литературных» и «кинематографических» свойств: «Сценарий не может быть законченным литературным произведением, если не будет рассчитан на специфику экрана; он может выразить эту специфику — если будет литературно завершен». Автор здесь диалектичен, его рассуждения снимают антагонизм между словом и пластикой, а это вопрос не чисто теоретический — за этим скрывается суть отношений литератора и режиссера в процессе создания фильма.

Надо освободиться сегодня полностью и до конца от взгляда на сценарий как на некий «полуфабрикат». Это, несомненно, будет служить подъему киноискусства во всей его самобытности и оригинальности.

С. Фрейлих — энтузиаст теории и критики кино — не закончил настоящей книгой исследование проблем драматургии экрана. Он сообщает в заключении, что работает над главами «Жанры», «Стиль», «Метод», которые составят вторую часть монографии о кинодраматургии. В этой работе хочется посоветовать автору еще теснее связать разбор теоретических вопросов с живой практикой советского киноискусства.

А. ОБРАЗЦОВА.



ГОМЕР СЕГОДНЯ

С. Маркиш. Гомер и его поэмы. Редактор С. Гиждеу. Гослитиздат. М. 1962. 126 стр.

Эта маленькая книга — не ученый труд и не учебное пособие, она написана для тех, кто прочел и полюбил «Илиаду» и «Одиссею» или хочет их прочесть». Так знакомится с нами автор. Вспоминая замечание одного скульптора: «Анатомию следует знать, чтобы забыть ее», мы находим смысл парадокса в том, что «забытое» присутствует и все же неощутимо. Кто и когда создал поэмы Гомера, что означают у него «разновременные пласты», особенности его

реализма и фантазии, его «героический кодекс» и отношение к божественным силам, «эпическая иллюзия» и мастерство экспозиции, «трагическая ирония» и элементы будущей греческой драмы — этого беглого перечня поставленных С. Маркишем вопросов достаточно, чтобы сказать: маленькая книга довольно-таки ученая. И все-таки изюминка ее в другом: автор, как бы «по забыв» солидные исследования об античной поэзии, будто впервые и чуть ли не перед

нами читая поэмы Гомера, воспринимает их как «чудо», испытывает такое же «не-сказанное удивление», с каким сам Гомер изображал не только людей, но и предметы быта. Возможно, глубоко чтимые нами специалисты классической филологии найдут в способе освещения Гомера, который избрал себе Маркиш, какие-нибудь изъясны — нам судить об этом трудно. Но широкого читателя автор книги, лишенной цитат и ссылок на мнения авторитетов, несомненно, убедит своим принципом: самые совершенные эпизоды в поэмах Гомера «всего лучше и вернее воспринимаются непосредственно, а слишком подробный анализ... нередко напоминает расчленение живого организма».

С. Маркиша нельзя упрекнуть в модернизации Гомера, которую мы иногда находим в исследованиях, где сквозь легендарного азда или рапсода просвечивает «почти» европеец 1962 года. Но Маркиш не захотел быть рабом и того «сверхисторизма», который обнаруживает свое бессилие перед выдвинутой еще Марксом проблемой: труднее всего не столько объяснить связь Гомера с породившими его общественными отношениями, сколько понять, почему греческое искусство и эпос «еще продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном смысле сохраняют значенные нормы и недосягаемого образца». Как бы ни оценивать небольшое по объему исследование Маркиша, надо воздать должное его усилиям решить эту проблему.

Очень метко «расшифровывает» Маркиш так называемую «детскость» Гомера: «общая приподнятость гона», «восхищение жизнью в любом ее обличии», бесчисленные подробности, «никогда не утомляющие читателя», «зримость» всей поэтической ткани, в которой даже отвлеченности становятся образами. Но в Гомере, усложняет наше видение Маркиш, есть и такое, на что мы смотрим не как «взрослые» на дитя, а как изумленные явлением гения, постигнуть который не сразу дано, — это поразительное умение поэта передать «движения человеческой души» и «диалектику аффекта», интерес к «истории человека, а не к его внешности», гуманизм и широту взгляда, глубокое сочувствие к человеческим страданиям.

По давней привычке, усвоенной нами со школьной скамьи, мы определяем Гомера как «певца героической эры», для героев же

война, как известно, родная и преобладающая стихия. Между тем Маркиш открывает в Гомере «рядом с прославлением войны — ее осуждение», вместе с архаическим представлением о славе как о подвиге на поле брани — более широко: «воздаяние за все поступки человека». Гомер в освещении Маркиша знает, что «только чувство ответственности перед людьми и богами», только «правда, справедливость делает человека сопричастником доброй славы». И чтобы стало вполне ясным, как могут герои Гомера сделать собственную совесть «помехою к дурным, неправым поступкам», Маркиш советует обратить внимание на противоречие во всем гомеровском комплексе: если человек только «послушная, безвольная игрушка в руках богов», зачем богам гнаться на «чинимую им неправду»? Противоречивы и гомеровские боги: с одной стороны, в них проявляется такое же своеволие, как у героев; с другой стороны, они олицетворяют родовой нравственности и государственной мудрости.

Пусть Маркиш несколько перенажал педаль, употребляя порой выражения, никак не ассоциируемые ни с героями, ни с богами Гомера, вроде: «совесть», «пути, ведущие к греху», «моральный характер религии» и т. п.; вызваны эти неожиданные акценты тем обстоятельством, что до сих пор к Гомеру подходили преимущественно с эстетической или, в специальных случаях, с историко-этнографической точки зрения — без пристального внимания к тому, какое место занимают его поэмы в эволюции нравственного сознания человечества. Новый и, несомненно, плодотворный аспект обусловлен, пожалуй, особой чувствительностью к моральной проблематике того периода истории, который мы переживаем. «Нет, не формально, не по сходству слов, — подчеркивает Маркиш, — а по самой сути вещей близок Гомер нашему веку, так тяжело страдавшему от безжалостности и злобы, как, может быть, ни один другой во все времена».

Итак, Гомер отнюдь не стоял «по ту сторону добра и зла». Впрочем, касаясь морального начала в поэзии Гомера, Маркиш соблюдает меру и ни на одно мгновение не теряет из виду присущий Гомеру «высшего спокойствия и просветленности духа». «Гомерический хохот» олимпийских богов давно служит обозначением веселости го-

меровского мироощущения в целом. Сумевший объяснить читателю, что даже трагический фатализм у Гомера насыщен полнокровным жизнелюбием и духом активности. Маркиш определяет доминанту его поэзии гораздо сложнее: «Это и не пессимизм и не оптимизм, а нечто большее, более широкое и мудрое».

Можно не соглашаться с отдельными положениями «маленькой книги» о Гомере,

оспаривать некоторые характеристики гомеровских образов, теряющих временами свою эпическую наивность и цельность, все-таки С. Маркиш сумел передать читателю волнение и мысли своей, и чувства, укрепив давнишнее наше убеждение в том, что Гомер «смерти не подвластен», хотя за два тысячелетия так изменились люди с их идеалами и представлениями.

И. ВЕРЦМАН.

★

Политика и наука

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Ю. Новосельцев. Магистральи грядущего. Редактор М. Г. Пожидаева. «Советская Россия». М. 1962. 181 стр.

Беспримерный полет кораблей-спутников «Восток-3» и «Восток-4» значительно раздвинул горизонты перед физиками и биологами, перед астрономами и, конечно, перед инженерами, позволив им смелей предаваться фантазии. Мне думается, что полеты советских космонавтов намного двинули вперед и решение сложнейших транспортных проблем. Знает автор книги «Магистральи грядущего», что день грядущий нам готовит (то есть знает он о полетах Николаева и Поповича), он, возможно, несколько перестроил бы свою книгу, больше бы отвел места главе «По самым просторным дорогам». В ней он рассказывает, в частности, о тех ставших ныне мнимыми препятствиях, которые связывались с отсутствием достоверных сведений о межпланетном пространстве. Говорили об «убийственном космическом холоде» или же, наоборот, о наличии в космосе раскаленных частиц, которые могут сжечь космический корабль. Необоснованность этих опасений уверенно опровергается в книге на основании исследований, произведенных при помощи запуска космических ракет.

В этом разделе, как и в других, Ю. Новосельцев в своих прогнозах опирается на современные достижения науки и техники. Как указывает в предисловии к книге член-корреспондент Академии наук СССР В. Звонков, «автор отобрал для книги жизненно важное, отбросив внешне интересные идеи, которые приходится отнести к категории занятой, но беспочвенной фантастики».

Особенно показательна в этом смысле гла-

ва «Умение смотреть в будущее». В ней упоминаются многие изобретенные в прошлом транспортные машины, о которых писали как о прогрессивных и оригинальных и которые в действительности оказались совершенно непригодными, потому что либо были неэкономичны, либо не обеспечивали безопасности движения. Автор предостерегает от увлечения сверхоригинальными техническими идеями, которые опровергают основные законы физики, — вроде создания вещества, обладающего «отрицательной тяжестью». Все зарубежные сенсационные сообщения о достигнутых якобы в этой области успехах рассчитаны на людей, мало знакомых с физикой. Значит ли это, что автор чужд технической фантазии, смелости в решении тех или иных проблем? Нет, читатель узнает о многих интереснейших, подчас дерзких проектах овладения силами природы. Но — и в этом отличие рецензируемой книги от многих других — подобные проекты всегда обоснованы и твердо «стоят на ногах».

По какому пути пойдет развитие железнодорожного, водного, автомобильного и воздушного транспорта? Как будут выглядеть корабли дальнего звездоплавания, создание которых — дело сравнительно недалекого будущего? Стремление автора проникнуть в завтрашний день не случайно. При этом он ведет читателя не в таинственные фантастические дебри, а к хорошо обоснованным проектам, в которых сегодняшний день уже в какой-то степени сливается с завтрашним.

Далеко не все знают, что проект железно-дорожной магистрали, колея которой четыре с половиной метра (второе больше теперешней), был предложен русскими инженерами еще в начале текущего столетия. Сейчас проект этот тщательно изучается советскими инженерами. Автор предвидит постепенное внедрение таких сверхмагистралей при одновременной эксплуатации сети железных дорог стандартной колеи.

Увлекательно изложен раздел, посвященный водному транспорту. Разъясняя значение терминов «двигатель» и «движитель», Ю. Новосельцев дает, между прочим, интересную справку о том, что лодочное весло — более древний движитель, чем сухопутное колесо, которому «только» шесть тысяч лет. О весле автор вспоминает не случайно. «Всегда следует помнить,— пишет он,— что корни будущего находятся в прошлом и настоящем». Он доказывает, что весло «будет жить только у спортсменов. Однако потомки весла, многочисленные и разнообразные, будут существовать еще много столетий». Действительно, гребное колесо — это весло со многими лопастями, гребной винт — в сущности, то же, новейшие роторный и крыльчатый движители — это комбинация весел, а «плавниковый» движитель — прямой потомок «кормового» весла китайских джонок.

В книге рассказывается о различных системах судовых двигателей, наиболее перспективными из которых являются электрические и атомные.

Каковы возможности продления сроков навигации на морях и реках в низких широтах? Существует два направления: «утепление» Арктики и подледное плавание на крупных атомных подводных транспортах. Автор справедливо отдает предпочтение последнему — и не только по техническим, но и по экономическим соображениям.

Для успешного развития такого прогрессивного вида транспорта, каким является автомобильный, кроме отличных машин, нужны и хорошие дороги. А в условиях резко континентального климата СССР строительство автомобильных дорог подчас затруднительно. Однако автор оптимистически оценивает перспективы в этой области. Он рассказывает о возможном использовании

атомной и термоядерной энергии, в частности описывает атомо-электрический высокочастотный дорожностроительный комбайн, который создает дорожное покрытие путем плавки и укатки обычного грунта. Весьма любопытны также рассуждения об изменении конструкции автомобилей.

А как будет развиваться авиационный транспорт? Помимо всего прочего, автор предвидит создание индивидуальных поясов-самолетов, имеющих множество маленьких электрореактивных двигателей. Такой поясамолет надевается, как пробковый плавательный пояс, и путем включения и отключения тех или других групп двигателей, расположенных по окружности пояса, можно будет регулировать направление движения в воздухе. Как ни относиться к этому проекту, а придется, пожалуй, признать, что он не вступает в противоречие с законами физики и исполнен новаторского духа.

Трудно определить, какие из смелых идей в области транспортной техники, описанные автором, будут осуществлены, а какие жизнь не примет, потому что, как пишет В. Звонков, неутомимая творческая мысль конструкторов и изобретателей создаст что-либо неожиданное, более совершенное и экономически целесообразное.

Несколько слов о способе изложения автором материала. Ю. Новосельцев — прежде всего инженер. Тем отраднее отметить, что книга написана живо, доходчиво. Однако применяемые автором литературные приемы, которые, по его мысли, должны были облегчить читателю восприятие новых идей, не всегда удачны. Его экскурсии вместе с читателем на транспорте будущего, диалоги с вымышленными командирами носят несколько наивный характер. Могут вызвать нарекания и некоторые формалистичные иллюстрации.

Но это частности. В целом же книга занимательна и поучительна.

Сто лет тому назад Д. И. Писарев писал: «...Популярное изложение состоит именно в том, чтобы каждое слово было объяснено и вызывало в уме читателя именно то представление, которое вы хотите вызвать». Думается, что автору книги «Магистрали грядущего» это удалось.

В. ЛЕВАЧЕВ.

ОТКРЫТИЕ ЗЕМЛИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

Б. И. Силкин, В. А. Троицкая, Н. В. Шебакин. Наша незнакомая планета. Итоги Международного геофизического года. Ответственный редактор В. В. Белоусов. Издательство Академии наук СССР. М. 1962. 296 стр.

Нарочитым и странным может показаться с первого взгляда название этой книги. О какой, собственно, незнакомой планете идет речь? Неужели о нашей Земле, существующей по крайней мере уже пять миллиардов лет? Неужели человек еще не полностью освоил земной шар? Ведь он уже вырвался за его пределы, он собирается посетить Луну и соседние планеты? Да, как ни велики успехи науки, как ни глубоко проникла человеческая мысль в «тайное тайных» природы, мы еще далеко не знаем Землю, на которой живем.

С карты земного шара полностью еще не стерто громадное белое пятно вокруг Южного полюса — четырнадцать миллионов квадратных километров. До последнего времени не было, в сущности, точно установлено, что собой представляет Антарктида — грандиозную ледяную глыбу, континент или группу островов? Что находится в далеких глубинах — под земной корой? Отчего внезапно разражаются магнитные бури? Каков климат нашей планеты — теплеет он или впереди нас ждет новый ледниковый период? Эти и тысячи других вопросов до сих пор оставались без ответа, так как все они относятся к тем геофизическим проблемам, которые охватывают планету в целом и не могут быть разрешены усилиями отдельных ученых и даже ученых одной или нескольких стран. Чтобы достичь научной истины, надо было превратить в лабораторию всю Землю. И работать в этой лаборатории должны исследователи, живущие во всех странах мира, на всех широтах земного шара.

Шестьдесят семь стран включилось в это неслыханное в истории грандиозное научное содружество, которому было дано название Международного геофизического года (МГГ). Планетарные исследования по этой программе перешагнули далеко за рубежи календарного года и фактически продолжались тридцать месяцев. Сконцентрированные усилия ученых всего мира принесли крупные научные открытия, резко изменившие наши представления о природных процессах, развивающихся на Земле. Увлекательный рассказ о грандиозном наступлении на глубокие тайны природы, о работе многочисленных станций и экспедиций во влажных

тропиках и в суровой Антарктике, на пампирских высотах и в ущельях Сунтар-Хаята, в безбрежных пространствах пустынь и в глубинах Мирового океана — вот что представляет собою книга «Наша незнакомая планета».

Открытие новых земель продолжается. Известный американский исследователь Ричард Бэрд в 1947 году писал об Антарктиде, что «внутренние ее области нам фактически известны меньше, чем освещенная поверхность Луны» (и чем «не освещенная», а выражаясь точнее, невидимая — можем мы сейчас к этому добавить). В течение почти двух веков героическими усилиями люди пытались выведать тайну этого грандиозного ледника, лежащего на краю нашей планеты. Жизнь многих замечательных людей было заплачено за достижение Южного полюса и получение только некоторых данных о климате и рельефе Антарктиды. Лишь в период МГГ далекий ледовый край подвергся совместному «нашествию» экспедиций двенадцати стран — Австралии, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Новой Зеландии, Норвегии, Советского Союза, США, Франции, Чили, Южно-Африканского Союза и Японии, — между которыми были распределены различные районы исследований. В итоге их работ удалось несколько сжать это громадное белое пятно на карте земного шара. Впервые были разведаны глубинные районы Антарктиды.

За время МГГ только советские исследователи открыли здесь около трехсот географических объектов. На карте появились новые названия: высокогорное ледниковое плато Советское, долина Международного геофизического года, горы Русские, вершины которых возвышаются на две тысячи пятьсот метров над уровнем моря. Обозначились горы Карпинского и Русанова, холмы Обручева, равнина Шмидта. И мало кто знает о такой любопытной подробности: один из мысов Западного шельфового ледника, где разгружались советские антарктические самолеты, получил даже название легендарных Васюков из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». Но самое главное, что достигнуто в результате экспедиционных исследований, — это ответ

на вопрос о том, что же на самом деле есть Антарктида.

Сейсмические исследования, проведенные во время советских, американских и британско-новозеландских походов, показали, что под этим гигантским ледником почти везде залегают коренные скальные породы, расположенные выше уровня моря на восемьсот метров. Итак, Антарктида не глыба льда, а материк! Слой льда, которым он прикрыт, в среднем достигает толщины две тысячи двести метров. Это и не группа островов. Значит, шестой континент мира? Но этот вопрос еще не решен. Будущим экспедициям предстоит проверить, не лежит ли под тысячеметровой толщей льда пролив, отделяющий Западную Антарктиду от Восточной. Если это верно, то на нашей планете не шесть, а семь континентов! Этот суровый край сулит человечеству немало богатств. В различных районах Антарктиды обнаружены месторождения меди, олова, железа... Есть здесь и уголь, предполагаются даже и нефтеносные пласты.

Человек только в наши дни приступает к изучению глубин своей планеты. И это сразу становится ясно, когда читаешь такие строки: «Самая глубокая нефтяная скважина в мире имеет глубину около 7 километров, а ведь Земля в поперечнике насчитывает более 12 тыс. километров. Значит, образно выражаясь, мы прокололи на глобусе булавкой лишь самый верхний слой краски».

Толщина земной коры, как установлено новейшими современными методами, превышает тридцать километров. Под корой расположен очень толстый слой, называемый мантией; его нижняя граница находится на глубине двух тысяч девяносто километров, откуда уже начинается земное ядро. Ныне ряд научных выводов дает основание считать, что в верхней части мантии происходят процессы, вызывающие поднятия, опускания и расколы земной коры, подъем магмы и вулканические излияния. Именно во время Международного геофизического года ученые пришли к выводу, что для истинного познания этих процессов надо провести сверхглубокое бурение через всю толщу земной коры. При чем удобнее всего это провести в океане, где твердая земная кора под океанами имеет толщину не тридцать — тридцать пять километров, как на суше, а всего семь — десять километров. Проникновение в эти

глубины уже происходит в наши дни. Пробное бурение проведено в Тихом океане, готовят сверхглубокие скважины у нас в Прикаспийской низменности, в Карелии и на Курильских островах. Но это всего лишь один из методов изучения слоев, лежащих под земной корой. Целый комплекс других методов геофизических и геохимических исследований должен дать полную картину того, что делается в глубинах Земли.

Совершенно иначе представляется сейчас жизнь Мирового океана. С интересом читаются страницы книги, живописующие сложный и извилистый путь открытия все новых и новых деталей движений морских течений и рельефа океанического дна. Разрушено старое представление о застойных водах, которые якобы позволяют захоронить вредные радиоактивные отходы на дне океана. Советские ученые, плававшие на «Витязе», обнаружили циркуляцию вод даже на глубине трех тысяч метров. Они измерили также наибольшую глубину Тихого океана в его западной части — одиннадцать тысяч тридцать четыре метра. Дно океанов, как оказалось, состоит из ряда глубоких котловин — от трех до шести тысяч метров, а местами из подводных горных хребтов, вершины которых выходят на поверхность моря в виде островов. Интересно, что горообразовательные (тектонические) процессы под океаническим дном происходят и в наши дни, о чем говорят измерения потоков тепла в разных его частях.

Заглянуть в вечный мрак пучин океана помогли не только взятые при помощи драг и дночерпателей пробы грунта. Совершенные фотоаппараты, заключенные в прочную броню для защиты от давления, и мощнейшие средства автоматической вспышки зафиксировали жизнь многих сотен неизвестных ранее организмов. Несметные сокровища, погребенные под водной толщей, — это огромные скопления минерального сырья, ценной руды, которые могут дать десятки миллиардов тонн металла!

О многих других поистине увлекательных событиях и фактах великого наступления на неразведанные силы природы рассказывает книга. И это неудивительно: ведь за тридцать месяцев полней, чем за всю историю науки, изучалось не только магнитное поле вблизи поверхности Земли, но и вся сложная система взаимодействия Солнца и нашей планеты. С программой МГГ были связаны первые в истории запуски искусствен-

ных спутников Земли. Именно в этот период были открыты и исследованы окружающие нашу Землю радиационные пояса заряженных частиц...

Листая страницы этой первой в нашей стране научно-популярной книги об итогах Международного геофизического года, читатель, даже неспециалист, вовлекается в мир таких сложных (и скажем, не боясь, скучных для многих непосвященных) проблем, как гравиметрия, геодезия, сейсмология, гляциология, метеорология. Но рассказывая о многих сложных научных идеях, о современных методах исследований, авторы находят неожиданные и вместе с тем обыденные сравнения, умеют просто объяснять механизм многих природных явлений. Это тем более отраднее, что книга создана ведь не писателями и не заправскими популяризаторами, а молодыми учеными, непосредственными участниками небывалой научной эпопеи, пережившими вместе с другими советскими геофизиками трудности организации МГГ и радости научных успехов.

Сейчас мы накануне нового международного начинания в изучении сил природы. Ученые многих стран снова будут по единому, согласованному плану изучать Солнце и связанные с ним земные явления. В течение

тридцати месяцев МГГ исследования велись в пору наибольшей солнечной активности. В этот период, обычно продолжающийся несколько лет, Солнце очень беспокойно: на нем появляется наибольшее число пятен, часто происходят вспышки, возрастает интенсивность ультрафиолетового излучения. Затем, после бурного периода, активность Солнца падает, оно становится спокойным. Таким оно будет в 1964—1965 годы, когда и организуется Международный год спокойного Солнца. Наблюдения, которые будут проводиться по этой программе, явятся ценным дополнением к огромному фонду «тайн» природы, раскрытых в Международный геофизический год.

В наше время дружное сотрудничество ученых разных стран играет заметную роль в борьбе, которую ведет прогрессивное человечество за мир, счастье, спокойствие на Земле. Книжки, рассказывающие об этих благородных и гуманных начинаниях передовых людей науки, не только обогащают знания и расширяют наш кругозор; читаешь их и с гордостью думаешь о чудесной силе и могуществе коллективного человеческого разума, не отягощенного корыстолюбивыми замыслами и завоевательным соперничеством.

С. СМУГЛЫЙ.



СОЦИОЛОГИЯ В НАРОДНОЙ ПОЛЬШЕ

Zygmunt Bauman. *Sociologia na co dzień*. Warszawa. 1962. 152 s.

(Зыгмунт Бауман. *Социология на каждый день*. Варшава. 1962. 152 стр.).

— Почему вы избрали профессию социолога? — спрашивает профессор Варшавского университета и руководитель сектора социологии Высшей партийной школы при ЦК Польской объединенной рабочей партии З. Бауман у одного из поступающих на социологический факультет.

— Потому что я очень люблю расспрашивать людей о разных вещах, — ответил молодой человек.

В самом деле, говорит автор книги «Социология на каждый день», методы исследования этой науки в значительной мере сводятся к расспрашиванию людей. Но «расспрашивание людей» — еще не социология, да и методы ее далеко не ограничиваются «расспросами». В печати, замечает З. Бауман, слово «социология» чаще всего

связывается с проведением анкет, с цифровыми данными, показывающими размежевание общественного мнения по тем или иным вопросам. Но определять социологию как проведение анкет — все равно что определять биологию как смотрение в микроскоп, а химию — как манипуляции с колбами и пробирками.

Нет, марксистская социология, как определяет ее директор Института философии и социологии Польской Академии наук Адам Шафф, «это конкретное применение диалектического и исторического материализма к разносторонним проявлениям общественной жизни, изучение которых ведут такие самостоятельные науки, как политическая экономия, право или этика». За последние годы она стала самой популярной общест-

венной наукой в Польше. Более семидесяти учреждений занимается там конкретными исследованиями социальных процессов. Многие предприятия организуют исследования своими силами. В эту работу вовлечены сотни научных работников, тысячи энтузиастов помогают им без всякой оплаты. Не только результаты, но и методы научных исследований обсуждаются в общей прессе. Есть несколько журналов по социологии.

Во время конгресса Международного общества социологов в Вашингтоне (в сентябре этого года) профессор Мертон, декан факультета социологии Колумбийского университета, один из виднейших американских социологов, заявил, что он поражен расцветом польской социологии после войны. «Польские труды по социологии, — сказал Мертон, — читают с большим интересом во всем мире. Польская социология не ограничивается изучением фактов. Она вносит ценный вклад в теоретическую мысль, высказывает новые идеи».

Спрос на социологию в Польше огромный. «На социолога, — писала варшавская «Политыка», — взирает общественный деятель, педагог и руководитель предприятия, плановик и исполнитель плана. Директор фабрики хочет знать, как помешать текучести кадров, плановый работник интересуется, как организовать новый жилой поселок... руководители вузов думают о том, как помешать отсеву студентов, журналист интересуется проблемами современной семьи, изготовитель макарон выясняет, предпочитают ли потребители «звездочки» или «ниточки» и т. д.». Партийный работник Долиньский из Вроцлава писал в той же газете: «Действовать сегодня без социологии — это значит действовать вслепую». Комитеты партии изучают такие вопросы, как наиболее целесообразная загрузка партийного актива, эффективность пропаганды. Вот несколько тем последних исследований Центра по изучению общественного мнения при польском радио: «Отдых и туризм», «Свободное время городских жителей», «Отношение молодых рабочих к работе и учебе». Выходят монографии. Например, только что опубликован сборник «Рабочие Варшавского завода мотоциклов (Условия быта, жилье, семейный бюджет, использование свободного времени, восприятие культуры)». Самые различные

проблемы разрабатывают социологические кафедры высших учебных заведений.

Такой вкус к конкретному, к новым наблюдениям и открытиям является здоровой реакцией на догматизм, от которого пострадала и польская общественная наука. Догматики пренебрегали конкретными социологическими исследованиями, они отказывались изучать и обобщать новые социальные явления, возникающие в процессе строительства социализма и коммунизма. Живой действительности они предпочитали схоластические упражнения, дедуцирование одной абсолютной истины из другой, более общей. Не только эмпирические исследования, но и самое слово «социология» было предано анафеме. К тому же догматическое руководство не считалось с мнением народа, опасалось самостоятельности масс.

Социологи беседуют со множеством людей, проводят всякого рода обследования, знакомятся с документами предприятий и учреждений, с опытом работы общественных организаций и делают теоретические обобщения. Это не погоня за «свежими фактами» для иллюстрации вещей уже известных, а глубокое изучение нового.

Правда, увлечение конкретными исследованиями не обошлось без вульгаризации. Кажущаяся легкость анкетного метода (кто не может составить вопросник?) привела к появлению легкомысленных и просто халтурных «спецов» от социологии, которые с помощью анкет и «тестов» берутся разрешать любые вопросы и даже на манер астрологов предсказывают будущее. Между тем, подчеркивает в своей книге З. Бауман, познавательные возможности анкеты ограничены, а применять ее следует с осторожностью. Ответы могут вводить в заблуждение. На этом сошлись все участники широкой дискуссии «Об анкетомании», состоявшейся в этом году на страницах «Политыки». «Социология, — пишет З. Бауман, — как всякая иная наука, требует глубокого и длительного изучения, солидного знакомства со многими областями гуманитарности и серьезного навыка в области современной математической техники».

Стремительно меняется лицо страны. Польша, которая еще недавно была аграрной окраиной Европы («капиталистическая страна без капиталов», как острили на Западе), превращается в цветущую индустриальную страну. В захолустных углах возни-

кают крупные промышленные центры, города современного типа. Осваиваются земли на западе. Меняется социальный состав населения. Преображается деревня. Растет новая интеллигенция. Изменения в экономике, сдвиги социальные сопровождаются сдвигами в быту и в сознании. Разумеется, эти процессы протекают не без трений. Практика постоянно рождает новые теоретические проблемы.

Польские социологи-марксисты сражаются против буржуазной идеологии, еще сохраняющей позиции в стране. Это клерикализм, национализм, а также индивидуализм, модный среди некоторой части интеллигенции и молодежи, пережитки капиталистических нравов. Своеобразная обстановка складывается на тематике научных работ.

Книга З. Баумана, адресованная прежде всего молодежи, учит «мыслить социологически», то есть объяснять сознание и поведение людей с позиций исторического материализма. Язык книги острый, разговорный. Характерны названия отдельных глав: «Как человек становится человеком» (о социальных влияниях, определяющих психику с первых лет жизни), «Человек человеку не равен», «Я, мы и они» (роль общественного мнения в наших поступках), «В погоне за престижем», «Можно ли быть «человеком без идеологии»?». Автор, между прочим, разъясняет читателю, что модный индивидуализм, которым шеголяют молодые люди, поддавшиеся веяниям Запада, совсем не то, что индивидуальность, на самом деле он означает подчинение известной антисоциальной группе. «Если «я индивидуалист», то по существу я безропотно подчиняюсь предписаниям моей группы, которая велит мне демонстрировать презрение ко всем человеческим оценкам и нормам и тем самым безусловное послушание оценкам и нормам, признаваемым группой».

Многие работы польских социологов посвящены острым вопросам капитализма. Перу З. Баумана принадлежит также оригинальный труд «Некоторые проблемы современной американской социологии» (1961). Автор предупреждает против некритического подражания методам американской социологии, которая прежде всего служит потребностям монополистического капитала. Она отличается крайним эмпиризмом и не подымается выше описания фактов, установления их внешней связи. Буржуазные социологи оправдывают существующие

порядки, разрабатывают методы манипулирования общественным мнением (есть даже социология рекламы), подсказывают способы разложения рабочего движения, наводят косметику на дряхлеющий капитализм. Социологи буржуазии убирают из сферы исследования то, что не нравится их хозяевам, они избегают глубоких общественных проблем.

Это скольжение по поверхности имеет глубокий смысл. Едва ли не лучше всех показал, где зарыта собака, известный американский социолог Чарльз Линд. «Современная социальная наука,— писал он,— сбрасывает со счета вездесущий факт классовых антагонизмов и конфликтов вокруг нас. Она изучает промышленные стачки и разницу в ставках заработной платы, активность профессиональных союзов и механику заключения коллективных договоров. Но она главным образом озабочена тем, чтобы исключить понятие «класс» из своего анализа и избежать всего, что связано с теми фундаментальными конфликтами, которые неизлечимы при данной экономической системе. Социальная наука (для Линда есть, конечно, только буржуазная наука.— С. Э.) делает это потому, что такие понятия, как «класс» и «классовая борьба», ведут к весьма огнеопасным вещам».

Как и всякая общественная наука, социология — наука классовая. «Каждая социология,— пишет З. Бауман,— имеет определенного адресата, которому она служит. Вопреки многим мифам нет социологии «вообще», не зависимой от общественных сил, осуществляемой во имя «чистой науки».

Ленин говорил, что теоретические выводы Маркса опираются на Монблан фактов. Марксистская социология существует столько же лет, сколько существует марксизм. Громадный фактический материал проанализирован в таких произведениях, как «Капитал», «Положение рабочего класса в Англии», «Развитие капитализма в России». В наши дни самое широкое обобщение действительности дается в новой Программе КПСС. В жизненности характерная черта марксизма.

Повышенный интерес к изучению живой действительности проявляется сегодня и в других странах социализма. Это показало состоявшееся недавно в Праге совещание социологов-марксистов, участники которого обсуждали опыт и планы конкретных со

циологических исследований. Они установили, что результаты таких исследований имеют важное значение для экономического планирования, для предвидения социальных процессов, для более рационального удовлетворения потребностей людей, для пропаганды коммунистического мировоззрения. В то же время такого рода исследования ведут к творческому развитию теории. Центральные комитеты коммунистических партий уделяют большое внимание конкретным исследованиям. Они видят в них проявление тесной связи обществен-

наук с потребностями строительства социализма и коммунизма.

Применяемые социологами методы изучения общественных явлений и их результаты представляют прежде всего интерес для всех, кто занят в области гуманитарных наук, в сфере идеологии. Конкретные социологические исследования — один из путей сближения теории с практикой, преодоления элементов догматизма. И опыт в этом наших польских друзей заслуживает внимания.

С. ЭПШТЕЙН.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

ОРАТОРЫ РАБОЧЕГО КЛАССА. Сборник речей. Госполитиздат. М. 1962. 640 стр. Цена 1 р. 2 к.

«Поэтами рождаются, ораторами делаются», — говорили древние римляне. Школой ораторского искусства для деятелей рабочего класса, речи которых представлены в сборнике, были битвы революции.

В речах ораторов рабочего класса представлены сто лет исторической жизни человечества, равных которым не было в прошлом и, быть может, не будет и в будущем. Эти речи отмечены глубиной мысли, силой правды, благородством и напряженностью страсти. Правда рабочего класса противостоит лжи буржуазии: «...Не давайте обманывать себя абстрактным словом свобода! — говорил Маркс. — Чья это свобода?.. Это — свобода для капитала выжимать последние соки из рабочего».

Невозможно без волнения читать речи Жана Жореса — великого поборника мира. Уже тогда, в 1905 году, он поднял голос против поджигателей войны: «Хотя пролетариат и недостаточно силен для того, чтобы быть гарантированным в сохранении мира, он и не так слаб, чтобы фатально ожидать войны». Жан Жорес был убит, но правду убить нельзя. Правда, представленная в речах сборника, — это ясная, деловая, меткая правда.

Велика сила ярких ленинских выступлений. М. Горький свидетельствует: «Первый раз слышал я, что о сложнейших вопросах политики можно говорить так просто». Клара Цеткин сказала В. И. Ленину, что его речь поразила ее, что его искусство говорить она может сравнить с великим искусством Толстого. «У вас та же крупная, цельная, законченная линия, то же непреклонное чувство правды. В этом — красота. Может быть, это специфическая отличительная черта славянской природы?»

— Этого я не знаю, — ответил Ленин. — Я знаю только, что, когда я выступал в «качестве оратора», я все время думал о рабочих и крестьянах как о своих слушателях. Я хотел, чтобы они меня поняли».

Многообразны речи ораторов рабочего класса. Они не похожи одна на другую. Каждая несет печать неповторимой индивидуальности. Но правдивость, строгая логичность, ясность, выразительность — это общее, что их объединяет.

Орлиный полет мысли людей, не знающих страха в борьбе за светлое будущее всего человечества, — вот что можно сказать о речах ораторов рабочего класса, представленных в сборнике. Эта книга окажет великую услугу и ораторам и не ораторам.

И. Орловский.

★

ДОКУМЕНТЫ ПРОЛЕТАРСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ. Сборник документов о сотрудничестве трудящихся Советского Союза с трудящимися стран Азии, Африки и Латинской Америки в 1918—1961 годах. Профиздат. М. 1962. 208 стр. Цена 50 к.

Каждый документ, включенный в этот небольшой сборник, проникнут торжествующей верой в великую силу пролетарской солидарности. Это переписка друзей, связанных кровным родством международного интернационализма трудящихся. Ярким языком фактов рассказывает эта книга о том, как, начиная с 1918 года, крепло сотрудничество трудящихся Советского Союза с трудящимися стран Азии, Африки и Латинской Америки.

...Трудные двадцатые годы. Молодая Советская республика сама еще во всем испытывает нужду и нехватки. Но, когда вспыхнули забастовки китайских рабочих, Президиум ВЦСПС признал необходимым оказать трудящимся Китая материальную помощь. Китайским товарищам было отправлено телеграфом пятьдесят тысяч рублей. Ответная телеграмма гласила: «Приносим горячую благодарность за моральную и материальную помощь в нашей трудной борьбе с жестоким и сильным врагом».

1941 год. На Советскую страну напала фашистская Германия. Несмотря на кровавый террор, который царил тогда на Кубе, в Гаване собралась конференция, постановившая послать в помощь Советскому Союзу сорок тысяч мешков сахара. По всей Кубе прошли митинги и демонстрации в защиту Советской России.

В сборнике помещены также резолюции, письма, телеграммы и другие документы, свидетельствующие о нерушимой братской дружбе народов Советского Союза с народами Японии, Индии, Бразилии, Мексики, Южно-Африканского Союза и других стран.

Г. Трофимов.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ. Краткий иллюстрированный политико-экономический справочник. Под общей редакцией Л. Н. Толкунова. Госполитиздат. М. 1962. 432 стр. Цена 1 р.

Когда читаешь эту книгу, скромно названную справочником, и вдумываешься в ее содержание, как-то особенно ярко вырисовываются глубочайшие изменения, которые произошли в мире под воздействием Великой Октябрьской социалистической революции.

Социализм вышел за рамки одной страны и превратился в могучую мировую систему. Раскинувшийся на огромных просторах — от Тихого океана до берегов Балтики и Адриатики. — социалистический лагерь занимает двадцать шесть процентов территории земного шара и производит свыше трети мировой промышленной продукции.

По образному выражению Н. С. Хрущева, «теперь социализм говорит сам за себя, говорит языком фактов, и его молодой могучий голос слышен во всех уголках земного шара!». Эти факты и цифры, лаконичный язык которых исключительно убедителен, любовно собраны в справочнике «Социалистический лагерь».

Небольшие вступительные статьи знакомят читателя с природными условиями, полезными ископаемыми, общественным и государственным строем, с промышленностью и сельским хозяйством, с развитием науки и культуры в каждой стране.

Многочисленные таблицы, диаграммы дают наглядное представление о высоких темпах развития производительных сил, неуклонном повышении жизненного уровня и культуры трудящихся, широких социальных и политических правах личности.

Материалы справочника говорят не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне. Они показывают, что перед трудящимися стран социализма открыты широкие и радостные перспективы дальнейшего мощного подъема общественного производства.

В последующих изданиях подобных справочников следовало бы расширить раздел, содержащий сравнительные данные развития стран социализма и стран капитализма.

М. Шафир.

★

С. М. ЯКОВЛЕВ. Наши крылатые земляки. Биографические очерки о смолянах — деятелях авиации, воздухоплавания и космонавтики. Смоленское книжное издательство. 1962. 196 стр. Цена 46 к.

В этой небольшой книге — сорок четыре героя: все они совершили замечательные подвиги личного мужества и творческого труда.

Трудно, оказывается, назвать такой способ служения авиации, такую авиационную профессию, среди виднейших представителей которой не было бы смолян.

Конструкторы — от талантливого, но так и не сумевшего преодолеть глухую стену косности царских чиновников В. А. Слеса-

рева до выдающегося деятеля советского самолетостроения С. А. Лавочкина. Крупнейшие авиационные ученые — Б. Н. Юрьев и А. И. Макаревский. И, конечно, летчики! Десятки незаурядных, сказавших какое-то новое слово в искусстве пилотирования летчиков, начиная с летавших на заре существования авиации народных самородков братьев Ефимовых и до героев воздушных боев Великой Отечественной войны А. И. Колдунова и В. Д. Лавриненкова.

Наконец Юрий Гагарин — первый космонавт мира — тоже уроженец Смоленской области.

Даже писатели — не раз обращавшийся к авиационной и космической теме основоположник советского фантастического романа А. Р. Беляев и почти не писавший об авиации, но... служивший в ней мотористом на воздушном корабле «Илья Муромец» в годы первой мировой войны И. С. Соколов-Микитов с полным основанием занимают свое место в этой книге.

С. М. Яковлев выступает перед нами не только как автор очерков, но и как исследователь, проделавший большую работу по сбору и систематизации множества разрозненных архивных документов, писем и других исторических материалов и благодаря этому открывший немало ранее неизвестных фактов биографий своих героев — например, драматические обстоятельства гибели летчика М. Н. Ефимова от пули белогвардейца.

При чтении книги порой чувствуется, что автор не располагал одинаково полными сведениями о жизни всех своих героев. Отсюда чрезмерная лаконичность некоторых очерков. Конечно, если сказать, что летчик (имярек) совершил сто или двести боевых вылетов, любой читатель поверит: перед ним герой. Но... герой еще незнакомый, так сказать, фигуры не имеющий. Поэтому лучше, может быть, было бы во всех подобных случаях прямо — «в открытую» — ограничиваться краткой биографической справкой, наподобие приведенных в конце книги.

И еще одно замечание. Навряд ли стоило «сглаживать острые углы», говоря о драматических поворотах в судьбах героев книги. Нужно ли было, например, умалчивать об обстоятельствах, из-за которых виднейший деятель наших Военно-Воздушных Сил генерал А. А. Туржанский не занимал в годы войны по праву принадлежавшего ему поста среди руководителей нашей штурмовой авиации, «отцом» которой его справедливо называют?

Но, конечно, не эти частности определяют оценку книги «Наши крылатые земляки» — интересной, содержательной, полезной и в познавательном и в воспитательном отношении, причем не для одного лишь «местного», смоленского читателя. В связи с этим пятитысячный тираж, которым она выпущена, представляется явно недостаточным. Хотя герои С. М. Яковлева родом смоляне и гордость, с которой к ним относятся в родном городе, совершенно естественна, но

славные их дела принадлежат всей отечественной авиации, воздухоплаванию, космонавтике.

Хорошая инициатива Смоленского книжного издательства, надо полагать, будет продолжена, и на свет появится немало книг о людях, прославивших свои родные края.

М. Галлай.

★

М. В. ЛОМОНОСОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ И ХАРАКТЕРИСТИКАХ СОВРЕМЕННИКОВ. Составитель Г. Е. Павлова. Издательство Академии наук СССР. М.—Л. 1962. 232 стр. Цена 1 р. 13 к.

Свидетельства современников — ценный источник для исследователей. Но до сих пор на это обращало достаточное внимание лишь Издательство художественной литературы: за последние годы собраны и напечатаны воспоминания о большинстве выдающихся русских писателей. Снабженные необходимым комментарием, эти издания не только оказывают большую пользу тем, кто глубоко изучает историю литературы, но и приобретают широкий круг читателей, интересующихся жизнью и деятельностью полюбившихся с детства авторов.

Институт истории естествознания и техники Академии наук СССР ныне приступил к изданию мемуаров об ученых, вместе с воспоминаниями стал собирать и печатать официальные документы и высказывания современников. Рецензируемое издание является по счету вторым; ему предшествовала книга «А. С. Попов в характеристиках и воспоминаниях современников» (1958).

Книга состоит из трех разделов: 1) «Биографические материалы, воспоминания и характеристики», 2) «Отзывы о научной и литературной деятельности Ломоносова» и 3) «Труды Ломоносова в отзывах зарубежной периодической печати». Составитель снабдил издание введением и краткими комментариями. Хотелось бы в связи с этим сделать одно замечание. Лаконичность в комментировании — бесспорно большое достоинство, но все же от некоторых установившихся положений отступать не следует. Считается, в частности, непреложным правилом объяснять в примечаниях областные или вышедшие из употребления выражения, называть полностью фамилии с указанием имени (и отчества, когда речь идет о русских именах), равно как и даты рождения и смерти. От этого правила составитель во многих случаях, к сожалению, отступил...

Теперь, когда закончено академическое издание Полного собрания сочинений М. В. Ломоносова, включая его переписку, а также «Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова» (1961), становится возможным создать истинно научную его биографию и решить задачу, которую Академия наук поставила перед собой уже почти целый век назад, но до сих пор еще не решилась.

М. Радовский.

Н. КАЛИТИН. Искусство быть читателем. «Молодая гвардия». М. 1962. 160 стр. Цена 23 к.

Вспомните иные учебники русской литературы: «Онегин — предстатель... Пушкин изображает... Гоголь разоблачает...» Какой редкостью стала у нас книга критика или ученого, где анализ поэзии не убивал бы ее аромат, где искусство сохраняло бы — хочется сказать старомодно — свою прелесть и очарование! Написать такую книгу нельзя без искренней любви к искусству, без способности непосредственно восхищаться прекрасным.

В книге Н. Калинина умение читать действительно предстает как мастерство, как искусство. И достигается это, конечно, не только чистой любовью к поэзии. Кроме свежести восприятия, в книге есть и отличное знание родной литературы, знание, подтвержденное тем строгим отбором материала, который требует гораздо больше труда и вкуса, чем шегольство дешевой эрудицией. В стилистическом разборе произведений Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Тургенева, Толстого и Чехова, Шолохова и Фадеева, Маяковского и Твардовского проявилась чуткость автора книги к малейшей детали; ненавязчивый разбор обладает вместе с тем необходимой целеустремленностью. В начале своего «педагогического курса» Н. Калинин останавливается на тех местах и страницах классической прозы, которые юный читатель зачастую наскоро проглатывает, — на пейзаже. Затем, покинув леса и поляны, автор заходит в дом, где живет персонаж, рассматривает интерьер, приглядывается к каждой вещи и, показав, как все это важно для понимания характеров, мысли писателя и творения в целом, приступает к анализу портрета. Так, шаг за шагом, переходя от внешнего к внутреннему, Н. Калинин приближается к центру и смыслу искусства, а заодно и своей книги: к тому, что называется «диалектикой души».

К главе «Диалектика души» примыкают две главки — «Говорят герои» и «Говорит автор». Но в них, к сожалению, развитие мысли замедляется, иссякает энергия сюжета, порой появляются повторы. По сути очерк завершился на пороге этих глав.

Однако стоит еще раз подчеркнуть: книга в целом учит понимать искусство, потому что алгебра в ней не противостоит гармонии, как мертвое живому, а образует с нею единство. Думается поэтому, книга, рассчитанная на юного читателя, будет интересна читателю зрелому. Хочется посоветовать Н. Калинину при переиздании заменить концовку главой, где искусство читателя раскрывалось бы не только как искусство «вычитывать», но и «вчитываться», где было бы показано, что мастерство чтения зависит и от того, насколько душа самого читателя вобрала в себя безграничный простор мира

М. Кораллов.

И. ЗАБЕЛИН. Строители. Повесть. «Советский писатель». М. 1962. 268 стр. Цена 50 к.

Герои этой повести строят на далеком Севере, в нехоженной ранее тайге город Заозерск. Здесь разные судьбы, разные характеры: Кирилл, увлекающийся романтик, со своей нележкой любовью; Коробейников, который начал строить не только новый город, но и новую семью; Чубатый, стремящийся забыть свое темное прошлое и начать другую жизнь. Сложны и противоречивы взаимоотношения героев. При этом противоречия между ними не случайны и их нельзя объяснить только различиями в характерах. Так, за характерами главного инженера Потрепалова и управляющего треста Лемесова стоят две полярные жизненные философии, два противоположных взгляда на людей. Потрепалов действует по принципу: победителя не судят, победителю все простится. Строй, как хочешь, лишь бы выстроить... Один из героев говорит по этому поводу: «Я подумал, что это философия крайних индивидуалистов. Наверное, ее можно совместить с любовью к своему делу... но с любовью к людям ее совместить нельзя». В основе взглядов Лемесова лежит вера в людей, в их силу и инициативу.

Автор немногословен. Образы своих героев он раскрывает в делах, поступках. Порой, правда, ощущается некоторая скованность письма, особенно там, где речь идет о характерных чертах быта, обстановки. Нельзя сказать, что И. Забелин равнодушен к красотам Севера. В повести есть пейзажные зарисовки, которые говорят и о любви автора к природе, и о точности его глаза. Но они мало связаны со всем тем, чем живут герои книги. А ведь суровая северная природа играет важную роль в жизни людей Заполярья. Поэтому хотелось бы, чтобы в книге и это ощущалось острее.

Г. Койранская.

★

ЛЮБОВЬ РУДНЕВА. Никола. Повесть. «Советский писатель». М. 1962. 442 стр. Цена 77 к.

Кто в грозной битве пал за свободу,
Тот не погибнет...

Эти слова великого болгарского поэта-революционера Христо Ботева высечены на памятниках и мемориальных досках, отмечающих людей, чьей кровью и жизнью была добыта свобода многострадального болгарского народа.

В повести Любви Рудневой с этими словами уходит на смерть Никола Вапцаров. Не только на смерть, но и на бессмертную славу. В истории освободительной борьбы болгарского народа с фашизмом имя Вапцарова занимает особое и большое место. Талантливый поэт, один из признанных вождей прогрессивной болгарской литературы, он, как и его любимый поэт Маяковский, «ушел на фронт из барских садоводств поэзии — бабы капризной...».

Спокойной жизни известного литератора он предпочел лишения и опасности, нераздельные с судьбой революционера-бойца. Он этот выбор сделал с той же ясностью мысли и души, с какой 23 июля 1942 года ушел на казнь.

Повесть советской писательницы об этом замечательном человеке — не только свидетельство любви и уважения нашей литературы к памяти писателя — героя братской социалистической страны. Она еще представляет собой попытку серьезного анализа таинства рождения поэзии. Убедительно рисует Любовь Руднева, как в суровых горах Пиринна, в семье, где всегда соседствовали народная революция и народные песни, пробуждается у болгарского подростка смелый поэтический дар. Через всю свою короткую, тридцатитрехлетнюю жизнь Никола Вапцаров пронес любовь к русской и советской поэзии. Мы понимаем, что в повести «Никола» эта сторона поэтической биографии Вапцарова — результат большой исследовательской работы Любви Рудневой как литературоведа. Но в повести незаметен этот «пот исследователя». Связи Вапцарова с советской поэзией в повести органически вытекают из того, как складывалась жизнь поэта-коммуниста.

Эта жизнь была драматической и напряженной. И в этом ключе написана книга Л. Рудневой. Она лишена эпического спокойствия, не редкого в биографическом повествовании. Народные песни и стихи Вапцарова естественно входят в повесть. Драматичность и напряженность сюжета и языка заставляют читателя проникнуться духом мужественной поэзии чудесного человека, ставшего героем книги «Никола».

Л. Разгон.

★

Ю. Л. ДАВЫДОВ. Записки о П. И. Чайковском. Музгиз. М. 1962. 115 стр. Цена 43 к.

Это интересная книжка. Интересная и обаятельная, как ее автор.

Юрию Львовичу Давыдову — племяннику П. И. Чайковского — сейчас восемьдесят шесть лет. Многие его знают, видели, разговаривали. Когда едешь в Клин, в дом Чайковского, хочешь непременно встретить его — каждый раз он как-то заново открывает тебе музей.

Книжка Давыдова, как и его рассказы, скромная, без претензии, очень тщательная по характеру письма и живая. Отношение к истории живое, к Чайковскому, к семье Давыдовых.

Я хотел сказать «к своей семье». И это было бы правильно, только авторская интонация в такой передаче потерялась бы. И не случайно, мне кажется, на титуле выведено «Записки о П. И. Чайковском». Не «Воспоминания», а именно «Записки». Они принадлежат человеку, который многое видел, многое помнит, еще больше знает со слов других, очень близких Чайковскому людей, и — это едва ли не самое дорогое — чувствует большую человеческую ответственность за все, что видел, помнит, знает, любит.

Он первым сообщает о хранившемся в семье Давыдовых богатейшем архиве декабристов, который «состоял из обширной переписки не только на бумаге, но и на клочках белья, тряпочках, на газетах и даже на кусках кирпича». Также впервые публикуются отрывки из двух очень знаменательных писем матери Юрия Львовича Александры Ильиничны своему брату Петру Ильичу Чайковскому.

Конечно, главное в книжке не элемент исследования. Общее настроение, какая-то доверительность, с которой относится к читателю автор, делают ее такой привлекательной. Вы вдруг узнаете, что в знаменитой Каменке «в саду, на крутом скате, находился грот для хранения фруктов, по форме напоминавший громадную бутыл, выложенную из кирпича. В летние месяцы он пустовал и представлял удобное убежище от зноя. Еще А. С. Пушкин очень любил этот грот. В семье сложилось предание, будто бы здесь им был написан «Кавказский пленник» и ряд небольших стихотворений. А Петр Ильич, также любивший этот укромный уголок, работал в гроте над Второй симфонией, «Мазепой» и другими произведениями».

Юрий Львович нарисовал в «Записках» светлую галерею Давыдовых: здесь его дед-декабрист Василий Львович, сводный брат деда прославленный Николай Раевский, переживший сибирскую ссылку бабушка Александра Ивановна, жена декабриста, человек умный, добрый и большого мужества.

В «Записках» очень много героев, людей совсем разных, не всегда между собой связанных, но никак не лишних — все они рассказывают о Чайковском. Автор сумел «собрать» их, оживить в своей памяти, сделать нашим достоянием все, что им и ему самому известно и дорого.

Г. И. Навтиков хорошо прокомментировал книжку.

А. Золотов.

★

АКИРА ИВАСАКИ. Современное японское кино. Под общей редакцией Р. Н. Юринева. «Искусство». М. 1962. 522 стр. Цена 1 р. 56 к.

«Один юноша отправился в Европу, чтобы изучать кинематографию. С кем бы он

ни встречался, все недоуменно спрашивали: «Зачем же ты забрался так далеко? Ведь в Японии есть Куросава». Имя Акира Куросава — автора фильма «Расёмон», завоевавшего венецианского «Золотого льва» и славу «лучшего фильма 1951 года», — действительно известно сегодня всему миру. И не одно это имя. мировая печать единодушна в своей оценке киноискусства Японии как одного из серьезных претендентов на первенство среди прогрессивных кинематографических сил современности.

Лучшие фильмы Японии отличаются блестящим изобразительным решением (в цветных фильмах, как правило, плодотворно разрабатываются традиционные колористические приемы японской живописи), современным монтажом, остроконфликтной драматургией и глубиной психологического анализа.

Книга Акира Ивасаки — известного общественного деятеля Японии, публициста и теоретика — первая большая работа о японском кино, издаваемая у нас. В нее вошли два исследования: «Современное японское кино» (перевод В. Гривнина) и «Мастера японского кино» (перевод Л. Левина). Имя автора популярно далеко за пределами его родины.

В живой, увлекательной манере знакомит Акира Ивасаки читателя с художественными течениями послевоенного японского кино и его интереснейшими мастерами — Тадаси Имаи, Акира Куросава, Кэйскэ Киносита, Ясудзиро Одазу и добрым десятком других. Это люди, «родившиеся и выросшие в Японии, они любят Японию или ненавидят ее, питают неприязнь или привязанность к ней, и это свое настроение выражают на экране». Автор вводит нас в творческую лабораторию кинорежиссера, создает тонкие психологические портреты художников, рассказывает об их жизни. Меткость его наблюдений, сочетаемая с глубиной анализа произведений и то иронической, то полемической заостренностью суждений, способствует живому приобщению читателя к яркому своеобразию современного японского кино и заставляет пожалеть, что мы так мало еще знаем его.

С. Корытная.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТЗАТ

О развитии экономики СССР и перестройке партийного руководства народным хозяйством. Постановление Пленума ЦК КПСС по докладу товарища Н. С. Хрущева, принятое 23 ноября 1962 года. 16 стр. Цена 1 к.

Н. С. Хрущев. Развитие экономики СССР и партийное руководство народным хозяйством. Доклад на Пленуме ЦК КПСС 19 ноября 1962 года. 112 стр. Цена 14 к.

Н. С. Хрущев. Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. В пяти томах. Том 1. Сентябрь 1953 года — январь 1955 года. 495 стр. Цена 82 к. Том 2. Февраль 1955 года — январь 1958 года. 534 стр. Цена 60 к.

История Коммунистической партии Советского Союза. Издание второе, дополненное. Учебник подготовлен авторским коллективом в составе: Б. Н. Пономарев (руководитель), И. М. Волков, М. С. Волин, В. С. Зайцев, А. П. Кучкин, И. И. Минц, Л. А. Слепов, А. И. Соболев, В. С. Тельпуховский, А. А. Тимофеевский, В. М. Хвостов. 784 стр. Цена 1 р. 10 к.

А. Бровченков. Запад: реклама и действительность. 224 стр. Цена 25 к.

Луиза Дорнеман. Женни Маркс. Перевод с немецкого. 168 стр. Цена 21 к.

Вал. Зорин. Некоронованные короли Америки. 176 стр. Цена 19 к.

А. Кауфман, А. Малов. Новая история древней страны. 112 стр. Цена 12 к.

Прекрасное и жизнь. Сборник. 88 стр. Цена 8 к.

Программные документы коммунистических и рабочих партий стран Америки. 336 стр. Цена 60 к.

Б. Столповский. ГДР строит социализм. 96 стр. Цена 11 к.

Ю. Федин. О современных попытках обновления религии. 80 стр. Цена 9 к.

Бела Феньо. ОАС. Перевод с венгерского. 80 стр. Цена 10 к.

П. З. Шелест. Судьба ходока. 64 стр. Цена 7 к.

СОЦЭКГИЗ

М. Ф. Ахундов. Избранные философские произведения. 360 стр. Цена 1 р. 23 к.

А. А. Кириллов. Предотвращение войны — важнейшая проблема современности. 115 стр. Цена 24 к.

Ю. А. Левада. Современное христианство и социальный прогресс. 208 стр. Цена 51 к.

Н. С. Мансуров. Современная буржуазная психология. Критический очерк. 285 стр. Цена 71 к.

В. И. Свицерский. О диалектике элементов и структуры в объективном мире и в познании. 275 стр. Цена 91 к.

А. М. Хазанов. Освободительная борьба народов Восточной Африки после второй мировой войны. Научно-популярные очерки. 327 стр. Цена 75 к.

В. М. Шамберг. О буржуазных концепциях экономического соревнования двух систем. Критический очерк. 191 стр. Цена 23 к.

Ф. Н. Шевяков. Идеология западногерманского империализма (Неолиберализм и его реакционная сущность). 175 стр. Цена 21 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Авдеев. Ленка Охнар. Повесть. 536 стр. Цена 88 к.

В. Беллев. Граница в огне. Повести и рассказы. 520 стр. Цена 84 к.

Д. Брегова. Дорога исканий. Молодость Достоевского. Роман. 516 стр. Цена 92 к.

Л. Вышеславский. Звездные сонеты. 104 стр. Цена 10 к.

А. Вознесенский. 40 лирических отступлений из поэмы «Треугольная груша». 112 стр. Цена 12 к.

М. Кахана. Павел Брагар. Роман. Перевод с молдавского. 344 стр. Цена 61 к.

Ф. Кузнецов. Каким быть... Литература и нравственное воспитание личности. 244 стр. Цена 61 к.

А. Мороз. Двадцать пять страниц одной любви. Повесть. Перевод с украинского. 304 стр. Цена 42 к.

В. Мусиков. Хлеб и цветы. Стихи и поэмы. 132 стр. Цена 20 к.

В. Менрасов. Кира Георгиевна. Повесть. 152 стр. Цена 15 к.

Поэты 1840 — 1850 годов. Сборник. 568 стр. Цена 60 к.

А. Приставкин. Маленькие рассказы. 160 стр. Цена 15 к.

С. Розвал. Невинные дела. Роман-памфлет. 144 стр. Цена 74 к.

А. Смирнов-Черкезов. Дом холостяков. Повесть. 276 стр. Цена 36 к.

Ю. Смолич. Ревет и стонет Днепр широкий. Роман. Перевод с украинского. 876 стр. Цена 1 р. 79 к.

С. Швецов. С портретным сходством. Сатирические стихи, пародии, эпиграммы, басни, частушки. 212 стр. Цена 28 к.

Ю. Юзовский. Мы с Наташей плывем по Волге. Волжский дневник. 316 стр. Цена 45 к.

ГОСЛИТЗАТ

Рюноске Акутагава. В стране водяных. Повесть. Перевод с японского. 80 стр. Цена 15 к.

Б. В. Вилакази. Песни зулуса. Перевод с зулу. 94 стр. Цена 15 к.

Андрей Гуляшки. Ведрово. Роман. Перевод с болгарского. 727 стр. Цена 1 р. 31 к.

Мухаммед Диб. Африканское лето. Роман. Перевод с французского. 119 стр. Цена 19 к.

Мих. Зенкевич. Сквозь грозы лет. Стихи. 222 стр. Цена 47 к.

Бальдомеро Лильо. Пост № 12. Рассказы. Перевод с испанского. 160 стр. Цена 40 к.

Лукиан. Избранное. Перевод с древнегреческого. 515 стр. Цена 1 р. 30 к.

Кальман Мисат. Голубка в клетке. Два нищих студента. Повести. Перевод с венгерского. 183 стр. Цена 40 к.

Абд-оль-Хосейн Нушин. Алимуррад-хан и другие. Повесть. Перевод с персидского. 179 стр. Цена 37 к.

Фердинанд Ойно. Старый негр и медаль. Роман. Перевод с французского. 191 стр. Цена 36 к.

Вл. Орлов. Поэма Александра Блока «Двенадцать». 191 стр. Цена 34 к.

Леонид Первомайский. Вместо стихов о любви. Рассказы. Перевод с украинского. 327 стр. Цена 48 к.

Рауль Гонсалес Туньон. Розы в броне. Стихи. Перевод с испанского. 191 стр. Цена 29 к.

Антуан Фюретьер. Мещанский роман. Комическое сочинение. Перевод с французского. 327 стр. Цена 48 к.

Акакий Церетели. Лирика. Стихотворения и поэмы. Перевод с грузинского. 296 стр. Цена 31 к.

Чудомир. Юмористические рассказы. Перевод с болгарского. 183 стр. Цена 32 к.

Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников. 512 стр. Цена 92 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

М. Арлазоров. Циолковский. 320 стр. Цена 65 к.

Эдуард Асадов. Во имя большой любви. Стихи и поэмы. 256 стр. Цена 55 к.

Ник. Богданов. Чудесники. Повести. 496 стр. Цена 1 р. 32 к.

Игорь Григорьев. Листобой. Стихи и поэмы. 160 стр. Цена 39 к.

Б. Грушин, В. Чикин. Исповедь поколения. 248 стр. Цена 54 к.

Наталья Дурова. Большой театр «Малышка». Рассказы о цирке. 191 стр. Цена 25 к.

М. Ефетов. Тревожная ночь. Повести и рассказы. 144 стр. Цена 21 к.

Анатолий Калинин. Запретная зона. Роман. Книга 1. 160 стр. Цена 24 к.

Мария Кудержинова. Отрывки из жизни. Перевод с чешского. 144 стр. Цена 21 к.

Лидия Обухова. Доброта. Маленькая повесть. 48 стр. Цена 6 к.

Леонид Соболев. Нищий на золотом троне. Болливийский дневник. 112 стр. Цена 16 к.

Владислав Шошин. Первый гром. Стихи. 128 стр. Цена 30 к.

Вольфганг Шрайер. Храм сатаны. Роман-репортаж. Перевод с немецкого. 288 стр. Цена 71 к.

С. Шуртанов. Франция вблизи. 104 стр. Цена 14 к.

Нуратдин Юсупов. Куда спешат родники. Стихи. Перевод с лакского. 96 стр. Цена 23 к.

Лев Ющенко. День пришел. Документальные рассказы. 80 стр. Цена 12 к.

ДЕТГИЗ

А. Байтанаев. Асан. Повесть. Перевод с казахского. 96 стр. Цена 26 к.

М. Басина. Там где шумят михайловские рощи. 240 стр. Цена 70 к.

Е. Войсунский, И. Лукодянов. Экипаж «Меконга». 544 стр. Цена 1 р. 9 к.

Х. Вульф. Пер борется за свободу. Перевод с датского. 80 стр. Цена 23 к.

Дерево Свободы. Английская романтическая поэзия в переводах И. Ивановского. 128 стр. Цена 32 к.

М. Конопницкая. О гномах и сиротке Марысе. Сказка. Перевод с польского. 176 стр. Цена 39 к.

А. Коробитин. Хуан Маркадо — мститель из Техаса. Историческая повесть. 240 стр. Цена 64 к.

В. Кучерявенко. «Перекоп» ушел на юг. 160 стр. Цена 37 к.

М. Никулин. Не холмаз Самбека. Повесть. 88 стр. Цена 23 к.

Л. Разгон. Волшебство популяризатора. 104 стр. Цена 32 к.

Н. Реут, М. Скрябин. Цветной голландец. Повести. 200 стр. Цена 42 к.

М. Слуцник. Как разбилось солнце. Рассказы о детстве. Перевод с литовского. 136 стр. Цена 35 к.

А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Возвращение (Полеень 22-й век). Фантастическая повесть. 256 стр. Цена 66 к.

З. Фазин. Впервые. Роман. 416 стр. Цена 75 к.

А. Шалимов. Тайна Гремщей расщелины. Научно-фантастические рассказы и повести. 288 стр. Цена 69 к.

В. Шефнер. Рядом с небом. Стихи. 192 стр. Цена 35 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

П. А. Азизбекова. В. И. Ленин и социалистические преобразования в Азербайджане (1920—1923 гг.). 384 стр. Цена 1 р. 67 к.

Археографический ежегодник за 1961 год (Под редакцией академика М. Н. Тихомирова). 478 стр. Цена 3 р. 13 к.

М. П. Баскин. Кризис буржуазного сознания. Индивидуализм и его крах. 303 стр. Цена 1 р. 7 к.

И. А. Бернштейн, Э. М. Олонова. Современный чешский и словацкий роман. 171 стр. Цена 56 к.

И. Г. Блюмин. Критика буржуазной политической экономии. Том I. Субъективная школа в буржуазной политической экономии. 869 стр. Цена 3 р. 64 к.

Вильгельм Вейтлинг. Гарантии гармонии и свободы. 580 стр. Цена 1 р. 35 к.

А. Г. Вологдин. Древнейшие водоросли СССР. 657 стр. Цена 4 р. 16 к.

А. А. Герцезон. Проблема законности и правосудия во французских политических учениях XVIII века. 319 стр. Цена 1 р. 23 к.

Горьковские чтения 1959—1960. 382 стр. Цена 1 р. 60 к.

История Великой Октябрьской социалистической революции. 521 стр. Цена 2 р. 23 к.

Акад. П. Л. Капица. Электроника больших мощностей. 194 стр. Цена 78 к.

К. Э. Кирова. Революционное движение в Италии 1914—1917 гг. 431 стр. Цена 1 р. 65 к.

Ю. Я. Коган. Очерки по истории русской атеистической мысли XVIII века. 342 стр. Цена 1 р. 29 к.

Листовки Отечественной войны 1812 года. 160 стр. Цена 90 к.

В. П. Логинов. Пути повышения эффективности развития горной промышленности северо-востока СССР. 181 стр. Цена 59 к.

Первые космические полеты человека. 201 стр. Цена 1 р. 10 к.

Переписка Александра Гумбольдта с учеными и государственными деятелями России. 223 стр. Цена 1 р. 10 к.

Правильность русской речи. Трудные случаи современного словопотребления. Опыт словаря-справочника. 184 стр. Цена 50 к.

Социалистический реализм в литературе народов СССР. 365 стр. Цена 1 р. 8 к.

В. М. Турок. Очерки истории Австрии 1929—1938 гг. 550 стр. Цена 2 р. 48 к.

Н. Туманина. Чайковский. Путь к мастерству. 556 стр. Цена 3 р. 90 к.

1812 год. К столетию пятидесятилетия Отечественной войны. Сборник статей. 320 стр. Цена 1 р. 86 к.

У. И. Франкфурт, А. М. Френк. Христиан Гюйгенс. 326 стр. Цена 1 р. 5 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Мир Амман. Сад и весна. История четырех деревней. Перевод с урду. 262 стр. Цена 70 к.

И. М. Гуревич. Государственный сектор в экономике Афганистана. 111 стр. Цена 35 к.

В. А. Жеребилов. Рабочий класс Малайи. 238 стр. Цена 80 к.

Т. Н. Савельева. Аграрный строй Египта в период Древнего Царства. 291 стр. Цена 60 к.

Н. А. Симония. Остров большой реки. 156 стр. Цена 25 к.

З. И. Токорева. Тоголезская республика. 92 стр. Цена 25 к.

Кришан Чандар. Вор Рассказы. Перевод с урду. 167 стр. Цена 30 к.

Арья Шура. Гириянда джатак. или Сказание с подвигах Водхисаттвы. Перевод с санскрита. 347 стр. Цена 1 р. 20 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Монго Бети. Бедный Христос из Вомба. Роман. Перевод с французского. 248 стр. Цена 83 к.

Э. Геллнер. Слова и вещи. Введение Б. Рассела. Перевод с английского. 344 стр. Цена 1 р. 29 к.

Шерли Грэхем. Ваш покорный слуга. Повесть. Перевод с английского. 223 стр. Цена 56 к.

Тууре Лехен. Мировоззрение рабочего класса. Лекции по диалектическому материализму. Перевод с финского. 172 стр. Цена 52 к.

Франциск Мунтяну. Статуи никогда не смеются. Роман. Перевод с румынского. 420 стр. Цена 1 р. 15 к.

Сказки, пословицы и песни лужицких сербов. Перевод с верхнелужицкого и нижнелужицкого. 160 стр. Цена 32 к.

Мохтар Тоха. Возвращение. Повесть. Перевод с индонезийского. 96 стр. Цена 25 к.

Эквадорские рассказы. Перевод с испанского. 166 стр. Цена 65 к.

ГОСЮРИЗДАТ

Коллектив авторов. Деятельность органов расследования, прокурора и суда по предупреждению преступлений. 280 стр. Цена 55 к.

Г. В. Муцинов. Семичасовой рабочий день и новые условия оплаты труда в промышленности СССР. 94 стр. Цена 8 к.

И. В. Павлов. Развитие колхозной демократии в период развернутого строительства коммунизма. 208 стр. Цена 63 к.

Ю. А. Соколов. Участие трудящихся в охране советского общественного порядка. 172 стр. Цена 56 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Кузьма Абрамов. Люди стали близкими. Роман. 424 стр. Цена 84 к.

Сергей Баруздин. Рассказ о поездке в США. 64 стр. Цена 9 к.

П. Е. Богданов. Партийная работа — дело творческое. 112 стр. Цена 11 к.

М. Ганина. Матвей и Шурка. Рассказы. 112 стр. Цена 14 к.

Голос мира. Сборник стихов. 168 стр. Цена 25 к.

Надежда Дурова. Записки кавалерист-девицы. 240 стр. Цена 31 к.

Николай Евдокимов. Конечная ночь. Рассказы и повесть. 264 стр. Цена 35 к.

Борис Кауров. Проселки выходят на большак. 176 стр. Цена 32 к.

Л. Лиходеев. Мурло мещанина. Фельетоны. 112 стр. Цена 12 к.

Петр Соболев. Записки олимпийского атташе. 120 стр. Цена 21 к.

Ю. Стариков. Радист с «Альбатроса». Рассказы. 96 стр. Цена 9 к.

Г. Троепольский. Кандидат наук. Повесть, отчасти сатирическая. 212 стр. Цена 37 к.

Владимир Успенский. Неизвестные солдаты. Роман. 880 стр. Цена 1 р. 61 к.

Павел Федоров. Всадники и кони. Роман. 304 стр. Цена 65 к.

В. Чачин. Если сердце открыто людям... Сборник очерков. 180 стр. Цена 22 к.

А. Эмме. Часы живой природы. 152 стр. Цена 31 к.

ИВАНОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

История города Иванова. В двух частях. Часть 2. Иваново социалистическое. 361 стр. Цена 68 к.

Т. Н. Лешуков. Полтора века в строю (Вычугская прядильно-ткацкая фабрика им. В. П. Ногина. 1812—1962). 76 стр. Цена 12 к.

ЛЕНИЗДАТ

Г. Б. Борисов, С. В. Васильев. Станкостроительный имени Свердлова. 351 стр. Цена 52 к.

Д. А. Гранин. Остров молодых. Рассказы о Кубе. 102 стр. Цена 10 к.

С. М. Левидова, С. А. Павлоцкая. Надежда Константиновна Крупская. 300 стр. Цена 59 к.

СВЕРДЛОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

К. Ф. Борисов. Февраль. Рассказы. 88 стр. Цена 28 к.

В. Н. Николаев. Свистящий ветер. Повести. 171 стр. Цена 42 к.

И. М. Пешкова. Как подсказывает совесть. Короткие рассказы. 80 стр. Цена 18 к.

З. Н. Шукстова. Звездное небо (Звезды. Планеты). 187 стр. Цена 37 к.



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1962 ГОД

К Коммунистической партии и народам Советского Союза!

К народам и правительствам всех стран!
Ко всему прогрессивному человечеству!

Обращение Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Правительства Советского Союза. IX—3.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

Чингиз Айтматов. Первый учитель. Повесть. Перевели с киргизского автор и А. Дмитриева. VII—3.

Василий Аксенов. Два рассказа: На пути к луне; «Папа, сложи!». VII—86.

Юрий Бондарев. Тишина. Роман. III—3; IV—64; V—43.

Тадеуш Бреза. Лабиринт. Роман. Перевела с польского Ю. Мирская. VIII—89; IX—129.

Александра Бруштейн. Простая операция. XI—77.

Константин Ваншенкин. Авдюшин и Егорычев (Эпизоды из жизни двух солдат). V—3.

Е. Герасимов. Шелковый город. VIII—3. Хуан Гойтисоло. Земли Нихара. Перевели с испанского А. Макаров и Н. Трауберг. Послесловие Алексея Эйнера. VII—40.

И. Грекова. За проходной. Рассказ. VII—110.

Вас. Гроссман. Дорога. Рассказ. VI—96. Дневник Нины Костериной. XII—31.

Ефим Дорош. Райгород в феврале. X—9. Татьяна Есенина. Женья—чудо XX века. Юмористическая повесть. I—82.

С. Залыгин. Тропы Алтая. Роман. I—3; II—65; III—49.

Анна Зегерс. Свет на виселице. Карибская история из времен французской революции. Перевел с немецкого В. Стеженский. XII—153.

Р. Зернова. Городской романс. Рассказ. VIII—82.

Всеволод Иванов. Хмель, или Навстречу осенним птицам. III—134.

В. Каверин. Семь пар нечистых. Повесть. II—142.—Косой дождь. Повесть. X—81.

Ю. Куранов. Рассказы: Половодье; Фотография; Снегопад; Весенний день; Красный огонек; Царевна. VIII—172.

Алексей Некрасов. Старики Кирсановы. Повесть. IX—74.

Виктор Некрасов. «Санта-Мария» или Почему возненавидел игру в мяч. Рассказ. IX—111.—По обе стороны океана. I. В Италии. XI—112.—2. В Америке. XII—110.

Константин Паустовский. Дорожные записи. V—155.

Е. Ржевская. Земное притяжение. Повесть VI—3.

Василий Росляков. Один из нас. Повесть. II—5.

И. Соколов-Микитов. На своей земле. Записи давних лет. IX—114; X—48.

А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Повесть (А. Твардовский. Вместо предисловия). XI—8.

Дж. Д. Сэлинджер. Два рассказа: В ялке; Человек, Который смеется. Перевели с английского Нора Галь, В. Жельвис. IV—140.

Эрнест Хемингуэй. Мотылек и Танк. Рассказ. Перевел с английского Иван Кашкин. XI—153.

Антуан де Сент-Экзюпери. Письмо заложнику. Перевел с французского Р. Грачев. X—123.

И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Книга четвертая. IV—9; V—96; VI—106.

Александр Яшин. Вологодская свадьба. XII—3.

СТИХИ

Геннадий Айги. Куст сирени в ночном саду; Снег; Сказка; Зимние ночи (Из чувашской поэзии). Перевели Д. Самойлов и Борис Ирнин. II—136.

Михай Бабич. Цыганская песня (Из стихов венгерских поэтов). Предисловие и перевод Николая Чуковского. VI—155.

З. Вальшонок. Мать-и-мачеха. Стихотворение. IX—127.

С. Галкин. Стихи разных лет: Без меня; Как зернами гранат, душа полна...; Давным-давно я был черноволос...; Мое доброе слово. Перевели с еврейского Ю. Нейман, Л. Ахматова, И. Гуревич. I—165.

Галина Демьякина. Теплое течение; Попытка; Огонь; Деревья. Стихи. VIII—80.

Евг. Евтушенко. Шесть стихотворений: Тайны; Размышления над Клязьмой; Мне

нравится, когда мне кто-то нравится...; Большой талант всегда тревожит...; Играла девка на гармошке...; Давайте, мальчишки! VII — 34.

Федор Ефимов. Ветер в грудь. Стихотворение. II — 64.

Анатолий Жигулин. Флажки; Ночная смена; Земля. Стихи. I — 78.

Л. Завальнюк. На Дальнем Востоке. Стихи. VIII — 77.

Атила Йожеф. Мать; После похорон; Та прелестная прежняя женщина...; Ты перешла дорогу (Из стихов венгерских поэтов). Предисловие и перевод Николая Чуковского. VI — 153.— Из лирики: *Agis poetica*; Сытый дождь; Свинопас; Дел по горло...; Март. Перевели с венгерского Д. Самойлов, В. Корнилов, Л. Мартынов, М. Алигер. XII — 106.

Римма Казакова. В пору черемухи. Стихотворение. VI — 102

С. Капутикян. Прости меня. Стихотворение. Перевела с армянского М. Петровых. I — 168.

М. Квливидзе. Тийю; Воспоминанье. Стихи. Перевели с грузинского Б. Ахмадулина и С. Поликарпов. VII — 108.

Вл. Корнилов. Волжская пристань; В той стране далекой Якутии... Стихи. III — 130.

Яан Кросс. Из первой книги стихов: На каком языке?; Жук! — закричал малыш...; Коль не являет живопись секрета...; Что знает он о чувстве...; Тот дурак...; Премственность. Перевели с эстонского Л. Тоом и Д. Самойлов. VI — 103.

А. Кулешов. Новые стихи: О вечном пере; Про Марс; На полумиллиардном километре; Зимы холодные покровы...; Покой отвергаю...; Как измену солдат...; Перед дорогой; К поэзии; Элегия; Последняя книга. Перевели с белорусского К. Титов, Я. Хелемский. IV — 3.— Из новой книги стихов. Авторизованный перевод с белорусского Якова Хелемского. X — 3.

С. Маршак. Десять четверостиший; Из Вильяма Блейка. XI — 75.

Новелла Матвеева. Из лирики: Весна; Попугай; Сводники; Исправленный. V — 37.— Первый шаг; Древесина; Портрет; Пастух по стаду выстрелил кнутом... Стихи. XII — 27.

Э. Межелайтис. Гимн утру; Ржавчина; Воздух. Стихи. Перевели с литовского Д. Самойлов и Станислав Куняев. XI — 3.

Казим Мечиев. Стихи разных лет. Перевел с балкарского С. Липкин. XI — 108.

Анатолий Павленко. Большая Знаменка. Стихотворение. XI — 151.

Владимир Пальчиков. Зажигаются окна; Мать; Костер зажжен... Стихи. I — 80.

Сабир (К 100-летию со дня рождения). Два стихотворения: Посвящается бакинским рабочим; Что мой сын нашел в ученье? Перевели с азербайджанского С. Липкин и Лев Пеньковский. V — 40.

Е. Стюарт. Подрастают мальчишки. Стихотворение. XI — 149.

Дм. Сухарев. Четыре стихотворения: Человек; Что-то вновь тоска меня взяла...; Песня; Белый цвет, он не цвет... III — 46.

Максим Танк. Новые стихи: Когда расставания песню...; В городе...; Пусть яростно спорят поэты...; Я обиду простил...; Не верьте... Перевел с белорусского Яков Хелемский. IX — 71.

Иван Тарба. Какие нам орбиты суждены... Стихотворение. Перевела с абхазского Юна Мориц. IX — 6.

А. Твардовский. Космонавту. Стихотворение. II — 3.— Слово о словах. Стихотворение. V — 93.

Яков Ухсай. О лошади (Из чувашской поэзии) Перевел Борис Ирнин. II — 132.

Роберт Фрост. Двое бродяг в распутицу; Двое видят двух; Звездокол. Стихи. Перевел с английского А. Сергеев. VIII — 167.

Яков Хелемский. Баллада о четвертой жене (Из стихов об Африке). II — 140.

Б. Чичибабин. Дождик. Стихотворение. V — 95.

Вадим Шефнер. Рядом с небом; Выбор ветра; Донный лед; Высокое равенство; Дом культуры; Праздники. Стихи. IV — 136.

Баграт Шинкуба. На скале; Древнюю старушку опустили...; От лютого ветра, от стужи... Стихи. Перевели с абхазского С. Липкин, Ю. Нейман, Я. Козловский. III — 132.

Степан Щипачев. Как видно, детство... Стихотворение. IX — 110.— В Калифорнии. Стихотворение. X — 47.

Дьюла Юхас. Пьяница; Кајзергруфт (Из стихов венгерских поэтов). Предисловие и перевод Николая Чуковского. VI — 157.

А. Яшин. Лесные дуги; Домбай; Мы уже боялись... Стихи. VII — 83.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Д. Дар, А. Ельянов. Там, за поворотом. IV — 198.

И. Осипов. Разведчики сибирской нефти. III — 211.

Виктор Панов. У мастеров Урала. VII — 132.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Д. Гранин. Остров молодых. VI — 190.

Юрий Жуков. Жизнь и смерть Патриса Лумумбы XI — 159.

Берды Кербабаяв. Ухуру — значит свобода. Перевел с туркменского В Курдицкий. V — 166.

И. Радволина. Встречи с Чехословакией. X — 194.

С. Утченко. Акрополи Эллады. VII — 168.

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

Вл. Рубин. Голос трудовой Австралии Австралия. «Риалист райтер» («Писатель-реалист»), литературно-критический жур-

нал. № 6. 1961. I — 240. — Самоучители пошлости. Англия. Джон Боланд — «Вольная журналистика». Энн Бриттон и Мэрион Коллин — «Романтическая литература». Джон Боланд — «Как писать рассказы». VII — 222.

В. Стеженский. Хамелеоны. ФРГ. «Ди культур» («Культура»), ежемесячник по вопросам культуры, литературы и политики. Август, сентябрь 1961. I — 243.

Е. Трущенко. Роб-Гриيه ищет точки опоры. Франция. «Ревю де Пари» («Парижское обозрение») — ежемесячный литературно-публицистический журнал, № 9. 1961. VII — 218

ПУБЛИЦИСТИКА

Л. Айзерман, учитель. К миру прекрасного (Читатели обсуждают вопросы школы). XI — 211.

И. Белов. Размышления о бумажной ленте. VII — 203.

Ю. Беляев, В. Тандит. Братское содружество стран социализма. X — 133.

А. Борин. Потомки катальщика Гаврилы. IX — 199.

Н. Верховский. Щучинские заметки. V — 193.

С. Владимиров. Кто же их научит? (Читатели обсуждают вопросы школы). XI — 216.

П. Волин. О том, что мешает изобретателям. XI — 193.

И. Дубинский. Славные имена, славные страны. II — 178.

М. Карпович. Шаг в завтра (Заметки о межколхозных организациях). VIII — 205.

Р. Пересветов. Одна из шести. Из истории ленинских рукописей. IV — 165.

В. Семенihin, учитель. Учить и учиться разумно (Читатели обсуждают вопросы школы). XI — 206.

В. Смолянский, комментатор агентства печати Новости Мифы антикоммунизма. VII — 191.

Я. Тавров. Инженер и культура. I — 169

Е. Темчин. Жизнь требует. VI — 165.

Б. Яковлев. Печатается впервые... К выходу I — 26-го томов Полного собрания сочинений В. И. Ленина. IV — 155.

К 50-летию «Правды»

К. Демин. Об одной литературной полемике и забытой статье Н. К. Крупской. V — 235

П. Краснов, В. Шевелев. Фельетонист «Правды» V — 228.

А. Тучина, Б. Яковлев. Ленин читает «Правду»... (1917—1923). V — 210.

В МИРЕ НАУКИ

Кирилл Андреев. Моя Вселенная. VI — 173.

Ираклий Андроников. Разгадка тысячелетней гайны. IX — 230.

Руд. Бершадский. Ученый, который знает все. IV — 177.

Борис Володин. Космическая медицина. Как рассказал о ней действительный член Академии медицинских наук В. В. Парин. XI — 186.

Марк Поповский. Рецепт на бессмертие. VIII — 215.

Тур Хейердал. Статуи острова Пасхи (Проблемы и итоги). Перевел с норвежского Л. Жданов. IX — 216.

Д. Цукерник. Как была открыта Америка. XII — 217.

В МИРЕ ИСКУССТВА

А. Каменский. О Сарьяне. I — 182.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Мария Каспрович. Памятные встречи. Перевел с польского Я. Немчинский. IV — 173.

Н. Луначарская-Розенель. Луначарский-читатель. I — 209.

И. М. Майский, академик. Первые шаги посла (Из воспоминаний). X — 144.

Г. Мунблит. Две встречи (Из воспоминаний об А. С. Макаренко). VII — 227.

Н. Стальский. Молодой Киршон (К 60-летию со дня рождения В. М. Киршона). VII — 232.

Корней Чуковский. Куприн. III — 190.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. Виноградов. По поводу одной «вечной» темы. VIII — 235.

А. Дементьев. На провинциальном уровне. XI — 242.

А. Кондратович. Человек на войне (Заметки критика). VI — 216.

М. Кузнецов. Судьбы гуманизма. X — 217.

В. Лакшин. Доверие (О повестях Павла Нилина). XI — 229.

А. Лебелев. Чернышевский или Антонович? (К проблеме революционно-демократических традиций в критике). III — 239.

Н. Любимов. Перевод — искусство. V — 238.

А. Марьямов. снаряжение в походе (О романе В. Кочетова «Секретарь обкома»). I — 219.

Т. Мотылева. Над страницами Томаса Манна. II — 227.

Виктор Некрасов. Неюбилейное признание (К 70-летию И. С. Соколова-Микитова). V — 249.

П. Палиевский. Фантомы (Буржуазный мир в романах Грэма Грина). VI — 229.

И. Роднянская. О беллетристике и «строгом» искусстве. IV — 226.

Инна Соловьева. Проблемы и проза (Заметки о творчестве Владимира Тендрякова). VII — 235.

М. Туровская. Прозаическое и поэтическое кино сегодня. IX — 239.— Мифология технической эры. XII — 242.

Корней Чуковский. Маршак. XI — 224.

К 150-летию Отечественной войны 1812 года

Е. В. Тарле. Бородино. VIII — 181.

Тетрадь Александра Чичерина. Публикация и комментарии С. Г. Энгель; публикация и перевод с французского М. И. Перпер; послесловие Л. Бескровного, доктора исторических наук. IX — 7.

К 125-летию со дня смерти А. С. Пушкина

Эмма Герштейн. Вокруг гибели Пушкина (По новым материалам). II — 211.

К 70-летию К. А. Федина

Г. Марков. О Константине Федине. II — 249.

Константин Паустовский. Взамен юбилейной речи. II — 244.

И. Соколов-Микитов. Письмо другу. II — 243.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Е. Дорosh. Книги о наших предках. VI — 159.

Владимир Рудный. В центре циклона. II — 188.

Геннадий Фиш. Норд вегр — путь на север. VII — 157.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Из литературного наследия Н. К. Крупской. Публикация и примечание В. Макомовой. X — 270.

История одной пьесы. Публикация и предисловие И. Смирнова. IV — 279.

Неопубликованная статья А. И. Герцена. Публикация и вступительная статья И. Птушкиной. III — 231.

Л. Шалагинова. Письмо пятидесяти и С. Есенин. VI — 278.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

А. Анастасьев. Книга об итальянском кино (Инна Соловьева. Кино Италии. 1945—1960. Очерки). VIII — 264:

Л. Арутюнов. Гомер гор (Важа Пшавела. Том I. Стихи и поэмы. Том II. Рассказы, пьесы, статьи. Перевод с грузинского). VI — 249.

Н. Берковский. Новая советская книга о Бальзаке (Д. Обломиевский. Бальзак. Этапы творческого пути). V — 262.

М. Блинкова. Испытание буднями (Ф. Вигдорова. Семейное счастье. Роман. Книга первая). II — 253.— Куда ведут следы прошлого (В. Берестов. Приключений не будет). V — 256.

М. Бойко. «Всеобъемлющий человек» (Литературное наследство. Том 69. Книга первая; книга вторая). XI — 256.

Ю. Бондарев. Повесть о любви (Константин Воробьев. Крик. Маленькая повесть). X — 236.

Ю. Буртин. Разговор о главном (Елизар Мальцев. Войди в каждый дом. Роман. Книга первая). I — 246.

И. Верцман. Гомер сегодня (С. Маркиш. Гомер и его поэмы). XII — 263.

И. Виноградов. К вопросу о «беллетристике»... (Федор Колунцев. У Никитских ворот. Роман). VII — 258.

В. Войнович. Хива. 20-й год (К. Крамов. Караваны уходят — пути остаются. Повесть). II — 257.

Ю. Волчек. Воображаемая жизнь (Константин Финн. Дневник женщины). X — 246.

Валерия Герасимова. Добрая повесть (Борис Бедный. Девчата. Повесть). III — 255.

А. Громова. Герои в пути (Зигмунд Скуинь. Внуки Колумба. Перевод с латышского Ю. Каппе). III — 257.

Р. Зернова. Смерть надежды (Хуан Гойтисоло. Печаль в Раю. Перевод с испанского Н. Трауберг). X — 251.

М. Злобина. Вначале были пушки (Мишель дель Кастильо. Танги. Роман. Перевод с французского Е. Шишмаревой). V — 266.

Л. Зонина. Поэзия ответственности (Антуан де Сент-Экзюпери. Военный летчик). XI — 263.

А. Ивич. Писатель и наука (Пути в неизвестное. Писатели рассказывают о науке. Сборник второй). XI — 259.

Н. Капиева. Мал золотник, да дорог (Ибрагим Ибрагимов. Чудесный характер. Перевод с кумыкского М. Эделя). VII — 264.

Ю. Капусто. Лицо времени (И. Крамов. Литературные портреты. Лариса Рейснер. Джон Рид. Воровский. Матэ Залка). VIII — 259.

Н. Коржавин. Мужественный голос (Кайсын Кулиев. Огонь на горе. Стихи. Перевод с балкарского). X — 231.

И. Крамов. Неизвестные письма Джона Рида (Наш друг, боец, коммунист. Публикация Ли Гола, предисловие Джемса Олдриджа, послесловие Е. Драбкиной). I — 261.

Н. Крутикова. Прекрасная судьба (Мария Федоровна Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. Воспоминания о М. Ф. Андреевой). X — 254.

Н. Кузьмин. Книга о русском лубке (Русский лубок XVII—XIX вв. Авторы-составители альбома Вл. Бахтин и Дм. Молдавский). XII — 259.

Э. Кузьмина. Таежные звезды (Виктор Астафьев. Звездопад. Повести и рассказы). VII — 255.

Л. Лазарев. Материал и исследование (А. Метченко. Творчество Маяковского 1925—1930 гг.). II — 263.— Точка опоры (Анна Зегерс. Транзит. Перевод с немецкого Л. Лунгиной). VI — 255.— Еще раз о книге А. Метченко «Творчество Маяковского». X — 240.

В. Лакшин. Слово — золото (С. Маршак. Воспитание словом. Статьи. Заметки. Воспоминания). IV — 254.

Л. Лебедева. Связь времен (А. Бруштейн. Весна. Повесть). II — 260.— Четыре рассказа (Микола Слущкис. Человек, который не видел. Рассказы. Перевел с литовского Г. Канович). IX — 256.

И. Левидова. Сага о сумрачной династии (Уильям Фолкнер. Особняк. Роман. Перевод с английского Р. Райт-Ковалевой). VII — 265.

Л. Левицкий. Не жалеть тепла для людей... (Миха Квливидзе. Надпись на камне. Стихи. Перевод с грузинского). V — 253.

А. Леонтьев. Черты поколения (Жилбыл мальчишка... Из дневников Михаила Молочко. Семен Гудзенко. Армейские записные книжки). XII — 256.

Бор. Медведев. Год за годом (А. Анастасьев. В современном театре). IX — 264.

Т. Немчук. Судьбы физических идей (Д. Данин. Неизбежность странного мира). I — 262.

А. Образцова. Что такое кинодраматургия? (С. Фрейлих. Драматургия экрана). XII — 261.

Владимир Огнев. Остаться самим собой (Николай Асеев. Лад. Стихи последних лет. Н. Асеев. Зачем и кому нужна поэзия). IV — 245

Р. Орлова. В борьбе за реализм (Т. Мотылева. Иностранная литература и современность. Статьи). VI — 253.

А. Письменный. Груз назидательности (Софья Михеева. Вольная птица. Повесть). IV — 252.

Н. Прянишников. Об изучении мастерства Толстого (Толстой-художник. Сборник статей). III — 263.

Ст. Рассадин. Простые вещи (Евгений Винокуров. Лицо человеческое. Стихи). I — 250.

М. Рошин. Мальчишки и принцессы Эдуарда Шима (Эдуард Шим. Королева и семь дочерей. Повесть. Эдуард Шим. Мартовский снег. Рассказы). XI — 248.

Б. Рунин. Исповедь молодого современника (Юстинас Марцинкявичюс. Сосна, которая смеялась. Повесть. Перевел с литовского Ф. Дектор). XII — 252.

В. Сергеев. Дружья и недруги (Леонид Завалянюк. На полустанке. Повесть о детстве). X — 238.

А. Синявский. Поэтический сборник Б. Пастернака (Борис Пастернак. Стихотворения и поэмы). III — 261.

Л. Скорино. Сказка и обыденность (Николай Рыленков. Сказка моего детства. Повесть). X — 233.

В. Соколов. Логика искусства (Сергей Снегов. Иди до конца. Повесть). VIII — 255.

И. Соколов-Микитов. Жизнь в лесу (Генри Дэвид Торо. Уолден, или Жизнь в лесу. Перевод З. Е. Александровой). IX — 266.

И. Соловьева, В. Шитова. В трех томах (М. Ильин. Избранные произведения в трех томах. Томы I, II, III). XI — 251.

Е. Старикова. Происшествия, встречи, превращения... (А. Рекемчук. Молодозелено. Повесть). IV — 249.— История одной семьи (Мих. Жестев. Татьяна Тарханова. Роман). VI — 246.

В. Сурвилло. Кто виноват? (Александр Андреев. Рассудите нас, люди. Роман). IX — 259.

Ал. Сурков. Гимн человеку (Эдуардас Межелайтис. Человек. Стихи. Перевод с литовского). IV — 243.

Л. Тимофеев. Жили три товарища... (В. Турбин. Товарищ время и товарищ искусство). IV — 257.

Г. Трефилова. Чтобы теплилась жизнь... (Федор Абрамов. Из цикла «На северной земле». Рассказы). VIII — 253.

А. Турков. Тропка вокруг земли (Петр Бровка. А дни идут... Стихи и поэмы. Авторизованный перевод с белорусского Якова Хелемского). VI — 244.

Яков Хелемский. Четыре века белорусской поэзии (Анталогія беларускай поэзіі. У трох томах. Антологія беларускай поэзіі. В трох томах). VII — 250

А. Храбровицкий. Не написано, а составлено (Георгий Миронов. Короленко). VIII — 262.

Г. Цурикова. О тех, кому сегодня тридцать лет (В. Ляленков. Борис Картавин. Детский роман). XI — 245.

О. Чайковский. Рассказы о благородных людях (Сергей Львов. Огонь Прометей). I — 253.

М. Чудакова. Гайдар и время (Вера Смирнова. Аркадий Гайдар. Критико-биографический очерк. Е. Путилова. О творчестве А. П. Гайдара. Очерки). V — 259.

Е. Эткинд. Новый Рабле (Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. Перевод с французского Н. Любимова). II — 268.

Л. Яновская. Три книги об Ильфе и Петрове (А. Эрлих. Нас учила жизнь. Литературные воспоминания. А. Вулис. И. Ильф, Е. Петров. Очерк творчества. Б. Галанов. Илья Ильф и Евгений Петров. Жизнь. Творчество). I — 256.

Политика и наука

Э. Бакст. Чтвая баптистский журнал («Братский вестник». Орган Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов. М. 1960. № 1—6. 1961. № 1—4). I — 274.

Б. Баянов. Заветная мечта человечества (Великие идеалы коммунизма). IX — 268.

А. Бельская. Американцы не смеют быть свободными (Herbert Aptheker. Dare we be free? Герберт Аптекер. Смеет ли мы быть свободными?) I — 276.— Книга борца за свободу (Patrice Lumumba. Le Congo terre d'avenir. Est-il menacé? Патрис Лумумба. Конго — земля будущего. Угрожают ли ей?). IV — 272.

И. Брайнин. Книга о старшем брате Ленина (Вл. Канивец. Александр Ульянов). VI — 265.

Евг. Бурче. Книга о великом русском летчике (В. Ткачев. Русский сокол). II — 277.

Николай Габинский. Свободная территория Америки (Книги о Кубе). VI — 267.

Э. Генкина, доктор исторических наук Великая индустриальная революция (А. Ф. Хавин. Краткий очерк истории индустриализации СССР). IX — 270.

Г. Герасимов. Служители культа ядерной войны (Негман Кэмп. Thinking about the Unthinkable. Герман Кан. Мысли о немислимом). XI — 276.

Д. Гурвич, И. Шаскольский, кандидаты исторических наук Правда, идущая из глубины веков (Д. С. Лихачев. Культура русского народа X—XVII вв.). II — 279.

В. Далин. Мастерство исторического повествования (А. З. Манфред. Очерки истории Франции XVIII—XX вв. Сборник статей). VII — 273

И. Ермашев. Дипломат ленинской школы (Г. В. Чичерин. Статьи и речи по вопросам международной политики. Составитель Л. И. Трофимова). I — 267.

Л. Зак, кандидат исторических наук. Документы пролетарского интернационализма (Из истории международной пролетарской солидарности. Документы и материалы. Сборник 1. Боевое содружество трудящихся зарубежных стран с народами Советской России (1917—1922). Сборник 2. Пролетарская солидарность трудящихся в борьбе за мир (1917—1924). Сборник 3. Международная солидарность трудящихся в борьбе с наступлением реакции и военной опасностью (1925—1927). Сборник 4. Международная пролетарская солидарность в борьбе с наступлением фашизма (1928—1932). Сборник 5. Международная солидарность трудящихся в борьбе с фашизмом, против развязывания второй мировой войны (1933—1937). II — 271.

А. Иглицкий. Шахматная поэзия (А. С. Гурвич. Этюды). VI — 276.

А. Ильин. На подступах к серьезному исследованию (Экономика СССР в послевоенный период (Краткий экономический обзор). X — 262.

И. Иноземцев. Море и книги (Академик Д. И. Щербаков Пучины океана. Борис Ляпунов. Впереди — океан!). IX — 272.

А. Кондратович. Бессмертие рода людского (Воспрянет род людской. Краткие биографии и последние письма борцов антифашистского Сопротивления. Предисловие Вильгельма Пика. Перевод с немецкого Р. А. Крестьянинова и В. М. Розанова). II — 274.

М. Кораллов. Энциклопедия древнерусской культуры (И. У. Будовниц. Словарь русской, украинской, белорусской письменности и литературы до XVIII века). X — 267.

Ю. Кормнов, кандидат экономических наук. Решающий фактор развития общества (И. В. Дудинский. Мировая система социализма и закономерности ее развития). V — 275.

Евгений Кригер. Сила революционных идей (Подсудимые обвиняют Сборник судебных речей деятелей коммунистического и рабочего движения в политических процессах. Сборник составил А. В. Толмачев). VIII — 277.

О. Кузнецова. Неопровержимые документы (Враг всего мира. Факты и документы. Перевод с немецкого Н. Н. Китаевой и Н. Т. Увайского). X — 264.

Л. Кюаджян. Две книги — одна тема (Китайские добровольцы в боях за Советскую власть (1918—1922 гг.). Советские добровольцы о первой гражданской революционной войне в Китае. Воспоминания). I — 271.

О. Лацис. Будущее в пути (Общественные фонды и рост благосостояния народа в СССР). VII — 270.

В. Левачев. Увлекательное путешествие (Ю. Новосельцев. Магистралаи грядущего). XII — 265.

Сергей Львов. Хороший рассказ о хорошей стране (Куба. Историко-этнографические очерки). III — 276. — Большое путешествие — большой труд (И. Ганзелка, М. Зикмунд. Меж двух океанов. Перевод с чешского С. Бабина и Р. Назарова). VI — 270.

Ш. Манучарьянц. В библиотеке Владимира Ильича (Библиотека В. И. Ленина в Кремле. Каталог). I — 265.

И. Миндлин, кандидат исторических наук. Ленинский этап в развитии атеизма (М. И. Шахнович. Ленин и проблемы атеизма. Критика религии в трудах В. И. Ленина). IV — 262.

Б. Могилевский. Молчаливый профессор Флеминг (Андрэ Моруа. Жизнь Александра Флеминга. Перевод с французского И. Эрбург. Послесловие И. Кассирского). VI — 274.

В. Молчанов. Верный сын Африки (Кваме Нкрума. Автобиография. Перевод с английского В. М. Карзинкина, Н. Ф. Пайсова и Н. З. Романова). III — 278. — Новая Африка (Африка сегодня. Серия массовых брошюр). VIII — 274.

Э. Мурзаев, доктор географических наук. Исследователь Средней Азии (Л. В. Ошанин и А. А. Азатьян. Василий Федорович Ошанин. Очерки жизни и деятельности). VII — 275.

Е. Немировский. «Книга — огромная сила» (Книга. Исследования и материалы. Сборники 1—5). III — 273.

З. Паперный. Как важно быть культурным (Арк. Первенцев. Продолжаем разговор о культурном человеке. Заметки писателя. Ольга Русанова. Раздумья о красоте и вкусе). IX — 276.

И. Пешкин. Неотвратимый закон истории (Дж. Уилер. Экономические проблемы автоматизации в США. Перевод с английского Р. И. Гогунова, С. А. Дабкиной и Г. В. Легоньких). X — 259.

Лев Разгон. Новое лицо старого журнала («Наука и жизнь»). Ежемесячный научно-популярный журнал Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний. № 1—12, 1961; № 1—5, 1962). VIII — 267.

Дм. Рудь. Когда качество переходит в количество (И. Г. Мельников. Резервы повышения качества сельскохозяйственной продукции). IV — 265. — Одна из немногих (Д. П. Горин. Колхоз и наука). VI — 266.

И. Селинов, доктор физико-математических наук. Легендарная фигура века (Б. Г. Кузнецов. Эйнштейн). XI — 279.

П. Сергеев. Ленинские черты (О Ленине. Воспоминания зарубежных современников. Составители сборника С. Ф. Безвельский и Д. Е. Гринберг). IV — 260.

А. Сидоров, член-корреспондент АН СССР. Книга о письме (В. А. Истрин. Развитие письма). V — 271.

С. Славин, доктор экономических наук. Важная проблема строительства коммунизма (А. Е. Пробст. Размещение социалистической промышленности. Теоретические очерки). XI — 271

С. Смуглый. Открытие Земли продолжается... (Б. И. Силкин, В. А. Троицкая, Н. В. Шебакин. Наша незнакомая планета). XII — 267.

С. Струмилин, академик. Энергетика и коммунизм (А. Маркин. Океан силы. Прошлое, настоящее и будущее энергетики СССР). III — 268.

Я. Тавров. Издано в Красноярске (Красноярский край. Природное и экономико-географическое районирование). VIII — 272.

В. Твардовская. Новое исследование о Салтыкове-Щедрине (Р. Я. Левита. Общественно-экономические взгляды М. Е. Салтыкова-Щедрина. Предисловие Д. Заславского). IV — 268.

А. Турков. Трезвость и оптимизм (Гарри Зихровский. Индия осушает свои слезы. Древняя страна на новом пути. Перевод с немецкого А. Е. Кривоуцко). V — 277. — Герои нашего времени (Эммануэль д'Астье. Боги и люди. 1943—1944. Перевод с французского Г. Велле). IX — 278.

С. Устинов, генерал-майор авиации запаса. Великий стратег (С. И. Аралов. Ленин вел нас к победе. Воспоминания). X — 256.

Геннадий Фиш. Повесть не только о термитах (И. Халифман. Отступившие в подземелье). IV — 275.

Мих. Цунц. Мост в завтрашний день (А. Б. Авакян, Е. Г. Ромашков. Проекты ближнего и далекого будущего). VI — 262.

И. Чепров. Право и космос (Космос и международное право. Сборник статей). VIII — 280.

Ю. Шарапов, кандидат исторических наук. У истоков «Правды» (В. Т. Логинов. Ленин и «Правда» 1912—1914 годов). V — 269.

Д. Шелестов, кандидат исторических наук. Документы немеркнущих лет. (Великая Октябрьская социалистическая революция. Документы и материалы (Восемь томов). Из истории гражданской войны в СССР. Сборник документов и материалов в трех томах. Библиографические указатели документальных публикаций:

1. Великая Октябрьская социалистическая революция. 2. Советская страна в период гражданской войны 1918—1920). XI—273.

Виктор Шкловский. Две книги о металле (И. Пешкин. Русский металл. М. Васильев. Металлы и человек). VII—271.

Д. Щербаков, академик. Средняя Азия глазами географа (Э. М. Мурзаев. Средняя Азия. Очерки природы). V—273.

С. Эпштейн. Политическая экономия банкротов (Л. Б. Альтер. Буржуазная политическая экономия США (На основных этапах развития американского капитализма). VII—277.—Социология в народной Польше (Zygmunt Bauman. Socjologia па со dzieй. Зыгмунт Бауман. Социология на каждый день). XII—269.

Б. Яковлев. «По поручению Владимира Ильича...» («Исторический архив», № 1, 1962). XI—267.

Коротко о книгах: I—279; II—282; III—281; IV—282; V—280; VI—280; VII—281; VIII—283; IX—281; X—275; XI—282; XII—273.

Книжные новинки: I—286; II—286; III—285; IV—287; V—286; VI—286; VII—287; VIII—287; IX—287; X—281; XI—286; XII—278.

Сергей Николаевич Голубов | III—287.

Эммануил Генрихович Казакевич | X—287.

Константин Паустовский. О человеке и друге. X—287.

Анна Ахматова. Вс. Иванов. С. Бонди. С. Маршак. В редакцию «Нового мира». VII—286.

От редакции. «Новый мир» в 1963 году. X—284.

От редакции. XI—288.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр. Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).

Вход с Улицы Чехова 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 26/X 1962 г.
А 11021

Объем 18 п. л.

Подписано к печати 12/XII 1962 г.

Формат бумаги 70×108^{1/16}.

9 бум. л.—24,66 печ. л.

Тираж 94 500.

Зак. 1998.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ

В ПЕРВЫХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1963 ГОД
БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ:

роман-сказка Веры Пановой

КОТОРЫЙ ЧАС?
(Сон в зимнюю ночь)

главы из неоконченного романа Э. Казакевича

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

пятая книга воспоминаний Ильи Эренбурга

ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ

роман Альбера Камю

ЧУМА

(Перевод с французского)

новые рассказы А. Солженицына

и другие произведения.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА

	12 мес.	6 мес.	3 мес.
Без переплета	8 р. 40 к.	4 р. 20 к.	2 р. 10 к.
В переплете	10 р. 80 к.	5 р. 40 к.	2 р. 70 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

городскими и районными отделами «Союзпечати», конторами, отделениями и агентствами связи, почтальонами, а также уполномоченными по приему подписки на фабриках, заводах, в совхозах, колхозах, учебных заведениях и учреждениях.